

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

1984

9

1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. В. ЩЕРБИЦКИЙ — Восхождение	3
—	
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Любомир Дмитерко, Платон Воронько, Василь Швец. Перевел Юрий Саенко	14
ОЛЕСЬ ГОНЧАР — Из новых рассказов. Авторизованный перевод с украинского	16
В. КАВЕРИН — Летящий почерк, повесть	32
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Микола Нагибеда, Захар Гончарук, Микола Винграновский Виктор Кочевский, Тамара Коломиец. Перевели Юрий Саенко. Татьяна Шарова	59
ВЛАДИМИР КАРПОВ — Полководец, документальная повесть. Часть третья. Окончание	63
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Дмитро Павлычко, Дмитро Иванов, Микола Братан. Перевели Юрий Саенко, Ст. Золотцев	127
ВИКТОР БОКОВ — Обласкай меня, дорога..., стихи	130
ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ — Днепр, стихи	132
Л. ЛИХОДЕЕВ — Сентиментальная история, роман. Окончание	133
МЛАДЕН ИСАЕВ — Моим радаром, сердце, будь, стихи. Перевел с болгарского Владимир Соколов	158
ВЛАДИМИР НАСУЩЕНКО — Два рассказа	162
ЛАРИСА ШЕВЧЕНКО — В клуб на танцы, рассказ. Перевела с украинского Е. Россельс	181
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГРИГОРИЙ ОГАНОВ — Экран для бизнеса	186

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО — «Красота, которой мы служили...». Публикация, комментарии и примечания Людмилы Касьяновой 207

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВАЛЕРИЙ ТИМОФЕЕВ — Равняться на Корчагина. К 80-летию со дня рождения Н. А. Островского 221
- Ю. СУРОВЦЕВ — Люди и время. Статья вторая 231

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 243

- Анатолий Макаров. К истокам народности.
Ярослав Мельник. Поэт и переводчик.
Вик. Ерофеев. Аршином общим не измерить.

Политика и наука 252

- А. Яковлев. Трудное и опасное десятилетие.
Петр Черкасов. «Действительно великий человек».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Наталья Беккерман.— Александр Лукьяненко. Судебная ошибка. Повесть. ♦

Андрей Василевский.— Леонид Вышеславский. Избранное. Стихотворения и поэмы. ♦

А. Курбатов.— Днепр — река героев. ♦

С.т. Рассадин.— Николай Любимов. Несгораемые слова. ♦

В. Хорольский.— Валентина Ивашева. Эпистолярные диалоги. ♦

Лидия Григорьева.— Анаит Парсамян. Признание. Стихи. ♦

Лев Разгон.— Невил Шют. Крысолов. Роман. ♦

А. Пушкин.— Николай Черкашин. Лампа бегущей волны. Повести и рассказы. Николай Черкашин. Траектория шторма. ♦

С. Яковлев.— О. А. Сайкин. Первый русский переводчик «Капитала». ♦

Вл. Россельс.— Любовь Руднева. Голос из глубин. Роман. ♦

А. Аванесов.— Игорь Ляпин. Стихотворения. ♦

З. Абдуллаева.— С. Бушуева. Полвека итальянского театра (1880—1930). С. Бушуева. Итальянский современный театр. ♦

В. Лобачев.— Гомер. Одиссея. ♦

Р. Саруханов.— С. Б. Базазянц. Художник, пространство, среда. Монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. ♦

А. Носик, Б. Носик.— Б. М. Шубин. История одной болезни. ♦

Юрий Давыдов.— А. М. Станиславская. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции. 1798 — 1800 гг. 259

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

В. В. ЩЕРБИЦКИЙ,
член Политбюро ЦК КПСС,
первый секретарь ЦК Компартии Украины



ВОСХОЖДЕНИЕ

У советских людей стало правилом: отмечая исторические даты, анализировать и обобщать сделанное, извлекать уроки, делать выводы... В этой связи хотелось бы остановиться на некоторых аспектах нашего духовного бытия, места и роли его в современных условиях, чему, как известно, марксисты-ленинцы придают большое значение. Ведь именно коммунистам свойственно научно верное понимание диалектической взаимосвязи материального и духовного прогресса, все возрастающего значения народного образования, науки и культуры в совершенствовании развитого социалистического общества. Мы исходим из того, что духовная культура самым тесным образом должна быть связана с жизнью народа, с потребностями общественного развития.

...Знаменательную дату — 40-летие освобождения республики от фашистских захватчиков готовятся достойно встретить трудящиеся Украины, весь советский народ. Среди документов и печатных изданий того далекого 1944-го, ставших уже достоянием истории, привлек внимание сентябрьский номер «Нового мира». Он открывался чеканными строками Алексея Суркова, посвященными освобождению Украины и выходу Советской Армии к Карпатам. К священной границе Родины через непрестанные бои, «сквозь дожди и морозы», «по руинам унылым» пронесли наши воины красное знамя. Пожелтевшие страницы журнала еще раз напомнили о бесчисленных проявлениях героизма и великого братства советских народов в битве за освобождение и возрождение нашей республики.

Более 660 дней и ночей длились освободительные бои на Украине. И уже первый из них — за районный центр Меловое на Ворошиловградщине — выявил неукротимую волю воинов разных национальностей как можно скорее освободить украинскую землю, их массовый героизм. Здесь повторил бессмертный подвиг Николая Гастелло экипаж пикирующего бомбардировщика в составе белоруса И. Утюскина, русского С. Рябикова, украинца М. Козаченко. На граните мемориала в Меловом у братской могилы навечно запечатлено 1066 фамилий и среди них — русские, украинские, белорусские, узбекские, азербайджанские, киргизские, татарские... В боях за Донбасс и Харьков, Днепр и Киев, под Корсунь-Шевченковским и в Крыму, на Подолии и в Карпатах обессмертили свои имена сотни тысяч героев из всех республик Страны Советов.

Вместе с освободителями в разрушенные города и села Украины возвращалась жизнь. В репортаже для Совинформбюро писатель Борис Горбатов сообщал с Днепропетровщины: «Темпы восстановления

жизни в освобожденных городах теперь куда выше, чем в первые месяцы наступления, — мы научились и этому. Наступление строителей на разруху по-военному размерено часами. Каждый час приносит победу. Уже есть телефон. Сейчас будет радио на улицах. Скоро будет вода, свет, печеный хлеб. Это все крепости, и их берут с боя. Стокочавшиеся по труду люди работают жадно».

Обращаясь к тому героическому времени, неизменно думаешь: какая же это могучая сила — советский народ — воин и созидатель, какое же это великое завоевание — братство народов нашей великой советской Родины!

В первые дни освобождения нам пришлось начинать с нуля. Фашистские вандалы разрушили и разграбили все, что только было возможно: материальные ценности и памятники духовной культуры, наши святыни. Вот одна из картин тех дней, открывшаяся перед освобожденными: разграбленный и оскверненный Полтавский краеведческий музей. Гитлеровцы вывезли отсюда славные исторические реликвии, картины, драгоценности, а само великолепное здание перед отступлением подожгли. Оно еще пылало, когда в город вошли наши войска. На тротуаре перед музеем лежало восемь обгоревших трупов: шесть мужчин, молодая женщина и десятилетняя девочка. Очевидцу события писателю Борису Полевому полтавчане рассказали, что эти люди пытались погасить пожар и разъяренные фашисты бросили их в огонь живыми... Забыть такое нельзя! И советские люди помнят об этом, делая все необходимое для укрепления экономического и оборонного могущества своей Родины, для сохранения мира на земле.

Думая о нынешних экономических, социальных, культурных достижениях советской Украины, оценивая их масштабы и темпы, мы, естественно, обращаемся не только к показателям опаленной войной 1944 года, но стремимся заглянуть в историю и глубже.

В докладе на июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС товарищ К. У. Черненко подчеркнул: «Великий Октябрь уничтожил социальные и духовные оковы, которые столетиями душили творческие силы людей труда. Революция поставила рабочий класс в центр современной эпохи, высвободила исполинскую созидательную энергию трудового народа».

Вот к этим истокам общественного прогресса и становления нового человека социалистической эпохи неизменно обращается благодарная память народа. Ведь, как справедливо писал поэт, «Октябрь орудийных бурь» решил «судьбу и Киевов и Тифлисов». Мы гордимся тем, что трудящиеся Украины первыми приняли протянутую братскую руку русских рабочих, с которыми вместе шли через все революционные битвы. Дело Ленина и его партия, Великий Октябрь, социалистический интернационализм — таков этот выбор. Светом его озарены весь путь советской Украины, ее достижения, воля и чаяния народа.

Уже в первые два десятилетия благодаря этому выбору творчеством миллионных масс были созданы новые города, прославленные гиганты индустрии, коллективные хозяйства в деревне, школы и клубы, открылись просторы будущего. Уже тогда восхождение Украины, как и других братских республик, к высотам экономического и социального прогресса доказало, что их судьба находится в надежных руках ленинской партии, народов-братьев, объединенных созидательным трудом, взаимопомощью, едиными планами во имя великой цели.

Великая цель рождала невиданную энергию масс. Социалистическая стройка возвышала людей. По всей стране возникали и широко распространялись новые патриотические инициативы, массовые движения. В Москве и Ленинграде в ходе обсуждения задач первой пятилетки родилась идея встречного плана. На Украине, отражая патриотический подъем во всей стране, возникли удивительные трудовые

почины Никиты Изотова, Алексея Стаханова, Марии Демченко, Праксывы Анжелиной, Макара Мазая, Петра Кривоноса... Днепрогэс и «Запорожсталь», Новокраматорский машиностроительный и Харьковский тракторный гиганты, Горловский азотно-туковый комбинат и «Азовсталь» — все это выдающиеся творения освобожденного, самоотверженного труда советского народа.

В семье вольной, новой советская Украина добилась уже в предвоенные годы невиданных по тогдашним мировым меркам высот своего развития. Высокого уровня достигли социалистическая культура и наука. У Павло Тычины были все основания воспеть всенародное «чувство семьи единой» как величайшую и непреходящую силу социалистического содружества братских республик.

Прошли десятилетия — грозные, динамичные. И вот сегодня, несмотря на все трудности, лишения и разруху военных лет, советская Украина неузнаваемо изменилась не только по сравнению с дореволюционным периодом, но и с 1940 годом. Годовой объем промышленного производства, например, возрос за это время в 15 раз, и наша республика теперь дает в 4 раза больше промышленной продукции, чем вся страна в довоенное время.

В прошлом году на Украине введено в действие 86 крупных промышленных предприятий, в том числе уникальный стан «300» на Ждановском металлургическом комбинате имени Ильича, новый мощный энергоблок на Чернобыльской АЭС, крупнейшая установка по переработке нефти в Лисичанске. Построено около 18 миллионов квадратных метров жилья, а это значит, что свыше полутора миллионов человек улучшили свои жилищные условия.

В сельском хозяйстве республики, несмотря на неблагоприятные погодные условия, обеспечен (по сравнению с первыми двумя годами пятилетки) прирост продукции, возросли заготовки мяса, молока и других животноводческих продуктов, достигнут самый высокий уровень производительности труда. Как известно, ЦК КПСС и Советское правительство одобрили наши предложения о мерах по дальнейшему повышению устойчивости производства зерна, других сельскохозяйственных культур и в целом по обеспечению динамичного развития аграрного сектора экономики республики. Эти меры, творческий труд земледельцев, нерушимый союз Серпа и Молота дают все основания говорить о том, что труженики Украины внесут достойный вклад в реализацию Продовольственной программы страны.

Наша уверенность в дальнейшем поступательном экономическом и социальном развитии зиждется не только на достигнутом, но и на многих процессах, происходящих в народном хозяйстве республики и страны в целом. В Украинской ССР обеспечены самые высокие за последние пять лет темпы развития промышленности. И что особенно важно: весь прирост национального дохода в 1981—1983 годах получен за счет повышения производительности труда. Положительные тенденции закреплены в первом полугодии текущего года.

В ответ на призыв декабрьского (1983) Пленума ЦК КПСС коллективы республики вместе с трудящимися Москвы и Ленинграда стали инициаторами борьбы за перевыполнение плана по росту производительности труда в промышленности на один процент и за сверхплановое снижение себестоимости промышленной продукции на полпроцента, а также ряда других починов.

Мы стремимся к тому, чтобы курс на большую эффективность хозяйствования, на всемерное укрепление порядка и дисциплины, внедрение новой техники и прогрессивных технологий, передовых форм и методов организации труда стал **общим делом** всех: от министра до рабочего, от партийных комитетов до каждого коммуниста.

...Когда бываешь в городах и селах, в трудовых коллективах, не-

реживаешь и волнение и радость, видя непрерывное преобразование родной земли. Но больше всего радует нравственный облик наших людей — настоящих творцов сегодняшнего и будущего. Так, за многие годы общения, совместной партийной и государственной работы, казалось бы, уже довелось хорошо узнать наших знаменитых дважды Героев Социалистического Труда Александра Васильевича Гиталова, Григория Яковлевича Горбаня, Ивана Ивановича Стрельченко... Но, встречаясь с ними, каждый раз непременно открываешь в них что-то новое. Перед тобой — люди высокого долга, неутомимой творческой мысли, активной гражданской позиции. Они постоянно ищут новые возможности делать свое дело лучше, по-большевистски служить народу. Их в этом воодушевляли первопроходцы первых пятилеток. Сегодня они сами служат примером. С них «делает жизнь» подрастающее поколение.

Названы только трое из числа наиболее заслуженных сынов трудового народа. Их жизнь — не исключение, а скорее правило в целеустремленной и новаторской рабочей гвардии республики. Действительно, народ наш богат талантами. И преданный делу созидания, он раскрывает эти таланты прежде всего в труде, в сфере материального производства.

Вот еще один, не менее характерный пример. В прошлом году в канун годовщины Великого Октября о выполнении пятилетнего задания рапортовал коллектив бригады электролинейщиков треста Южэлектросетьстрой, возглавляемый кавалером орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, заслуженным строителем Украинской ССР Григорием Кондратьевичем Полосмаком. Эта бригада по праву признана одной из лучших в Союзе. Средняя выработка на одного электролинейщика здесь в два раза превысила нормативы. Новаторские, творческие решения бригадира и его товарищей позволили в рекордные сроки совершить уникальный «переход» высоковольтных линий через Каховское море и Карпаты к границе с братской Венгрией. Бригаде поручали строить ЛЭП в Донбассе и на юге Украины, в Калмыкии и центральных областях России. Везде она достойно справлялась с заданиями.

Сегодня так работают многие и многие. Поистине массовым стало участие рабочих, колхозников, специалистов народного хозяйства в движении новаторов и рационализаторов, в техническом творчестве. Только в минувшем году внедрение изобретений и рационализаторских предложений трудящихся республики дало экономический эффект в полтора миллиарда рублей. В нашей стране сущностью советского характера, реальным качеством социалистического образа жизни сделалось единство замыслов и дел человеческих. Самоотверженный, творческий труд этот люди вершат во имя цели, которой преданы всем своим сердцем.

Народная мудрость гласит: добре тому ковалеві, що на обидві руки кує (хорошо тому кузнецу, который кует обеими руками). Такими могучими крыльями производительных сил общества в наше время являются производство и наука.

Украина за годы советской власти стала не только краем всестороннего социально-экономического расцвета, но и подлинной научной лабораторией, кузницей кадров ученых, успехи которых признаны в мире. В республике трудится крупный отряд — более 203 тысяч научных работников, в том числе свыше 5 тысяч докторов и 64 тысяч кандидатов наук.

Наука Украины предметно служит делу экономического и социального развития советского общества. Это наука, созидательно вторгающаяся во все процессы и сферы общественного бытия, во все наши замыслы и планы. Взять, к примеру, трижды орденоносный киевский Институт электросварки имени Е. О. Патона Академии наук УССР,

который недавно отметил свое 50-летие. Как велико значение его работы в различных отраслях экономики! За годы десятой и одиннадцатой пятилеток здесь созданы принципиально новые технологии производства особого типа труб, стыковой сварки, электрошлакового литья, нанесения защитных покрытий и другие. Вместе с исследователями космоса институт впервые в мире положил начало сварочной космической технологии.

Институт имени Е. О. Патона, будучи головным в стране научным учреждением по сварке, активно содействует научно-техническому прогрессу и развитию экономики всех союзных республик, объединению усилий ученых и дальнейшему укреплению межреспубликанских связей. При институте действует Национальный комитет СССР по сварке, семинар ООН по переподготовке инженеров-сварщиков из развивающихся государств. Здесь уже стажировались специалисты из 52 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Научно-исследовательский коллектив, таким образом, непосредственно участвует и в укреплении международного сотрудничества.

Велика роль научных учреждений в осуществлении целевых комплексных научно-технических программ, имеющих важное народно-хозяйственное значение, в создании современных технологий и новой техники, в дальнейшем совершенствовании структуры и методов управления экономикой. Весомая и отдача научных исследований. Только в прошлом году экономический эффект от внедрения в народное хозяйство разработок ученых республики превысил 3 миллиарда рублей. Характерным является возрастание темпов и результативности использования этих разработок: примерно такой же экономический эффект в десятой пятилетке был достигнут за полтора, в девятой — за два с половиной года.

Развитием науки на Украине, как и в других братских республиках, особенно наглядно подтверждаются масштабы социалистического преобразования общества и человека, достигнутые благодаря ленинской национальной политике партии. Ведь Академия наук Украины, большинство научных учреждений, практически все ведущие институты созданы в республике после установления советской власти. Только в нынешнем году, как и Институт электросварки имени Е. О. Патона, 50-летние юбилеи отметили академические институты археологии, математики, физиологии имени А. А. Богомольца. Многие другие — еще моложе.

Помнится, более двух десятилетий тому назад вспыхнул было громкий, но быстротечный спор о месте науки и искусства в жизни общества в век НТР, так называемый спор о физиках и лириках. Высказался тогда в связи с ним и наш известный поэт и ученый-филолог М. Ф. Рыльский. Выразив свое неприятие предмета спора, он четко и вразумительно отметил, что «в век космической ракеты не услышать пенья соловья» было бы равносильно обезличиванию и духовному падению человека. Время подтвердило правоту поэта, подчеркнувшего непреходящую духовную ценность гуманитарной культуры в развитии личности и в жизни социалистического общества.

Ведь именно социализм превратил сферу духовной культуры из привилегии элиты во всенародное достояние, широкое поле проявления способностей трудящихся масс. Этим самым были неизмеримо умножены возможности образования, роль науки и культуры в жизни общества — как в деле воспитания гармонично развитой личности, так и непосредственного воздействия на материальное производство.

В этой связи вспоминается один из красочных концертов победителей первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. На нем обратил на себя внимание интеллигентный молодой человек, хорошо, проникновенно читавший стихи. То был Михаил Иванович Бирюков — горнорабочий прославленной донецкой

шахты «Трудовская», на которой он работает с 1960 года рядом с И. И. Стрельченко. В горняцком коллективе Михаил Иванович зарекомендовал себя как передовой рабочий, ударник коммунистического труда, наставник молодых шахтеров. Он член партийного бюро и партгруппорг в своей бригаде, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Недавно я узнал, что коммунист Бирюков все так же активно участвует в художественной самодеятельности. В 1982 году ему присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Украинской ССР. Пожалуй, в чем-то это типичный образ современного передового рабочего.

Союз труда и искусства у нас в республике имеет прочные традиции. С первых своих шагов социалистическая культура и искусство Украины неизменно обращены к народной жизни, к животрепещущим общественным проблемам.

Мы хорошо помним, как в трудные послевоенные годы, годы разрухи и невиданного напряжения трудовых усилий нашего народа, жаждающего быстрее залечить раны войны, украинская советская литература устами своих выдающихся мастеров вселяла в сердца людей уверенность и надежду, веру и мужество.

Поставленная В. И. Лениным задача приблизить искусство к народу и народ к искусству ныне успешно решается. Тесная связь с народом, трудовыми коллективами стала характерной чертой повседневной жизни наших писателей, журналистов, художников, композиторов, деятелей театра и кино. В этом союзе труда и искусства сложились и продиктованные временем организационные формы: договорные отношения творческих и производственных коллективов, культурно-шефская работа, творческие отчеты деятелей культуры перед трудящимися, включение представителей рабочего класса в состав художественных советов, обсуждение новых произведений в заводской аудитории, творческие командировки мастеров литературы и искусства на предприятия, стройки, в колхозы и совхозы.

Ленинский партийно-классовый подход к духовной сокровищнице народа позволил сохранить все ценное и прогрессивное, что было создано в течение веков, сберечь чистый и живой родник народного творчества. С другой стороны, это дало возможность верно определить соотношение между национальным и интернациональным, выработать на духовной ниве сорняки национализма и шовинизма, а также избежать и другой крайности — проявления национального нигилизма. Серьезные и разносторонние художественные запросы народа, его глубокое понимание явлений культуры всегда оказывали и оказывают стимулирующее воздействие на творческий процесс.

Решения июньского (1983) Пленума ЦК КПСС, принятые Центральным Комитетом партии постановления об укреплении творческих связей литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства и по вопросам развития советского кино дали новый импульс для расширения связей художественной интеллигенции с тружениками города и села, учащейся молодежью, воинами армии и флота. Как справедливо отмечал товарищ К. У. Черненко, масштабы распространения культурных ценностей у нас поистине огромны. В условиях развитого социалистического общества всякое подлинное событие литературной, художественной жизни одного народа становится достоянием многонациональной культуры всего Советского Союза.

О достижениях украинской советской культуры много говорить не приходится — они хорошо известны. Свидетельством всенародного признания и высокой государственной оценки творчества деятелей культуры Украины в последние годы стало присвоение звания Героя Социалистического Труда композитору Андрею Штогаренку, присуждение Ленинских премий поэту Миколу Бажану, певцу Анатолию Соловьяненко, группе создателей мемориала «Украинский государствен-

ный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» в Киеве — Виктору Елизарову, Василию Бородаю, Фридриху Согояну. Государственными премиями СССР последних лет отмечены творческие достижения певицы Евгении Мирошниченко, прозаиков Олеса Гончара и Павла Загребельного, поэта Ивана Драча, драматурга Олексы Коломийца, ряда мастеров театра и киноискусства.

В своем развитии национальная по форме, социалистическая по содержанию, интернационалистская по духу культура советской Украины прочно опирается как на народное искусство, творческое наследие украинской классики, так и на духовное богатство всех наций и народностей СССР и достижения мировой культуры. Во всех сферах нашей жизни — экономике, образовании, науке и культуре — в условиях зрелого социализма происходят процессы сближения и взаимообогащения, углубления сотрудничества и взаимопомощи, многогранной интеграции. Это ускоряет темпы развития, умножает наши силы.

Огромной популярностью в украинском народе пользуются произведения великой русской культуры, литературы и искусства других союзных республик. Скажем, на украинский язык переводятся книги с 57 языков народов нашей страны. За годы советской власти у нас издано 9 тысяч произведений русской литературы и свыше двух тысяч книг писателей других братских республик страны. В свою очередь произведения украинских авторов только за послевоенный период выпускались на 44 языках народов нашей страны. Многие из них вышли в столице нашей Родины, в издательствах РСФСР и других союзных республик. Поистине всесоюзной читательской аудиторией располагают украинские писатели.

Все чаще мы становимся свидетелями того, что новые культурные ценности создаются совместными творческими усилиями деятелей искусств Украины и других братских республик, главным образом в изобразительном искусстве, кино, театре. Это позволяет с удовлетворением отметить повышение роли русского языка как средства межнационального общения и развития единой советской культуры. На Украине абсолютное большинство населения свободно владеет русским языком, получая тем самым широкий доступ к культурным ценностям и новейшим явлениям как советского, так и зарубежного искусства.

Ныне духовная жизнь украинца немислима без знания многонациональной отечественной классики, без книг М. Шолохова, Ч. Айтматова, В. Быкова, Э. Межелайтиса, Р. Гамзатова, без живописного наследия М. Сарьяна, без новаторского театра Грузии... В свою очередь, мы постоянно убеждаемся, что к нашим культурным святыням, к нашим достижениям народы всей страны относятся с таким же глубоким интересом и уважением, как мы сами.

В нынешнем году в четвертый раз проведен Шевченковский праздник литературы и искусства «В семье вольной, новой». Он зародился как республиканское мероприятие. Но фактически с самого начала масштабы и смысл его стали определяться словом «всесоюзный». Праздник привлек внимание зарубежных друзей советской литературы, почитателей таланта великого сына украинского народа — гениального Кобзаря. В юбилейных мероприятиях нынешнего года, посвященных 170-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко, приняли участие гости со всех концов Советского Союза, представители всех европейских стран социалистического содружества, а также прогрессивные украинцы Канады. В Киеве, Каневе, Черкассах, Львове, Чернигове и в других городах республики гости засвидетельствовали свое глубочайшее уважение к жизненному и творческому подвигу поэта-демократа и революционера, к украинской литературе и искусству, продолжающим шевченковские традиции служения народу.

Нужно сказать, что 1984 год даже по сравнению с предыдущими, которые тоже были насыщены многочисленными и яркими проявлениями братства культур, стал для нас особенно богатым, волнующим и благодатным. Вместе со всеми народами страны мы широко отметили 175-летие со дня рождения Н. В. Гоголя. На его родине — в селе Гоголево Полтавской области — открыт мемориальный заповедник — музей великого писателя.

Нынешний год — это год юбилеев Юрия Федьковича, Михайла Коцюбинского, Шолом-Алейхема, Николая Островского, Александра Довженко, Миколы Бажана... Год XVII Всесоюзного кинофестиваля в Киеве, традиционных Всесоюзных фестивалей искусств «Киевская весна», «Золотая осень» и других... Мы искренне рады, что на Украине пройдут и Дни советской литературы, посвященные 40-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и 50-летию образования Союза писателей СССР.

Конечно, приятно, что в фестивальных конкурсах и смотрах ряд почетных призов завоевали представители творческой интеллигенции Украины. Но главное, что вся работа направлена на взаимообогащение наших культур, на их дальнейший идейно-художественный рост, а в конечном итоге — на укрепление дружбы и единства народов нашей страны.

Украинская Советская Социалистическая Республика обрела прочный международный авторитет как республика с процветающей экономикой, богатым культурным прошлым и интенсивной современной научной и культурной жизнью. Украина — один из членов-основателей ООН, а ныне — и член Совета Безопасности. Будучи членом других международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, она активно проводит культурный обмен с зарубежными странами, этот обмен — составная часть международного культурного сотрудничества Советского Союза. Республика поддерживает культурные связи почти с 50 странами мира. Представляют интерес такие цифры: в период с 1979 по 1983 год за рубежом с успехом выступило более 4,5 тысячи мастеров украинской культуры и искусства, ряд самостоятельных художественных коллективов Украины. За последние 5 лет только в странах социалистического содружества вышло более 1400 произведений украинских писателей. Проведенный в Киеве в мае нынешнего года первый семинар зарубежных переводчиков современной украинской литературы подтвердил дальнейший рост интереса в мире к культуре нашего народа.

В свою очередь, как это характерно для всей Советской страны, мы давно установили у себя, так сказать, режим наибольшего благоприятствования для распространения подлинных ценностей зарубежной культуры. Вот, пожалуй, два достаточно выразительных примера. Суммарный тираж изданных в республике книг Джека Лондона выше, чем на родине писателя. Самое полное в мире собрание сочинений Эрнеста Хемингуэя тоже выпущено не в Америке, а на Украине — издательством «Дніпро».

Коммунисты, трудящиеся советской Украины отчетливо осознают, что больших и сложных дел впереди немало. На Пленумах ЦК Компартии республики, в практической деятельности ее партийных комитетов и государственных органов по-деловому, остро поставлены задачи по ускорению социально-экономического развития, искоренению имеющихся недостатков, реализации неиспользованных резервов.

Среди проблем экономического характера, которым уделяется первостепенное внимание, — рациональное использование созданного в народном хозяйстве огромного производственного потенциала, приумножение вклада республики в развитие единого народнохозяйственного комплекса страны, укрепление подлинно государственной дисциплины во всех звеньях производства и управления, борьба с потерями

рабочего времени, усиление режима экономии. Важнейшее значение придается развитию топливно-энергетического комплекса, выполнению Энергетической программы. Крупный узел непростых задач предстоит развязать в области сельского хозяйства. Это, как уже говорилось, дальнейшее повышение устойчивости отрасли, ее эффективности за счет повсеместного внедрения научно обоснованной почвозащитной системы земледелия, увеличения отдачи мелиорированных земель, дальнейшего технического перевооружения колхозов и совхозов, ускорения социально-культурного переустройства сел и целый ряд других мер.

Главная, стержневая задача (какие бы текущие и перспективные экономические проблемы мы ни решали) — это ускорение научно-технического прогресса. Поэтому в области науки внимание сосредоточивается на интенсификации научных исследований и разработок, их масштабном использовании в народном хозяйстве, дальнейшем углублении программно-целевого подхода в осуществлении коренных вопросов экономического развития республики, в том числе и рационального природопользования, охраны окружающей среды.

В области социальной все силы и средства мобилизуются для решения таких проблем, как улучшение жилищных условий трудящихся, здравоохранения и бытового обслуживания, снабжения населения продуктами питания, совершенствование системы охраны материнства и в целом — повышение благосостояния народа. Особых усилий — планомерных и эффективных — требует от нас реализация разработанной партией программы перестройки общеобразовательной и профессиональной школы. Результаты этого должны, безусловно, позитивно сказаться во всех сферах жизни общества.

В области идейно-воспитательной работы главная наша забота — подготовка молодой смены, достойных строителей коммунизма, наследников и продолжателей героических традиций партии и народа. Молодежь у нас хорошая. В то же время нельзя не учитывать, что она не прошла через те испытания и трудности, которые выпали на долю старших поколений, она лишь опосредствованно представляет, что такое буржуазный образ жизни. Между тем империалистическая пропаганда пытается ориентировать нашу молодежь на целый ряд стереотипов «массовой культуры» и мещанско-потребительской психологии. Все это требует от нас повышать идейную и трудовую закалку молодежи, целенаправленно формировать ее высокие нравственные идеалы и здоровые эстетические вкусы, воспитывать у нее политическую бдительность, готовность в любой момент встать на защиту завоеваний социализма. Обстановка такая, что иначе поступать нельзя.

В этой работе особенно велика роль мастеров литературы и искусства. И мы стремимся все шире привлекать их к управлению соответствующими областями духовной сферы, уважительно относясь при этом к их нелегкому, но столь нужному народу труду.

Очевидна и необходимость дальнейшего совершенствования всей организационно-творческой работы, направленной на усиление социальной активности мастеров культуры, воспитания надежной творческой смены и, в конечном итоге, на общее существенное повышение идейно-художественного уровня создаваемых произведений. Конечно, есть и нерешенные вопросы, в частности, в развитии материально-технической базы культуры и культурно-просветительной работы, особенно на селе. О проблемах такого рода мы помним и систематически занимаемся ими.

Всю работу хозяйственного и культурного строительства в республике возглавляет политический авангард народа Украины, боевой, испытанный отряд КПСС — более чем трехмиллионная республиканская партийная организация. Коммунисты трудятся на всех самых сложных и ответственных участках общественного производства и непроектной сферы. Три четверти состава Компартии Украи-

ны объединяют партийные организации непосредственно в отраслях материального производства. 15 процентов общего количества коммунистов занято в науке, просвещении, здравоохранении, культуре и искусстве. Естественно, что на всех важнейших направлениях художественного развития партийное ядро, партийный актив играют особенно важную, организующую и творчески мобилизующую роль. Партийные организации в сфере культуры постоянно укрепляются, совершенствуется их работа. Так, в Союзе писателей Украины ныне почти две трети, в Союзе кинематографистов — более 40 процентов, в Союзе композиторов — одна треть, в Союзе художников — около четвертой части всего состава — коммунисты, которые прежде всего и являются проводниками партийной политики.

Разумеется, в любом деле успех — понятие сложное, многоплановое, в литературе и искусстве — тем более. Здесь он чаще, чем в других сферах человеческой деятельности — порождение внутренней творческой напряженности, многолетних наблюдений и поисков, что порой может казаться слишком медленным «присматриванием» к жизни, даже творческой паузой.

В среде художественной интеллигенции приходится слышать порой резкие оценки: застой, нет романа, нет поэмы, нет публицистики... В какой-то мере такие заявления отражают конкретные текущие трудности творческого процесса. Думается, однако, что в целом они все же — отражение не действительного, реального положения дел, а скорее — фиксация состояния беспокойной души художника, его психологически своеобразных представлений о возможностях повлиять на кого-то, задеть за живое, расшевелить...

Конечно, встречаются и отдельные проявления, если говорить мягко, притупленной идейно-эстетической взыскательности, недостаточно острой партийной оценки. Порой обедняется образ нашего современника, заметно увлечение бытовизмом, иногда идеализируется прошлое, теряется историческая перспектива. Не изжит, к сожалению, и продиктованный различными соображениями комплиментарный подход, далекий от действительной идейной и эстетической ценности произведения.

Разумеется, с подобными, даже единичными, явлениями нужно вести бескомпромиссную борьбу. Успехи, достигнутые на культурном фронте, не должны нам мешать видеть и недостатки. Все это важно учитывать, когда речь идет об оценке конкретных произведений современной литературы и искусства. Но сегодня речь — не об отдельных фактах. Речь — об определяющих явлениях и тенденциях, диалектически аккумулирующих в себе множественную совокупность явлений и отдельных результатов во всей их разнородности.

Осуществляя партийное руководство в такой сложной и деликатной сфере, как художественное творчество, мы стремимся всячески помочь ее работникам, привить им вкус к глубокому осмыслению происходящих в обществе процессов. При этом мы исходим из того, что главное ныне — повышение роли и эффективности культуры в совершенствовании развитого социализма. Вот почему наша партия всегда ставила и ставит перед деятелями культуры задачу высокохудожественного отображения всего нового и передового, в частности, создание яркого положительного героя современности. Разумеется, для этого некоторым художникам нужно преодолеть вольный или невольный уклон к дегероизации, некий страх перед этой сложной творческой проблемой. И прежде всего обратить свой взор к сфере общественного труда, то есть туда, где наиболее полно реализуется сам человек, его сущность, способности и потребности. Ведь только тогда, когда труд становится творческим, когда сполна раскрываются дарования личности, тогда он доставляет наибольшее удовлетворение человеку и наиболее эффективен для общества.

Таковы — весьма фрагментарно — некоторые назревшие, на наш взгляд, задачи культурного строительства. Уважать труд ученого, писателя, художника, высоко ценить его личность и дело — это неизменные требования партийного руководства в области культурного строительства. Вот почему здесь у нас сложилась, как мы считаем, благоприятная, доброжелательная атмосфера. В не меньшей мере это объясняется и тем, что партийные организации, в силу своего уважения и доверия к деятелям культуры, не замалчивают их слабости и ошибки, не льстят им, а ведут деловой и откровенный диалог, выдерживают принципиальную линию.

Подытожим сказанное. Проблем на разных участках немало, работа предстоит серьезная. Но есть и силы для ее выполнения, есть четкие цели и богатый опыт. В республике у нас, как и во всей стране, — хорошая, деловая, творческая обстановка, которая способствует решению задач, поставленных Центральным Комитетом КПСС, выдвигаемых жизнью.

Трудящиеся Украины, как и все советские люди, безгранично доверяют партии, единодушно поддерживают ее внутреннюю и внешнюю политику.

Движимые патриотическим, гражданским долгом, они прилагают все усилия для успешного осуществления своих планов, социалистических обязательств. Не случайно все важнейшие события в жизни страны, революционные даты и праздники отмечаются у нас замечательными трудовыми начинаниями.

Прозвучавший на апрельском (1984) Пленуме ЦК КПСС призыв к достойной встрече предстоящего XXVII съезда КПСС коммунисты и трудящиеся Украины восприняли как боевую программу действий. Все большую силу набирает и движение, начатое по инициативе шахтеров Донбасса: трудовые коллективы республики приняли на себя повышенные социалистические обязательства в честь 50-летия стахановского движения. Ширится и социалистическое соревнование в честь 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Наш народ убежден, что лучшим памятником тем, кто героически сражался за Родину, ее счастливое будущее, честно выполнив свой священный патриотический и интернациональный долг, будут новые трудовые свершения, делающие нашу жизнь краше, умножающие богатство и могущество социалистической отчизны.

Все это создает твердую уверенность в том, что дальнейшее восхождение украинского народа вместе с другими нациями и народами страны к новым успехам будет последовательным и неуклонным. Лучшие дела у нас еще впереди. И республика наша — в неустанном движении.

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ЛЮБОМИР ДМИТЕРКО

Братство

Сроднились мы не только кровью —
Мечтой сроднились и борьбой,
Мы — люди одного покроя,
С одной высокою судьбой.

Встречаясь в триумфальном зале,
Мы с тех, с октябрьских баррикад
За мир сражаться слово дали
И не возьмем его назад.

В трудах и вечном непокое,
Не отрываясь от земли,
Мы вслед за ленинской мечтою
Дорогу к звездам возвели.

ПЛАТОН ВОРОНЬКО

Два стихотворения

* *
*

К твоим устам печали складка
Как будто с мрамора легла.
Ты не богиня,
Ты — солдатка
На пепелище, у села...
Метет поземка, воеет, злится —
Ей по убитым только петь...
А ты к Каял реке зегзицей
Уже готова полететь.
Под сердце вражьей пулей ранен,
Он еле жив — избранник твой:
Твой Железняк,
Твой Довбуш,
Разин,
Твой ковпаковец — князь лесной.
Заботы, нежности — безмерность,
Пройдешь сквозь битву шар земной...
Святая жертвенная верность,
Ты в ней живешь своей душой.

* *
*

В разбитом Киеве, на бывшей Прорезной,
Среди руин увидел я рояль.
Нажал слегка на медную педаль,
Но в клавишах — мертвящая печаль:
Не довелось в нем выжить ни одной
Струне стальной.

На крышке поднятой мишень еще осталась:
Фашист на Баха наводил здесь дуло,
И пригоршнями гильзы рассыпались
От парабеллума,
От дикого разгула,
Втоптавшего святыню в перегной.

Свою сонату на струне одной
Луна играла средь камней и гема,
И гильзы, будто дьявольское семя,
Зловеще тлели в мертвой Прорезной.

ВАСИЛЬ ШВЕЦ

Из прошлого

Пулями здесь выбита трава.
А в ушах звучат твои слова:
— Милый, если попадешь в беду,
Позови, и я к тебе приду.

Вдалеке от дома, на войне
Вражья пуля в грудь попала мне,
Я упал у самой высоты,
Звал тебя, но не слыхала ты.
На груди я рану зажимал,
Имя твое милое шептал,
Говорил:— Родная, погоди,
На войну — не надо, не иди!

В синем небе месяц молодой
Одиноко плыл над высотой,
Он один, быть может, только знал,
Кто мне ночью рану бинтовал,
Чья рука пригладила мне чуб
И слегка моих коснулась губ.
Я очнулся здесь, у высоты...
По врагу стреляла рядом ты.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

★

ИЗ НОВЫХ РАССКАЗОВ

Народный артист

Таксист был явно не в духе. И небрежная поза, и руки, державшие руль вроде неохотно, и кислое выражение лица с недовольно оттопыренной губой — все будто говорило: навязали мне этого пассажира, да еще в субботний день. Какого лешего он взялся на мою голову? И вообще, что это за поездка, спрашивается? Что он забыл в той бездорожной глубинке, в промокнушем под осенними дождями селе? Пассажиры такого рода чаще всего и донимают тебя своими капризами, корчат недовольную мину при каждой зажженной тобой сигарете, а потом еще заставляют тебя ждать, пока сами где-то там лясы точат... А сегодня хоккей, как бы не получилось так, что место твое весь вечер будет пустовать у экрана телевизора.

Когда девушка-диспетчер с подведенными зеленою глазами дала ему этот наряд, она, видимо, не сомневалась, что благодетельствовала его:

— Артиста повезешь!

— Это — что, честь?

— А то как же? Может, другого такого случая совершить почетный рейс, скрасить свою серую жизнь тебе и не представится...

Пассажир, которого предстояло везти, производил скорее невыгодное впечатление. Взглянул на него таксист, когда он вышел из гостиницы, и сразу сказал себе: ну, с этим не повеселишься... Анекдотиками не поразвлекает тебя. Забьется в угол на заднем сиденье и будет сопеть всю дорогу. Шапочка на нем пирожком, наподобие дамской, пальтишко кургузое, лицо закутано шарфом до самого носа, острого, птичьего, и весь вид у него такой, вроде он вот-вот собирается чихнуть, этот твой случайный товарищ и брат. Сухощав, чуть сутуловат, а в руках цветы в целлофане, роскошный большой букет живых роз, он их бережно прижимает к груди... Где он раздобыл эти розы сейчас, поздней осенью, когда и листья с деревьев ветрюга уже пообрывал?

Заняв место в машине, пассажир поздоровался и, обращаясь к таксисту, вежливо спросил, хорошо ли знакома ему, водителю, предстоящая дорога. Получив утвердительный ответ, он успокоился, уткнул подбородок в свой клетчатый мохеровый шарф, видимо, собрался вздремнуть.

Только выехали за город, как таксисту сразу же захотелось курить. Это у него вроде бы привычка такая со временем выработалась: когда случалось везти дальнего пассажира особенно из тех, кто подавшись агитации, бросил курить, рука непроизвольно тянулась к сигарете. Ощущал просто-таки острый никотиновый голод. Вот так и в данном случае. Могла бы, конечно, сейчас возникнуть на этой почве словесная перебранка, однако пассажир оказался терпеливым,

он только кашлянул сдержанно, дав таким образом понять, что к табачному дыму голосовые связки его непривычны, но стоит ли обращать внимание на каждое покашливание пассажира? Не зря говорится: на всякий чих не наздравствуешься... Когда же таксист на минутку опустил стекло, чтобы выбросить окурок, пассажир зашевелился, заерзал на сиденье, забеспокоился, видимо, полагая, что стекло так и останется опущенным... Ну и привередник же попался тебе по случаю субботнего дня: все ему не так, все не по нему... Отправлялся бы тогда лучше автобусом на общих основаниях, там бы ему бока хорошенько пообмяли...

А день хмурый, с ветром, тучи косматые ползут над самым шоссе, еще и мелкий дождь время от времени хлещет по стеклу. Послеобеденная пора, день еще, а нахмурилось, будто вечер скоро. И куда человеку ехать в такое ненастье и зачем, спрашивается? Сидел бы себе в гостинице в своем теплом люксе или в баре у стойки коктейль тянул бы сквозь соломинку, так нет же — в дорогу потянуло, да и не близкую. К тому же при всем параде, с цветами, словно жених, хотя седина из-под шапочки снегом уже белеет.

Есть поступки человеческие, которые таксист хоть убей отказывается понимать. И пассажиров ему порой случай посылает точно назло таких, чтобы нарушить устоявшиеся представления о людях. О том, что на свете хорошо и что плохо. Попадает, конечно, и пассажир-единомышленник, но чаще достается такой, который будто специально и садится для того, чтобы тебе досадить или чтобы разрушить, вот как сегодня, все твои планы на вечер. А ведь после смены должен был зайти приятель, сыграли бы еще и в шахматы после хоккея или навести соседнее кафе, туда обещали чешское пиво сегодня завезти... И вот надо же! Мысленно таксист послал нескольких чертей диспетчерше и, с досадой покосившись на пассажира, заметил, что тот чему-то улыбается, — на бледном сухощавом лице его блуждало совсем непонятное водителю выражение блаженства. Что с ним происходит? Чем растрогало его это серое грязное шоссе, обтыканное колючем голых почерневших деревьев?

Заметив угрюмый взгляд таксиста в зеркальце, пассажир тоже нахмурился и даже отодвинулся в самый угол, чтобы подальше быть от чего-то неприятного. На лице артиста не осталось и следа от блаженства, от той светлой мечтательной задумчивости, в состоянии которой он только что находился.

«Хорош сыч», — мысленно определил пассажира таксист, а вслух спросил:

— Это для кого же цветы?

— Вот надо тут, — отделался коротким и туманным ответом пассажир, полагая, что любопытство водителя неуместно.

Конечно, случись ему водитель более приветливый, душевный, пассажир охотно вступил бы с ним в беседу, человек он был, в общем-то, контактный, легко сходился с людьми в пути и не только в пути. Тут же с первой минуты непонятно почему чувствовалась недоброжелательность, для которой, собственно, не было оснований, однако же на настроении обоих она сказывалась. Следовало бы не обращать на это внимания, но такова уж, видимо, натура у него, чуткая ко всему — и к доброжелательности людской и к малейшему проявлению неприязни, в особенности такой вот беспричинной, ничем не вызванной, способной, однако же, ни за что ни про что отравить душу.

А путь ведь неблизкий, и с таким вот сычом надо ехать несколько десятков километров, вдвоем, подобно космонавтам, в одной кабине, и все время чувствовать, в отличие от небесных братьев, что вы несовместимы, и для своего соседа ты попутчик нежеланный, что для него ты прямо-таки обуза, хотя, в конце концов, мог бы же этот субъект уразуметь, что он сейчас на работе, при исполнении обя-

занностей, и что с пассажирами хочешь не хочешь, а полагается быть терпимым, не показывать им своего пренебрежения и своей невоспитанности... Скольких людей успеет такой бурдюк за смену огорчить своей черствостью, раздражительностью. Никто этого не учитывал.

— Вы, может, нехорошо себя чувствуете? — спустя некоторое время деликатно спросил пассажир. — Может, вам нездоровится? У меня есть таблетки индийские — не химия, из одних травок...

— На здоровье не жалуемся, — буркнули ему в ответ. — Хотя по курортам не ездим. Туда не пробьешься... Жена мне плешь проела, добудь да добудь путевку, и такую, чтобы летом. Но разве же нас отпустят в сезон? Начальник парка на солнышко греться поедет со своей толстухой, а нам снова в январе или в феврале...

— Зимой тоже бывает хорошо. На лыжи да в лес...

— На лыжи, — скривился презрительно таксист. — А сами вы небось каждое лето в Варне, на Золотых песках?

— Представьте, что нет. Давненько уже не слышал пение цикад под кипарисами... То гастроли, то к землякам пригласят. А в прошлом году летом на операцию пришлось ложиться.

— Тогда зачем же, спрашивается, мотаться сейчас по дорогам? — снова озлобился таксист. — И нас гонять в такое ненастье... Сидели бы себе дома у телевизора с внуками... А вы еще и с букетом. На юбилей, что ли?

— Да вот надо тут, — бросил как и прежде загадочно пассажир и, словно оскорбленный назойливым любопытством, снова спрятался в свой пушистый мохеровый шарф.

Возможно, таксист даже перестал для него существовать. Отныне, кажется, его интересовало только это серое шоссе среди однообразия осенних полей да набухшие дождями косматые тучи, тяжело проплывавшие по небосклону. Стаи галок вьются над придорожными ивами. Машины, преимущественно грузовые, по самые кабины забрызганные грязью, время от времени пересекают дорогу — с поля на поле, с одной проселочной дороги на другую. А навстречу по шоссе, черным дымом пыхтя, грохочет мощный дизель, везет бычков в кузове... Увалень этот, чтобы досадить таксисту, прогрохотал совсем рядом и, обдав гарью, плеснул на такси целую лужу грязищи, аж по всему стеклу мутные ручьи потекли. Выругавшись, разъяренный таксист повернулся к пассажиру:

— Видели нахала? И это люди? Догнать бы его да харей, харей в лужу! Не иначе как в чайной нализался! Хамлюга с водительскими правами!

— Может, это он случайно? — обронил пассажир.

— Случайно? — таксист еще больше взбесился. — Знаю я этих случайных! Это все ихние колхозные кадры. Все на трассе расступись, когда такой едет. Будто он не на трассе находится, а у себя на поле...

— Видно, вы тут не впервые?

— К сожалению, приходится бывать. То за капустой выскочишь, то за картошкой махнешь в эту сторону, и каждый раз тут какая-нибудь неприятность... Прошлой осенью свекловозы нарочно зажали меня в кювет, до утра пришлось кукарекать.

— Сейчас тоже скользко? — заметно обеспокоился пассажир.

Чтобы его припугнуть, таксист, покривив душой, сказал, что дорога плохая, а дальше, пожалуй, еще хуже будет, не видите сами, мол, какая непогода...

— К вечеру того и гляди туман будет.

— Вы меня не пугайте, я от природы робкий, — шутливым тоном молвил пассажир.

— Перепугал кто-нибудь? — не поняв шутки, поинтересовался таксист.

— Не храбрый, и все тут. Гены, видать, такие,— весело ответил артист.— Где один лезет напролом, локтями да локтями, я лучше по-временю. В наши дни это, пожалуй, недостаток, но что попишешь? Зато, сознавая свои человеческие слабости, понимая, что сам не свободен от них, сородичам по планете я тоже стараюсь по возможности прощать некоторые их внутренние «недохопы», как говорят братья-белорусы..

— Выходит, вы, артисты, тоже не без недостатков?

— «Кто есть на свете, чтоб был без греха»? — с насмешкой продекламировал артист.

«А почему же тогда другие так с вашей персоной носятся? — хотел напрямик рубануть таксист.— Чего эта диспетчерша гает при одном вашем имени?» Но промолчал, только повел туда-сюда литой шеей. Хорошо, мол, тебе философствовать. В положении пассажира. А вот очутись ты, человеке, в моей шкуре, когда везешь ночью каких-нибудь пропойц из ресторана, а они у тебя за спиной словечками блатными перебрасываются,— того и жди какой-нибудь финку покажет да заорет у самого уха: «Выручку давай!..»

Лицо артиста тем временем снова просияло, видимо, от какого-то воспоминания, а, впрочем, и повод был: он узнал в ложбине старую дуплистую вербу, знакомую еще с детских лет, когда гимназистом проезжал здесь с отцом, устроившись в сене на возу... Омела на вербе комьями — словно вороны гнезда — темнеет, не один год тянет живые соки из этой вербы, а верба живучая, все держится — опустила косы свои к самой воде, к полузросшему осокой пруду..

Промелькнула верба дуплистая, под низким небосклоном показалась труба сахарного завода — тоже знакомый силуэт, там на клубной сцене начиналась твоя артистическая карьера... Ах, как давно то было! Этот таксист тогда еще и на свет не родился... Темной волной накатили воспоминания, затопили душу. Любишь ты нынешний день, но щемит душа и по тому, что было, что ветрами развеялось. Пусть тяжело приходилось, но какие свадьбы там голосистые гремели, какие дисканты да баритоны слышал ты вечерами в этом краю... И как хочется тебе поделиться с кем-нибудь сейчас пережитым, отлетевшим безвозвратно, поведать кому-то о том и сем. Вдохновенная молодость, и друзья, и синеглазая первая любовь — все там, там. Светло стало на душе от одного прикосновения к тому далекому, но только взглянул на этого хмурягу, нависшего над рулем, как тут же исчезло желание делиться тем, что тебе дорого,— какая уж тут исповедь!

Будь за рулем вместо него кто-нибудь другой, ты бы, конечно, не удержался, ударился в лирику, а перед этим... Что ему всплески твоей души и люди, которые близки тебе до сих пор, твоя юность и песни, которые ты вместе с друзьями пел здесь когда-то и которые звучат в твоей душе и сейчас? Разве расскажешь, как уходил отсюда во взрослую жизнь? Как друзья провожали тебя на учебу в столицу тогда этим старинным шляхом, где асфальта еще и не предвиделось, ехали на волах..

Ничего не сказал, угрюмо сидел, затаившись, ничем не обнаруживая, что происходило сейчас в его душе. Знал, правда, способ, как пробить эмоциональную глухоту — запеть бы во весь голос, пожалуй, растаяло бы и это мурло, но нет, здесь петь не станешь, хотя душа полна чарами тех давних юношеских концертов по вечерам, а после них горячих признаний в любви, когда девичьи глаза так преданно блестили в сумраке майского сада.

Самый неприятный разговор был, однако, впереди. Схлестнулись сразу же, когда нужно было сворачивать с трассы на дорогу разбитую, полевою. Вид черноземной, глубоко развороченной грузовиками дороги в самом деле мог ужаснуть.

— Не поеду! Тут и танк не пройдет!

— Премия будет...

— Ни за какие деньги!

— А может, попытаться?

— Да мы там засядем на всю ночь! По уши потонем! Вы этого хотите? Этого? — донимал таксист пассажира и тыкал пальцем в сторону какого-то «Москвича», что, свернув с трассы, уже по брюхо засел в грязь. — На это вы меня толкаете?

— Пожалуй, вы правы, — сникшим голосом сказал артист. — Но как же теперь мне с ними? — и удрученно смотрел на свои красные и золотистые розы.

— Выход единственный — возвращаться, — посоветовал шофер, перед взором которого сразу же возник хоккей и батарея пльзенского в знакомом павильоне. — Подсохнет — тогда дело другое!

— Да когда же оно подсохнет?

— Ну пусть подмерзнет! А цветы... так ли уж их там ждут?

Вместо ответа пассажир попросил одолжить ему какие-нибудь веревочки.

— Зачем? — удивленно вытаращил глаза таксист, но потом, покопавшись в багажнике, все же достал оттуда запутанный моток синтетической бечевки.

— О, вполне подойдет. Отрежьте мне, пожалуйста, несколько шнурков...

— Такого добра не жалко...

Пока таксист выполнял просьбу, пассажир бережно положил целлофан с цветами на бровку дороги и, взяв у водителя веревочки, принялся подвязывать ими свои старомодные галоши. Подвязывал старательно, крепко, со знанием дела, так, вроде это ему не впервой.

Таксист с ухмылкой превосходства смотрел на странную затею пассажира.

Что за комедия? Что он надумал? Тем временем артист надежно подвязал галоши, осторожно взял свой целлофан с цветами и довольно властно произнес:

— Ожидайте меня здесь!

— Где — здесь?

— Да вот же чайная в двух шагах от вас, там и подождете. Чайку закажете. Я скоро. Я не задержусь...

И не дав возможности оторопевшему таксисту собраться с духом для возражений, приветливо помахал ему рукой и довольно ловко начал спускаться по скользкой насыпи вниз к дороге.

Уже на дороге еще раз оглянулся и повторил почти сурово:

— Ждите, как условились!

После этого слышно было только, как чавкают, медленно удаляясь, его подвязанные галоши. Нормальный человек вряд ли пустился бы, да еще на ночь глядя, месить такую грязь, разбитую грузовиками, возившими уже не одну неделю свеклу к сахарному заводу, а этот чудила пошел, осторожно ступая между колеями, шаг за шагом уходя все дальше в сумрачные, с низко нависшими тучами поля, в их по-осеннему набухшие черноземы.

Машины носились по трассе сюда и туда, сеялся мелкий дождичек, а таксист все стоял у бровки, наблюдая за странным своим пассажиром, что оставил его здесь вроде бы в дураках, а сам поплелся в село, чуть виднеющееся из-за холма, — ушел вершить какие-то свои, только ему известные делишки. И в то же время этим своим непонятным упрямством пассажир словно бы предстал перед водителем в каком-то ином качестве, показался более значительным, нежели на первый взгляд. И, видимо, именно это что-то более значительное, не вполне тебе понятное позвало артиста в путь, побудив преодолевать вязкую полевою дорогу. Капризный, хрупкий, всю дорогу в шарфик кутался, всего боялся — и сквозняка от окна, и сигаретного дыма

(все, видите ли, бережет свой божественный голос!), а тут вдруг такое отпаял! А случись с ним что, с тебя же спросят.

«Да вернитесь же! Простудитесь!» — хотелось было позвать вдогонку, но так и не позвал, понимая, что такого не остановишь, не вернешь до тех пор, пока он не найдет где-то там среди грязищи заветное место для своих роз.

Итак, ничего тебе не остается как только в чайную.

За прилавком в чайной, что называлась «Василек степной», таксист увидел знакомую свою буфетчицу Ганнусю. Она взглянула на него задиристо, иронически.

— Каким ветром?

— Чертячим. Такой, Ганнуся, невезучий я...

— Скот лопнул?

— Хуже. Навязали тут везти одного типа... Намаялся с ним. Не успеешь стекло опустить, как он уже чихает от сквозняка. С причудами человек. А между тем, говорят, народный артист.

— Да это же Иван Кононович наш! — взволнованно воскликнула буфетчица, зардевшись от неожиданности. — Такого второго певца не найти! Где он?

— Пешком пошел... В село ему тут надо... Такое оранжерейное создание, а заладил — пойду и пойду. Мне бы золотые горы посулили, я бы не согласился месить это ваше Черное море грязищи...

— Поэтому ты и не народный артист, — засмеялась Ганнуся. — Чем же тебя угостить?

Ганнуся обращалась к таксисту весьма участливо, может, потому, что в свое время он пытался за ней ухаживать, да получил увесистую затрещину, и, кажется, именно на этой почве они прониклись уважением друг к другу.

Таксист ответил, что сыт, взял лишь бутылку лимонада и понес его к столику в демонстративно вытянутой руке, словно хотел показать присутствующим, какой он образцовый водитель: в дороге спиртного ни капли, одним лимонадом жив.

В дальнем углу чайной шумно ужинали целой компанией ребята с сахарного завода — судя по восклицаниям, кажется, обмывали чью-то премию, в противоположном углу, не торопясь, пили чай шофера из дальних рейсов, и пивка, видимо, они себе позволили, потому что бутылки без этикеток темнели у них под столом. Таксист со своим лимонадом сел посреди зала отдельно, чтобы все отметили его воздержанность.

Однако почему-то ему было не по себе, что-то его беспокоило. Выпив стакан лимонада, он внимательно осмотрелся вокруг, направился к Ганнусе и спросил, склонившись, доверительно:

— А как ты думаешь, мой там не заплутает в степи? Скоро стемнеет, а я же отвечаю за него...

— Да Иван Кононович эту дорогу лучше нас всех знает, — успокоила Ганнуся водителя. — Ведь это же дорога к его родному селу. Можно сказать, дорога молодости...

— У него там родня какая, что ли?

— Близкой родни уже не осталось, а мать да отца он еще перед войной к себе забрал...

— Так для кого же цветы, спрашивается?

— О, это целая история. Первая любовь его там похоронена, первая, понимаешь? Учительница, говорят, была молоденькая, да от чихотки рано сгорела... Вот он и не может ее забыть. Какой силы чувство это было, суди сам: он ведь так и остался бобылем. А еще говорят, будто сильной любви на свете больше не существует. Он каждую осень приезжает сюда, чтобы положить цветы на могилу в какой-то ихний там день... Нет-нет, из нынешних, пожалуй, немногие способны на такое чувство!

— М-да-а-а... История,— прогудел таксист, зажигая сигарету.

Буфетчица удивленно подняла на него брови:

— Ты что — неграмотный? — И указала ему на табличку у двери: «У нас не курят».

— Извини, не заметил,— сказал он и медленно двинулся к выходу, чтобы покурить на крыльце.

Долго его не было. А когда возвратился, снова подступил к Ганнусе:

— Нету. А сам сказал ждать.

Буфетчица успокоила его и на этот раз:

— Придет непременно, если пообещал.

— Но темень же...

— Видимо, в школе задержался,— высказала предположение Ганнуса. — Он же над детским хором шефствует, пианино им подарил... А у меня тоже от него подарок, — улыбнулась она, — к свадьбе прислал нам пластинку со своей записью, я ею уж так дорожу... Она у меня и сейчас здесь. Мы только по большим праздникам ее прослушиваем. Боимся, чтобы не стерлась.

Подошел один из тех парней с сахарного завода и, бесцеремонно отстранив таксиста крепким плечом, обратился к буфетчице:

— Еще соленых огурчиков и пару шампанского.

Таксист ухмыльнулся насмешливо:

— Соленые огурцы и шампань — ну ты даешь...

— Вас не спросил, — отрезал парень.

— Спокойно, спокойно, не заводись, — сказала Ганнуса. — У нас не скандалят.

Таксист, однако, чтобы показать, что обиделся на этого грубияна, сердито закурил сигарету и снова направился к двери — удалился еще на один перекур.

Стоял на крыльце и все вглядывался в дорогу, уже утонувшую во тьме, с досадой и беспокойством ожидая, не появится ли оттуда тот, кто причинил ему столько хлопот. Ведь и в самом деле, если что с ним случится, спросят тебя, почему не попытался пробиться, не довез пассажира до места, почему бросил человека на произвол судьбы. А ведь если бы сильно захотел, можно и пробиться, не все же застревают, как тот «Москвич», и мотор у тебя надежный, только что из ремонта.

На террасе чайной послышались чьи-то шаги, таксист бросился было туда, но оказалось, это сторож, — прислонившись к стене с подветренной стороны, он тоже курил в одиночестве.

— Это вы Ивана Кононовича ждете? — спросил сторож.

— Его, угадали.

— Ох и намучится, бедолага... А человек-то какой...

Послушав, как на одном из грузовиков полощется на ветру сорванный брезент, таксист снова зашел в чайную, сел у своего недопитого лимонада. На вопрошающий взгляд буфетчицы только головой мотнул: нету, мол. Неизвестно, как теперь и быть.

Вскорости артист, однако, появился. Взошел на крыльцо в сопровождении двоих земляков, с зонтиком, которым его снабдило родное село. Земляки тут на крыльце с ним и распростились — видимо, куда-то спешили, а Иван Кононович в тамбурке долго чистил веником обувь, наклонясь, соскабливал налипшую грязь и только после этого зашел в зал, подтянутый, стройный и точно помолодевший. Поклонился, будто со сцены — в одну сторону, в другую, — затем подошел к буфету:

— А корчмарочка наша все цветет. — Улыбнулся Ганнусе, и она, вспыхнув, вроде и в самом деле расцвела на глазах.

— Напугали же вы нас, Иван Кононович, — сказала она нараспев, — в такое ненастье пойти, по бездорожью...

— Среди земляков не пропадешь,— не без похвальбы сказал Иван Кононович.— Они же меня, представляете, трактором доставили к самой трассе.

— Молодцы земляки,— заметила Ганнуся.

— Честно говоря, мне даже неловко было, что трактор посылают ради такой, как я, многогрешной особы...

— Молодцы, молодцы, что и говорить,— подтвердила свое Ганнуся.— Чем же вас согреть, Иван Кононович?

— Мороженое есть? — пошутил он.— Представьте себе, люблю мороженое. Хотя почти никогда не могу позволить себе этого лакомства, ангины боюсь...

— Я знаю, вы чай крепкий любите. Или, может, чего-нибудь покрепче? — лукаво повела бровью буфетчица.— У меня выбор... Так как относительно того, чтоб покрепче?

— Эх, корчмарочка, не искушай! Нам вот с ним,— он кивнул в сторону таксиста, который стоял уже рядом,— в дороге приличествует воздержание... Итак, чаю, Ганнуся... Вы не возражаете? — обратился к таксисту, и оба заняли места за тем столиком, где перед этим сидел таксист, скучая над своим лимонадом.

— Все хорошо, что хорошо кончается,— успокоенный возвращением пассажира, молвил таксист и горделиво окинул взглядом присутствующих: глядите, мол, с кем я чай распиваю, каков у меня пассажир...

Ганнуся принесла чаю такого горячего — рукой не дотронешься, а на блюдечке душистые ломтики лимона — где она его тут раздобыла?

— Пейте на здоровьице, Иван Кононович, ведь промерзли, пожалуй?

— Да мне жарко даже,— по-молодецки расстегнул он свое пальтишко, откинул шарф, так что стал виден на шее галстук-бабочка — бабочка эта Ганнусе почему-то всегда нравилась.

Чаепитие совершалось неторопливо, таксист теперь уже никуда не спешил, готов был сколько угодно сидеть в этой корчме, на виду у людей, в обществе такого почетного пассажира.

Пока Иван Кононович согревался чаем, ребята с сахарного завода поглядывали на него с выражением явной симпатии, с чувством почтения к своему славному земляку. А когда артист отодвинул пустой стакан, намереваясь встать, хлопцы вмиг подскочили к буфету, и один из них, рослый, с буйной шевелюрой, подмигнул Ганнусе: а ну, какой ты сюрприз там приберегла?..

Буфетчица, похлопотав за портьерой, включила проигрыватель, и на весь зал полилась песня...

Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди...
Цілуй, цілуй, цілуй її
Знов молодість не буде!

От высокого, необыкновенно красивого тембра голоса на всех повеяло весной, роскошью звездных вечеров, взгляды всех присутствующих обратились к нему, к своему народному артисту.

А он, уже собравшись уходить, остановился у порога и, задумчиво склонив седую голову, грустно слушал себя далекого, того, что — оттуда, из молодости.

В гурьбе парней стрельнуло шампанское, и тот же самый, рослый, с буйной шевелюрой, шагнув вперед, протянул артисту полный доверху, пенящийся бокал:

— Уважьте, Иван Кононович, не откажитесь, пожалуйста...

Артист внимательным взглядом окинул хлопцев, взял бокал, обращаясь ко всем, негромко сказал: «Будьмо!» — и выпил до дна. Сделал прощальный жест рукой, снова, как со сцены, поклонился в

одну сторону и в другую, улыбнулся Ганнусе: «Спасибо, корчмарочка, за все» — и вышел вслед за таксистом на крыльцо.

Во дворе, прежде чем сесть в машину, он, замотавшись шарфом, постоял еще минуту, прислушиваясь к пению ночного ветра в верхушках деревьев.

Уже в машине таксист подал ему какую-то дерюгу, сказав несколько смущенно:

— Плед вот тут у меня, возьмите, ноги закутайте...

— О, это кстати,— ответил артист, и после они какое-то время ехали молча, погружившись каждый в свои мысли.

— Скажите,— вдруг нарушил молчание таксист,— а вы могли бы вот здесь что-нибудь исполнить? Хоть потихоньку?

Артист ответил не сразу. Какое-то время думал, вроде решал что-то серьезное.

— Что ж, если желаете,— молвил наконец.— Судьба артиста — петь для всех...— И поправил себя:— Для всех, кто способен слушать...

Пел он негромко, но с большим чувством — и чудилось, что песня эта адресована кому-то далекому.

Цілуй, цілуй, цілуй її
Знов молодість не буде...

В свете фар наискось летел дождь, кажется, даже со снегом.

Ночь мужества

Для тех, кто в палате, он был просто Механизатор. Крайний в углу, у двери. Еще не оперированный. Ходячий еще. А что Механизатор, так это потому, что привезли его прямо с поля. От агрегата. Оттуда, где простор, и жаворонок в небе на рассвете, и человеку так легко дышится.

А здесь... Никто не сказал бы, что его точит какой-то недуг. Такой здоровяк! В палату он явился будто воплощение здоровья, будто один из тех, о ком говорят: человек в расцвете сил. Коренастый плотный крепыш. Широко развернутые плечи, шея атлета. Крепкое с волевым подбородком лицо в жарком загаре, и шея да грудь из-под расстегнутой рубахи тоже загорелые, точно кожа еще хранит на себе знойное дыхание полевых ветров. Лишь разлившаяся в глазах какая-то птичья желтизна подтверждает, что в руки медицины Механизатор попал не случайно.

Никакой в нем паники, никакой растерянности. Спокойное лицо, сурово сжатые губы выражают упорную натуру. Немного словен он.

Когда соседи по палате спрашивают, боится ли он идти под нож, отвечает глухо, уверенно:

— Больше раза не умирать.

— Этот выдержит,— говорит от окна худой, изможденный Кибернетик.

— Должен выдержать,— еле слышно произносит Механизатор.

А только почему же в глазах за той разлитой желтизной так много тоски?

Операция уже назначена, но до нее еще есть время. И так, пока что он свободен. Ему разрешается разгуливать по корпусу. Он встречает студентов в белых больничных халатах, в белых колпаках — куда-то они, шумливые, каждый раз торопятся. Мало что успевают понять из их ученой скороговорки, но решительность в походке, молодая отвага в их глазах действуют на него успокаивающе.

Назначенных на операцию подвозят на каталках к той комнате, где все тайна тайн. Спустя некоторое время появляются оттуда хи-

рурги, потные, угрюмые, раздраженные от напряжения: только что вскрывали человека, заглядывали в самое сокровенное.

«Так ты не боишься?»

«Должен выдержать!..»

Отец — сапер, погиб в ночь, когда форсировали Днепр, вроде от туда, из самых тяжелых своих ночей подает голос: «Держись, сынок. Мы из тех людей, кому надо всегда держаться...»

Хирурги, измочаленные после операции, сидят молча, курят в конце коридора возле аквариума. Склоняясь друг к другу, мрачно смотрят в землю и дымят, дымят, снимая с себя напряжение. Точнехонько хлопцы-механизаторы, когда в осеннее ненастье, намаявшись с плугами возле агрегатов, соберутся наконец в полевом вагончике на свой тяжелый перекур и, рассевшись по углам, понуро слушают, как ветер рвет опалубку да дождь холодно барабанит по крыше.

Много еще тяжелого на свете! Никогда не думалось, что где-то за голубыми полями, за буднями существуют огромные скопища пораженных недугами людей, измученных, исстрадавшихся в ожидании чуда... И что столь изнурителен труд этих людей в белых халатах, с врачебными дипломами, чья судьба сражаться за человеческие жизни...

Когда хирурги уйдут, Механизатор сам займет их место у аквариума; красноперые и золотые, никогда прежде не виденные им рыбки снуют меж водорослями в своем маленьком тропическом море за толстым стеклом. Плавают, весело играют в воде, не чувствуя, что находятся в неволе, что, может, какие-то их рыбки хворости уже подстерегают их. У них есть все необходимое для вполне благополучного существования: вода, песок на дне, водоросли диковинные, а если надо, появится дежурная сестра — накрахмаленная, белоснежная — и, улыбаясь, сыпанет им сверху какого-то специального рыбьего комбикорма... Живи, рыбешка! Сотворила тебя природа, чтобы ты горя не ведала...

— Все не из наших морей,— скажет сестричка, приветливо обращаясь к нему.— Где-то из тех акваторий, где нам вряд ли придется побывать.

— Что верно, то верно.

Часами бродит Механизатор по корпусу, а когда ночь настанет и сон придет в палату, ему и тогда не ложится в постели, нестерпимо ему слушать стоны соседей, и у самого рвется из груди стон, но он, стиснув зубы, сдерживает его... Внутри горит, будто голодные лисичи проникли тебе в нутро и терзают, рвут его. Берет с собой но-шпу и еще какую-то болеутоляющую дребедень и выходит во двор, под звезды и шорох лип. Вахтер уже знает Механизатора в лицо и выпускает его из корпуса без пререканий, умиляясь собственному великодушию.

— Для тебя исключение делаю,— говорит Механизатору,— ведь когда-то и сам на «ХТЗ» сидел, знаю вашу жизнь...

«Надо, чтоб Даринка гостинца ему привезла,— мысленно обозначит для себя Механизатор,— ведь не трешку же сунуть ему за его любезность, да и не умеешь ты трешку... не приобрел еще такого опыта...»

Липы шелестят, звезды мерцают над телевизионной башней, где-то птица сонно воркует,— не горlinkа ли полевая залетела с лесополосы?

Странное чувство: будто впервые открываются ему эти ночи с темными шатрами лип, с мерцанием звезд, с отдаленным мощным гудением города. Бесчисленное множество звезд в небе, может, чьи-то душ, когда-то обитавших на земле, а теперь они целыми созвездиями собрались в свои небесные звездные роды... Прямо перед глазами висят среди космоса Стожары, висят гроздью расцветшей ака-

ции... Говорят, есть еще Волопас, и созвездие Лебеда, и созвездие Жирафа, но где они, где? Стожарами да Медведицей исчерпываются твои знания о вселенной, их только и узнавал в свои трудовые, такие длинные ночи... Кто там сейчас на твоём месте, в кабине у руля, пока ты здесь одиноко ожидаешь чуда? Сережа все просился: «Возьми, папа, с собой в ночную, я не усну». «...Только еще рано тебе, сынок, твое от тебя не уйдет...»

Между липами, где после дождя блестит лужица, двое утят устроились, вчерашних твоих знакомых, диких. Залетели откуда-то, неким десятым чувством учуяли, что их тут никто не обидит, и прижились, обвыклись возле людей. Как они постигли, какой инстинкт им подсказал, что человек, попавший в беду, человек, которому больно, становится добрее ко всему живому?

И Механизатора эти маленькие дикари не испугались, только перекрякнулись о чем-то между собой, когда он остановился совсем близко возле них. Чуть всполошились, но не оставили облюбованного места. Сколько же их было пугано там, в его краях, когда порой хлопцы, собравшись целой компанией,— то на мотоциклах, а в непогоду и на тракторе,— отправлялись на охоту. Нет, не до жалости, не до сострадания тогда было — там царила удаля, всю гулял веселый охотничий азарт! Получишь потом от председателя нагоняй за самовольно взятый трактор, слушаешься дома упреков от своей Даринки, и поделом, ведь вернешься в грязи по уши, как чертяка болотный, да еще и на ногах чуть держишься,— не рюмки же берете на охоту, а стаканы граненые,— свой был в этом механизаторский гонор, свой шик... Да, жалости не было, все, что в воздухе летит, становилось мишенью, слышали только ружейную пальбу да крики подранков, запутавшихся где-то в траве. Разгул азарта, суета, всплески пламени над камышами, кроме этого, кажется, и не видел ничего — ночной тишины не слышал. А теперь вот хочется присесть и погладить рукой этих прибившихся сюда утят, что так трогательно уютятся здесь, жмутся друг к другу, без опаски пристроившись за шаг от твоей ноги.

И небо все в звездах, такое, будто ты раньше его и не видел, и эти липы-красавицы, чьей красы ты раньше не замечал. Неужели надо было столько перестрадать — и дома, и на работе во время приступов, и этими больничными, наполненными стенами ночами, чтобы хоть немного прозреть и стать способным замечать какие-то самые обычные и вместе с тем безмерно прекрасные вещи, которыми изобилует этот живой окружающий мир?

Сев на скамейку недалеко от утят, поглядывал на темные больничные ворота, запертые на ночь. Вскоре должна приехать его Даринка. Оставит детей на маму, выпросит у председателя «газик»-вездеход (отказа не будет) и стремглав примчится сюда, на горькое свидание. Прихватит гостинцев домашних, хотя они тебе сейчас и ни к чему. Накануне удалось связаться с конторой колхоза по телефону, посоветовал, когда будет ехать Даринка, пусть возьмет на ферме свой белый халат, из тех, что в качестве спецодежды выдают дояркам, потому что здесь насчет халатов не очень, в гардеробе посетители их не допросят, а без халата в корпус не войдешь. И надо же, Даринка и сама об этом уже подумала, проявила находчивость, так ему контора ответила. Не будут Даринку теперь задерживать — примут ее за медсестру или санитарку, явившуюся для пополнения медперсонала.

Даринка — вот кто для него дороже всех на свете! Ну и мама, конечно, и дети само собой, однако Даринка... что и говорить. Она еще больше раскрылась в эти трудные для них дни. Молодчина, оказалась такой смелой, решительной, это она настояла, когда ему стало совсем плохо, чтобы его не держали в медпункте, а немедленно отправили в город, в самый лучший институт, где научные светила,

где аппаратура!.. После ее посещения ему становится вроде лучше, может, потому, что она, как никто, верит, что все обойдется, что чудо все-таки произойдет. Ах, Даринка, Даринка! Хорошо, что не слышишь ты, как ругаются по ночам в палате больные, последними словами поносят тех, что напридумывали ракеты да всякую прочую гадость для смертоубийства, а простейшего лекарства, чтобы спасти человека, изобрести не могут... Ах, Даринка, гординка моя...

Склонился на руку, погрузился в дрему, и тут же Даринка ему приснилась: будто где-то полем гонится он за нею, бегут они среди пшеницы высокой, вот-вот, кажется, схватит ее, свою женушку юную, однако она все не дается ему в руки, все убегает, оглядывается, смеется, такая молодая-молодая, тугогрудая, чернобровая, только почему-то совсем седеая... Очнулся в тревоге: к чему бы это? Как истолковать этот сон? Раньше не верил он в сны, не верил в приметы, а эта вот убегаящая, молодая, как в девичестве, ускользающая из рук его Даринка, что так призывно смеется, хотя и совсем поседела во сне,— какую весть подает она своим появлением?

Может, это знак, что Даринка уже в дороге, где-то мчится к нему ночными полями, неся ему свою радостную веру в чудо? Что он ей скажет при встрече? Найдет ли какие-то особы, редчайшие слова, осмелится ли произнести слова высшей нежности, такие, каких уже давно не слышала от него Даринка...

А сегодня рождались в его душе такие к ней обращения, юношеские, давние, и ребятишек называл здесь под липами совсем необычными ласкательными именами, к которым дома он прибегал лишь изредка. Ведь после целого дня в поле, когда тело гудит от усталости, когда все радикулиты лезут к тебе в кабину, вваливаешься домой, словно побитый, и неохота смотреть детские тетради, а тем более вглядываться в тянущиеся тебе навстречу сложные детские души. О, как хотелось бы ему сейчас сделать что-то доброе, приятное малышам, и маме, и жене! Пусть только выберется отсюда, никогда маме слова грубого не скажет, и нервы Даринки будет беречь, не обидит ее ни на копейку, даже во хмелю не станет ревновать ее к тому шалопаю-зоотехнику,— пусть танцует себе с ним на свадьбах сколько угодно, ведь ты же хорошо знаешь, что душа ее принадлежит тебе, что оснований для ревности у тебя никаких. В корне перестроит он теперь всю свою жизнь! Переделает свою натуру, на все сто восемьдесят повернет в лучшую сторону! Докурит вот сигарету — и все, могила. И к рюмке не прикоснется, а если уж обстановка заставит, пепси-колы хлебнет или чего там. И на охоту — ни в какую. Только вернется, и ружье свое выбросит вон. Впрочем, нет, лучше сунет под пресс в мастерской, чтобы аж захрустело! Пусть, наконец, у птиц на Бродщине и Чары-Камышах будет праздник. Чтобы не случилось, как с тем директором из-за Ворсклы, который ни одной охоты не пропустил, каждый раз дичи полгазика вез, а когда потрянуло инфарктом раз да потрянуло второй, так он, бывшая гроза всех пернатых, теперь если и отправляется на угожья, то лишь по привычке — станет где-нибудь у озерка и ждет, чтобы хоть какая-нибудь мелкота над головой пролетела, чтобы хоть крылышко живое прошумело над ним... Часами, бывает, томится в своем открытом «газике», да все напрасно, а потом уронит голову на руки да и затужит, бедняга. «Никакие птицы не летят ко мне: ни нырки, ни тарахтаны, ни даже бекасы! А мне так хотелось бы хоть разочек еще взглянуть...»

Сколько всяких дум за ночь передумает Механизатор, сидя под деревьями, и лишь перед рассветом, когда его позовут, тихонько переступит порог палаты.

— О, бродяга наш вернулся... А мы решили, что ты от ножа убежал.

— Не из тех я, что убегают...

А Даринка его уже близко. На этот раз не «газиком», иным транспортом добиралась в город: сойдя с ночного поезда, не ожидая, пока пойдут первые трамваи, пешком шагает с увесистыми гостинцами за много кварталов к знакомому ей корпусу — новый, недостроенный, возвышается он верхними, не заселенными еще этажами среди темного парка.

Во время предыдущих посещений Даринка приноровилась к здешним порядкам, научилась ловко обходить преграды, поэтому идет она не к парадному, где контроль довольно строгий, появляется эта посетительница на внутреннем черном дворе, в тылу корпуса, здесь будет ждать она до утра, расположившись на скамейке возле той самой лужицы, где прижились двое диких утят — уточка и селезень... Тут перекусит сама, потом и птиц покормит крошками, внимательно наблюдая, как, подкормившись, пытаются они нырять на своем мелководье, смешно так водичку носами фильтруют. Здесь Даринку и утро застанет. А когда заря заполыхает над городом, начнет она прикидывать, как ей лучше всего проскользнуть в корпус. Нужно не так, а эдак. Не отсюда, а, пожалуй, оттуда... От вахтера-придиры милосердия не жди, а вот заступит на смену знакомая лифтерша, тогда другое дело... А кроме того, ведь и спецодежда у тебя, Дарина, с собой...

Механизатор человек покладастый, однако перед операцией посорился поначалу с персоналом, наотрез отказался ложиться на больничную каталку: он, мол, ходячий и в состоянии сам дойти до операционной.

— Нет, мы просим вас лечь, — настойчиво уговаривали его, — у нас такой порядок.

— Формалисты вы со своим порядком... К чему это: ходячего везти на колесах, вроде младенца?

— И все же мы настаиваем. Не упрямитесь, пожалуйста. Иначе...

— Ну что — иначе?

— У нас будут неприятности.

Подумав, согласился.

— Ладно, будь по-вашему, хотя смешно, — буркнул он сердито. — Везите.

Вскоре после того, как он, укрытый простыней, в сопровождении сестер исчез за дверью операционной, в коридоре появилась еще одна, вроде бы медсестра — чернобровая молодичка в белоснежном халате, в котором только опытный глаз мог бы угадать один из тех халатов, что носят доярки. В конце коридора, притаясь за высокой, чуть не до потолка пальмой, Даринка стояла возле аквариума, но ни рыбок красноперых не видела, ни сигаретных окурков, натканных в бочке с пальмой, — вся она была сейчас сплошное напряжение, вся обратилась в зрение, в слух... Не сводила полный ожидания и беспокорства взгляд с двери операционной. Прислушивалась, не донесется ли оттуда голос, но ни голоса не было слышно, ни крика, ни стопа. Стояла так, сама не знала сколько. То ли час, то ли вечность, и все не отрывала взгляд от двери, за которой никому не известно что: жизнь или смерть?

Не заметила, как усатый вахтер с ледяными щелками глаз очутился рядом с ней и словно поймал на месте преступления:

— Ты как проскользнула?

Вероятно, надо было сразу ткнуть ему трояк, но что-то удержало Даринку. Так же, как и муж, она до сих пор не научилась совать деньги. Да этот служака, похоже, и не взял бы — не тот момент. Поэтому сказала только:

— Извините.

— А халат кто тебе выдал?

— Это из дому,— ответила, чувствуя себя крайне виноватой.— Вы уж разрешите... Тут ведь оперируют моего... Батьку нашего! — выкрикнула она полусшепотом.— У нас же трое детишек!

И такая в ее голосе звучала мольба, что даже этот привыкший к упрощениям служака дрогнул.

— Смотри тут,— смилостивился он и, махнув рукой, направился к лифту.

Из операционной не доносилось ни звука. Никто не заходил туда, никто не появлялся из этой самой таинственной из комнат, хотя что-то там происходило, что-то свершалось тревожное, страшное.

Нервы посетительницы напряжены были до предела.

Спустя какое-то время появилась старушка лифтерша — она покровительствовала Даринке, но сейчас и ей пришлось объяснить: мол, здесь, близко от операционной стоять не разрешается, надо перейти вон туда, в противоположный конец коридора.

— Иду, иду,— сразу же согласилась Даринка и покорно последовала за лифтершей.

Но не успели они пройти и нескольких шагов по коридору, как Даринка услышала, что дверь операционной открывается. Оглянувшись, она увидела, как оттуда выходят белые колпаки. Не помня себя, отбросив все запреты и правила, она решительно бросилась навстречу хирургам. С ходу, с лету угадала именно того, который был ей нужен. Колпак, огромные очки да злое усталое лицо с впалыми щеками.

— Вы — профессор?

Очки, сердито блеснув, взметнулись на нее.

— А вы кто такая?

— Я — жена! Как он? У нас трое детишек...

Это был самый сильный из всех возможных ее аргументов и в то же время мольба, призыв спасти мужа, вернуть к жизни.

Профессор чуть смягчился, но в голосе его по-прежнему слышались недовольные нотки:

— Мы сделали все, что возможно. Даже больше... Но... мы не боги.

— Так как же?

— Остается надеяться на чудо.

Ссутулясь, он пошел к аквариуму, доставая на ходу сигареты.

Один из врачей помоложе, возможно, ассистент профессора, коснулся плеча посетительницы:

— Поймите, у него ведь тоже нервы... Но операцию он сделал блестяще...

— Так он будет жить?

— Вы же слышали: надеемся на чудо.

После этого он тоже направился к аквариуму, чтобы сигаретным ядом снять с себя напряжение.

Итак, требуется чудо. А откуда его взять? И верит ли она сама в чудо? Никогда не задумывалась над этим. Но ведь должно же существовать в природе чудо, должно же оно хоть изредка являться человеку,— нет, оно должно, непременно должно произойти! Сейчас! Ведь отец же! И дети! И на работе им так дорожат! И друзья дорожат и правление, такой он совестливый, безотказный, уважительный к людям, зимой и летом возле трактора. Он из тех покладистых, что не хитрят, за спины других не прячутся, себя не умеют щадить. А ей, а семье — где такого найти? Нет, он нужен всем, всем! Вы обязаны во что бы то ни стало спасти его, слышите? Безгласно, бессловесно взывала она к тем, в колпаках, что, склонившись над аквариумом, тонули в сигаретном дыму.

А потом упростила врачей, чтобы не удаляли ее из корпуса. Будет помогать санитаркам, судна носить, она ведь не боится любой,

пусть даже самой черной работы. Ей разрешено было ночевать в конце коридора на стульях. Разрешение это приняла с чувством глубокой благодарности. Теперь она близко от него — он дышит за стеной в реанимации, а она верит, что ее присутствие поможет поддерживать его жизнь, его дух. Может, это и будет оно, то самое чудо?

Со временем, когда Механизатора снова перевели из реанимации в общую палату, Даринке разрешили взглянуть на мужа, отца ее детей. Увидев его, она обомлела: да разве это он? Муж лежал на кровати, открытый по пояс, в бинтах, рядом стояло какое-то устройство. От него к руке больного тянулся шланг.

— Капельница,— шепнула сестра.

Даринку ужаснули изменения, происшедшие в его внешности. Она знала его всегда полным здоровья, он иногда умел быть даже шутливым, веселым, а теперь он лежал перед ней угасший, с лицом побелевшим, опавшим, и голова его казалась непривычно большой, а странные тягучие хрипы в груди заглушали все звуки в палате. Не слышно было ничего, кроме этих хрипов, размеренно, монотонно повторявшихся, распиравших грудь, будто кузнечные мехи. И, пожалуй, лишь эти хрипы только и говорили о наличии жизни, лишь они свидетельствовали о борьбе могучего человеческого организма. Так вот, значит, как тяжело человеку приходится воевать за свою жизнь? Крик готов был сорваться с губ Даринки, но она нашла в себе силы сдержаться, даже изобразить на лице подобие улыбки.

— Андрюшенька, голубчик...

Андрей узнал ее. Об этом она догадалась по его полураскрытым глазам, по такому спокойному и словно прицельному его взгляду — видно было, что он хотя и заметил Даринку, однако направлен куда-то к потолку, а то и дальше, к чему-то такому, что ей не под силу было ни разглядеть, ни понять. Что он там видел, в углу потолка? К чему был прикован его взгляд? И почему она не слышит от него ничего, кроме хрипов? Неужели он не в состоянии вымолвить хотя бы полсловечка?

Она и дальше делала вид, что не испугана, стояла вроде невозмутимая, чуть ли не с улыбкой. Лицо ее светилось в эти минуты прежней степной красотой, пусть и нелегко ей это далось, и хотя ее душили слезы, она ни за что не обнаружила бы своей слабости, своей боли и отчаяния. Нет, она стоит здесь такая, какая ему нужна,— чуть ли не веселая, с полными жизни блестящими карими глазами,— стоит такая, какой он ее любил.

Но не услышит на этот раз от него ни слова. Его жесткие уста не тронет даже тень улыбки. Только размеренные протяжные хрипы и спокойный мужественный взгляд, устремленный куда-то ввысь, говорят о том, что он жив. Взгляд, которого она никогда прежде у него не замечала.

Не трогай его. Не нарушай эту собранность, эту экономно затрачиваемую энергию, что пытается найти, нащупать гармонию тела и души, но найдет ли? Да, перед тобой жизнь человеческая, жизнь, что из последних сил отстаивает себя...

Теперь Даринке будет позволено ночевать возле него в палате, в углу на стульях. Так пройдет ночь, вторая, настанет и третья, и все будет стоять возле него устройство под названием капельница, устройство, в котором Даринке видится что-то злое и в то же время сулящее надежду. Для нее перестало существовать все, что осталось на дворе, за окном, свет сошелся для нее здесь, на нем, бесконечно родном. Здесь, уставшая, она передремлет, вскакивая на каждый стон, а тут вскочила, когда было уже, пожалуй, за полночь, и увидела, как украдкой приближается к кровати Андрея тот худощавый, заросший, аж страшный Кибернетик... Подошел, еще раз огля-

нулся по сторонам и вдруг опустился возле кровати на колени, всмотрелся Андрею в лицо, прислушался к его размеренным хрипам, несдающимся, словно они могли ему поведать, приоткрыть нечто самое важное из всего.

— Вы так мужественно держитесь,— слышит Даринка полусшепот Кибернетика, обращенный к Андрею.— А меня завтра уложат на стол, под общий наркоз... Мне страшно. Что, если не проснусь? Научите, где силы взять? Чем дух укрепить? Вы же так боретесь, это просто героизм... Я преклоняюсь перед вами!..

— Не трогайте его, не беспокойте,— стала рядом с Кибернетиком Дарина.— Ему и так тяжело...

Кибернетик покорно поднялся, угрюмо поплелся к своей постели.

А взгляд Андрея вроде ожил, и когда Даринка, боясь зацепить капельницу, подсела к нему на краешек постели и, наклонясь, дотронулась до руки мужа, глаза его ожили еще больше, в них затеплился свет жизни, и жизнь эта оборотилась слезой: чистой, большой. Слеза сорвалась и покатилась по щеке... Не в состоянии смахнуть ее, Механизатор чуть заметно шевельнул головой и долго, пристально смотрел на свою Даринку. Потом сквозь хрипы, все такие же протяжные, громкие, она уловила, скорее угадала чуть слышное:

— Живите дружно.

И обмерла от этих слов, похожих на завещание.

Ночью под кронами лип стоял грузовик, прибывший из дальних полей. Несколько человек, по виду механизаторов, в кузове накрывали брезентом гроб, сделанный в колхозной мастерской,— рядом со взрослыми хлопотал и малыш, хлопотал молча, деловито.

— Теперь ты старший, Сережа,— глухо обратился один из мужчин к малышу.— Будешь, как отец.. Вот кто по-человечески жил...

Укрыли и только тронулись, как из-под колес машины шумно, стремительно выпорхнули те дикие утята, что прижились здесь,— взметнулись и, рассекая воздух, скрылись над верхушками лип.

В скорбном молчании выехали люди за город, вскоре им навстречу повеяло ветром полевым, донесшим запах придорожных цветущих акаций. Парнишка жался в углу кузова возле матери. Она прикрыла его платком, уже вдовым, положила руку на плечо. Отныне малый хозяин в доме; сам напросился ехать, а теперь сидел, понурясь по-взрослому, будто и не веря в то, что произошло и что происходит.

Авторизованный перевод с украинского.



В. КАВЕРИН

★

ЛЕТЯЩИЙ ПОЧЕРК

Повесть

1

Впервые это случилось в пятом классе. Дима написал сочинение на тему «Моя комната» и получил тройку — из-за пианино. Его отец не любил музыку и называл ее «организованный шум». Дима написал: «В моей комнате стоит кровать, стол, стул и этажерка», и учительница красным карандашом оценила сочинение как: «Неинтересное и нетворческое». Оказывается, надо было упомянуть рояль или пианино, хотя у Димы в комнате не было ни того, ни другого. Это «надо» впервые заставило задуматься Диму.

В другой раз учительница накануне контрольной работы по темам роно собрала класс, сообщила тему, подобрала цитаты и разработала планы. Дима сказал ей, что это — обман, ушел и на другой день получил за сочинение пятерку. Обман был раскрыт, у директора были неприятности, дело рассматривалось на педсовете, и учительница, оправдываясь, сказала, что она защищала честь школы. Об этом узнали в классе, и Дима снова глубоко задумался: значит, чтобы защитить честь школы, нужно солгать?

Потом у Димы был интересный разговор о вранье и девчонках. Мишка Палладин считал, что от вранья можно избавиться, исключив из школьной программы все гуманитарные предметы. Или, занимаясь ими, открыто пользоваться шпаргалками, потому что шпаргалка по своей природе — зеркальное отражение правды. «Что касается девчонок, — заметил он, — и прочей белиберды, мне лично, чтобы не врать, приходится пользоваться математическими формулами. Но я все равно вру. А ты что? Решил девчонкам не врать?»

— Мне, брат, очевидно, придется худо, потому что я решил вообще не врать, — грустно заметил Дима. — Я заметил, что от вранья у меня руки дрожат и становится холодно, как будто меня бросили в прорубь.

— Надо лечиться, — философски заметил Палладин.

2

Родители в общем нравились Диме, хотя жить было бы легче, если бы они время от времени не занимались вопросом о его воспитании. Отец не делал почти ничего, что ему не хотелось делать, мало ходил, по утрам не делал зарядку, не обливался холодной водой и вообще не мучил себя, хотя иногда говорил, что себя надо мучить. Он довольно толстый, бледный, в очках, а когда болеет, отказывается от лекарств на том основании, что неизвестно, почему они помогают. Целый день он ничего не ест, возвращается домой из суда (он прокурор), обедает в семь часов, а в восемь требует ужин.

Мама — врач, но, по-видимому, плохой врач, потому что она откровенно признается в том, что давно забыла все, чему ее учили в медицинском институте. Она часто жалуется на усталость и действительно легко устает, хотя отец утверждает, что согласно закону какого-то Джемса она должна еще больше уставать от постоянных жалоб на усталость. Она так много и, в общем-то, неясно говорит, пересякая с одного на другое, что отец начинает смеяться, а Дима тихононько гудеть «у-у-у» или выключаться, как будто говорит не мама, а радио, но она все равно говорит, и если долго гудеть, начинает сердиться, Диму родители воспитывают главным образом тем, что они за него боятся. По их мнению, здорового, обыкновенного парня на каждом шагу подстерегают опасности на земле и в воде, хотя Дима хорошо плавал (второй разряд) и считался самым сильным в классе.

Словом, родители не мешали бы жить, если бы по меньшей мере два-три раза в неделю не ссорились. Существовала, оказывается, какая-то Наталия Михайловна, с которой отец, по-видимому, виделся гораздо чаще, чем хотелось маме. Ссоры начинались внезапно, чаще всего в передней. Он надевал пальто, закутывал шею, боясь простудиться, а мама сперва ругала его шепотом: «Подлец, подлец!», а потом все громче и наконец: «Все кончено, уходи и не возвращайся». Отец отвечал, что он давно бы ушел, если бы не дети. И, хлопнув дверью, он торопливо спускался по лестнице, а следом за ним, к удивлению Димы, уходила и мама. С балкона было видно, что она идет за ним, прячась за углом или в подъездах. Это, пожалуй, можно было объяснить тем, что она за него беспокоится. Но чем же она могла помочь ему, если бы на него напали? Впрочем, однажды Диме представилось, что у отца тайные враги, и один из них выскакивает в маске, с ножом в руке, и мать грудью защищает отца. Но это было давно, когда Дима был еще маленький. Теперь ему шел семнадцатый год, и он все понимал. И не только он, даже Леночка.

Слабенькая, тихая Леночка в четыре года научилась читать и по целым дням сидела за книгой. Мать заставляла ее выходить в сквер, но она вскоре возвращалась. «Там очень шумно, мамочка», — говорила она и снова принималась за чтение.

Кроме родителей и детей, в доме жил еще дед Платон Платонович. Он вставал с кресла, опираясь на две лыжные палки, и за обедом отказывался от супа, потому что у него дрожали руки. Читал он, пользуясь очками с такими толстыми стеклами, что когда Дима надевал их, буквы казались ему огромными, как навозные жуки. Диме было запрещено ходить к деду, но он все-таки ходил, брал у него книги и читал по ночам, а под утро прятал за учебниками на этажерке.

В конце концов история с Наталией Михайловной кончилась очень грустно. У нее было большое сердце, и она неожиданно умерла. Приступ случился ночью, она уснула и не проснулась.

Отца привели под руки какие-то незнакомые люди, он еле передвигал ноги, потерял очки, бледное лицо было искажено от мучительной боли. Лицо было такое, как будто ему велели проглотить что-то большое, больше его самого, и он старается, но не может.

Интересно, хотя мать была взволнована, но держалась совершенно спокойно. Раздела его, посадила в ванну, потом положила в постель и осталась в его комнате на ночь. А утром позавтракала, принесла ему чай с бутербродами, позвонила на работу, что не может прийти, и снова весь день не оставляла отца.

К вечеру все-таки пришлось вызвать «скорую помощь», отцу что-то впрыснули и велели лежать. Он лежал и плакал. Дима старался не смотреть на мать, которая в два дня порозовела и похоронела. Он не знал, любил ли он ее прежде, но теперь не то что стал не любить, но не мог справиться с каким-то другим, незнакомым чувством. **Это**

было как бы чувство отсутствия матери не только в доме, но вообще на земле. Впоследствии таким же образом для него исчез Валька Стружкин.

3

Диме казалось, что дед жил в девятнадцатом веке. Он ничего не слышал, и ему нужно было писать записки, на которые он кратко отвечал своим слабым, но отчетливым голосом.

Дима зашел к нему и написал: «Что ты думаешь обо всей этой истории, дед?»

— Что она повторилась, — загадочно ответил дед.

— «Я никого никогда не буду любить» — это была вторая записка.

— В твоём возрасте и я думал так же.

— «И ошибся?»

— Да. Смертельно ошибся.

Дима не понял.

— «Смертельно?»

— Почти.

— «Мама ни на минуту не оставляет отца».

— Да.

— «Бойтся, что он умрет?»

— Нет. Он оправится. Ему не придется провести четыре года в психиатрической больнице.

— «А тебе пришлось?»

Дед не ответил.

— «Значит, можно сойти с ума от любви?»

— Нет. Но можно рискнуть жизнью. Ну, скажем, броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с тем, кого любишь. Ты знаешь, что такое метафора?

— «Нет».

— Переносный смысл на основе какого-нибудь сходства или сравнения. «Колючая проволока» — это метафора.

— «Кажется, понимаю. До свиданья, дед. Пойду думать».

— А ты просто садишься и думаешь?

— «Или ложусь. Чаще ложусь».

4

Так началась и продолжалась новая странная жизнь. Все перепуталось. Обедать отец теперь из суда не приходил. За ужином все молчали. Только Леночка звонким детским голосом рассказывала «Таинственный остров» Жюль Верна, с которым она не расставалась.

Иногда отец возвращался пьяный, и тогда мать отводила его в спальню, раздевала и укладывала в постель. Она больше не следила за отцом, когда он уходил из дома, и Диме казалось, что у нее отняли важное, интересное занятие, заполнявшее ее жизнь. В доме было грязно, обеды и ужины, которые наскоро готовила мама, невозможно было есть, невкусные соусы и винегреты съедал Лис — огромный сенбернар, который понимал, что семейство разваливалось, но помочь, к сожалению, ничем не мог.

5

Малышевы жили в Замоскворечье, в одном из маленьких переулков, выходивших на Кадашевскую набережную. Здесь еще сохранились остатки старых садов, и во дворе дома весной зацветали липы. Двор был большой, в глубине его чувствовался их нежный запах.

Через полевой бинокль, который подарил ему отец, когда Дима окончил школу, за окном открывалась панорама разрушенных зданий, заваленное битым кирпичом и штукатуркой неопределенное пространство, на котором перестраивалась Третьяковка. Подъемный

кран был похож на пирамиду, которая сужалась, уходя наверх, к двум крыльям — длинному и короткому. Длинное было покрыто мостками и огорожено перилами. От него спускался до земли трос, кончавшийся крюком, похожим на огромную железную руку, хватающую груз и неторопливо, осторожно переносившую его куда-то в глубину строительной площадки. Короткое крыло держало платформу, нагруженную бетонными блоками, а между ними были видны в будке плечи и голова человечка, который, должно быть, управлял работой на кране. Но Дима с чувством странной зависти рассматривал другого человечка, который время от времени ходил по длинному крылу на опасной веселой высоте с сумкой через плечо. Это был — Дима знал — слесарь-верхолаз.

6

Он привык к тому, что родители постоянно ссорятся, но так долго они не ссорились ни разу — в субботу и воскресенье с утра до вечера, а в рабочие дни — до поздней ночи. Речь шла о дочери покойной Наталии Михайловны, Маринке, которую отец просил, умолял, приказывал взять в семью и о которой мать не хотела и слышать. Дима подозревал, что он точно так же просил, умолял и пытался приказывать Маринке. Впрочем, приказывать он не умел и, в конце концов, поступил очень просто: перестал отдавать зарплату жене, а чтобы дети не умерли от голода, покупал им каждый день буханку бородинского хлеба. Дима не жаловался, но семилетняя Леночка просила маслица и плакала, когда Ирина Сергеевна посылала ее за маслицем к отцу. В конце концов мать согласилась, но с таким лицом, что Дима невольно пожалел неведомую Маринку. Она была на год старше Димы, ей минуло восемнадцать, в прошлом году она кончила школу. В последних классах она научилась печатать на машине в УПК¹, и Василий Платонович оформил ее секретарем к старому писателю. Каждый день от девяти до одиннадцати и от четырех до шести он диктовал ей письма и мемуары. Дня три Ирина Сергеевна делала вид, что Маринка не существует, но та быстро доказала обратное, и началась совсем другая, более или менее терпимая жизнь.

Она была похожа на птицу, случайно залетевшую в этот скучный, молчаливый дом, где изредка слышался только звонкий голос Леночки, читавшей и рассказывавшей теперь «Из пушки на луну» и не верившей Диме, что до Луны уже давно добрались. Но случайно залетевшая птица билась бы в стекла, а Маринка не билась. Она, правда, летала, но деловито, не теряя времени и постепенно приводя в порядок грязную, запущенную квартиру. Она вымыла полы, откидывая белокурую челку, то и дело падавшую на глаза. Правда, работники из «Зари», может быть, сделали бы лучше, не только вымыли, но натерли бы воском полы. Но Маринка боялась заговорить об этом с Ириной Сергеевной — это все-таки обошлось бы в копейку.

Однажды Леночка вернулась из школы домой и сказала, что больше не пойдет. Маринка на следующий день отправилась вместе с ней и простояла за стеклянной дверью класса три часа, пока не кончился школьный день. На переменах она ее не оставляла.

Трудно сказать, где она достала шерсть, но нашла время, чтобы связать для Ирины Сергеевны красивую черную накидку, отделанную белой полоской.

По вечерам, после ужина, Маринка надолго занимала ванную — стирала, мылась. Все на ней скрипело и потрескивало — подкрахмленные передники, длинные, до локтя, нарукавники, и это потрескивание казалось Диме воплощением чистоты, не только внешней, но

¹ Учебно-производственный комбинат.

и внутренней, душевной. Она брала у Ирины Сергеевны деньги на продукты, а потом старательно, разборчиво писала отчет.

Часто она выходила к завтраку с распухшими от слез глазами, и Дима догадывался: не спала ночь, думала о маме. В эти минуты Василий Платонович смотрел на нее, стараясь удержать вздрагивающие губы, и Дима начинал думать, что отец любит Маринку больше своих детей, но как-то иначе.

Дима был очень занят, готовился к экзаменам в институт, и у него не было времени, чтобы подумать, влюбился ли он в Маринку или еще нет. И он решил поговорить с ней об этом.

— Понимаешь, я не могу решить, люблю ли я тебя или еще нет,— сказал он однажды, уловив минуту, когда Маринка складывала белье и была относительно свободна. Она засмеялась.

— Ты странный парень. Разве можно советоваться с девочкой, любишь ты ее или нет?

— Мне все говорят, что я странный парень. А почему нельзя поговорить?

— Потому, что ты должен это почувствовать. Влюблен или не влюблен?

— Нет, это сложнее. Дело в том, что если бы мы влюбились, из этого все равно ничего не вышло. Ничего хорошего. Дети уроды и так далее.

— Почему?

— Потому, что ты дочь моего отца и, стало быть, мы — родные по крови.

— Мы не родные по крови. Я родилась, когда твой отец и моя мать были еще незнакомы. Мне было три года, когда он стал приходить к нам. Для меня он всегда был Василий Платонович, и я никогда не называла его «папа».

— Значит, мы — не родственники?

— Нет. У нас даже разные фамилии: ты — Малышев, а я — Родионова. Вообще, не надо влюбляться. Я занята с утра до вечера, а ты все лето будешь готовиться на юридический. Да?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я передумал. Не хочу быть юристом. Родители заставляют меня ходить в суд, и я иногда хожу. Неинтересно. Кроме того, мне кажется, честные юристы всю жизнь должны мучиться угрызениями совести.

— А Василий Платонович, по-твоему, мучится?

— Да. Я даже думаю, что он пьет, потому что мучится. Например, один тренер по боксу избил учителя, который ставил двойки его сыну. Отцу позвонили откуда-то сверху, и он — я его слышал — произнес такую речь, что тренера оправдали. А учитель умер.

— А если не на юридический?

— Не знаю. Я хочу быть верхолазом.

— Кем?

— Верхолазом. Слесарем по монтажу на башенных кранах.

8

Почему-то они стали ближе друг к другу после этого неожиданного признания, хотя Маринке совсем не хотелось, чтобы Дима лазил по каким-то башенным кранам. Кроме того, она, так же, как Дима, очень интересовалась дедом. Дима рассказал ей свой интересный разговор с ним о любви, и они решили, что в жизни деда была какая-то тайна.

Родители в этот день еще не вернулись с работы, и они заглянули к деду — просто поболтать.

⇒ «Родители надоедают нам разговорами, что им жилось плохо,

а мы на всем готовом, и нам хорошо,— написала Маринка.— Они правы?»

— Да,— ответил дед.— Новое поколение почти не знает истории своих отцов и дедов. Им жилось бесконечно труднее, чем вам. Они перенесли очень суровые времена, а потом началась самая страшная в истории человечества война. А дети думают только о себе, и прошлое их не интересует.

Дима долго сочинял очередную записку, а потом зачеркнул ее, оставив слова:

— «Нет, дед, ты ошибаешься. Интересует. Но тебе не кажется, дед, что прошлое скрывают от нас?»

— Нет,— возразил дед.— Пришло время, когда история позволила вашему поколению шагнуть через десятилетия. Но она ждет своего часа.

— «Животные не знают своего прошлого, а между тем прекрасно живут».

— Может быть, и знают. Но в их сознании прошлое лишено соиздательной силы.

— «Для меня прошлое началось с новогодней елки в Колонном зале»,— заметил в своей записке Дима.

— «А у меня, когда мама пошла со мной в зоологический сад»,— прибавила Маринка.

Этот интересный разговор оборвался, потому что дед вдруг сказал, что он стал лучше видеть.

— Как-то яснее,— объяснил он.— Ты, Мариночка, по-моему, хорошенькая, хотя теперь редко пользуются этим словом. Глаза немного выпуклые, но это тебе даже идет. Ты на все вокруг смотришь с удивлением. Ты блондинка, уши открыты, а на затылке заколота гривка.

— «Да, я хорошенькая: белобрысая и курносая. Глаза, как у карася, когда его уже поймали. А волосы заколоты, потому что я не люблю ходить распустехой».

— А ты, Дима, широкоплечий и коротковатый,— с огорчением сказал дед.— Ты, должно быть, много занимаешься спортом?

— «Нет, дед. Я и так могу поднять больше тридцати килограммов левой рукой».

— А глаза — задумчивые. Ты о чем-то постоянно думаешь?

— «Да. В данном случае — о тебе, дед».

Они замолчали. Маринка, которая не могла сидеть спокойно, увидела на полу под столом груды грязного белья. Не сказав ни слова, она вытащила ее и завернула в старую газету.

— А почему ты думаешь обо мне?

— «Потому, что я толком ничего о тебе не знаю».

Дед задумался.

— Сколько тебе лет?

— «Семнадцать».

— «А мне восемнадцать»,— сообщила Маринка.

Молчание продолжалось так долго, что им обоим показалось, что дед задремал.

— Нет,— наконец сказал он, очевидно, отвечая каким-то собственным размышлениям.— Это сложно, и ты многое еще не поймешь. Подождем несколько лет, и я расскажу тебе свою жизнь.

Это был шумный день. Дима решил сказать родителям, что он не намерен подавать на юридический, потому что его не интересует эта сторона жизни.

Маринка с утра ушла на базар, и когда она вернулась, скандал был в полном разгаре.

Ирина Сергеевна повторяла, что через полгода Диму призовут в армию. Дима отвечал, что его уже признали негодным. Василий Платонович настаивал, чтобы Дима сказал, почему он не хочет на юридический, и Дима, наконец, угрюмо пробурчал, что не желает каждый день торчать в суде, читая «Королеву Марго», вместо того, чтобы готовиться к обвинительной речи. И когда растерявшийся Василий Платонович стал отрицать, что он читал «Королеву Марго», Дима назвал день, когда он видел это своими глазами. Ирина Сергеевна кричала, что его все равно призовут, потому что скоро будет война и никто не заметит, что у него одна нога немного короче другой, что «Королева Марго» — прекрасная книга и что его, как деда, отправят в психбольницу.

Словом, они еще кричали друг на друга, когда Маринка вернулась, но недолго, потому что Дима вдруг сказал, что он хочет быть слесарем-верхолазом.

Василий Платонович открыл рот, Ирина Сергеевна от изумления громко щелкнула зубами, и, воспользовавшись наступившим молчанием, Дима торопливо ушел в свою комнату, достал рюкзак и стал укладывать вещи. Он заперся, но зная, что Маринка придет, открыл ей дверь, когда она постучала.

— Уезжаешь?

— Да.

— Куда?

— Еще не знаю.

У Маринки была пушистая челка, и она привычно поддувала волосы снизу. Но на этот раз не стала поддувать, и Дима с удивлением увидел, что ее глаза наполнились слезами.

— А, может быть, все еще уладится? — жалобно спросила она.

— Нет. Они кричали, потому что так принято.

— Все-таки родители.

— Да. Но у матери всегда такой вид, как будто я виноват, что она когда-то меня родила.

— Неправда, — подумав, сказала Маринка.

— Нет, правда. Послушай, она сказала, что дед был в психбольнице. Ты об этом ничего не знаешь?

— Нет, — ответила Маринка и сердито вытерла платком глаза.

Дима с интересом смотрел на нее.

— Мы будем встречаться, — сказал он ласково и погладил ее по лицу. — И тогда, между прочим, станет более или менее ясно, люблю я тебя или нет. Понимаешь, вопрос серьезный, и как-то страшно со- врать. А теперь надо проститься с дедом.

Они вместе пошли к нему, и Дима объяснил, почему он решил уйти из дома.

Дед помолчал.

— Ну что ж, — сказал он, — я бы не стал тебя удерживать. Когда-то и я шестнадцати лет ушел из дома. Но не надо ссориться с родителями. Они любят тебя. Устроишься, а жить приходи домой.

— «Это они ссорились, а я молчал».

Дед внимательно, точно читая книгу, через очки с толстыми стеклами посмотрел на Диму.

— Да, а теперь, — задумчиво сказал он, — теперь тебе, пожалуй, полезно будет прочитать мои воспоминания. Ты хотел бы?

— «Очень».

Дед с трудом поднялся и, опираясь на лыжные палки, подошел к книжному шкафу.

— Ну-ка, сними весь передний ряд с третьей полки. Теперь сними второй.

Дима послушался.

— В третьем ряду справа, рядом с «Боярской думой» Ключевско-

го, стоит рукопись в кожаном переплете. Дай ее мне. А книги надо поставить в прежнем порядке.

Рукопись лежала на столе.

— Ну вот, когда ты устроишься, приходи, и я дам тебе эти записки. Но, дети, условие: никому не говорить о них.

— «Честное слово».

— «Честное слово»,— написала Маринка.

10

Валька Стружкин сказал, что Дима может жить у него сколько хочет, потому что огромный холодильник, стоявший в огромной кухне, набит едой, и он еще может получать родительский «заказ» каждую неделю. Но он не получает, потому что тогда продукты придется загонять на рынке. А ему некогда, он строит фрегат. Вообще-то родители считают, что он едва ли годится к дипломатической работе и что ему надо поступить на курсы при Министерстве иностранных дел, где учат стенографии и машинописи на иностранных языках. Но он не хочет на эти курсы, потому что там учатся одни девчонки, которые и так к нему ходят каждый вечер. Валька относился к этому делу проще, чем Дима.

Из просторного кабинета отца он устроил спортивный зал, повесил две трапеции и достал откуда-то штангу с дисками, которые на девались на ее концы, чтобы увеличить вес. Он был почти на голову выше Димы, но щуплый, узкоплечий в своем модном заграничном костюме. Весной он вместе с Димой кончил школу и, хотя был на год старше его, выглядел гораздо моложе. У Димы уже пробивались мягкие черные усы.

Думать о чем-нибудь, даже очень важном, Валька мог не больше двух минут. Диме это показалось любопытным, и они решили поставить опыт. Валька должен был подумать, поступит он на курсы или нет.

— Конечно, поступаю,— ответил через минуту Валька. Оказалось, что он думал меньше двух минут, потому что отец был еще недавно членом коллегии Министерства иностранных дел, и ему ничего не стоило устроить Вальку на курсы. Потом в спортивном зале Валька заинтересовался, может ли Дима поднять штангу, и совершенно ошалел, когда Дима в рывке удержал над головой около восьмидесяти килограммов.

— Слушай, да ведь ты мог бы стать чемпионом Советского Союза!— закричал он.— У меня есть знакомый тренер, я ему сейчас позвоню.

— Нет, пожалуйста, не звони,— сказал Дима.

— Почему?

— Потому что я не хочу быть чемпионом Советского Союза.

Валька задумался.

— Ты — странный парень,— сказал он.— Ну, ладно, тогда пойдем и пожрем.

Он достал из холодильника две баночки зернистой икры, бутылку «Русской водки» и семгу, которую он нарезал огромными кусками, сыр и масло, а Диме поручил хлеб.

— Ты знаешь, где мой батька работает?— спросил он.

— Нет.

— В ООН,— хвастливо сообщил Валька.

Дима промолчал. Вскипятили чайник и заварили чай, тоже какой-то заграничный. Валька откупорил водку и хотел налить Диме. Но Дима закрыл рюмку ладонью.

— Ты что?

— Я не пью.

— Мама не велит?

Валька хлопнул рюмку, задохнулся, громко задышал и с покрасневшими глазами закусил сыром.

— Что ж ты ничего не берешь?

Дима отрезал большой кусок хлеба, намазал его маслом и съел.

— А что же икра? Семга?

— Я сыт.

— Врешь! Ешь, дурак, ты же небось такого и в глаза не видел.

Дима отрезал еще кусок хлеба и съел его, на этот раз даже не намазав маслом.

— Ты странный парень,— повторил Валька.

— Послушай, если ты еще раз скажешь, что я странный парень, я дам тебе по шее. Мне кажется, что я это услышал, еще когда был грудным младенцем.

Валька засмеялся.

— И вообще не я, а ты — странный парень. Положим, твой отец служит в ООН и имеет право есть эту семгу, хотя я в этом сомневаюсь. А ты?

— Я его сын.

— Нет, ты сукин сын,— задумчиво сказал Дима.

Он посмотрел на часы.

— И пожалуйста, не устраивай мне постель, я переночую на диване. Или на ковре. У вас такие ковры, что по ним ходить совестно.

— Текинские.

— Между прочим, не ври. Я случайно немного понимаю в коврах. Эти — искусственные. И не первого сорта.

11

Дима прожил у Вальки Стружкина неделю. Каждый день он ходил по Москве и разговаривал со слесарями, работавшими на подъемных кранах. Они не отвечали или ругались, но один пожилой, которому Дима помог подтащить какую-то тяжелую овальную плаху, сказал, что нужно поступить в ПТУ, а узнав, что Дима кончил среднюю школу и освобожден от армии, сказал, что на кран инвалидов не берут, но все-таки отправил в Управление механизации к какому-то Ивану Мартыновичу и дал адрес.

— Вообще, у нас специальности разные,— сказал он.— Может быть, тебя в ремцах слесарем возьмут.

Днем Валька возился с фрегатом, а вечером к нему приходила очередная девчонка, и он ее кормил зернистой икрой и семгой. Потом они уходили в родительскую спальню с огромной кроватью, покрытой голубым шелковым покрывалом. А утром хлопала входная дверь, и Валька выползал чуть живой, с синими мешочками под глазами, хлипкий, но бодрящийся, утонувший в голубом отцовском халате.

Через несколько дней явилась Маринка, похудевшая, но свежая, в нарядном летнем платье, с голыми руками причесанная и все-таки, время от времени, отдувавшая снизу легкие завитушки, падавшие ей на лоб.

— Уф! Позвонила всем твоим одноклассникам, пока кто-то не сказал мне, что ты у Стружкина,— сказала она.— Ты рад, что я тебя нашла?

— Да. Кажется. Я по тебе даже скучал. Но я не показывался. Боялся, что родители увидят и станут скулить.

— Ты мог бы, между прочим, им позвонить.

— Я позвонил. Только не сказал Валькин адрес, чтобы они меня не искали.

— Все равно свинство. Все-таки родители. Лис скулит.

— Почему?

— Не знаю. Должно быть, по тебе скучает. Не ест. Вообще, все развалилось. Только Леночка в порядке. Сидит и читает. С родителями плохо. Василий Платонович пьет, и со дня на день его могут уволить. А Ирина Сергеевна все время бегаёт в милицию и требует, чтобы тебя вернули. Но милиция отказывается. Говорят, он совершеннолетний, имеет паспорт, прописан у вас и рано или поздно вернется. Ты вернешься?

— Нет.

Пожалуй, можно было подумать, что Маринке захотелось заплакать. Но она удержалась.

— А где же ты будешь жить?

Валька заглянул в комнату.

— Познакомьтесь,— сказал Дима.— Это — Валька.

Марина назвала себя и замолчала. Все с минуту молчали.

— Ну, вот что,— сказал Дима,— нам надо поговорить. Так что ты, пожалуйста, приходи через полчаса.

Валька ушел.

— Я о тебе думал,— сказал почему-то шепотом Дима.— Ты мне даже приснилась один раз. Будто мы играем в пятнашки. Я без тебя скучаю. А ты?

— Ну, что ты! Без тебя такая тоска, что я, кажется, скоро умру от скуки.

— От скуки не умирают. А тебе тоже хочется меня видеть и все такое или нет?

— Но не ради всего такого, а просто так.

Дима подумал.

— А мне ради всего такого,— грустно сказал он.— Значит, я еще не люблю тебя, потому что все такое — это еще не любовь. Валька каждую ночь прodelывает все такое с очередной девчонкой, и уже то, что их — много, означает, что ему все равно. Подожди-ка!

Он бесшумно, осторожно подошел к двери и вдруг рванул ее к себе. За дверью, почему-то на четвереньках, стоял Валька, похожий на прислушивающуюся, тощую собаку. Это и была минута, когда он исчез. Вообще-то он еще существовал, но как это случилось с мамой, обрадовавшейся, что Наталия Михайловна умерла, он вдруг стал каким-то почти прозрачным для Димы. Он мог продолжать возиться с фрегатом, есть семгу и вообще жить, но Дима едва ли вспомнил бы о нем, если бы он вдруг умер.

Кажется, он что-то говорил, а может быть, и нет. Потом ушел на цыпочках, и Дима вернулся к Марине.

— Понимаешь, я решил позвонить тебе, когда устроюсь. Но, как видишь, ничего не выходит. От Вальки я сегодня уйду.

— Куда?

— Еще не знаю. К Ивану Мартыновичу.

— Какому Ивану Мартыновичу?

— Тоже не знаю. В Управление механизации.

— Он поможет тебе устроиться в общежитие?

— Может быть. Пойду.

— Куда?

— Укладывать вещи.

— Послушай,— робко возразила Маринка.— Хочешь пожить в маминой квартире? Я ведь у вас не прописана. Квартиру я закрыла на ключ.

Она достала из сумочки ключ. Дима подумал.

— Я тебя провожу? Это на Кропоткинской, недалеко.

Дима снова подумал.

— Страшновато. Ты знаешь почему?

— Ерунда,— сказала Маринка.— Я буду забегать на минутку.

Она ушла, и это было совершенно ясно. Но тем не менее она

осталась с Димой, хотя он даже вышел на площадку, чтобы еще раз увидеть ее. Не то что осталась, но как бы осталась. И разговор с ней, уже о чем-то другом, продолжался.

12

Комната на Кропоткинской была чисто прибрана, на полу перед застеленной кроватью лежал коврик, на маленьком столике в углу стояло трехстворчатое зеркало. Перед ним — много пустых или полупустых бутылочек с одеколоном, коробочек с пудрой, баночек с кремом.

— Тут все осталось, как было при маме,— сказала Маринка.

Она ушла, оставив Диме ключи от входной двери. В однокомнатной квартире была просторная кухня, а в кухне вдоль трех стен стояли полки с книгами. Наталия Михайловна была редактором в издательстве «Художественная литература» и могла покупать все книги, выходявшие в этом издательстве,— на полках почти не было старых книг.

В комнате висел ее портрет, и Дима долго стоял перед ним. Губы изящно очерчены, большие глаза прикрыты темными веками с загнутыми ресницами, белокурые завитки перепутались, стараясь не упасть на лоб. Она была похожа на Маринку и не похожа. Похож улыбающийся взгляд на серьезном лице. Но у Маринки взгляд был еще и прислушивающийся, особенно в те минуты, когда она переставала смеяться, пряча улыбку, сохранившуюся на губах и в глазах.

С портретом хотелось поговорить. Дима взял у деда его записки, но у Вальки он их не читал. С утра уходил искать работу. А между тем давно пора было хоть просмотреть их и вернуть. Но после первой же страницы он понял, что для него важно не просмотреть, а внимательно прочитать рукопись, потому что она была чем-то загадочно связана с ним, с его будущим и с настоящим.

Первые страницы он не мог разобрать, слова качались, толкая друг друга, как если бы невозможность сказать самое важное была безнадежно ясна с самого начала. Острый, косо летящий почерк было трудно читать, и Дима останавливался после каждой фразы. Но все же он понял, что это была попытка исповеди, к сожалению, только попытка, повторявшаяся и возвращавшаяся, чтобы повториться снова и снова.

Значит, мать сказала правду: даже по этому невнятному тексту можно было заключить, что дед был в психиатрической больнице. Что же с ним случилось? Когда и почему он заболел? И кто такая мадам Люси Сюрвиль, имя которой повторялось почти на каждой странице?

После первых бессвязных строк начались более или менее связанные. Но они тоже были отмечены каким-то внутренним смятением, в котором угадывалось отчаянье. Вся рукопись была проникнута отчаяньем, даже когда дед рассказывал о своих спокойных годах — да и не только спокойных, но благополучных, блестящих.

О школе (он начинал еще в гимназии) и университете было сказано очень кратко, хотя по некоторым страницам Дима понял, что у деда было трудное детство и тревожная, безрассудная юность. Но потом характер сложился — сдержанный, волевой, целеустремленный.

Он рано овдовел, и все семейные заботы были отданы сыну. Ему было сорок пять лет, когда он впервые поехал в Париж. Тогда-то и произошла случайная встреча с Люси Сюрвиль, и началось нечто странное — до такой степени не похожее на образ жизни и поведение крупного работника министерства, что ближайшие сотрудники сразу заподозрили помешательство и стали осторожно следить за ним. Он выглядел счастливым, много смеялся, помолодел, жизнь продолжа-

лась, но это была не прямая, твердо стоявшая на ногах, но какая-то околичная, «мнимая» жизнь. Тайно он каждый день утром и вечером писал кому-то в Париж и получал неизменный ответ на адрес своей старой няни — еще жива была его старая няня. Об этом узнали, и подозрение в помешательстве укрепилось, тем более что это были длинные, любовные письма. Но все еще шло по-прежнему, более того, в министерстве ему удалось блеснуть какой-то новой мыслью, и он стал хлопотать о второй командировке. Она была разрешена, не без хлопот, доводивших его до отчаянья, — кое-кому и это показалось странным. Более того, он без разрешения съездил с этой Люси Сюрвиль в какой-то южный городок на море, по-видимому, на ее родину, — на это посмотрели косо. Потом он вернулся, и жизнь пошла своим чередом.

Но вот однажды ближайший сотрудник зашел в его кабинет, не постучавшись, и с удивлением остановился на пороге. Платон Платонович с кем-то оживленно разговаривал по-французски (он знал языки), и последняя фраза, после которой он с раздражением обратился к сотруднику, была (в русском переводе):

— Извини, Люси, нам помешали...

Разумеется, этот случай мгновенно облетел все министерство. Прошло несколько дней, и слух, что Платон Платонович сошел с ума, получил полную определенность.

Он почти не пил или если и пил — на каком-нибудь празднике или банкете. Но на этот раз в дешевом ресторане он выпил бутылку портвейна и, выйдя на улицу, набросился с кулаками на первого попавшегося человека. Конечно, немедленно вмешалась милиция, и дед, в разорванном пальто, изрядно помятый, был допрошен дежурным.

Василий Платонович пытался объясниться, но тот не дал ему сказать ни слова.

— Нет, это не случайность! И не в том дело, что он никогда не пьет. Это произошло потому, что он ненавидит все на свете. Меня, вас, самый воздух, которым дышим. И не говорите мне, что он награжден орденом Ленина и все такое. Почему вы знаете, может быть, он сам орден ненавидит?

Заключение психиатров опровергло этот вздор. Деда признали невменяемым и поместили в больницу.

Дима прочел рукопись до конца и, перевернув последнюю страницу, вернулся к первой, единственной, на которой был рисунок, сделанный прямо по тексту — очень странный рисунок, изображавший ветряную мельницу, за крыло которой, сопротивляясь налетевшему ветру, едва держался длинный человек.

Рассвело, а Дима еще не ложился. Потом лег, пытался уснуть — и не уснул. Летящий почерк деда стоял перед его глазами. «Что же все это значит? — думал он. — Значит, есть на свете сила, которая гасит, как свечу, благополучную, на редкость удачную жизнь? Единственное короткое письмо этой Люси Сюрвиль было вложено в дневник — с ошибками, на смешном, неправильном русском языке — письмо, из которого все же можно было понять, что она, бесконечно повторяясь, зовет его, ждет, что он все-таки придет, а если нет... Письмо кончалось вопросом: «Так умереть?»

Дима не знал судьбы этой женщины, но жизнь деда, годами существовавшего в тесной, заваленной книгами каморке, и то, что его перестали звать к столу — все это, конечно, было похоже на медленную смерть. «Так умереть?» Должно быть, это было трудно для него — покончить самоубийством, а иначе он давно бы это сделал. Отравиться — он не мог дойти до аптеки. Повеситься — у него не было сил прибить крюк, чтобы привязать к нему веревку. Если он все-таки жил — так, может быть, воспоминанием о том, как загадочная молния озарила его, отрезала от него удавшуюся, благополучную жизнь.

«А ведь то же самое случилось с отцом»,— вдруг подумал Дима. Но отец был слабый человек, и он не мог порвать с одной жизнью, чтобы безоговорочно, безусловно погрузиться в другую. Кроме того, у деда был сын, но не было семьи. А отец не в силах был порвать с семьей, которая ему дорога. Дима видел, как по вечерам он укачивал Леночку, в полусне, натываясь на стулья. Так что же такое эта страсть, это беспамятство, эта гроза, сбивающая с ног? Безумие переходит по наследству? Тогда почему же оно не коснулось Димы?

Заря уже прислушивалась к утреннему шуму, который начался вместе с движением людей и машин, уже почти готова была уступить упорному приближению дня. Кран, который был виден из Диминого окна, постепенно оживал. Маленькие фигурки бесстрашно двинулись вперед в высоту, одна из них появилась в кабине, другая — на длинном крыле стрелы. Дима прикинул высоту — метров сорок. Может быть, и ему когда-нибудь прикажут подняться на это крыло, и он будет участвовать в сложной, могучей работе этого крана? Мечты сбываются, если получить над ними неоспоримую власть. Их надо соединять, как соединяют в упряжку коней, соединить и хлестать по спине и бокам.

Маринка пришла с хлебом, сыром, сахаром, пачкой чая, заглянула в кухню, накрыла на стол. Дима заговорил с ней о рукописи деда, но она не стала слушать — торопилась домой?

— Прочту сама. Ведь ты через меня вернешь ее деду.

— Нет, подожди. Я еще много раз буду ее читать. А теперь ты мне только скажи: Наталия Михайловна любила отца?

Маринка побледнела, покраснела, снова побледнела, и так продолжалось все время, пока она говорила.

— Выпей воды,— сказал ей Дима.

— Не надо. Послушай, я до сих пор не понимаю, что происходило с Василием Платоновичем. Он совершенно менялся, когда приходил к нам. Много рассказывал, и всегда интересно. Они говорили о литературе, о театре. Она штопала что-нибудь или вышивала, а он говорил и говорил. Потом умолкал и смотрел на маму. Долго, может быть, час... Тебе случалось когда-нибудь задуматься о ком-нибудь и почувствовать, что на свете нет никого, кроме того, о ком ты задумался? Никого дороже и ближе? Мне кажется, что к маме он относился именно так. Как будто с нежностью прикасался к ней и отдергивал руку.

— А мама?

— Она жалела его и, может быть, чувствовала то же самое, но иначе. Она понимала, что запретить ему бывать у нас невозможно. Это значило бы убить его. А она желала ему счастья и, мне кажется, все-таки была рада, что он любит ее, как никто никогда не любил. Они никогда не говорили о том, что Ирина Сергеевна ревнует. Я, например, не знала. Словом, то, что связывало их, было выше близости, гораздо выше. И совсем не похоже. Они были какие-то потрясенные, и не только когда он приходил. Говорят, что человека, в которого ударила молния, надо закопать в землю, чтобы спасти. Так вот: в них ударила молния, но никто не позаботился о спасении. Молния растворилась в них, и они стали не похожи на других людей, которые могут жить далеко друг от друга. Они не могли. А эта рукопись? Дед пишет о любви?

— Да. Он пишет о любви и о смерти.

Маринка замолчала. Ей нечего было больше сказать. Она взглянула на часы и ушла.

«Значит, любовь — это превращение,— продолжал думать Дима.— Это — неузнавание себя. Это открытие, которое лишает человека возможности выбора, потому что он волей-неволей уже выбрал свой путь, о котором и думать не думал и по которому он теперь несет свою ношу, как бы она ни была тяжела. Это что-то до такой степени

не похожее на неуклонное движение стрелок, показывающих время, как будто время отказалось служить человечеству, кроме тех немногих людей, которые пользуются часами без стрелок. Не движение стрелок, а движение воли, возникающее, как возникает явление природы, как град или метель».

И Диме смертельно захотелось испытать это рискованное, доходящее до безумия чувство.

13

Начиная с ворот, в которые легко мог въехать целый дом, все вокруг на строительной площадке было завалено железом. Среди нагромождения стальных трубчатых пирамид, треугольников и кто знает каких еще геометрических фигур стоял башенный кран.

Дима много раз видел башенные краны, и ему захотелось поздороваться с ним, как со старым знакомым. Однако это был страшноватый старый знакомый, совсем не летящий на крыльях, как казалось в полевой бинокль, а твердо, равнодушно стоявший на земле.

В отделе кадров Дима, постучав и услышав внушительное «войдите», увидел сухопарую женщину в темных очках и рабочем халате. Она что-то писала и, взглянув на Диму, продолжала писать. Впрочем, она пробурчала что-то в ответ на вежливое «здравствуйте» Димы.

— Так,— сказала она, откладывая в сторону какую-то бумагу.— В чем же дело?

Дима объяснил. Решено было не показывать свидетельства об окончании школы, но в последнюю минуту он решил все-таки положить его на стол вместе с паспортом и военным билетом.

— Кончил школу? — спросила она с любопытством.

У нее были усы, и она, по-видимому, подбривала их — короткие черные волосики можно было рассмотреть.

«Откажет», — взглянув на эти усы, подумал Дима.

— Не хочется учиться?

— Нет, хочется. Ведь для того, чтобы стать слесарем-монтажником, надо учиться.

Она перелистала военный билет, аккуратно сложила документы и подвинула их к Диме.

— Не пойдет.

— Почему?

— Во-первых, потому что у нас не училище, а строительство. А во-вторых, у тебя одна нога короче другой.

— Немного. Но я не стал врать, что мне хочется в армию. Мне хотелось работать. Вот посмотрите.

Он встал и прошелся по комнате.

— Заметно?

— Если приглядеться, заметно.

— А зачем приглядываться? Работе не мешает.

Шаги послышались в сенях, и в конторе появился низенький, седой, косматый человек в канадке, хотя было тепло, в кожаной кепке, которую он сбросил с головы щелчком, так что она перевернулась в воздухе, прежде чем повиснуть на вешалке возле двери.

— Ловко! — сказал Дима.— Здравствуйте. Вы Иван Мартыныч?

— Ну да. А ты почему знаешь?

— Угадал.

— Догадливый,— смеясь, сказал Иван Мартынович.— А чего тебе здесь надо?

— Хочу работать.

Со стола еще не были взяты документы, и, быстро просмотрев их, он спросил, как усатая секретарша:

— Кончил школу?

— Да. Родители уговаривали меня поступить на юридический, но я отказался. У меня отец — прокурор.

— Почему отказался?

— Потому что там все врут.

Иван Мартынович засмеялся.

— Где не врут? А тебе не нравится, когда врут?

— Да.

— У нас, ты думаешь, не врут?

— Возможностей меньше, — подумав, ответил Дима. — И, может быть, необходимость не заставляет.

— Как сказать! А что у тебя с ногой?

— Ничего. Нога как нога. Зато я сильный.

— Да?

Иван Мартынович вышел с Димой во двор и показал на толстую железную чушку, валявшуюся подле конторы.

— Можешь поднять?

— Попробую.

Чушку надо было взять неторопливо — Дима видел, как поступают в таких случаях тяжеловесы. Он помедлил, подышал, присел на корточки. «Главное, не торопиться». Он взял чушку и несколько секунд посидел рядом с ней. Потом рванул и поднял сперва на грудь, потом над головой.

— Хорош! — сказал Иван Мартыныч. — Занимался спортом?

— Немного.

Они вернулись в контору.

— Ну вот что, Лампада (очевидно, усатую секретаршу звали Олимпиадой). Позвони Клычкову и скажи, чтобы он взял к себе этого парня. Как зовут?

— Дима Малышев.

— Заполни анкету. Конечно, в ученики. О разряде поговорим потом. Посмотрим, чего он стоит. Ну, поворачивайся, медведь! — Он похлопал Диму по плечу. — Я тебе покажу, где искать Клычкова.

14

Бригада работала над монтажом крана, и как раз было много мелочей, на которые слесарям не хотелось тратить время. Конечно, это были мелочи, требовавшие сноровки и терпения, но терпения у Димы хватало, а сноровка как-то сама появилась в руках через какую-нибудь неделю.

Бригада состояла из людей симпатичных — так, по меньшей мере, показалось Диме. Сам Клычков прошел весь путь, который предстояло пройти Диме: сначала он работал слесарем на «эсбекушках» — так звали один из первых строительных кранов, потом, не бросая работу, он умудрился кончить техникум и теперь монтировал уже не первый кран. Ему было лет пятьдесят пять, если не больше. Бригаду он держал в полном подчинении, однако любил догадливость и поощрял ее, насколько это было возможно.

Люди были опытные — это была единственная черта, которая их объединяла. Ничего общего не было между Разиным, молодым, холостым, разговорчивым парнем, мечтавшим стать радиотехником, и Бекбулатовым, скупым, хитрым, не терявшим связи с родными и державшим под кроватью в общежитии сушеные фрукты, которые он менял на значки.

Впрочем, Дима держался обособленно, избегая дружеских отношений. Он работал старательно, последовательно, ничуть не меньше других.

В обеденное время его ждала Маринка с судками, и они обедали вместе в передвижной бытовке, а потом недолго гуляли по ближайшей детской площадке. И каждый раз это было не появление, а явле-

ние. Это не случалось, а происходило и было похоже не на очередной ежедневный обед, а на свидание. Он работал, ни на минуту не переставая думать о ней. И почему-то дело шло легче, когда она, разумеется в воображении, была рядом с ним. Иногда хватало даже воспоминания о ее завитках надо лбом и удивленном взгляде.

15

Прошел месяц, и Диме стало казаться, что так было всегда. Он вставал в шесть часов утра, основательно, не торопясь, завтракал и шел на работу. В бригаде привыкли к его молчаливости, к основательности, с которой он доводил до конца любое порученное ему дело, к спокойствию, с которым он относился к насмешкам над его наружностью — его прозвали медведем.

Однажды Разин собрался послать его в магазин за водкой и в нерешительности замолчал, когда Дима, как будто не слыша его, молча продолжал работу. Раза два ему пришлось подняться до самой головки крана. Было страшно, но он нарочно несколько раз прошелся по узким мосткам стрелы и нарочно заставил себя долго смотреть вниз с высоты тридцати метров.

Теперь он знал, что с высотой надо обходиться просто, хотя и осторожно — она естественно вошла в его жизнь, как вошла эта заваленная железом строительная площадка, эта работа, которую он полюбил, эта свобода постоянно думать о своем, не забывая о деле.

С Маринкой он проводил все праздники и все время после работы, хотя она была очень занята, дом требовал неустанных забот. Иногда он помогал ей, а иногда, выкраивая свободные вечера, они шли куда-нибудь, в кино или театр, а однажды были даже в цирке.

Ее огорчала его молчаливость, и, чувствуя это, он начинал говорить — все равно о чем, чаще всего о последней прочитанной книге.

— Зачем же все время молчать, если ты так хорошо говоришь? — спросила она однажды, и он ответил:

— Потому что мне нравится тебя слушать.

Все было бы хорошо, если бы он не стал без всякой причины беспокоиться за нее.

Он давно помирился с родителями, заходил домой — но только чтобы убедиться, что с Маринкой ничего не случилось.

Очень скоро, через три месяца, он получил третий разряд, но ничего не тратил на себя из зарплаты — отдавал почти все Маринке, и она к зиме купила ему добротное пальто, рукавицы и меховую шапку.

Но беспричинное беспокойство за нее почему-то становилось все сильнее и, как ему казалось, даже мешало работать. Напрасно она уверяла его, что ничего не может случиться, напрасно смеялась над ним и шутила. Он тоже начинал смеяться и шутить, но беспокойство не проходило.

16

Эта ночь началась как всегда. Он вернулся в комнату на Кропоткинской, где все постепенно стало для него привычным и близким. Днем им не удалось встретиться, Маринка была занята. Но в этом не было никакой беды. Все равно она привычно как бы не оставляла его.

Он принял душ после работы, долго тер огрубевшее мускулистое тело, потом лег и сразу уснул. Он редко видел сны и почти всю ночь спал легко, спокойно, как всегда после утомительной опасной работы. Но вот счастливый молодой сон начал мутнеть, наполняясь неясными виденьями, и он увидел себя где-то на свалке, ночью, под светом ме-

тавшей по небу луны. Он держал в руках коробочку с ребристой, складывающейся крышкой. В коробке лежали пуговицы и нитки. Ее надо вернуть Маринке, и он идет, но куда-то не в свою комнату, а в чужой, незнакомый дом. Маринка хозяйничает у плиты, но почему-то не оборачивается, когда за ним со скрипом закрывается дверь. Он немного огорчается, что она не обращает никакого внимания на коробочку, которую он почему-то нашел так далеко на свалке и которой — он помнит — она дорожила. «Поди поставь на место», — говорит она, ничуть не удивляясь, и он ставит коробочку на полку рядом с ходиками, где она постоянно стояла. Ходики стучат, как будто ничего не случилось. Кенар дремлет, нахохлившийся, щи кипят, и выплеснувшиеся белые шарики опрометью бегут по горячей плите. Но почему же Маринка ни о чем не спрашивает его? Не глядит на него? Дрова прогорели в плите, она берет кочергу, и угли падают на пол. Почему она берет их руками? Почему, задумавшись, она стоит у плиты и держит горящие угли в руках? И Диме становится страшно. Он не плачет и не кричит, но такая печаль, такое одиночество, сознание такого несчастья охватывает его, что сердце останавливается от горя, и он не в силах сказать ни слова.

— Маринка, ты мертвая, ты умерла? — наконец говорит он, задыхаясь от слез. Она молчит, и он понимает, что все кончено, потому что только мертвые могут держать горящие угли в руках...

Дима не обрадовался, когда его глаза открылись.

Стоял конец сентября, еще ночь продолжалась, но утро уже блистало в отсвечивающих окнах, не скрываясь, зная, что оно приговорено победить.

Дима оделся. До работы было еще больше часа, и он торопливо пошел, почти побежал по Кропоткинской, к станции метро. Через семь-восемь минут он уже стоял под окном бывшей своей, а теперь Маринкиной комнаты. Как он и ожидал, окно уже было открыто, значит, Маринка не спала — по утрам она любила полежать с открытым окном. Она не раз говорила, что и спала бы с открытым окном, если бы квартира Малышевых была не на первом этаже.

Дима негромко окликнул ее, она не отозвалась, должно быть, снова уснула.

Окно было все же высоко над его головой.

Он ухватился за водосточную трубу рядом с окном, и хотя дотянуться и заглянуть в комнату было трудно, ему удалось дотянуться и заглянуть.

Нет, она не спала. Она лежала, повернувшись к стене, с открытыми глазами и испугалась, увидев рядом со своей постелью Диму.

— Что случилось? Ты влез в окно?

— Да. Ты здорова?

— Ну конечно! Что это ты вдруг придумал? Наши еще спят.

Диме было стыдно сознаваться, что он прибежал, потому что увидел страшный сон, но невозможно было не сознаться, потому что он еще видел ее перед собой, задумавшуюся, с горящими углями в руках. Но она была живая, свежая, с отдохнувшими после сна, удивленными, ласково улыбающимися глазами.

— Ты как маленький! Прибежал к няне, потому что увидел страшный сон. Но знаешь, Дима, все это серьезно меня беспокоит.

— Не надо беспокоиться. У меня еще полчаса до работы. Можно мне полежать рядом с тобой?

— Конечно, можно, — ответила Маринка и покраснела. — Но только полежать...

Он быстро разделся, лег рядом с ней, почувствовал под одеялом ее ноги и потерял сознание.

Это случилось с ним впервые в жизни и продолжалось недолго, может быть, несколько секунд. Но все-таки беспмятство было, потому что Маринка спросила что-то, а он уже был бесконечно далеко

и, кроме острого блаженства, не чувствовал ничего. Было трудно справиться с бешено стучавшим сердцем. Когда она повторила вопрос, он ответил. Оказалось, что Маринка просто боится, что он опоздает на работу.

17

В ближайшее воскресенье Дима в третий раз принялся за рукопись деда, и на этот раз то, что он прочел, не показалось Диме ни безумным, ни безрассудным. На этот раз он не заметил, как прежде, в рукописи даже признака двойного зрения, напротив, все стало совершенно ясно: те, кто мешал ему поехать в Париж к женщине, без которой он не мог жить, были не правы, а он — прав.

Расстаться ради нее с высоким положением в Министерстве финансов казалось бессмысленным, нелепым тем, кто ему мешал, а для него таким же естественным, как если бы он сбросил с себя чужую, опостылевшую одежду, необходимую, чтобы играть роль, и надел свою, в которой он чувствовал бы себя естественно и свободно.

«Броситься на колючую проволоку, чтобы встретиться с той, кого любишь» — вспомнилось Диме.

Он снова заметил сходство и несходство двух историй, деда и отца — странное, потому что дед совсем не походил на отца. Несходство было в отчаянии, безраздельно овладевшем Василием Платоновичем, жалком отчаянии, сердечном припадке, попытке найти утешение в вине и могучем бешенстве деда, которое привело его в больницу.

Он долго стоял перед портретом Наталии Михайловны, который тоже стал новым после того, как Дима новыми глазами прочитал рукопись деда. «Теперь ты понял?» — как будто спрашивал его этот портрет. Но говорил он совсем о другом. Он говорил о нем и Маринке, которые были счастливы, потому что время было за них и защищало их от колючей проволоки, от обязанности заботиться о семье, в которой росли дети. Колючую проволоку нельзя разрезать, с детьми невозможно или очень трудно расстаться. А перед Димой и Маринкой жизнь лежала прямая, простая, ясная, как похожий на древнюю птицу башенный кран с двумя крыльями-стрелами — кран, освещенный прожектором, основанный на божественной силе равновесия, на чудесной легкости, с которой он поднимал и переносил с места на место пятитонный груз.

18

Они сами не знали, кому из них пришла мысль на день-два уехать из Москвы — куда-то туда, где их ожидало неизвестное, чудесное, незнакомое, но то, что уже тысячу раз происходило в воображении.

У них было два с половиною свободных дня. Решено было выбрать Псков, старинный город. Они впервые увидели его в кино и одновременно подумали о поездке. Он-то и был городом, в котором неназванное надо было наконец назвать, а неизведанное сделать обыкновенным чудом.

— Подумай, ведь этот город три столетия назад был республикой! — сказал Дима. — Много ли городов, которым это удавалось?

Вагон, в который они попали, был общий, неудобный, тесный.

И все, что происходило в вагоне, и даже все, что осталось за ними в Москве, мгновенно исчезло, когда тронулся поезд. Наступила тишина — только для них в этом шумном вагоне. Это была торжественная тишина наслаждения близостью, тишина отдельности от всего мира, тишина душевной отрешенности и полного убежденного счастья. Они просидели всю **ночь**, укрывшись Диминым пальто, может быть, засыпая на несколько минут и просыпаясь, чтобы снова почувствовать это счастливое **незнакомое** чувство.

Когда в восемь часов утра поезд пришел в Псков, они вышли на перрон, и Маринка сказала сонным милым голосом:

— А без вещей нас ни в одну гостиницу не пустят.

— Почему? У меня портфель. А у тебя чемоданчик.

Они долго шли по бульвару, огненному от осенней листвы, пустынному, просторному и уж такому трогательно немосковскому, что слезы наворачивались на глаза — впрочем, по другой причине. Слезы наворачивались, потому что Маринка и Дима были одни и удрали и наслаждаются своей независимостью и первым самостоятельным, ни от кого не зависящим поступком.

В гостинице номеров, конечно, не оказалось. Но Диме удалось достать для себя койку в общежитии, а для Маринки уговорил старшую уборщицу, правда, с приложением пятерки, уступить ее каморку — все равно она собиралась провести ночь у большой подружки. Чемоданчик и портфель были оставлены в каморке, а Дима с Маринкой позавтракали чем-то, захваченным из дому, и отправились бродить.

Город был строгий, мужественный, с крепостными стенами вдоль просторной реки, но для них подобрел, и башни с остроконечными вышками, с воротами, запертыми наглухо просмоленными бревнами, казалось, только и ждали, чтобы Маринка с Димой подошли к ним и сказали: «Здравствуйте». Они не получили в ответ «добро пожаловать», но как бы получили, потому что прочитали довольно длинное объяснение, из которого узнали, что находятся в Довмонтовой крепости, в псковском кремле тринадцатого века. Правда, от крепости почти ничего не осталось, но все-таки они долго смотрели на нее с уважением.

Одного монаха они увидели, но такого, что заговорить с ним они не решились. Он, наверно, спросил бы, зачем они приехали в город, а ответить на этот вопрос было трудно, почти невозможно. Ведь они приехали просто так, без всякой цели, с единственным желанием доказать себе, что они свободны и никто не в силах помешать им поступать отныне по собственному желанию. Если им захочется, они могут поехать в другой, и в третий, и десятый город — к городам надо относиться, как к интересным людям. Сейчас у них нет времени, чтобы познакомиться с интересным Псковом, — вечером надо возвращаться в Москву. Но первое знакомство все-таки состоялось.

Все время они почему-то смеялись, спать не хотелось, но все-таки они подремали в каком-то садике, о котором случайный прохожий сказал, что это — бывший Ботанический сад. Они сели на заросшую мхом скамейку подле огромной старой липы, и Маринка, прикорнувшись под широким Диминым плечом, подремала, а проснувшись, сказала, что очень хочется есть.

Это значило, что пора вернуться в гостиницу. Им подали какой-то жидкий суп, а второе оказалось таким невкусным, что его невозможно было есть. В каморке уборщицы они с аппетитом принялись за коржики, привезенные из Москвы, и запили их чаем.

Чувство счастья переполняло их, и они старались справиться с ним, потому что нельзя же было все время смеяться. Потом они разошлись, но Маринка не закрыла свою дверь, и Дима вечером пришел к ней.

И началась благословенная близость, началось счастливое беспмятство, заполнившее их еще небывалым чувством благодарности и счастья. Душу, оказывается, можно было взять руками, как Мариночкину коробку с ребристой крышкой. Душами, оказывается, можно было меняться, как подарками, если исполнить чужое желание, которое одновременно стало твоим. И ни о чем не надо было просить. Все совершалось неожиданно и беспричинно, повторялось и вновь совершалось, простое, как чудо. И в этой близости участвовала тайна

свободы. Они были одни в этом прекрасном старинном городе, и никто на свете не знал и не чувствовал то, что они чувствовали и узнали.

До поезда оставалось еще три часа. Маринка уснула. Уснули ее руки, которые она по-детски сложила ладошками внутрь, уснули завитки на лбу и разгоревшиеся от поцелуев щеки и губы. Сходство с Наталией Михайловной мелькнуло, но Дима энергично расправился с ним. Нет, другое время, другое, новое счастье! Ясная ложится перед ними дорога, ничто не мешает, все складывается в жизни, как никогда не складывается даже в самом счастливом сне. Нет ничего, что обязывало бы их, не надо оглядываться, некого пугаться. Они сами, своими руками устраивают и еще устроят свою жизнь. И эта поездка, первый самостоятельный шаг — прекрасно, что он совершился. Это — главное, неопровержимое доказательство независимости от судьбы, которая больше не властвует над ними и которой нужно и можно показать дорогу.

19

Дима вернулся другим из Пскова и знал, что он вернулся другим. По-прежнему оставалось только постоянное беспокойство за Маринку, к нему невозможно было привыкнуть. Он не говорил с ней об этом, но однажды сказал, и она ответила с досадой:

— Как раз наоборот! У тебя такая работа, что мне впору беспокоиться о тебе!

Он теперь чаще бывал у родителей. Он уговорил отца, который очень исхудал, пойти к врачу и стал отдавать большую часть зарплаты матери. Маринка давно советовала поступать так — мать обижалась.

А зарплата у него теперь была немалая — он считался одним из лучших членов бригады. Отремонтированный кран уже работал с полной нагрузкой, и прораб посылал бригаду Клычкова на самые трудные участки.

Легкие весенние морозы миновали. На земле среди разбросанного, заиндевевшего железа еще грузно сидела зима, а на стреле, на высоте тридцати метров дышалось легко и думалось легко, в то время как руки были заняты привычной работой.

Прошло полгода после поездки в Псков, и, упоминая о ней, они разговаривали полусловами, этого достаточно было, чтобы понять друг друга. Никто не узнал об этой поездке, и они бережно хранили свою тайну, придавая ей особенное значение того, что никогда не могло повториться.

Может быть, родители догадывались об их отношениях, но не смели ни словом упомянуть о них. Это значило бы коснуться независимости, завоеванной незаметно, но прочно. Именно не смели — Ирине Сергеевне даже казалось подчас, что она боится Димы. Василий Платонович, постаревший, присмиривший, слушался каждого его слова.

Так незаметно, естественно, без намерения, молчаливый, задумчивый Дима стал главой семьи, рассыпавшейся, но не рассыпавшейся, опираясь на его незаурядную волю. Давно миновали времена, когда родители позволяли себе кричать на него, когда ему указывали, как он должен поступить, когда ему приходилось отмалчиваться, чтобы скрыть раздражение. Теперь на него надеялись, его слушались, его любили. Теперь он иногда решался вмешиваться в дела отца, стараясь, чтобы хоть в недолгие годы, оставшиеся до пенсии, репутация его была безупречной.

И говорил Дима теперь не так мало, как прежде. Он составил для Маринки список книг и следил за ее чтением строго, подчас доводя ее до слез.

— Я буду меньше любить тебя, если ты не прочтешь «Преступление и наказание»,— мягко сказал он ей однажды.

И были прочитаны и «Анна Каренина», и романы Тургенева, и Лесков, и даже «Что делать?» Чернышевского, роман, который самому Диме показался скучноватым.

Деда он устроил в пансионат — умело воспользовавшись тем, что тот долго служил в Министерстве финансов, и даже выхлопотал ему небольшую пенсию. Почти всю свою библиотеку дед отдал ему, и Дима постепенно стал одним из самых начитанных слесарей-монтажников в Москве. Но в пансионате дед стал болеть, скучать, и Дима отдал ему свою старую комнату — сам он по-прежнему жил на Кропоткинской, хотя к работе от дома было ближе.

Словом, жизнь шла, набирая силу, расставляя все на свои места, и будущее обещало быть железно прочным, таким, каким оно представлялось Диме. Впрочем, о будущем он не думал, так же, как не думал о том, что жизнь, в сущности, складывается необыкновенно счастливо. В глубине этого размеренного счастья пряталось другое — то, из-за которого он бросился бы на колючую проволоку, как дед, или стал бы жить, потеряв дорогу между трех сосен, как отец. Он еще не знал себя, но то, что он с Маринкой условились называть «часы без стрелок», они оба знали и ждали как не замечающее времени безумство.

20

День, когда происходит несчастье, ничем не отличается от любого другого дня. Потом, когда день проходит, оставив за собой непоправимый, разящий удар, вспоминаются предчувствия, и «как всегда» отмечается мыслью о том, что, казалось, произойти не могло.

Как всегда Дима открыл глаза в шесть утра, и первая мысль была о Маринке, простая мысль, что она в эту минуту тоже открыла глаза. Каждый день ему необходимо было прежде всего убедиться в факте ее существования, а уж потом шли другие факты предстоящего дня. Один факт, повторявшийся ежедневно, заслонял все другие — предстояла обычная проверка крана.

Он оделся, сделал двадцатиминутную зарядку, до первого пота, потом побрился и принял холодный душ. Перед душем он, чтобы не терять времени, включил электрический кофейник и поставил на плиту кастрюльку с овсяной кашей. Он не любил завтракать в пижаме и оделся в рабочий костюм, прежде чем сесть за стол. Все это заняло примерно минут сорок пять, а еще через пять он надел кепку, легкое пальто и пошел на работу.

Весна уже разогналась вовсю, на деревьях набухали почки. Утро повторяло себя. И в естественности этого, почти незаметного повторения медленно двигалось вперед. В городе, да еще на строительной площадке едва ли кто-нибудь задумался над тем, что миновала ночь и что в календаре надо оторвать еще один листок, потому что «сегодня» с железной необходимостью сменило «вчера», не нуждаясь ни в предчувствиях, ни в предсказаниях.

Бригада собралась почти одновременно, но только что взялись за работу — подъем и укладку блоков противовеса, как пошел сильный дождь, и пришлось укрыться под крышей вагончика, который всегда следовал за бригадой. Бытовка была одновременно и раздевалкой, и кухней, и местом отдыха — стоял даже маленький старенький приемник. Бекбулатов стал жаловаться, что родные прислали ему целый ящик прошлогодней кураги, с которой он не знает, что делать. Посмеялись, покурили. Дождь прошел, и, не теряя времени, бригада принялась за дело. Лебедка работала равномерно, блоки крепились к платформе, и противовес уже выглядел внушительно, как и полага-

лось уважающему себя противовесу. Немного времени осталось до обеда.

Один из монтажников занял свое место в кабине. Клычков послал Диму повесить новый прожектор и посмотреть, лежит ли трос на своем месте, в желобе блока, где ему и полагалось лежать. Потом почему-то отменил приказание и поднялся сам.

После дождя воздух на высоте крана заметно посвежел, хотя солнце уже разгорелось так сильно, что над узенькими перилами, уложенными вдоль стрелы деревянными досками уже появился легкий парок.

Клычков повесил новый прожектор, осмотрел, насколько это было возможно, трос и крикнул монтажнику в кабине: «Поднимай контрольный». Он не заметил (и не мог заметить), что часть троса взъерошилась ежиком оборванных нитей, оттого что когда-то (очевидно, на прежнем объекте) трос соскользнул с желоба и перетерся о стальную ось.

Клычков побежал по узким доскам настила и был уже близко от кабины, когда трос разорвался, стальной кнут хлестнул его по спине и перебросил через перила. Солнце, только что стоявшее высоко в ясном небе, спустилось вниз, переворачиваясь, кувыркаясь, и с гулким эхом разорвалось в его голове. Это было эхо падения контрольного груза.

Может быть, какие-то доли секунды он был еще жив, потому что увидел мертвенно-бледные лица и услышал над собой неясный шум голосов. Потом все стало умолкать, удаляться, руки раскинулись, и вплотную приблизилась немота, глухота, уносившая последние признаки жизни.

21

На место Клычкова Иван Мартынович назначил желчного придирчивого старика, вечно недовольного, ежеминутно ворчавшего без всякой причины — и бригада развалилась. Первым ушел Разин, давно мечтавший попасть на какое-нибудь строительство, связанное с радиотелевизионным делом, за ним Дима. У него был теперь второй разряд и знакомый слесарь в каком-то институте, срочно возводившемся на окружной дороге. Но Дима отказался. Неопределенное беспокойство за Маринку снова стало мучить его после неожиданной гибели Клычкова. Чтобы спокойно работать, ему непременно нужно было видеть ее каждый день. Он ждал полуденного обеда, когда она приходила с судками, ждал вечера, когда они уходили в кино или просто гуляли по замоскворецким переулкам. Здесь был его старый, покорно ожидавший своей участи город. Деревья уже цвели, и то, что, кроме Маринки и Димы, никто не обращал на них никакого внимания, таинственным образом участвовало в их прогулках — казалось, что сто или двести лет они берегли себя только для них.

Дима работал теперь в самом центре зданий, возводившихся рядом с Третьяковкой, и хотя новая бригада, в сущности, ничем не отличалась от старой, Дима находил, что о ней рассказать. У одного парня, например, была гитара. Он знал почти все песни Окуджавы, и многие — в том числе Дима — иногда оставались послушать его после работы. И в этой бригаде Дима сумел поставить себя, и прораб был недурен, хотя ему было далеко до Клычкова.

Но вот что было новостью, поразившей и Маринку и Диму. Оказывается, они плохо знали друг друга. Как-то случилось, что не были рассказаны ни детство, ни школа, а между тем большие и маленькие события случались, стараясь запомниться, хотя это было почти невозможно. Дни были похожи, месяцы недалеко ушли друг от друга, зато годы, казалось, были даже разного цвета. Почему-то пятый и

шестой классы и у Димы и у Маринки были черного цвета, а девятый и десятый голубоватого, переходящего в синий. У Димы не было друзей, а двух товарищей, с которыми он ездил в Лесной городок походить на лыжах, он не считал друзьями. Друг — это почти брат, а они были для него как дальние родственники.

У Марины была любимая подруга Лена Ловцова. Она одна знала, что Василий Платонович каждый день приходил к маме.

— И как она к этому относилась?

— С восхищением. Она доказывала мне, что он — необыкновенный человек и что второго такого нет на свете.

— Но почему?

— Потому что только необыкновенный человек может любить так бескорыстно.

И Дима задумывался. Может быть, он проглядел отца?

— А где теперь Лена Ловцова?

— Она в девятом классе умерла от белокровия. А какая красавица была! Мы жили близко друг от друга, и она однажды прибежала ко мне в слезах. «Андрей умер». «Какой Андрей»? Оказалось, что князь Андрей Болконский из «Войны и мира». И после ее смерти я впервые поняла, что такое горе. А потом уже, когда скончалась мама... Ты думаешь, почему я согласилась жить у вас?

— Не знаю. Но я иногда думал, что другая никогда бы не согласилась.

— Василий Платонович уговаривал меня, умолял. Даже встал передо мной на колени. Я не соглашалась. Мне казалось, что это — оскорбление памяти мамы. Ведь после ее смерти я несколько ночей не спала. И не ела. Сажу и плачу. Меня Наталья Викторовна спасла.

— Кто это?

— Наша учительница географии. Она меня любит. Заставила съесть бутерброд. Я уснула и проспала около суток. И во сне увидела, что проснулась. Раскатываю тесто для пирога, а мама стоит рядом и говорит: «Тебе трудно согласиться. Но я буду спокойнее, если ты станешь жить у них. У тебя руки должны быть постоянно заняты». Конечно, это был только сон, но мне стало как-то легче на сердце, и когда Василий Платонович на другой день снова стал умолять меня, я согласилась. А твоя мать... Я думаю, что она согласилась ради Ленокки. Всё же все взрослые уходят на целый день, а я только на четыре часа, и девочка одна, а я могу и позаботиться о ней, и помочь приготовить уроки.

22

Это было в воскресный день, за обедом. Только Маринка подала суп, позвонил телефон. Она взяла трубку, ответила, и потом:

— Платон Платонович? Да, конечно, он живет здесь. Но он не может подойти к телефону.— И после паузы: — Он ничего не слышит.— Она закрыла трубку ладонью и объяснила: — Это из «Интуриста». Василий Платонович, подойдите.

Никто не слышал, что сказали Василию Платоновичу из «Интуриста», но в ответ он стал бормотать что-то настолько невнятное, что Дима не выдержал и взял у него трубку.

— Повторите, пожалуйста. Вас не расслышали. Вы из «Интуриста»?

— Да. В Москву приехала из Парижа мадам Люси Сюрвиль. Завтра группа отправляется в Ленинград, и для встречи, на которой она настаивает, времени уже не будет.

— Это говорит внук Платона Платоновича,— сказал Дима.— Он в очень плохом состоянии. Ходит с трудом и ничего не слышит.

— Минуточку,— ответил женский голос, и Дима уснул, как

тот же голос быстро заговорил с кем-то по-французски. Не минуточку, а две или три продолжался этот разговор, а потом Дима услышал: — Она настаивает.

— Сегодня?

— Да.

— В котором часу? Простите,— сказал Дима.— Вы не можете позвонить через полчаса?

— Хорошо.

Дима повесил трубку и сел за стол.

— Не пускать,— сказала Ирина Сергеевна.

Это было сказано так пугливо, что Дима засмеялся.

— Я поговорю с ним.

Маринка остановила его. Она торопливо унесла суп, поставила его на плиту, отколола кусочек сахара, достала из буфета какие-то остро пахнущие капли, смочила сахар и отдала его Диме.

— На всякий случай.

Дед читал, когда он вошел, и, думая, что ему принесли обед, отложил книгу в сторону. Дима присел к столу и написал на бумажной полоске: «Дед, у меня к тебе просьба».

(Такие полоски Маринка давно нарезала для разговора с дедом.)

— К твоим услугам,— отозвался дед.

Он был в измятых, засунутых в валенки брюках, в поношенном сером свитере, и Дима прежде всего подумал, что его надо переодеть.

— «Просьба очень простая»,— написал он.— «Не волноваться».

— Ладно,— прочитав полоску, равнодушно сказал дед.— А что случилось?

— «К тебе приехали».

— Да? Кто и откуда?

— «Из Парижа. А кто — попробуй сам догадаться».

Дед прочел и медленно поднялся с кровати. Казалось, он собрался куда-то пойти. Дима протянул ему сахар. Он покачал головой.

— Не надо. Она хочет видеть меня?

— «Да. Звонили из „Интуриста“».

Никогда прежде Диме и в голову не приходило, что Платон Платонович в свои семьдесят восемь лет еще очень хорош собой. Лицо его не обвисло, как у других стариков, черты остались подобранными, сухими. Растрепанные, желто-белые волосы закрывали высокий лоб, и он задумчиво откинул их рукой. Длинные ресницы сохранились и выгодно оттеняли радужные, серые, умные глаза. «Нельзя в одну минуту превратиться в красивого человека,— подумал Дима.— Стало быть, он всегда был таким».

Платон Платонович не всегда был таким. Не пользуясь лыжными палками, он сделал несколько шагов по комнате, обдумывая что-то. Он не был взволнован. Но что-то переменялось в нем. Он распрямился. Он глубоко, свободно вздохнул, и, казалось, весь воздух просторной комнаты вошел в его грудь, прихватив солнечный свет, которым она была озарена — косо, но ярко.

— Ну что же,— после долгой паузы сказал он.— Это прекрасно. Передай мадам Люси, что я жду ее с нетерпением.

Дима по телефону повторил эти слова, и сотрудница «Интуриста» ответила кратко:

— Ваш адрес? Сегодня мы приедем. Вечером.

До вечера было еще далеко, и, тревожно обсуждая неожиданное происшествие, пообедали, а потом тоже тревожно стали обсуждать вопрос, казавшийся почти неразрешимым: как одеть деда? Невозможно оставить его в поношенном свитере и измятых штанах.

Дима отправился к старику и, к удивлению, застал его читающим ту же книгу. Дед решил вопрос просто.

— У тебя, кажется, есть хороший свитер?

— «Да».

— Впрочем, он, пожалуй, маловат для меня?

— «Нет. Он — большой, даже громадный. Маринка смеется, что она купила его навырост».

Дима принес свитер, дед надел его, и вопрос, по его мнению, был решен.

В столовой дискуссия еще продолжалась. Дима, вернувшись, мгновенно прекратил ее.

Началось ожидание — не очень тревожное — к неожиданному приезду мадам Сюрвиль уже начали привыкать.

Она явилась, просто, но изящно одетая, небольшого роста, седая, скромно причесанная старая дама.

Потом Дима говорил, что он никогда прежде не видел таких лиц — как будто кукольных и вместе с тем необычайно серьезных. Маринка не согласилась: ничего особенного в лице старой дамы она не нашла.

Сопровождавшая ее, похожая на злую мартышку, вела себя очень странно — так, как если бы она в течение многих лет распорядилась всеми делами семейства Малышевых, хотя увидела его впервые. Но все-таки она поздоровалась, прежде чем спросить:

— Где он?

Дима провел мадам Люси и «мартышку» к деду. Он был такой же, как утром, но если бы мог, наверно, бросился бы к своей посетительнице — или к ее ногам. Легкий румянец проступил на ожившем ясном лице. Он вдруг широко, по-мальчишески улыбнулся.

— Я ждал вас тридцать лет, Люси, и вот наконец дождался, — сказал он и сразу же перешел на французский.

Дима показал старой даме полоски бумаги, лежавшие на столе. Она быстро написала на одной несколько слов, и дед надел свои очки с толстыми стеклами, прочел и весело, тоже как-то по-мальчишески засмеялся. «Мартышка», очевидно, вмешалась в разговор, и дед, впервые заметив ее, с изменившимся, побледневшим лицом сказал что-то мадам Сюрвиль. В ответ она только пожала плечами.

Сцена, которая произошла вслед за этим презрительным движением, была понятна до мелочей, хотя разговор происходил на французском языке, которого не знал Дима. Она началась словами деда, который вежливо попросил «мартышку» подождать в столовой:

— Je vous pris de nous attendre dans la salle à manger¹.

«Мартышка» сделала вид, что не слышит. Громким настоятельным голосом дед повторил фразу. Ничего не изменилось. «Мартышка» шепнула что-то мадам Сюрвиль и, не получив ответа, не двинулась с места.

Диме случалось видеть людей, которые старались справиться с бешенством и в конце концов давали ему волю: Иван Мартынович, срывая голос, кричал на монтажника, которого он обвинял в гибели Клычкова, и если бы не стоявшие вокруг рабочие, бросился бы на монтажника с кулаками.

Но дед и не думал справляться с бешенством. Какое там! Его красивое лицо исказилось, зубы оскалились, рот растянулся, седые волосы упали на лоб. Он оглянулся вокруг, очевидно, ища что-нибудь, чем можно ударить, и потянулся к тяжелому медному подсвечнику, стоявшему на столе.

Дима не понял, что он крикнул «мартышке» из «Интуриста», но она побледнела и пошатнулась, как от удара.

Дима, вышедший за ней в коридор, заметил, что мадам Сюрвиль смотрит на деда смеющимся, любующимся взглядом.

— Сумасшедший, — пробормотала «мартышка».

— Да, он ведь сидел в сумасшедшем доме, — охотно объяснил

¹ Я прошу вас подождать нас в столовой.

Дима.— А вам, очевидно, приказали не отходить от мадам Сюрвиль ни на шаг?

«Мартышка» не ответила. Вот она действительно старалась справиться если не с бешенством, так по меньшей мере с обидой.

Маринка предложила ей чаю, и она неожиданно согласилась, но за чаем вдруг всхлипнула и приложила платок к глазам...

Мадам Сюрвиль недолго пробыла у деда. Минут через двадцать она вышла от него, тоже с заплаканными глазами. Но, несмотря на слезы, у нее было светлое, успокоившееся лицо. На пороге дед нежно поцеловал ей руку.

Это были проводы, но не похоронные, а живые, спокойно торжественные, прошедшие через годы и зачеркнувшие все, что не могло совершиться.

23

Дима хотел пойти к деду сразу после отъезда мадам Люси, но что-то удержало его. Маринка постучалась, зашла и сказала, вернувшись, что старик встретил ее очень сердечно.

На другой день Дима заглянул к нему после работы. Платон Платонович что-то писал и попросил Диму подождать, пока он закончит фразу. Однако прошло минут пятнадцать, фраза, очевидно, была давно закончена, а он все еще не отрывал пера от бумаги.

— «Ты занят, дед. Я зайду позже».

Не отрываясь, Платон Платонович отрицательно помахал левой рукой.

— У меня к тебе просьба, милый,— сказал он наконец.— Я пишу письмо. Понимаешь, кому?

— «Да».

— Так вот, ты пошлешь ей это письмо после моей смерти. Вот адрес.

— «Ладно. Но почему после смерти? Я pošлю завтра. Или послезавтра».

— Вот как раз завтра-то я и умру,— возразил дед.— На твоих часах есть секундная стрелка?

— «Да».

— Отлично. Ты умеешь считать пульс?

— «Что же здесь хитрого?»

— Ну, вот и посчитай.

Но сосчитать пульс было невозможно: Дима дошел до ста пятидесяти и сбился. Да и эти сто пятьдесят состояли из стремительных бросков, которые прерывались паузами, когда сердце останавливалось на три-четыре секунды.

— «Ты болен, дед. Я позову маму».

Старик усмехнулся.

— Я, брат, однажды попросил ее прописать мне что-нибудь успокоительное — плохо спал. Так она добрых полчаса перелистывала справочники, а потом вручила мне рецепт, над которым в аптеке посмеялись. Впрочем, это было очень давно. Может быть, с тех пор она научилась.

— «Да, мама все забыла,— согласился Дима.— Но в Управлении механизации бывает хороший врач. Я сейчас за ним сбегая, дед».

— Не стоит трудиться. И не поднимай, пожалуйста, шума.

Но Дима все-таки привел врача — пожилого, серьезного, бородастого, добродушного, — и тот, послушав деда, сказал, что нужно немедленно вызвать «скорую помощь».

— Отказываюсь,— решительно сказал дед.— Еще в больницу возьмут! Умирать надо дома.

Дима не знал, о чем доктор поговорил с мамой. Но дело действительно было плохо, потому что на другой день у Платона Платоновича провалились глаза и на смертельно-бледных губах появился синеватый оттенок. Дима не мог уйти с работы, но все-таки отпросил-

ся, когда заплаканная Маринка прибежала и сказала, что дед хочет с ним поговорить.

— Плохо?

— Очень плохо. Всех прогнал. «Дайте мне умереть спокойно». Потом позвал громко: «Дима!..» И послал меня за тобой.

...Дед лежал с закрытыми глазами. Дима сел подле его постели, и он сжал его руку с неожиданной силой.

— В сравнении с тобой мне повезло,— слабым, но отчетливым голосом сказал дед.— Ты можешь прожить обыкновенную жизнь. Ты видишь людей, все новых и новых, камни, дома, небо.

«Бредит»,— подумал с острой жалостью Дима.

— Нет,— как будто угадав его мысль, возразил дед.— Сколько тебе лет?

— «Восемнадцать».

— А в меня эта молния ударила, когда мне было почти пятьдесят. В сущности, недавно. Может быть, точнее назвать ее не молнией, а болезнью. Неизлечимой. Она называется счастье. И все, кроме нее, потеряло значение. Неизлечимая,— повторил дед.— И, может быть, наследственная. Я устал. Не уходи, Дима.

Минут двадцать он пролежал молча, тяжело дыша, с открытыми глазами.

— Берегись счастья,— продолжал он наконец.— Оно выпрямляет жизнь. Идешь по шпалам, между рельсами, все прямо и прямо. Пространство сужается. Но ни о чем не надо жалеть. Годы уносят людей, камни, дома. Остается небо. Но годы отнимают и небо. Остаются воспоминания. Ты для меня уже воспоминание. Иногда они оживают. Их можно взять за руки. Я взял Люси за руки. Теперь можно умереть. Но лучше взяться за руки, чтобы жить, хотя рельсы, которые должны лежать параллельно, скрещиваются в конце концов. Кто это доказал? Не помню.

— «Лобачевский»,— написал Дима. Он плакал.

— Может быть. Умирать легко,— продолжал дед.— Это значит только одно: сердцу надоело биться. А письмо, которое я написал ей, ты отошлешь завтра.

— «Да, дед».

— Это странно, но лучше всего я чувствовал себя среди сумасшедших. Они гордились своей сложностью, а я своей простотой. Они были сложны, как дети. Но я говорю не о том. Мы оба больны, мой милый, и разница в том, что я болен смертельно. Меня заруют в землю или сожгут, а ты еще поправишься и будешь жить. Но может быть, я ошибаюсь.

24

Платон Платонович умер ночью. Дима закрыл ему глаза. Стояли жаркие дни, и на другое утро его отвезли в морг. Провожавшие с цветами в руках собрались в пустом морге, посередине которого стоял длинный стол. Мертвый дед лежал в гробу на этом столе. Кроме родных, пришли два старика, некогда служившие вместе с ним в Министерстве финансов. Руки лежали вдоль тела. Ступня левой ноги лежала неровно, косо, и сторож поправил ногу, точно это была вещь, которую надо положить на место. Маринка плакала. Потом дед привезли в крематорий, и пришлось долго ждать, хоронили заслуженного деятеля науки, выступали с речами. Прощанье было короткое. Кроме деда, все торопились.

Под траурную музыку гроб медленно стал опускаться, как пловец, которому надоело лежать на спине и он решил нырнуть в раступившуюся воду.

Вернулись поздно, разошлись по комнатам. Дима отправился на Кропоткинскую. «Мне хочется побыть одному»,— сказал он Маринке, зашел на почту и отправил письмо Люси Сюрвиль.

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

★

МИКОЛА НАГНИБЕДА

Желание

Я не завидую чужому,
Мой друг, и это знаешь ты,
Я и стране своей и дому
Желаю щедрой доброты.
Чтоб росы за окном сверкали,
Вставало солнце в рост во весь,
Чтоб наши силы нарастали,
В душе не увядала песнь.

Чтоб нас всегда манили дали
Еще не пройденных дорог,
Чтоб на страну пшениц и стали
Налюбоваться я не мог.
Чтоб год от года крепла с нами
Народов вольная семья
И чтоб под буйными ветрами
Не гнулась Родина моя.

Напутственное

Жизнь стала зрелости иной,
Но в давних днях ищу следы я,
Они, как быстрина весной,
Влекут нас в годы молодые.

Глядим острее в глубину,
Нет необдуманных решений,
Яснее видим всю страну
С судьбой грядущих поколений.

Все больше дум о молодых —
В них наши дети, наши внуки,

От кормчих славных, боевых
Они берут кормило в руки.

Я зорче всматриваюсь в даль
И вижу — ветры там крепчают,
И всю свою — до капли — дань
Без страха юности вручаю.

Добудут молодые там
Все, что завещано — не маясь..
Я их напутствую
И сам
Их юной силой вдохновляюсь.

Ночная баллада

Вдруг проснулся я ночью от стука..
— Кто там? Кто? — А в ответ мне:
— Разлука..
Сорок лет вдоль Днепра и Дуная
Возле дома блуждаю.
— Кто же поздно так просится в гости?
Может, братья — Иван или Костя?
— Мы вдвоем здесь блуждаем
Родным нашим краем,
А как дом свой найти — и не знаем:
Все долины не те,
Где с врагами мы бились,
Села новые здесь,
города появились.

— О, родные мои! —
 все во мне закричало,—
 Мать ждала вас, страдала,
 встречать побежала.
 К двери я подлетаю,
 вмиг ее раскрываю.
 — Входите, родные! —
 Кричу я в тревоге...
 Но кругом — никого,
 Я — один на пороге...
 А за дверью — гроза,
 Гром и молнии мая.
 — Братья, где же вы, где вы? —
 Я к ночи взываю.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.

ЗАХАР ГОНЧАРУК

Друзья

Болят мои ночи тревожно — друзей потерял на войне... Теперь наши встречи возможны лишь в кратком и тягостном сне. Прилягу, и, будто на страже, мой сон засекает радар, и кличут мои экипажи: — Захар, поднимайся! Захар! Гашетки коснусь еле-еле... И вдруг, словно выстрел, пароль.	Проснулся. Перо на прицеле, моя недописана боль. Отряды готовятся к бою, блеснула небесная сталь. Неначатых строчек обоймы несу в предрассветную даль. Ложатся слова непреложно — то пуль моих точный удар. ...И слышится ночью тревожной: — Захар! Поднимайся, Захар!
---	---

Перевела ТАТЬЯНА ШАРОВА

МИКОЛА ВИНГРАНОВСКИЙ

Величальная народу

На ясны зори и на чисты воды,
 Мы говорим и повторяем вновь:
 В просторах лет — века, любовь, свобода,
 Народ — Века, Свобода и Любовь.

И глядя в ясны зори, в чисты воды,
 В наш ленинский благословенный час,
 Целуем руку своему народу,
 Что пестует и нежно любит нас.

Где дом и грусть, где птиц осенних сборы,
 Где Байконур за ковyleм седым,
 Творцу-народу в царственные взоры
 Мы с самых ранних детских лет глядим.

Народ-товарищ, побратим свободы,
 Ты, овладевший собственной судьбой,
 Наш знаменосец, славься! Все народы
 Гордятся ныне дружбою с тобой!

ВИКТОР КОЧЕВСКИЙ

Монолог хлеборотца

Я — пахарь. Род могучий мой
 За далью вековою,
 Как небо связано с луной,
 Так связан я с землею.
 Свет озими влечет меня
 В зеленый храм природы,
 Я слышу, как зерном звенят
 На жатве эти всходы.
 Стоят весною холода —
 Я сердцем леденею,
 На ветре стынет борозда —
 Я мерзну вместе с нею.

И все ж терпенье мне дано:
 Я с силою упорной
 Смотрю сквозь черное рядно,
 Как прорастают зерна,
 Как солнцем гретые в земле
 Ростки прорвут тенета,
 И каравай мой на столе
 Увидит вся планета.
 Я — хлеборотец, жизнь моя
 В моем труде могучем,
 И как пчела с цветком, так я
 С землею неразлучен.

Лесная тишина

Тишью сосновой и светом напоенный снег...
 В лес я вхожу под высокие своды покоя.
 Жаждет душа моих зимних негромких утех —
 Пить этот воздух морозный, замешанный хвоей.
 Белка в дупле догрызает орешек тугой,
 Вон во всю просеку заяц оставил автограф...
 Тихое небо прозрачной висит бирюзой,
 Словно оно отдыхает от гула моторов.
 Грозно раскалывал небо летающий гром,
 Белые нити тянулись рокошущей высью,
 Глухо дрожала и речка Ирпень подо льдом,
 Дуб осыпал жестяные продрогшие листья.
 В дотах разбитых осела седая метель,
 Глыбы бетона прикрыла слепая поземка,
 Но из окопов, на снежную севши постель,
 В мир, будто ежики, юные смотрят сосенки.
 Свет этой хвои вовек на земле негасим,
 Ветвь закаленная вынесет вьюжную стужу.
 Здесь тишина дышит памятью огненных зим,
 Светит покоем в мою просветленную душу.

Этюд

Дождь прошел. Я направляюсь к дому.
 Осторожен у густой листвы.
 Так приятно небу голубому
 Лужицам подбавить синевы.

Солнце — в туче, но лучи косые
 Подождгли верхушки тополей.
 Как секунды, капли дождевые
 Катятся и падают с ветвей.

ТАМАРА КОЛОМИЕЦ

Родине

Как твой образ воссоздать? Не знаю.
 Одежня слов моих — тесны.
 Белое цветение весны?
 Вдовья ли под шалью прядь седая?

Звездочка дрожит ли золотая,
Иль слезинки трепетный наплыв?
Все равно — хозяйкой тучных нив
Ты проходишь по родному краю.

Узнаем мы добрую ладонь
И лицо, что к нам склонялось низко,
Где у глаз — от чистых обелисков —
Сеть морщинок, сбившихся в гармонию.

Материнский образ — самый близкий
Освещает вечности огонь.

Листья осенней тишины

Рыгору Борогулину.

Так вчитываюсь, как учу урок,
Как будто пью я воду из криницы,
И входят в сердце мне шеренги строк,
Чтоб в украинской речи возродиться.

Чтоб падал лист в осенней тишине,
Чтоб я душой в себя вбирала краски,
И если аист не дается мне,
То пусть хоть гуси прилетят из сказки.

Я исстрадаюсь, если не найду
Единственного, как заклатье, слова,
По следу я за ним иду, иду,
Споткнувшись, но в поиск вновь идти готова.

До высоты твоей хочу дойти,
Успехи же пока мне только снятся —
Ведь это так не просто: дорасти,
Совсем не то, что на носки подняться.

Я с белорусским слогом на устах
Из нашей речи отбираю слово,
И чувствую, что мир в моих стихах
Поэзией распахнут настезь снова.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.



ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

ПОЛКОВОДЕЦ*

Документальная повесть

Часть третья

ПОСЛЕДНИЕ СРАЖЕНИЯ

Моравска-Оставская операция

После очередного успеха 4-го Украинского фронта, отмеченного 12 февраля салютом Родины в его честь, Военный совет фронта 13 февраля представил в Ставку план дальнейших боевых операций. Через три дня он был утвержден.

По этому плану предусматривалось сначала провести частную операцию для того, чтобы улучшить исходное положение, а потом осуществить большую, очень глубокую операцию на 450 километров, выйти на рубеж реки Влтавы и освободить столицу Чехословакии Прагу.

На первом этапе генерал Петров решил овладеть Моравска-Оставским промышленным районом. Главные усилия фронта он сосредоточивал на правом крыле, в полосе 38-й и 1-й гвардейской армий. Взятие Моравска-Оставы возлагалось при этом на 38-ю армию. 1-я гвардейская армия должна была ей содействовать, а 18-я армия активными наступательными действиями на левом фланге фронта отвлекать на себя силы противника и не позволять маневрировать ими.

За конец февраля и начало марта эта большая, серьезная операция была тщательно подготовлена.

Общая стратегическая обстановка, а также усилия соседних фронтов благоприятствовали действиям 4-го Украинского фронта. Красная Армия освободила большую часть Польши, вступила на территорию фашистской Германии и глубоко там продвинулась: после форсирования реки Одер до Берлина оставалось всего 60 километров. С запада в сторону Берлина продвигались части наших союзников — английские и американские войска.

Над Германией нависала катастрофа — не только военная, но и экономическая. Для обеспечения дальнейших боевых действий у Германии уже не было больше прежней могучей промышленности — только остатки ее. И одним из главных промышленных районов стал Моравска-Оставский. Там в это время действовали металлургические, химические, машиностроительные, нефтеперегонные, электростанции и многие другие предприятия и угольные шахты.

О том, какое значение получил ныне этот район, свидетельствует тот факт, что в Моравска-Оставу в начале марта приезжал Гитлер. Он держал речь перед командным составом, требовал любой ценой удержать этот район и грозил самыми строгими наказаниями в случае отступления отсюда.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

До всего личного состава гитлеровских частей было доведено, что этот район представляет собой последнюю надежду рейха. Об этом свидетельствуют показания пленного 473-го пехотного полка 254-й пехотной дивизии:

«4 марта командир дивизии генерал-лейтенант Беккер посетил наш полк и обратился к нам с речью. Он сказал, что от Моравска-Оставской земли зависит теперь 80% военного производства. «Если вы отдадите Моравскую Оставу,—говорил он нам,—вы отдадите Германию...» (13, стр. 555) *.

Помимо мер идеологического воздействия и угроз гитлеровское командование строило свои расчеты по удержанию Моравска-Оставы на мощных укреплениях. Конечно, возводить такие укрепления в ходе боев было уже поздно, но случилось так, что Моравска-Острада прикрывала с востока старая линия долговременных сооружений. Эта линия была создана в 20—30-х годах под руководством французских инженеров, которые строили в свое время линию Мажино.

Что из себя представляли эти укрепления, хорошо видно из воспоминаний маршала К. С. Москаленко, который осматривал их уже после взятия:

«...когда мы... уже в конце апреля осматривали эти сооружения, то пришли к выводу: нам прорывать такую долговременную оборону довелось впервые. Добавлю: в дальнейшем, подробно знакомясь с боевыми действиями наших войск на других фронтах, я обнаружил, что в годы войны с фашистской Германией всего лишь на трех участках пришлось прорывать мощную долговременную оборону. Одним из них был Карельский перешеек, другим — граница Восточной Пруссии, третьим — Моравска-Оставский район, на пороге которого и стояла ранней весной 1945 года наша 38-я армия. Возможно, этот перечень неполон, но вряд ли можно его намного увеличить... Подходы к Моравска-Оставе с востока прикрывались тремя долговременными оборонительными полосами... Здесь были построены железобетонные доты различных типов: пулеметно-артиллерийские с 6—8 амбразурами и пулеметные с 6, 2 и 1 амбразурой. Почти у всех было также по 2—3 пулеметных колпака, возвышавшихся над землей на 30—50 сантиметров. Полоса состояла из 4 линий укреплений...»

Все эти сооружения были тщательно замаскированы, и на расстоянии их нельзя было отличить от множества расположенных вокруг холмов. Соединялись они ходами сообщения. В 75—100 метрах перед дотами были сооружены контрэскарпы с железобетонными опорными стенками. Их продолжением служили надолбы на бетонном фундаменте. Пространство между дотами и впереди контрэскарпов полностью простреливалось» (1, стр. 551—552).

Генералу Петрову в годы войны не везло во многих отношениях: бои ему приходилось вести почти всегда в крайне трудных условиях — прибрежных, горных, заболоченных местностях, войск обычно не хватало, а вражеские части противостояли сильные. Так было и в завершающих сражениях: на других фронтах войска маневрировали на оперативных просторах, а перед фронтом Петрова — горы и линия долговременных сооружений, на многих участках противник сокрушен и подавлен, а перед 4-м Украинским упорно сопротивляется. Всюду идут ожесточенные бои. Нацистские агитаторы в сопровождении гестаповцев зачитывали в частях вот такой документ, несомненно составленный самим Шернером:

«Теперь дело идет о жизни и смерти. Бояться смерти нам нечего. Смерть предопределена человеку в час его рождения. Идите на фронт и деритесь. Если попадете в плен — вас расстреляют русские, если попытаете убежать в тыл — вас расстреляют свои, а если попытаете перебежать к русским — на родине будут уничтожены ваши семьи. Ну, а теперь вперед на врага...» (13, стр. 546).

Напомню еще раз о том, что в тылах 4-го Украинского фронта действовали гитлеровские разведчики и группы бандеровцев, кото-

* Ссылки вынесены в конец повести; в скобках указаны порядковый номер издания и страница, с которой приведена цитата.

рые сотрудничали с фашистами и передавали им важную информацию.

Гитлеровскому командованию стало известно о подготовке наших частей к решительному наступлению на Моравска-Оставу. Позднее это подтвердили пленные. Вот несколько выписок из их показаний:

«О наступлении мы были предупреждены вчера, и поэтому ничего неожиданного в нем для нас не было».

Другое показание:

«Вчера вечером, когда я находился в 3-й роте, командиру роты было сообщено, что завтра утром, то есть 10 марта, ожидается генеральное наступление русских. Командиру роты было приказано в 4 часа ночи уйти на вторую линию обороны, оставив впереди только заслон из одного или двух отделений».

И еще:

«9 марта в 24.00 было получено сообщение, что русские утром 10 марта начинают наступление. Нам было приказано в 4.00 по немецкому времени очистить первую линию, оставив в ней одно отделение» (13, стр. 564).

И вот пришло 10 марта, день, назначенный для наступления. Утром дул сильный ветер, небо было затянуто низкой облачностью, начался снегопад. Крутила метель. Видимость упала до минимума. Вести прицельный огонь артиллерией было почти невозможно. Принять участие в обеспечении наступления авиация не могла.

В 6 часов 30 минут на наблюдательный пункт 38-й армии прибыл генерал армии Петров. Условия для боевых действий складывались настолько тяжелые, что у военачальников, подчиненных Петрову, возникла мысль просить об изменении срока наступления. Вот что пишет об этом К. С. Москаленко:

«Встретив его (Петрова.— В. К.) вместе с членом Военного совета А. А. Епишевым и командующим артиллерией армии полковником Н. А. Смирновым, я доложил, что войска готовы к наступлению, но условия погоды не позволяют начать артиллерийскую подготовку. Она не принесет ожидаемых результатов, говорил я, так как огонь можно вести лишь по площадям, а не по целям. В заключение изложил просьбу: позвонить Верховному Главнокомандующему и попросить перенести срок наступления.

И. Е. Петров не согласился.

— Сроки утверждены Ставкой, они окончательные,— ответил он.— Просить о переносе времени наступления не буду.

После этого он позвонил командующему 1-й гвардейской армией генерал-полковнику А. А. Гречко, который после доклада о готовности войск к наступлению подчеркнул нецелесообразность начинать артиллерийскую подготовку в сложившихся условиях. Прислушиваясь к разговору, я с теплым чувством подумал об Андрее Антоновиче Гречко: и ему опыт подсказывал необходимость отсрочки наступления, так что вдвоем нам, быть может, удастся убедить в этом И. Е. Петрова. К сожалению, командующий фронтом отклонил и просьбу А. А. Гречко» (13, стр. 561—562).

Может быть, Петрову следовало согласиться с опытными командармами? Наверное, это так. Но все же думаю, что нежелание Петрова перенести срок наступления зависело не от упрямства. Иван Ефимович знал, что к такой просьбе в Ставке отнесутся неодобрительно. Не время было просить об отсрочке наступления в условиях, когда наши войска вот-вот нанесут удар на Берлин, когда фашистская Германия фактически доживает свои последние дни. У Петрова были все основания считать, что моральный дух и вообще бывшее военное могущество гитлеровской Германии сломлено. Он надеялся, что в обстановке успешных действий советских войск на всех фронтах (так, на севере в Курляндии было изолировано до 26 дивизий противника, в Восточной Пруссии около 32 дивизий, большая группировка была окружена и уничтожалась в районе Будапешта) будет достигнут успех и на моравска-остравском направлении.

Итак, наступление все же началось в день и час, установленные Ставкой. Обстановку этого дня можно представить себе по дневниковой записи Константина Симонова. В качестве военного корреспондента он весь этот день провел рядом с Петровым, был вместе с ним на наблюдательных пунктах у К. С. Москаленко и А. А. Гречко, был в «виллисе» комфронта, когда тот объезжал наступающие части. Опираясь на эту запись, опубликованную позже в книге «Разные дни войны», а также на то, что Константин Михайлович рассказывал мне лично, попробуем представить себе, как, в каких условиях развивалась эта операция, что в реальности делал и говорил Петров.

Метель все усиливалась. На горизонте не было видно ничего, кроме сплошной серо-белой пелены. Артподготовка началась точно в 7.45. Рев артиллерии был оглушительный, все вокруг гремело, но сквозь метель были видны только вспышки выстрелов ближайших батарей. В такую метель ни о каком наблюдении за целями говорить не приходилось. Огонь велся по заранее намеченным координатам. Приехавший вместе с Мехлисом на наблюдательный пункт Петров, забравшись наверх, на чердак, приказал выломать кусок крыши и некоторое время наблюдал, высунувшись наружу, но рассмотреть все равно ничего было нельзя. Петров спустился вниз, в помещение фольварка, где размещался наблюдательный пункт 38-й армии. В жарко натопленной комнате сидели Москаленко с Епишевым.

Петров стал обсуждать с Москаленко погоду: по мнению Ивана Ефимовича, на первое время такая погода — это даже неплохо для пехоты. Если она дружно пойдет и сразу прорвет оборону, то при плохой видимости будет меньше потерь. Но если метель затянется надолго, это уже беда.

Москаленко непрерывно вызывал к телефону то одного, то другого из своих подчиненных, требовал сведений — как идет продвижение, до какого рубежа дошли их части. Настоящей ясности пока не было. Не было ее и в докладе только что приехавшего с передовой офицера связи. Возможно, присутствие многочисленного начальства взволновало его, и он путался при докладе.

Петров обратился к нему:

— Вы на чем, майор, на «виллисе»?

— Да.

— Так вот, садитесь снова на свой «виллис» и поезжайте прямо по дороге до передних порядков пехоты. В общем, доезжайте, куда сумеете доехать. Не ищите по дороге никаких штабов, а просто догоните пехоту. Определите, где она сейчас. И немедленно возвращайтесь назад. Все дело в быстроте вашего доклада!

Майор ушел.

Дальше Петров почти все время сидел молча. Изредка он связывался по телефону с армией Гречко, где наступление развивалось примерно так же, как здесь. В происходящее у Москаленко он почти не вмешивался, только иногда время от времени вставлял несколько слов по ходу телефонных разговоров командарма с его подчиненными.

Симонов особо подчеркивает, что это стиль работы Петрова — предоставлять возможно большую инициативу командармам. Он вносил поправки деликатно, видимо, не желая давить своим присутствием на действия Москаленко.

— Надо вводить мехкорпус, а то опоздаем, — говорит, например, Москаленко.

Петров ничего не отвечает, как будто этих слов не было. Он, видимо, не согласен с предложением Москаленко, но внешне ничем это не выражает. И Москаленко уже не возвращается к сказанному...

По телефону сообщили, что немцы подорвали мост, переброшенный через выемку железной дороги, и там сейчас образовалась большая пробка — стоят и артиллерия и танки...

Инженер докладывает, что материал для восстановления взорванного немцами моста уже подготовлен и его везут сейчас туда, к выемке.

— Володин, не будьте таким нерасторопным, как прошлый раз,— обращается Петров к инженеру.— Сегодня я проверю, способны ли вы поддерживать порядок на дорогах...

Появился новый офицер связи. На нем шинель до такой степени мокрая—видимо, метель постепенно превращается в дождь. Петров впервые за все время говорит с нескрываемым раздражением (до этого он выглядел спокойным):

— Прохвосты прогнозчики!..

Он приказывает позвонить в корпус, в который намерен выехать («Пусть поставят на перекрестках дорог маяков!»), и уезжает от Москаленко. На первом «виллисе», открытом, без тента, с автоматчиком и постоянным своим спутником лейтенантом Кучеренко—Петров, на втором—Мехлис.

Через несколько километров «виллис» командующего наталкивается на первую пробку. Кучеренко и автоматчик соскакивают с машины и бегут растаскивать пробку. Она образовалась из-за того, что на дороге в два ряда остановились машины мехкорпуса. Пробка такая, что, кажется, она вовеки не сдвинется с места. Лица у всех мокрые, шинели промокли насквозь. Все мерзнут от пронизывающего до костей ветра и дождя со снегом...

Петров со спутниками идут примерно с километр пешком, подходят к железной дороге под аккомпанемент немецкого артиллерийского огня. Двухколейная железная дорога проходит в огромной выемке, глубина которой местами двенадцать и даже пятнадцать метров. Через эту огромную выемку и был перекинут взорванный сейчас немцами мост.

Вдоль дороги—аллея с огромными деревьями. Сейчас их пилят для того, чтобы сделать деревянные клетки и заложить ими железно-дорожную выемку.

Петров спрашивает:

— Когда сделаете?

— За ночь.

— Когда точно?

— К пяти утра.

— Точно?

— Точно.

Останавливаемся у самой выемки.

— Вот теперь все ясно,— говорит Петров.— Танки встали и артиллерия встала из-за этого моста. И в этом одна из главных причин задержки наступления. А штабы нам морочат голову по телефону: «Продвинулись, продвинулись».

Он подзывает кого-то и отдает приказание, чтобы, не дожидаясь восстановления моста, часть артиллерии перебиралась на другую сторону; говорит, что танки там не пройдут, слишком тяжелы, а «студбеккеры» с пушками на прицеле могут благополучно пройти.

К Петрову подходят два полковника из мехкорпуса.

— Ну а вы что?— говорит им Петров.— Ваши же танки стоят! Давайте сюда ваших людей, чтобы помогли поскорее мост восстановить.

— Да, теперь все ясно,— повторяет Петров, шагая обратно по шоссе к своему «виллису».

Машина с трудом пробирается через все еще не растасченную до конца пробку и наконец доезжает до штаба корпуса. Петров связывается с Москаленко, говорит ему о пробке, о картине, которую застал у железнодорожной выемки, и добавляет:

— Для того чтобы реально поддержать пехоту, нам неминуемо придется сейчас убрать с дороги часть артиллерии и развернуть ее

на огневых позициях пока что по эту сторону железнодорожной выемки.

Поговорив с Москаленко, Петров звонит в соседний корпус, куда он собирается теперь ехать. На этот раз дорога идет через рубеж недавнего переднего края. Снегу за эти шесть-семь часов намело столько, что и воронки, и трупы, и вообще все замечено снегом. Навстречу идут раненые, в такую погоду особенно измученные, с шинелями внакидку.

Доехали до штаба корпуса. Его командир генерал Шмыго, небольшого роста, коренастый человек, спокойно и деловито докладывает о положении на его участке. Петров сидит над картой и проверяет по ней доклад. Выясняется, что за первые восемь часов наступления корпус мало продвинулся — от двух с половиной до трех километров. Но, как выражается Шмыго, в последний час он почувствовал у себя на левом фланге намечающийся успех и предлагает ввести там часть своих вторых эшелонов, чтобы развить продвижение.

— Где крепче всего держатся немцы? — спрашивает Петров.

Шмыго показывает по карте где.

— Как ваше мнение, — спрашивает Петров, — на этом рубеже, в который вы уперлись, сосредоточены их резервы или это просто их вторая линия?

Шмыго колеблется.

— Думаю, что резервы, — говорит он, но в его голосе нет уверенности. Видимо, он еще не решается сделать тот неприятный и для него и для командующего фронтом вывод, что, в сущности, преодолена до конца только первая линия, на которой немцы держали меньшую часть войск. А вторая линия, на которую они успели до начала наступления отвести большую часть сил, хотя в какой-то мере и накрыта огнем во время нашей артподготовки, но не подавлена.

Выслушав Шмыго, Петров сам делает за командира корпуса этот неприятный вывод, договаривая до конца то, что Шмыго имел в виду, но не решился высказать...

Затем под снегом, переходящим в дождь, Петров едет в танковый корпус, отдает там приказание колонне танков свернуть с дороги и встать на ночь неподалеку отсюда, вблизи деревни.

— Пусть люди отдохнут и немного обсушатся по домам.

Поясняя свое приказание, Петров говорит, что сегодня, по всей вероятности, корпус не будет введен в дело и, стало быть, людям незачем мокнуть.

От танкистов он едет к Гречко. По проселочной дороге «виллис» скачет по чудовищным кочкам, переваливает через почти непроходимую канаву и все же застревает. Второй «виллис» проскакивает вперед и начинает на тропе вытягивать первый. Когда наконец все вошли в домик Гречко и сняли верхнюю одежду, ее можно было просто-напросто выжимать...

Гречко ознакомил Петрова с обстановкой: хотя он сегодня действовал меньшими силами, но в полосе его армии наступление развертывалось несколько более удачно, чем у Москаленко. Войска вышли к Висле и даже кое-где переправились через нее. Накануне Гречко вел разведку боем. Во время этого боя была истреблена немецкая рота, взят в плен офицер, и немцы в результате подтянули на первую линию обороны больше войск, чем у них было раньше. Поэтому и артподготовка оказалась более действенной, и продвижение встретило меньше препятствий.

— Да, надо было и на правом фланге провести разведку боем, — сказал Петров. — Это наша ошибка! — И еще раз повторил: — Ошибка!

И опять как существенную черту Петрова Симонов подчеркивает то, что Иван Ефимович не старался из соображений престижа скрыть в разговоре с подчиненным, что у него как у командующего фронтом сегодня пока не все получается так, как хотелось бы, не все в течение дня делалось наилучшим образом.

Гречко дважды сдержанно упомянул о том, что он наступал небольшими силами и что у него в резерве имеется несколько дивизий. Командарм это особо подчеркнул, в сущности, он предлагал подумать о дальнейшем развитии успеха именно в полосе его армии.

Командующего и тех, кто был с ним, накормили обедом. Петров сидел в углу и, хотя принимал участие в общем разговоре, все время при этом думал о чем-то своем. Как только кончился обед, он соединился по телефону с начальником штаба фронта, чтобы передать в мехкорпус отмену своего приказа об отводе танковых колонн с дороги. Приказал оставить их там, где стоят.

— Если здесь у вас наметится более очевидный успех,— сказал он Гречко,— может быть, будем вводить мехкорпус у вас.

Темнело. Петров решил ехать в штаб фронта подвести итоги дня, дать распоряжения на завтра.

Когда он со своими сопровождающими вышел из домика Гречко, по-прежнему шел дождь со снегом, а ветер дул еще свирепее, чем раньше...

Так закончился день 10 марта.

11 марта после получасовой артиллерийской подготовки наши войска вновь атаковали противника, но и в этот день продвижение было небольшим — от 2 до 5 километров. Наступление не получило развития и в течение недели. Ударная группировка не вышла на оперативный простор, и наступление хотя и продолжалось, но успешным назвать его было нельзя.

Желая разобраться в причинах неудачи, Петров, как это было не раз и прежде в подобных случаях, поговорил с командующими армиями, опытными военачальниками, с начальником штаба генерал-лейтенантом Корженевичем.

Взвесив все, Петров принял новое решение: использовать успех соседа справа — 1-го Украинского фронта, завязавшего бои за город Ратибор, и направить главный удар 38-й армии генерал-полковника Москаленко на Моравска-Оставу с севера. В соответствии с этим решением были проведены необходимые перегруппировки, даны соответствующие организационные указания, и командующий фронтом отдал приказ о переходе в новое наступление 24 марта.

На этот раз благодаря хорошей погоде удачно действовала наша авиация. После 45-минутной артиллерийской подготовки войска пошли вперед и сравнительно быстро сломили сопротивление противника. К концу дня они освободили больше 20 населенных пунктов, в том числе и город Зорау, находившийся на направлении главного удара.

В течение ночи немецкое командование приняло все меры, чтобы остановить здесь продвижение наших войск, но на следующий же день после 20-минутной артиллерийской подготовки наши части снова пошли вперед. Одновременно, полагая, что активными действиями на участках 1-й гвардейской и 18-й армий он заставит противника ослабить напор на направлении главного удара, генерал Петров двинул и эти армии вперед.

Наступление пошло более успешно. 38-я армия овладела городом Джоры, который уже непосредственно прикрывал подступы к Моравска-Оставе. До Моравска-Оставы оставалось 15—20 километров, цель была близка. 18-я армия в это время тоже наступала успешно, пройдя вперед около 70 километров. 1-й чехословацкий армейский корпус вышел на подступы к городу Жилина. А всего в ходе этих наступательных боев 4-й Украинский фронт продвинулся на 50—70 километров.

Противник приложил много усилий, чтобы остановить наше наступление. На направление главного удара, где наступала 38-я армия, он перебросил две танковые дивизии. Кроме того, гитлеровские части контратаковали на участках 1-й гвардейской и 18-й армий, чтобы сковать все наши наступающие войска. Но этого им не удалось достичь. Ломая сопротивление гитлеровцев, части фронта шли вперед. На главном направлении 38-я армия расширила прорыв до 20 километров и в течение только второго дня продвинулась на 15 километров.

Ни старые укрепления инженеров, строивших линию Мажино, ни новые сооружения гитлеровских фортификаторов не смогли сдержать натиск советских войск. 26 марта был взят город Лослау, а это значит — прорвана главная оборонительная полоса долговременной линии обороны. Все преодолел наш замечательный советский солдат — рвы, доты, эскарпы, надолбы и, главное, стоявших насмерть фашистов...

Но почему-то на этот раз не было приказа Верховного, не гремел салют в Москве в честь этой победы.

Вместо этого опять, как гром с ясного неба, то самое «вдруг», которое уже не раз сотрясало судьбу Петрова: приехал новый командующий фронтом, тот же генерал А. И. Еременко, который сменил Ивана Ефимовича под Керчью.

Что же произошло на этот раз?

Выяснением причин и обстоятельств этого мы и займемся не торопясь в следующей главе.

Что же произошло?

Как это ни странно, писать о реальных событиях труднее, чем сочинять обычную художественную прозу. Писатель при разработке сюжета романа и характеров своих вымышленных героев волен выбирать все, что подскажет ему фантазия. При создании вещи, основанной на подлинных фактах и событиях, писателю надо суметь из имеющихся в его распоряжении материалов воссоздать объективную, исторически правдивую картину. Для этого необходимо понять взгляды, интересы, личные особенности участников событий. И не только понять, но еще подняться выше их субъективных страстей, переживаний, оценок. А затем, поняв и взвесив все это, постараться преодолеть еще и свои авторские симпатии и антипатии. И вот, увязав и приведя в соответствие все это, надо представить себе ход событий в виде живого, происходящего действия (прокручивать в своем воображении что-то вроде фильма, причем многократно), только после этого их можно запечатлеть на бумаге.

Итак, попытаемся с этих позиций, опираясь на факты, разобраться в том, что случилось с Петровым.

Константин Симонов, который, как читатель только что прочел, провел с Петровым целый день и дальше был в это время на Украинском фронте, рассказал впоследствии:

— Мне довелось присутствовать при том, как в марте тысяча девятьсот сорок пятого года Петрова в обстановке абсолютной неожиданности для него самого и для работников его штаба сняли с командования фронтом. В данном случае, как непосредственный свидетель событий, могу утверждать, что к этому моменту нового неожиданного снятия Петрова на фронте, которым он командовал, не только не произошло никакой внезапной катастрофы, но и ничего даже отдаленно похожего на нее.

Ну предположим, что Симонов как корреспондент и писатель хоть и был рядом с Петровым в эти дни, мог не знать чисто военных, может быть, даже секретных тогда причин снятия Петрова. Но вот что пишет по этому же поводу более осведомленный человек — маршал А. А. Гречко:

«25 марта наступление войск 38-й армии и двух корпусов 1-й гвардейской армии продолжалось. Преодолевая упорное сопротивление врага, наши войска углубили и расширили прорыв, создав угрозу выхода к крупному узлу дорог — городу Лослау.

В этот день (точнее, 26 марта.— В. К.) командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии И. Е. Петров и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич были освобождены от занимаемых должностей. Командующим фронтом был назначен генерал армии А. И. Еременко, начальником штаба — генерал-полковник Л. М. Сандалов. Истинные причины смены командования фронта генералам и офицерам армейского звена не были известны, но все очень сожалели об уходе с поста командующего генерала Петрова, талантливого военачальника, скромного и отзывчивого человека. Предполагали, что смена связана с неудачными действиями войск фронта под Моравска-Оставой, хотя медленное продвижение войск зависело, в основном, не от командования фронта и армии, а от наличия сил и средств для прорыва долговременной обороны противника и крайне ограниченного количества боеприпасов, выделенного для проведения операции. Стрелковые части и подразделения были вынуждены прорывать хорошо организованную оборону врага без достаточной артиллерийской поддержки и несли большие потери» (10, стр. 360).

Напомню, что еще более посвященный во все события тех дней начальник оперативного управления Генерального штаба генерал Штеменко, рассказывая об истории снятия Петрова со 2-го Белорусского фронта в результате письма Л. З. Мехлиса, заметил при этом, что аналогичные письма от него продолжали поступать и с 4-го Украинского фронта.

Содержание этих писем сегодня неизвестно, но то, что они были, подтверждается тем, что Верховный Главнокомандующий поручил маршалу Жукову во время поездки на 4-й Украинский фронт, кроме дел чисто оперативных, разобраться и во взаимоотношениях Петрова и Мехлиса.

Я уже цитировал докладную Г. К. Жукова Сталину, в которой тот отмечал, что Петров «правильно понимает построение операции и свое дело знает неплохо». Высказав несколько конкретных замечаний по поводу использования некоторых корпусов, маршал Жуков далее сообщал:

«С Мехлисом Петров работает дружно, и Петров никаких претензий к Мехлису не имеет» (2, стр. 348).

Из этих слов Георгия Константиновича можно понять — он беседовал с Петровым и скорее всего, в соответствии со своим характером, прямо спросил о его отношениях с Мехлисом. Может быть, Жуков ничего не сказал Петрову о письмах Мехлиса. Во всяком случае, Иван Ефимович, однажды уже пострадавший из-за Мехлиса, не нашел нужным напомнить об этом Жукову, и хотя его отношения с членом Военного совета после событий на 2-м Белорусском были, очевидно, чисто служебные и «прохладные», Петров все же ответил маршалу: «Отношения нормальные». Об этом Жуков и доложил Сталину.

Любопытен комментарий генерала С. М. Штеменко к этому месту докладной Жукова:

«Эта приписка маршала была свидетельством величайшей личной чистоты и терпимости Ивана Ефимовича Петрова, который разобрался в Мехлисе, понял, если так можно сказать, особые черты его характера и нашел в себе силы сотрудничать с ним, как того требовали долг и совесть коммуниста» (там же).

К. М. Симонов, подробно описывая тот день, который он провел рядом с командующим 4-м Украинским фронтом, тоже не отмечал ничего такого, что внешне свидетельствовало бы о каком-то неблагополучии во взаимоотношениях Петрова с Мехлисом. Напротив, эти взаимоотношения выглядят вполне нормально, хотя, нормальными считал их только Петров, а Мехлис, будучи как бы вполне добро-

желательным, по сути дела кривил душой и затевал новую интригу против Ивана Ефимовича. Вот свидетельство этого, принадлежащее перу прямого очевидца событий — я имею в виду воспоминания маршала Москаленко, в которых он пишет:

«В один из первых дней наступления, когда уже стало ясно, что оно сорвано, меня вызвали на командный пункт фронта. В домике, где жил И. Е. Петров, я встретил и члена Военного совета фронта генерал-полковника Л. З. Мехлиса. Обстановка была неофициальная. Мы сидели за столом, пили чай, беседовали непринужденно. Командующий фронтом попросил высказать свое мнение о причинах постигшей нас неудачи. (Далее Москаленко перечисляет причины, уже известные читателям.— В. К.)... Конечно, я не мог не обратить внимания на то, что Л. З. Мехлис во время этого разговора делал записи в небольшом блокноте. Но лишь спустя несколько дней мне стало известно, что они нужны были ему для телеграммы в Москву» (13, стр. 567).

И дальше как продолжение этой истории К. С. Москаленко вспоминает, что примерно через неделю после того неофициального разговора (и, добавляю от себя, за 10 дней до приказа о снятии Петрова) ночью ему позвонил генерал армии А. И. Антонов, незадолго до этого назначенный начальником Генерального штаба.

«В столь позднем или, если хотите, раннем вызове не было ничего удивительного, так как Ставка ВГК и Генеральный штаб в период войны работали и ночью. Поздоровавшись, А. И. Антонов спросил о самочувствии и настроении. Я понял, что он стремится дать мне время, чтобы окончательно стряхнуть с себя сон, так как ему доложили, что я только что прилег отдохнуть. Но сон у нас всех в войну был чуткий; стоило открыть глаза, и его уже как рукой сняло. Выслушав мой ответ, А. И. Антонов приступил к делу.

— Верховный,— сказал он,— поручил мне переговорить с вами о причинах срыва наступательной операции фронта. Что могли бы вы сказать по этому поводу?

— Но я не располагаю данными в масштабе фронта,— ответил я.— Да и как же через голову командующего фронтом?..

— Генерал-полковник Мехлис прислал телеграмму с изложением ваших соображений, и товарищ Сталин хотел бы узнать о них поподробнее.

Мне ничего не оставалось, как проинформировать А. И. Антонова о беседе с командующим и членом Военного совета фронта. Что касается причин неуспеха, то я повторил то, что высказывал И. Е. Петрову и Л. З. Мехлису. Доложил и о том, что просил командующего фронтом о перенесении направления главного удара еще правее, в район Зорау.

— У противника,— сказал я,— силы там небольшие, оборона хорошо просматривается, местность менее пересеченная, чем на прежнем направлении... Позволю себе высказать уверенность, что успех наступления из района Зорау будет обеспечен.

Генерал Антонов поблагодарил за информацию, вежливо простился и положил трубку» (13, стр. 569).

Конечно, писать письма, давать телеграммы вышестоящему начальству с изложением своего понимания событий не предосудительно, если человек честно и правдиво стремится помочь делу. Но боюсь, что в данном случае автор писем и телеграмм руководствовался не интересами дела и воздействовал на не лучшие стороны характера своего адресата.

И результат не замедлил сказаться.

Все было забыто — благодарственные приказы, салюты в Москве, то, что в 4-м Украинском фронте и войск было меньше, чем в любом другом, да и те были усталые, выбившиеся из сил в тяжелейших боях за Карпаты.

Все это теперь не принимается во внимание. Гнев так и пышет из депеши, прилетевшей из Москвы:

«Лично Петрову и Мехлису.

Ставка Верховного Главнокомандования считает объяснения генерала армии Петрова от 17.3.1945 г. **неубедительными и указывает:**

1. Командующий фронтом генерал армии Петров, установив неполную готовность войск фронта к наступлению, обязан был доложить об этом Ставке и просить дополнительное время на подготовку, в чем Ставка не отказала бы. Но генерал армии Петров не позаботился об этом или побоялся доложить прямо о неготовности войск. Член Военного совета фронта генерал-полковник Мехлис сообщил в ЦК ВКП(б) о недочетах в подготовке и организации наступления только после срыва операции (обращаю внимание читателей на адрес, куда сообщил генерал,— не в Ставку, не в Генштаб, которые могли бы немедленно поправить дело, а в ЦК ВКП(б) и с явным опозданием.— В. К.), вместо того, чтобы, зная о неполной готовности войск, своевременно предупредить об этом Ставку.

2. Командование фронта и армий не сумело скрыть от противника сосредоточение войск и подготовку к наступлению.

3. Штаб фронта был разбросан и большая часть его находилась в 130 км от участка наступления. (Напомню о том, где находился Петров по рассказу Симонова, и так было каждый день.— В. К.)

Проявленное в указанных недочетах неумение подготавливать операцию и определило ее неуспех. Ставка последний раз предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на его недочеты в руководстве войсками.

Ставка Верховного Главнокомандования

Сталин

Антонов

17.3.1945 г. 18.30» (13, стр. 570).

«Последнее предупреждение» — вот так! Но ведь до этого не было ни первого, ни последующих...

Дальше происходит что-то совсем уже непонятное.

В тот же день, 17 марта, поступил приказ — передать 5-й механизированный корпус 1-му Украинскому фронту.

По этому поводу маршал Москаленко пишет:

«Что же касается конкретного вопроса о передаче механизированного корпуса 1-му Украинскому фронту, то последний, как подтвердилось впоследствии в результате моих бесед с И. С. Коневым, особой нужды в этом соединении не испытывал. Ведь он имел тогда, кроме общевойсковых, две танковые армии, да еще и три отдельных танковых корпуса» (13, стр. 571).

О том, что два корпуса недавно были уже отданы согласно директиве Ставки 2-му Украинскому фронту, читатели, наверное, помнят.

Во фронте и так мало сил, Петрова упрекают за медленно развивающееся наступление и вместо того, чтобы оказать помощь, забирают три корпуса. А задача остается прежней!

Невольно складывается впечатление, что кому-то просто хочется поставить Петрова в безвыходное положение. Кому же?

Константин Симонов, кстати, тоже высказывал такое предположение:

«Мне показалось, что в Мехлисе есть черта, которая делает из него нечто вроде секиры, которая падает на чью-то шею потому, что она должна упасть, и даже если она сама не хочет упасть на чью-то голову, то она не может себе позволить остановиться в воздухе, потому что она должна упасть... Кажется, что-то похожее на это вышло и с Петровым. Не знаю, быть может, в данном случае это досужее суждение, но психологически это именно так. Думаю, что я не ошибаюсь» (21, стр. 593—594).

Но это догадки. Справедливые, обоснованные, но все же из области эмоций и рассуждений. А военное дело, как я уже говорил, дело точное, вроде математики, оперирующее конкретными величинами. Давайте же обратимся к точным и конкретным данным.

Петрова отстраняют за «срыв операции», за провалившееся наступление. А наступление продолжается! Да, оно развивалось трудно, но такое нередко бывало и на других фронтах. Не будем углубляться в исторические примеры. Вот рядом правый сосед, 1-й Укра-

инский фронт, он смежным флангом участвовал в этой же «провалившейся» операции. Посмотрим, что происходило в эти дни там. Вот отрывок из воспоминаний Конева:

«Действовавшие вместе с 59-й и 60-й армиями 7-й мехкорпус и 31-й танковый корпус, продвинувшись на 10 километров, потеряли: один — четверть, а другой — треть своих танков. Причина была — ...недостаточная разведка, а в результате — недостаточная мощная обработка артиллерией противотанковой обороны противника» (22, стр. 392).

Чем это отличается от событий на фронте у Петрова? Вспомните день, описанный Симоновым: артиллерия тоже недостаточно из-за плохой видимости обработала передний край. Ну и еще то, что Петров, несмотря на неоднократные просьбы Москаленко, не разрешил вводить в нерасчищенный прорыв подвижную группу, мехкорпус. Поэтому потерь — и в танках и в людях (а о своих потерях Конев сам пишет) — на 4-м Украинском было меньше.

Плохо это или хорошо? Все зависит от результатов: если бы Конев, понеся такие потери, прорвал оборону — все было бы оправдано. Но прорыв не состоялся. У Петрова тоже прорыв не состоялся, но у него не было и таких потерь.

Дальше маршал Конев пишет, что он усилил 60-ю армию (непосредственный сосед Петрова) четырьмя (!) танковыми и механизированными корпусами и двумя артиллерийскими дивизиями прорыва.

У Петрова же не только в армиях, во всем фронте не было ни одного танкового корпуса и ни одной артиллерийской дивизии прорыва. Был один мехкорпус в армии Москаленко, и тот, как известно, 17 марта Ставка забрала.

Дальше Конев пишет:

«К 22 марта погода наконец исправилась, и армии, наступавшей на Ратибор и Рыбник, была обеспечена не только артиллерийская, но и мощная авиационная поддержка.

Однако немцы дрались упорно... Наши атакующие части продвигались медленно, шаг за шагом.

Такие темпы наступления нас никак не устраивали, и я на помощь 60-й армии ввел два корпуса 4-й гвардейской танковой (!). Танкисты должны были нанести дополнительный удар с севера.

Немцы, в свою очередь, перебросили сюда новые танковые соединения. Мы продолжали продвигаться, но по-прежнему крайне медленно. Изо дня в день шли упорные бои за овладение небольшими населенными пунктами, узлами дорог, высотами и высотками. Войска несли немалые потери. Это, естественно, вызывало чувство неудовлетворенности. Операция протекала явно не в том духе, не в том темпе, не на том уровне, на которые мы вправе были рассчитывать, исходя из собственного опыта, из своего совсем недавнего боевого прошлого» (22, стр. 396).

Добавлю от себя: и это не вызывало никакого раздражения в Ставке, никого не снимали, никого не упрекали, что, имея такое огромное количество средств усиления, 60-я армия продвигается так же медленно, как армии ее соседа, 4-го Украинского фронта, не имеющие столько танков и артиллерии.

То, что, по рассказу маршала Конева, произошло дальше, совсем плохо согласуется с решением Ставки о снятии Петрова, кажется, что он, наоборот, заслуживал бы очередного благодарственного приказа Верховного и салюта в Москве.

«Но вот 24 марта, — продолжает маршал Конев, — после некоторой паузы, левее нас, в полосе 4-го Украинского фронта, возобновила наступление 38-я армия под командованием боевого командарма К. С. Москаленко. Своими решительными действиями она изменила обстановку на левом фланге 60-й армии. Для противника создалась угроза окружения в районе Рыбника и Ратибора. А у нас возникли благоприятные предпосылки для штурма этих городов. 60-я армия взяла Рыбник и одним корпусом переправилась на левый берег Одера южнее Ратибора» (там же).

Это происходило 24 марта, когда Петров был еще командующим фронтом. 26 марта его войска завершили прорыв первой линии долговременной оборонительной полосы и взяли город Лослау. И вместо победного салюта — приказ о снятии. В тот же день в сводке Совинформбюро сообщалось:

«Северо-восточнее города Моравска-Острава войска 4-го Украинского фронта в результате наступательных боев заняли города Зорау, Лослау и более сорока других населенных пунктов...» (23, стр. 138).

Вечером Москва салютовала 1-му Украинскому фронту за взятие Штерлена и Рыбника. В приказе не упоминалась помощь 4-го Украинского, а она была немалая — напомним приведенные выше слова маршала Конева о том, как 38-я армия «решительными действиями изменила обстановку», создала «угрозу окружения», создала «благоприятные предпосылки» для левого, взаимодействующего крыла 1-го Украинского в деле овладения Рыбником и форсирования Одера.

Поразительное несоответствие при оценке одних и тех же действий! По словам Конева — это победа. По письму Мехлиса и директиве Ставки — «провал наступления».

Что же все-таки было? Не может же Ставка ни за что снять командующего фронтом!

Из всего рассказанного мною про Моравска-Оставскую операцию, из впечатлений К. М. Симонова об этих днях с несомненностью вытекает только следующее: были крайне тяжелые погодные условия, затрудняющие наступление; Петров, несмотря на просьбы подчиненных, не обратился в Ставку с предложением перенести срок начала наступления; наступление в первые дни развивалось медленно, трудно, но завершилось хотя и не блестяще, но вполне успешно — точно такие же обстоятельства и результаты, только с большими потерями, складывались и на соседнем 1-м Украинском фронте.

И еще были письма и телеграммы Мехлиса. Можно предположить, что в них было нечто необъективное, зачеркивающее прежние добрые дела Петрова, всячески акцентирующее личную виновность комфронта.

Высказать такое предположение дает основание необычно резкая реакция Верховного. Чтобы прийти в такое состояние и забыть все прошлые заслуги Петрова, надо было прочесть в письмах Мехлиса что-то очень пачкающее Петрова.

Написав все это, я заколебался: все же Л. З. Мехлис был государственный и партийный деятель, можно ли, следует ли о нем так писать? Ну, следует ли, то есть справедливо ли это — пусть судят читатели. Напомню при этом, что я не оцениваю всю жизнь и деятельность Л. З. Мехлиса, было, конечно, в ней разное — и плохое и хорошее, я же говорю только об одном эпизоде из его биографии, и к тому, что он совершил по отношению к Петрову, я ничего не прибавляю и не убавляю. Пишу как было.

Теперь я хочу предоставить слово К. М. Симонову (принеся при этом извинения читателям за величину цитаты), ибо в его дневниковых записях того времени необычайно точно, психологически верно отразилось то, как на приказ о снятии Петрова реагировал Л. З. Мехлис и как — сам Иван Ефимович.

«27 марта 1945 года... С утра я... узнал, что Петров еще не уехал. Мне очень хотелось повидать Ивана Ефимовича, а вместе с тем казалось, что человеку, который еще вчера был здесь командующим фронтом, полным хозяином, могут быть неприятны какие бы то ни было попытки выразить ему сочувствие. И все-таки не повидать его теперь, после всего случившегося, казалось мне просто невозможным...»

Я поехал в Кенты к нашим ребятам-журналистам, у которых стоял телефон. Собственно говоря, я не очень представлял себе, как и куда мне звонить. Звонить по телефону командующего — боялся налететь на Еременко. В данном случае это было

бы совсем некстати... В конце концов я дозвонился до адъютанта и уже при его помощи связался с самим Петровым.

— Слушаю,— сказал Петров своим обычным ворчливым голосом.

— Здравствуйте, Иван Ефимович, это Симонов говорит.

— А-а, Константин Михайлович, здравствуйте.

Обычно следовали или вопрос: «Ну, где же вы пропадали?», или предложение: «Заходите». Сейчас последовала тягостная пауза.

— Иван Ефимович, очень хочу вас повидать,— сказал я.

— Только попозже,— сказал он.— Вы попозже можете?

— Конечно. Я для этого в Кенты приехал. Буду сидеть здесь, ждать.

— Часов в пятнадцать, хорошо?

— Хорошо. Буду ждать.

— А где будете ждать?

Я сказал, что буду сидеть у журналистов.

— Я вам позвоню,— сказал Петров, и на этом разговор закончился.

Ровно в три, с обычной точностью, раздался звонок.

— Константин Михайлович!

— Да.

— Петров говорит. Приходите. Жду.

Во дворе домика, где жил Петров, было тихо. Ходил только один часовой... Я прошел в приемную. Там сидел только один из ординарцев, которого я и раньше встречал у Петрова.

— Кто-нибудь есть у генерала армии? — спросил я, обходя слово «командующий» и думая о том, что это слово надо будет обходить и в дальнейшем.

Оказалось, что у Петрова сидит секретарь Военного совета.

Через несколько минут он вышел, а я вошел.

Петров сидел за столом, так же, как и всюду, где он бывал, накрытым огромной картой. Он поднялся мне навстречу. Поздоровался. Наступила пауза. Потом Петров сказал:

— У Москаленко-то ничего пошло дело! Двигаются понемножку.

Я сказал, что да, двигаются.

— Вы где были-то?

Я объяснил, где был.

— Да,— сказал Петров.— Хорошо как будто пошло. Если за сегодняшний день и за ночь подойдут к Одеру, то в ближайшие дни могут взять Моравска-Остраву.

— В ближайшие дни? — переспросил я.

— Да. Тут будет одно из двух. Если нам удастся в ближайшие дни форсировать Одер, немцам неоткуда сейчас взять резервы. Чтобы подтянуть их из глубины и в большом масштабе, им понадобится хотя бы два-три дня. А теми резервами, которые они имели под рукой, они уже воспользовались. Рассчитывали на 8-ю танковую и на 16-ю танковую. Но их уже расщелкали. 751-я пехотная в начале боев была у них свежая, но ее тоже разбили. Так что в ближайшем тылу у них не должно быть резервов. Но если день-два не форсировать Одер, эти резервы могут появиться, и тогда будем сидеть под Островой.

— А сколько еще осталось до Одера? — спросил я без раздумий. Кому же, как не Петрову, это знать! И лишь в следующую секунду вспомнил, что он уже не командующий фронтом и может не знать последней обстановки. Но я оказался не прав.

— Сейчас я вам покажу,— сказал Петров и провел карандашом по карте.— Вот здесь и здесь осталось всего по пять километров. Час назад мне звонил Москаленко. Ночью могут пройти эти пять километров.

Он сделал еще несколько замечаний, касавшихся общего положения на фронте, и мне стало совершенно очевидно, что он не только не желает сам говорить ни о чем, связанном с его отъездом, но и не желает, чтобы на эту тему говорил я. Мне даже показалось, что наш разговор вообще не коснется этого. Но Петров, рассказав о положении на фронте, вдруг спросил как о самом естественном:

— Как, поручения в Москву будут?

И в этом вопросе сказался весь его такт. Он разом дал мне понять, что прекрасно понимает, что я уже слышан о происшедшем, но что он не намерен касаться этого, а просто, как старый знакомый, раз едет в Москву, предлагает, чтобы я, если захочу, воспользовался этой оказией.

— А когда вы едете?

— Сегодня вечером. До Кракова на машине, а оттуда поездом. У меня свой вагон.

— Спасибо,— сказал я.— Тогда я сейчас схожу, напишу письмо и отдам вашему адъютанту.

— Хорошо,— сказал он.

В кабинет вошел генерал-лейтенант Кариофилли, командующий артиллерией фронта... Понимая, что мне ни к чему задерживаться, я встал и попросил разрешения уйти.

— Всего доброго,— сказал Петров, протягивая мне руку.

Мне хотелось ему сказать разные хорошие слова, но от этого удерживало присутствие Кариофилли. И я лишь немного задержал руку Петрова и пробормотал, что благодарен ему и надеюсь скоро увидеться.

Когда я вышел, у меня в душе была какая-то пустота. Раз Петров ехал отсюда в Москву не спеша, поездом, значит, бродившие у меня до этого мысли, что, может быть, его просто назначают на какую-то другую должность, отзывают в Москву для другой работы, были самообманом. Его не переводили, а снимали, и он ехал теперь в распоряжение Ставки, и неизвестно, долго ли, коротко ли, но будет не при деле, а в конце войны это особенно горько.

По внешнему виду Петрова нельзя было заметить, насколько сильно он нервничал и переживал случившееся. Во всяком случае, он выглядел человеком, твердо решившим держать себя в руках. Даже тот нервный тик после контузии, который подергивал его лицо, когда он волновался, сейчас не был заметней, чем обычно...

Выходя из дома, я встретил на пороге Кучеренко, который был спутником Петрова везде и всюду с первого года войны. Этот толстый, храбрый, обычно говорливый украинец выглядел сейчас ужасно. Он как-то осунулся, почернел. Я почти не узнал его в первый момент. У него был не только совсем другой, тихий, глуховатый голос, но и другое выражение лица. Наверно, потому, что раньше постоянная улыбка была неотъемлемой частью этого лица, а сейчас ее словно вдруг и навсегда стерло. Глядя на Кучеренко, я понял не только то, как сильно переживает он, но и как сильно переживает случившееся сам Петров...»

За день до этого Симонов записал:

«26 марта 1945 года... Не знаю, не мне судить о масштабах его военных талантов, но он, во всяком случае, был хорошим, опытным военным и большой души человеком. И этот удар должен был поразить его в самое сердце.

Минутами, когда я наблюдал его здесь, на Четвертом Украинском фронте, мне самому казалось, что у него выходит что-то не так, как нужно, и выходит не так не оттого, что он не талантлив или не умен, а оттого, что он недостаточно резок, жесток и упрям в самом прямом смысле этих слов для того, чтобы действовать в соответствии с жесткими обстоятельствами войны.

Мне иногда казалось, что он излишне мягко разговаривает с офицерами в такие минуты, когда они этого не заслуживают, слишком мягко и благородно относится к ним, взывая только к их рассудку и чувствам, не проявляя жесткой беспощадности и требовательности, как это делают другие.

Казалось, что Петров относится к некоторым из подчиненных ему офицеров и генералов так, как должен был бы относиться к идеальным офицерам и генералам, которые, может быть, воспитаются у нас через десять лет после войны на основе всего ее опыта.

А между тем со многими из людей, с которыми он разговаривал, которыми командовал... наверное, надо было обращаться, исходя из реального трудного бытия четвертого года войны, а не по идеальным нормам отношения к идеальному офицеру...

И быть может, его неудачи — конечно, не все, потому что кто бы и что бы ни говорил, а на войне огромную роль играет военное счастье,— но какую-то часть его неудач обуславливал характер его отношения к подчиненным. Обуславливал и неудачи, и даже меньший темп продвижения войск, чем тот, которого Петров мог бы добиться, действуя по-другому...

Однако независимо от того, как сам Петров кончит эту войну,— преуспешет он на ней или нет, все равно, когда я буду потом писать роман о войне, туда в качестве фигуры командующего фронтом влезет со своими потрохами не кто-то, а именно Петров, верней, человек, похожий на него, ибо независимо от его неудач именно он мне по-человечески нравится. В нем, как мне кажется, присутствует сохранившееся от

старого воспитания редкое сочетание какой-то ласковой грубости и простоты с вежливостью и чувством такта; и все это при большой прямоте, принципиальности, преданности делу, самоотверженности, живущих в нем, как в коммунисте, в лучшем смысле этого слова. А плюс ко всему у него какая-то немножко мешковатая, спокойная личная храбрость, которая для меня бесконечно обаятельна...»

И вот еще одна запись — разговор о происшедшем с Л. З. Мехлисом:

«29 марта 1945 года.

Мехлис повернулся ко мне и спросил:

— Вы знаете, что у нас новый командующий фронтом?

— Знаю,— сказал я.

— Вы были у Ивана Ефимовича?

— Был,— сказал я.— Позавчера ездил к нему прощаться.

— Что он вам говорил? Ну, откровенно.

— Ничего он мне не говорил,— сказал я.— Говорил о ходе операции и на всякие отвлеченные темы. А на основную тему, о которой вы спрашиваете, ничего не говорил. А я, само собой разумеется, не спрашивал.

— Н-да,— протянул Мехлис после долгого молчания.

— Я просто ездил к нему проститься и поблагодарить за гостеприимство,— сказал я.

— А вы давно его знаете?

— Да. Он, по-моему, очень хороший человек.

— Да,— сказал Мехлис с какой-то особенно сухой нотой в голосе. И мне показалось по этой ноте в голосе, что он принуждает себя быть объективным.— Он добрый и общительный человек. Он, это безусловно, один из лучших у нас специалистов ведения горной войны. Это он знает лучше многих других. Может быть, даже лучше всех. Но он болезненный человек. Знаете вы это?

— То есть как — болезненный? — переспросил я.

— Так вот. Бывают болезненные люди, но...— Мехлис на секунду остановился.— Но мы об этом с вами поговорим при других обстоятельствах.

Видимо, он не хотел дальше говорить на эту тему, потому что в машине сидели водитель и автоматчик.

В вопросе Мехлиса «что он вам говорил?» я почувствовал желание узнать, какие чувства испытывает Петров после своего снятия и не считает ли, что обязан этим снятием ему, Мехлису. Так мне, по крайней мере, показалось...

Мы несколько минут ехали в машине молча, потом Мехлис сказал:

— Я накануне только полупростился с Иваном Ефимовичем, а вчера задержался в армии, и, когда позвонил ему, он уже уезжал. Так и не удалось проститься. Пришлось только по телефону.

Он сказал все это обычным своим сухим тоном: в этом тоне не было ни искреннего сожаления, что он не простился с Петровым, ни фальши. Он действительно опоздал и поэтому не простился, а опоздал потому, что был занят делами более важными, чем это прощание. А если бы он не опоздал, то приехал бы проститься, потому что это нужно и правильно было сделать даже в том случае, если человек, с которым он прощался, был снят по его докладу» (21, стр. 559—560, 575—579, 592—593).

И дальше у Симонова идет то самое сравнение Мехлиса с нерассуждающей секирой, которое я приводил выше.

К. М. Симонов, конечно, совершенно прав, когда говорит, что внешне Иван Ефимович был спокоен и не проявлял в связи со случившимся ни растерянности, ни нервозности, но совсем не трудно представить, каково же было его внутреннее состояние. Не говоря уж о несправедливости происшедшего, видимо, Петров с горечью размышлял и о дальнейшей своей судьбе. Война шла к победному завершению. И вот в такие дни полководец, столько усилий положивший для достижения победы, остается не у дел. И не только остается не у дел, а вообще не знает, что будет с ним дальше, что там, наверху, думают о нем теперь.

Петров, конечно, знал, что все произошло по навету Мехлиса.

Об этом свидетельствует и его собственный рассказ мне в более поздние годы, и мнение других его сослуживцев, знавших все детали этого дела, и еще один коротенький документ, с которым меня познакомил генерал армии А. А. Епишев, бывший в 1944 году членом Военного совета 38-й армии. Прочитав первую часть этой повести еще в рукописи, Епишев рассказал мне несколько эпизодов своих встреч с генералом Петровым и показал письмо, написанное ему Иваном Ефимовичем. Вот это письмо.

«26 марта 1945 года, генерал-майору товарищу Епишеву. Уважаемый товарищ Епишев, жму руку. Желаю всяких успехов. Хорошая и крепкая у вас с товарищем Москаленко сплоченность и боевая дружба. Остается только позавидовать. Привет и всего доброго. И. Е. Петров».

Хочу обратить внимание читателей на дату письма — это день поступления приказа Ставки о снятии Петрова и приезда нового командующего на 4-й Украинский фронт. Прощаясь со своими сослуживцами, Иван Ефимович написал это короткое письмо, невольно выдав в нем сожаление, что отношение члена Военного совета фронта Л. З. Мехлиса к нему так разительно не похоже на то, что соединяло А. А. Епишева с командующим 38-й армией К. С. Москаленко.

А. А. Епишев рассказал мне немало доброго о Петрове как о полководце талантливым, опытным, сделавшем очень много в годы войны, и как о хорошем, порядочном человеке, а в конце задумчиво произнес:

— Очень не повезло Ивану Ефимовичу с членом Военного совета, не могу понять, почему Мехлис так недоброжелательно относился к такому замечательному человеку, каким был Иван Ефимович.

Лучшим доказательством уважения А. А. Епишева к Петрову служит и то, что он до сегодняшнего дня (а прошло сорок лет!) сохранил письмо Ивана Ефимовича, держал его, что называется, под рукой и, как только зашел об этом разговор, тут же открыл сейф и сразу нашел это короткое, но таящее большой смысл письмо.

Берлинская операция

Мрачные предположения генерала Петрова о своей дальнейшей судьбе не оправдались.

В начале апреля 1945 года он получил назначение на должность начальника штаба 1-го Украинского фронта.

О его прибытии и вступлении в эту должность очень хорошо рассказано в воспоминаниях маршала И. С. Конева:

«...я хочу хотя бы кратко рассказать о начальнике штаба 1-го Украинского фронта в период Берлинской операции генерале армии Иване Ефимовиче Петрове.

Он сменил генерала Соколовского буквально перед самым началом этой операции. Василий Данилович отбыл на 1-й Белорусский заместитель командующего к маршалу Жукову. Перед этим мне позвонил Сталин и спросил, согласен ли я взять к себе начальником штаба генерала Петрова.

Я знал, что за несколько дней до этого Петров был освобожден от должности командующего 4-м Украинским фронтом. Мое личное мнение об Иване Ефимовиче в общем было положительным, и я дал согласие на его назначение.

На второй день после прибытия на фронт Петрову предстояло как начальнику штаба составить донесение в Ставку. Мы обычно заканчивали составление этого донесения к часу-двум ночи. К этому сроку я и предложил его составить Ивану Ефимовичу. Но он возразил:

— Что вы, товарищ командующий. Я успею составить донесение раньше, к двадцати четырем часам.

— Не затрудняйте себя, Иван Ефимович,— сказал я.— Мне спешить некуда, дел у меня еще много, я буду говорить с командармами, так что у вас время до двух часов есть.

Однако когда подошел срок подписывать боевое донесение, я ровно в два часа ночи позвонил Петрову. Он смущенно ответил по телефону, что донесение еще не готово, по такой-то и такой-то армии не собраны все необходимые данные.

Понимая его трудное положение, я не сказал ни слова и отложил подписание на четыре часа утра. Но донесение не было готово и к четырем. Петров представил мне его только к шести. И когда я подписывал это первое его донесение, причем с довольно значительными поправками, Иван Ефимович (это было в его характере) прямо и честно заявил:

— Товарищ маршал, я виноват перед вами. С такими масштабами действий я встречаюсь впервые, и мне с непривычки оказалось трудно справиться с ними.

И хотя первый блин получился комом, такое прямое заявление со стороны Петрова было для меня залогом того, что дело у нас с ним пойдет.

Иван Ефимович был человеком с хорошей военной подготовкой и высокой общей культурой. На протяжении всей войны он проявлял храбрость и мужество и был этим известен в армии.

Будучи до этого в роли командующего фронтом, а под конец войны впервые в своей практике оказавшись начальником штаба фронта, он, боевой генерал, не проявлял ни малейшего оттенка обиды. Напротив, с самым живым интересом к новому для себя делу говорил: «Вот теперь вижу настоящий фронт — и по количеству войск, и по размаху, и по задачам». Генерал хорошо отдавал себе отчет в том, что, несмотря на весь боевой опыт, в новой роли начальника штаба ему надо кое-чему поучиться. И он честно учился.

Сработались мы довольно быстро. У меня было полное доверие к нему, так же как и у Петрова ко мне, я это чувствовал. Отношения у нас сложились хорошие, хотя и приходилось порою делать скидку на то, что все-таки Петров не штабной командир (до этого все его должности — и в мирное и в военное время — были командные: начальник училища, командир дивизии, командующий армией, командующий фронтом). Но надо отдать должное и генералу Соколовскому, который до Петрова в течение года был начальником нашего штаба; он оставил очень слаженный, хорошо организованный штабной коллектив. Опираясь на этот коллектив, Петров не испытывал в своей работе каких-либо существенных затруднений.

Иван Ефимович оставался начальником штаба нашего фронта до последнего дня войны. Вместе с ним мы на 1-м Украинском фронте завершили Великую Отечественную войну, и завершили как будто неплохо...» (22, стр. 461—462).

Из приведенных слов И. С. Конева видно, что он с первых же дней относился к Ивану Ефимовичу с большим уважением, а некоторая доля иронии, которая есть в его рассказе, объясняется просто характером маршала — он любил иногда пошутить и немножко поддеть человека.

Вопле неестественна гордость И. С. Конева огромными масштабами операций и большим количеством войск, находившихся в его подчинении. Понимая это, все-таки хочу справедливости ради сделать небольшое примечание к двум высказанным в этом отрывке суждениям не совсем, на мой взгляд, точным.

Ну, во-первых, не соответствует действительности то, что Петров не имел практики работы в должности начальника штаба, а занимал только командные посты. Иван Ефимович как известно читателю, с 16 марта по 13 мая 1943 года был начальником штаба Северо-Кавказского фронта. Руководить работой штаба фронта в течение двух месяцев в условиях войны — это, конечно же, большая практика. Напомню, что и в этой должности Иван Ефимович показал свои исключительные способности, о чем свидетельствуют те, кто работал с ним в то время.

Второе возражение хочется высказать по поводу того, что Петров якобы растерялся из-за крупных масштабов работы, с которыми он столкнулся в первый день в штабе 1-го Украинского фронта, и не смог написать к установленному сроку донесение в Ставку. Это утверждение И. С. Конева опровергается его же словами, сказанными тут же. Напомню их:

«Надо отдать должное генералу Соколовскому, который до Петрова в течение года был начальником нашего штаба; он оставил очень слаженный, хорошо организованный штабной коллектив».

Как известно, начальник штаба фронта сам практически не пишет сводку в Генеральный штаб. Эту сводку, ее проект, готовит оперативное управление, а начальник штаба лишь ее редактирует, правит, вносит необходимые, на его взгляд, дополнения, изменения и подписывает. Следовательно, и ту очередную сводку, о которой говорит И. С. Конев, готовил этот «слаженный, хорошо организованный штабной коллектив». По каким-то причинам он, видимо, не сумел на этот раз составить сводку так быстро, как требовалось, а Петров, естественно, как я думаю, не стал выгораживать себя перед командующим.

Вообще же в своих воспоминаниях И. С. Конев пишет о Петрове всегда с очень теплым чувством. Приведу в подтверждение этого еще одну цитату:

«Начальник штаба фронта Петров, находясь у руководства такой штабной машины, как штаб 1-го Украинского фронта, тоже не мог выключаться из своей работы на длительное время. Он лишь выезжал на несколько часов в день на дрезденское направление и снова возвращался в штаб. К 18—19 часам ему необходимо было находиться в штабе, так как к этому времени уже начинали накапливаться доклады о том, что произошло за день на фронте. Одновременно с этим ему надо было готовить соображения по операции на следующий день и, наконец, отчитываться перед Генеральным штабом и Ставкой» (22, стр. 456).

Я не хочу сказать, что генерал Петров включился в новую работу легко и просто. На 1-м Украинском фронте и обстановка была сложнее, и войск было во много раз больше, чем на 4-м Украинском. Для того чтобы познакомить читателя с масштабами работы на 1-м Украинском и еще раз показать, с какими малыми силами Иван Ефимович преодолел Карпаты, рискну привести перечень только самых крупных объединений и соединений 1-го Украинского фронта.

Говорю «рискну» потому, что сознаю — непривычно и не слишком притягательно выглядит для читательского глаза длинный перечень цифр и фамилий. Но я надеюсь, что читатели убедились, какими выразительными бывают порой цифры — не менее, чем самые красочные описания, — хотя бы по таблице, приведенной мной в описании битвы за Кавказ.

К началу Висло-Одерской операции в состав фронта, руководимого маршалом И. С. Коневым, входило девять общевойсковых армий: 5-я гвардейская генерал-полковника А. С. Жадова, 21-я генерал-полковника Д. Н. Гусева, 52-я генерал-полковника К. А. Коротева, 60-я генерал-полковника П. А. Курочкина, 13-я генерал-полковника Н. П. Пухова, 59-я генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, 3-я гвардейская генерал-полковника В. Н. Гордова, 6-я генерал-лейтенанта В. А. Глуздовского, 2-я армия Войска Польского генерала К. Сверчевского; две танковые армии: 3-я гвардейская генерал-полковника П. С. Рыбалко и 4-я генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко; 2-я воздушная армия генерал-полковника С. А. Красовского. Наконец, фронт имел отдельные танковые и механизированные корпуса, кавалерийский корпус, артиллерийские корпуса прорыва, несколько артиллерийских дивизий прорыва и целый ряд других соединений, которые трудно и перечислить...

Для всех них И. Е. Петров должен был планировать боевую и повседневную деятельность, контролировать ее, обеспечивать всем необходимым, знать состояние войск (да не только их, но и противника) и обо всем докладывать командующему и в вышестоящий штаб.

Петров прибыл на 1-й Украинский фронт в те дни, когда началась подготовка Берлинской наступательной операции. Конкретная разработка этой завершающей операции — одной из самых широких по размаху и стремительности боевых действий, — разумеется, легла наравне с командующим и на плечи начальника штаба фронта как его ближайшего помощника.

В своих воспоминаниях Штеменко прямо пишет о том, что в разработке Берлинской операции вместе с начальниками штабов других фронтов, привлекаемых для ее осуществления, участвовал и генерал армии Петров.

Здесь мне хочется рассказать об одном обстоятельстве, которое вынудило и нашу Ставку, и штабы фронтов, участвовавших в Берлинской операции, вести эту разработку ускоренными темпами. Нашему Верховному Главнокомандованию стало известно письмо Черчилля, которое он 1 апреля послал Рузвельту. В этом письме были такие слова:

«Ничто не окажет такого психологического воздействия и не вызовет такого отчаяния среди всех германских сил сопротивления, как падение Берлина. Для германского народа это будет самым убедительным признаком поражения.

...Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создается ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять. Это кажется разумным и с военной точки зрения» (22, стр. 398—399).

Сталин немедленно вызвал в Москву маршалов Жукова и Конева. Когда Штеменко прочитал вышеприведенные строки Черчилля, Сталин спросил, обращаясь к Жукову и Коневу:

— Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?

Поговорив на эту тему с маршалами и представителями Ставки, Сталин сказал в заключение:

— Берлин надо взять в кратчайший срок и поэтому подготовку операции нужно тоже провести в весьма ограниченные сроки.

Маршалы Жуков и Конев здесь же, в Москве, сделали первую прикидку замысла предстоящей операции и изложили ее Верховному Главнокомандующему. Эти их предварительные решения были утверждены, и они вылетели в расположение своих штабов фронтов для того, чтобы разработать планы предстоящих операций.

Вот разработкой такой сложной операции, да еще в ограниченные сроки, и начинается деятельность генерала армии Петрова как начальника штаба 1-го Украинского фронта.

Объем этой работы мне хочется показать короткой цитатой из воспоминаний маршала Конева:

«Исходя из общего стратегического замысла Верховного Главнокомандования, командование фронта полностью планировало операцию во всех аспектах, связанных с ее проведением, особо выделяя при этом вопросы, которые выходили за пределы компетенции фронта и были связаны с необходимой помощью фронту со стороны Ставки Верховного Главнокомандования.

Одновременно готовился и проект директив, в своем первоначальном виде отражавший взгляды самого фронта на проведение предстоящей операции и предполагавший, что фронтом будет получена от Верховного Главнокомандования соответствующая помощь. Количество и характер исправлений и дополнений, вносимых в такой проект директив, зависели от того, как проходило в Ставке обсуждение предложений фронта и насколько близки они были к окончательному решению» (22, стр. 400).

В планировании Берлинской операции была одна особенность — Верховный Главнокомандующий, незадолго до этого назначивший

своего заместителя маршала Жукова командующим 1-м Белорусским фронтом, определил, что Берлин будет брать именно 1-й Белорусский фронт. Наверное, Сталин хотел этим подчеркнуть особую роль маршала Жукова, так много сделавшего для достижения победы над гитлеровской Германией.

Однако такое положение не вполне устраивало командующего 1-м Украинским фронтом маршала Конева, который считал, что тоже имеет право и возможность участвовать во взятии столицы фашистской Германии. Надо только представить себе, символом чего был в то время Берлин для советских воинов, прошедших четыре года под огнем, видевших столько смертей и разрушений на родной земле, чтобы понять страстное желание, которое жило во всех, — увидеть этот город своими глазами, овладеть им силой своего оружия.

Но Генеральный штаб, получив прямое указание от Сталина, не осмеливался его нарушать, и поэтому 1-му Украинскому фронту была поставлена задача: разгромить противника южнее Берлина, в районе Котбуса, овладеть рубежом Беелитц—Виттенберг юго-западнее Берлина и выйти на Эльбу. Фронт наносил главный удар силами трех общевойсковых и двух танковых армий. Это, конечно же, огромная сила. И маршал Конев не без основания считал, что он мог бы частью сил, добавив к ним еще имеющиеся в его распоряжении армии, не только выйти на Эльбу и выполнить поставленную задачу, но и принять участие в штурме Берлина, тем более что на совещании в Ставке 1 апреля Конев получил устное указание Сталина предусмотреть в плане операции фронта возможный поворот танковых армий на север, на Берлин.

Участники этого совещания вспоминают, как Сталин некоторое время постоял над картой, размышляя, а затем взял карандаш и зачеркнул ту часть разграничительной линии между сферой действий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, которая отрезала 1-й Украинский фронт от Берлина, и сохранил только часть этой линии, до Люббена, что примерно в 60 километрах юго-восточнее столицы, и сказал:

— Кто первый ворвется, тот пусть и берет Берлин.

Петров как человек увлекающийся и энергичный полностью поддерживал стремление Конева. О том, какая напряженная работа шла в штабе, свидетельствуют слова маршала:

«Времени на подготовку операции у нас было в обрез, так что всем нам — и в штабе фронта, и в нижестоящих штабах — работы хватало. Как говорят в народе, некогда было шапку и рукавицы искать» (22, стр. 410).

Я не буду описывать все детали этой работы, читатели могут достаточно ясно представить ее себе, исходя из масштабов самой операции, количества войск и ограниченности времени. Напомню лишь о том, что уже, наверное, не раз было читано в книгах и воспоминаниях полководцев. Это была та самая операция, которую 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова начал 16 апреля атакой с применением многих прожекторов, что не только ослепило гитлеровские войска, но и позволило вести прицельный огонь артиллерии, а также танкам из своих пушек и в силу своей неожиданности оказало очень сильное психологическое воздействие на противника.

1-й Украинский фронт, исходя из обстановки на своем участке, начал наступление совсем иначе. Войскам фронта предстояло атаковать противника с форсированием реки Нейсе, потому что на противоположном берегу плацдармов не было. Для того чтобы форсирование прошло как можно более скрытно, освещать прожекторами полосу прорыва не было необходимости. Напротив, надо было воспользоваться мраком ночи и под покровом темноты преодолеть водную преграду.

Чтобы надежно подавить огневые средства противника на противоположном берегу, была запланирована продолжительная — 2 часа 25 минут — артиллерийская подготовка. Причем имелось в виду, что примерно за полтора часа войска под этим огнем обеспечением форсируют реку и, не останавливаясь, будут продолжать атаку уже на западном берегу реки Нейсе.

Читатели, наверное, помнят, что в практике своей боевой деятельности Петров не раз применял дымовые завесы. Так было при штурме Новороссийска и в боях на «Голубой линии». И вот при форсировании реки Нейсе 1-м Украинским фронтом для прикрытия войск тоже ставилась дымовая завеса. Я не могу утверждать, что это было предложено генералом Петровым, но можно предположить, что он имел к этому прямое отношение.

Дымовая завеса при форсировании Нейсе сыграла большую роль. Она ставилась, как и под Новороссийском, самолетами-штурмовиками, только на этот раз в больших масштабах — ширина фронта наступления равнялась 390 километрам!

Однажды, если помнит читатель, при постановке дымовой завесы ветер не погнал ее в глубь обороны противника, и она даже повредила наступающим войскам Петрова. На этот раз все обошлось хорошо. Как пишет И. С. Конев в своих воспоминаниях:

«Скорость ветра — всего полметра в секунду, и дым медленно полз в глубину неприятельской обороны, затягивая всю долину реки Нейсе, что нам и требовалось» (22, стр. 412).

Под прикрытием этих дымов и огня артиллерии в 6 часов 55 минут войска начали форсировать Нейсе. Благодаря хорошей организации, сильной артиллерийской подготовке и удачной маскировке первый эшелон наступающих через час уже был на противоположном берегу и после захвата плацдармов стал продвигаться вперед.

Очень умело, энергично и самоотверженно работали в первый день наступления инженерные войска. Буквально в первые же часы они навели на направлении главного удара 133 переправы, в том числе 20 понтонных мостов и 9 паромов.

Учитывая, что после прорыва тактической зоны обороны за общевойсковыми армиями в прорыв пойдут две танковые армии, командование фронта запретило танковым армиям использовать свои переправочные средства при форсировании Нейсе. Они должны были преодолевать эту реку по переправам, наведенным силами общевойсковых армий и инженерных частей фронта, свои же переправочные средства сохранить для того, чтобы использовать их в глубине обороны, где им предстояло форсировать несколько небольших рек. Этим заложенным еще при планировании расчетом танковых армий обеспечивался высокий темп наступления в глубине обороны.

В результате скоротечных, но ожесточенных боев войска на главном направлении форсировали Нейсе, части 3-й, 5-й гвардейской и 13-й армий прорвали оборону на участке почти в 26 километров и продвинулись за день в глубину на 13 километров.

В этот же день и в эти же часы фронт наступал еще на вспомогательном дрезденском направлении. Там перешли в наступление 2-я армия Войска Польского и 52-я армия советских войск. Они тоже наступали успешно и продвинулись примерно на 10 километров вперед.

Управлять огромной массой войск на участке около 400 километров очень не просто. К тому же войска на этом широком фронте ведь не вели бой, как говорится, плечо к плечу, со строго сомкнутыми флангами. Так, часть дивизий 13-й армии Пухова и 5-й гвардейской армии Жадова на следующий день наступления прорвали вторую полосу обороны, двигались к третьей и кое-где даже достигли подступов к Шпрее, а в других армиях некоторые корпуса только-только овладели первой полосой, часть дивизий вела бои (и тоже не на од-

ной прямой линии) за вторую полосу. Из-за таких разрывов обнажались фланги, и надо было все время следить за тем, чтобы по этим флангам не были нанесены удары отчаянно сопротивляющимся противником.

В то же время Петрову необходимо было руководить всеми видами разведки — это прямая обязанность начальника штаба. Надо было на всех участках выявлять выдвижение резервов противника или направление отхода его частей с рубежей, которые они потеряли, знать, где и как они попытаются закрепиться. В отношении противника у начальника штаба фронта должна быть полная ясность для того, чтобы он мог в любую минуту правильно информировать командующего фронтом.

Разумеется, непосредственно руководят боем командующий фронтом и командующие армиями, но все их распоряжения и все сведения о действиях войск стекаются в штаб фронта, который, обобщая эти данные, делает выводы об общей обстановке, намечает предложения по дальнейшему ведению операции и информирует об этом командующего. Кроме того, вся собранная и обработанная информация — о своих войсках, о противнике, о предполагаемых действиях тех и других — передается в Генеральный штаб, на соседние фронты. В ходе управления войсками начальнику штаба надлежит постоянно следить за выполнением частями поставленных задач по рубежам, по срокам, определенным на выполнение этих задач, и по мере надобности корректировать их действия. Ведь как только бой начался и войска пошли вперед, неизбежно нарушаются запланированные сроки выхода на рубежи — кто-то отстает, кто-то движется более успешно. Опять же в первую очередь командующий руководит всем продвижением, но и роль начальника штаба очень важна и заключается в том, чтобы своевременно подтягивать отдельные части, помогать выполнять все, намеченное планом.

Средний темп наступления в первые дни Берлинской операции оказался несколько ниже определенного Ставкой, но, как образно сказал маршал Конев:

«Планируем мы одни, а выполняем свои планы, если можно так выразиться, вместе с противником, то есть с учетом его противодействия» (22, стр. 416).

Пытаясь остановить наступление войск фронта, гитлеровцы в течение первых двух дней боев контратаковали наши войска силами шести танковых, одной моторизованной и пяти пехотных дивизий. Враг бросал в бой все что только было возможно, он чувствовал, что наступают его последние дни.

В целом наступление развивалось явно успешно. Очень активно благодаря хорошей погоде действовала в эти дни авиация. За первые три дня она совершила 7517 вылетов, а истребители сбили в боях 155 немецких самолетов.

Командующий фронтом маршал Конев, по его собственным словам, постоянно находился впереди и руководил действиями этих танковых армий. На Петрова ложилась забота об уничтожении оставшихся в тылу немалых сил фашистов.

В своих воспоминаниях маршал бронетанковых войск П. С. Рыбалко пишет:

«Мы шли вперед в то время, как позади нас оставались еще недобитые немецко-фашистские дивизии. Мы не боялись за наши коммуникации, так как знали, что высшим командованием приняты все меры для ликвидации этих недобитков. Фланги и тыл в продолжение всей операции были надежно прикрыты» (22, стр. 422).

Это была ответственная и нелегкая работа. Танковые армии сражались впереди, а общевойсковым армиям на флангах приходилось вести ожесточенные бои и сдерживать противника, который мог и пытался захлопнуть пробитую брешь.

В эти дни 1-й Белорусский фронт, наступая на Берлин с востока, то есть в лоб, с большим трудом преодолевал глубоко эшелонированную и очень хорошо подготовленную оборону противника. Войскам маршала Жукова приходилось очень тяжело.

Зная, что танковые армии 1-го Украинского фронта успешно и стремительно продвигаются вперед, Верховный Главнокомандующий дал указание маршалу Коневу:

— У Жукова идет туго, поверните Рыбалко и Лелюшенко на Целендорф, помните, как договорились в Ставке.

Немедленно были отданы распоряжения обоим командующим танковыми армиями — Рыбалко и Лелюшенко и была написана очень интересная и часто вспоминаемая военными историками директива о повороте двух танковых армий на штурм Берлина. Эту директиву подписал вместе с командующим фронтом маршалом Коневым, членом Военного совета генералом Крайнюковым и начальник штаба генерал армии Петров. Суть этой директивы заключалась в неожиданном для противника повороте танковых армий — одной на север, а другой на северо-запад.

Ох не просто повернуть круто — почти на девяносто градусов — две такие танковые махины! Причем сделать это в ограниченное время, а точнее, немедленно, в течение нескольких часов! 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерал-полковника П. С. Рыбалко приказывалось в течение ночи на 18 апреля осуществить поворот, форсировать реку Шпрее и далее, развивая стремительное наступление на южную окраину Берлина, в ночь с 20 на 21 апреля ворваться в город. 4-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко должна была к этому же времени овладеть Потсдамом и юго-западной частью Берлина.

В 1984 году я побывал в Германской Демократической Республике, выезжал в тот район, где танковая армия Рыбалко выполняла этот стремительный поворот и ринулась на Берлин с юга.

Я ходил и ездил по району, по его небольшим городкам, полям и лесам и старался представить, как дрожала здесь мокрая, раскисшая (апрель!) земля, как рычали тысячи танков, как старались танкисты понять свой маневр и осуществить его на незнакомой местности, да еще ночью! И как они все это блестяще выполнили! У них за плечами была большая и трудная война, огромный опыт. Они вели в бой лучшие в мире — по тем временам — танки, которые сделал народ, измученный усталостью и недоеданием. Народ, ждущий от них победы! И она была близка. Я представлял, с каким злым энтузиазмом, с какой радостью и вдохновением делали все в эту ночь чумазые от гари танкисты. Они не спали уже третью ночь — но не ощущали усталости. Я просто вижу, как, разя с ходу появляющихся на пути гитлеровцев, они мчались вперед — к логову врага.

Походил я и по предместьям Цоссена. 20 апреля сюда прорвались танки Рыбалко. Знатный подарочек они преподнесли фюреру, может быть, даже сами не зная о том, что это был день рождения Гитлера. Очень символический получился «подарок» — в Цоссене находилась штаб-квартира верховного командования гитлеровской армии. Именно здесь проходила разработка плана «Барбаросса». И вот какой потрясающий финал — советские войска громят эту адскую кухню, откуда была выпущена на свет война, громят именно в день рождения фюрера!

Я смотрел на серые особняки, двух-трехэтажные дома довоенной постройки. Они живописно расположены в хвойном лесу. Уютно жили в этом тихом и красивом месте те, кто принес так много страданий народам Европы, да и своему немецкому народу.

Представляю, как они ходили друг к другу в гости, как поднимали бокалы в честь захвата городов, стран — Польши, Франции, Бельгии, Дании, Греции и многих других. Как распирала их

спесь и как они уверовали сами, что представляют собой особую расу господ, когда их войска вышли к Волге и на подступы к Баку.

Здесь же, в этих домах, уже были проложены на картах маршруты, составлены графики движения их войск в Иран, Ирак, Афганистан, Индию.

Сегодня даже мне, видевшему фашистов на родной земле, трудно представить, что все это было! Мог ли представить в 1942 году я, окопный лейтенант, что буду ходить под Цоссеном, среди домов гитлеровской ставки! Даже во сне мне такое не могло присниться!

И вот я здесь спустя сорок лет (почти полвека!) после того, как бежали отсюда хозяева этих домов, бежали, боясь быть пойманными и спрошенными за все содеянное ими зло.

Как они метались здесь, по этим ухоженным лужайкам, как торопливо жгли свои преступные планы, как бежали, понимая, что и бежать-то уже некуда, но все же уходили, уползали, только бы не быть захваченными и опознанными как работники этой главной штаб-квартиры.

У меня сохранилась старая вырезка из газеты со статьей Бориса Полевого, в ней приводится любопытный документ, дающий представление о том, что здесь происходило в эти последние часы:

«...Когда я вернулся с узла связи, корреспондент «Комсомольской правды» Крушинский... сказал мне:

— Звонили от генерала Петрова. Он требует, чтобы вы сейчас явились к нему... Зачем я мог понадобиться начальнику штаба фронта?..

Меня провели к нему прямо в личную резиденцию. Сводка уже прошла, боевое донесение было готово... Снял китель, генерал пил чай. Он наполнил из термоса стакан. Чай был хорош, в особенности с устатку да еще глубокой ночью... Я вопросительно смотрел на него, желая понять, зачем все-таки меня позвали. Он неторопливо снял большое круглое пенсне, протер стекла и наконец строго сказал:

— Мне доложили, что вы передали девушкам-переводчицам ленты телеграфных переговоров, которые вы взяли в подземелье Цоссена.

— Так точно. Я думал...

— Не знаю уж, что вы там думали, но, очень мягко говоря, вы совершили грубейшую ошибку.

— Но я не знал...

— А знаете ли вы, что было на этих лентах? Не знаете? Так вот, полюбуйтесь.— И лишь теперь, водрузив пенсне на место, он улыбнулся.

У меня в руках оказались листки переводов последних переговоров узла связи гитлеровского верховного командования сухопутными вооруженными силами с военачальниками, находившимися на юге Германии и в странах, еще оккупированных фашистскими войсками. На одном конце провода были встревоженные ходом событий гитлеровские военные сатрапы, а на другом — четыре пьяных солдата-телеграфиста, заживо похороненных в бункере узла связи и мысленно уже простившихся с жизнью.

Вот отрывки из этих разговоров, в которых по причинам, легко понятным, я заменяю наиболее выразительные слова многоточиями.

ЭДЕЛЬВЕЙС. Вручите немедленно генералу Кребсу. Отсутствием информации вынужден ориентироваться обстановке радиопередачам англичан. Сообщите обстановку. Сообщите дальнейшие действия. Подписано А-15.

ОТВЕТ. Вызвать кого-либо невозможно. Погребены в могиле. Передачу прекращаю, ЭДЕЛЬВЕЙС. Что за глупые шутки? Кто у провода? Немедленно позвать старшего офицера А-15.

ОТВЕТ. Офицер насалил пятки. Все насалили пятки. Замолчи, надоед.

ЭДЕЛЬВЕЙС. Какая пьяная скотина у провода? Немедленно позвать дежурного офицера.

ОТВЕТ. Поцелуй в... свою бабушку, идиот.

ЭДЕЛЬВЕЙС. У аппарата У-16. Весьма срочно.

ОТВЕТ. Не торопитесь в петлю.

ЭДЕЛЬВЕЙС. Не понял, повторите.

ОТВЕТ. Вонючий идиот. Все драпанули. По нас ходят Иваны. К тебе еще не пришли?

ЭДЕЛЬВЕЙС. Снова настаиваю связи с Кребсом. Сообщите обстановку в Берлине.

ОТВЕТ. В Берлине идет мелкий дождик. Отстань.

ЭДЕЛЬВЕЙС. Кто со мной говорит? Назовите фамилию, звание.

ОТВЕТ. Подавьсь... Надоел. Все удрали. Танки Иванов над головой. Грязная свинья.

И так лента за лентой, густо уснащенные сочнеешими ругательствами. Да, признаю, сплеховал, не мог этого предвидеть. Легко представляю себе, каково-то было лейтенантам в юбках переводить эти ленты последних переговоров с Цоссеном.

— ...Ну, батенька, понимаете теперь, чем вы угостили милых переводчиц,— смеялся генерал.— Они вам этого никогда не простят. Лучше им и на глаза не показывайтесь.— А потом посерьезнел:— Вряд ли вам этот трофей понадобится, но вообще-то эти ленты — действительно интересный материал. Все-таки кусочек истории» (24, стр. 8).

Все эти дни для генерала Петрова были не только радостными, но и очень напряженными.

В то время как танковые армии уже подходили к окраинам Берлина, на флангах прорыва дела обстояли не очень-то благополучно. 20 апреля немцам в результате контратак удалось остановить продвижение 52-й армии и потеснить на север части 2-й армии Войска Польского. Котбусская группировка гитлеровцев тоже нависала над основанием коридора, в который ушли наши танковые армии. Вот тут и возникла та самая сложность, которую надо было срочно ликвидировать, надо было обеспечить спокойствие, на которое надеялись командующие танковыми армиями.

Наводить порядок в тылах наступающего фронта было нелегко, потому что бои велись во многих местах: на правом фланге продолжались напряженные бои за Котбус; в центре фронтового участка шла ликвидация шпребургского узла и группировки врага, отстаивающей его; на левом фланге не совсем благоприятно складывалась обстановка на дрезденском направлении; в тылу в районе Бреслау продолжала сражаться еще одна крупная группировка противника, окруженная 6-й армией генерала Глуздовского. Таким образом, пространство в несколько сот километров в глубину и по фронту представляло собой огромный котел, кипящий жестокими боями. Во всем этом должен был разобраться начальник штаба — найти силы, нацелить их, обеспечить огнем и авиацией и в кратчайший срок уничтожить врага, создав условия для дальнейшего продвижения армий впереди, на главном направлении.

Маршал Конев пишет:

«Берлинская операция была, пожалуй, самой сложной из всех операций, которые мне довелось проводить за время Великой Отечественной войны. В связи с этим командованию фронта пришлось ежедневно и еженощно заниматься множеством разнообразных вопросов» (22, стр. 441).

Под словами «командование фронта», естественно, подразумевается и начальник штаба фронта.

Фланги 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, обтекающие берлинскую группировку, сходились все ближе. К исходу 22 апреля танковую армию Лелюшенко отделяло от 47-й армии генерала Перхоровича 1-го Белорусского фронта всего 40 километров, а танковая армия Рыбалко от 8-й гвардейской армии Чуйкова была в двенадцати километрах. Таким образом, намечалось сразу два кольца окружения.

Ставка, учитывая это положение, потребовала от маршалов Жукова и Конева не позднее 24 апреля завершить это двойное окружение, в первом кольце которого остался бы Берлин, а во втором оказалась франкфуртско-губенская группировка противника.

Получив такое распоряжение, да еще в той сложной обстановке, когда бои шли на разных направлениях, штаб, конечно, должен

был работать с полным напряжением, чтобы за короткое время сделать необходимые расчеты, указания и довести их до войск.

А что происходило в эти дни в стане противника?

Желая, видимо, поддержать и подбодрить своего подчиненного, Гитлер, как он уже не раз делал это раньше, в апреле 1945 года присвоил Шернеру высшее звание — генерал-фельдмаршала.

22 апреля Шернер в последний раз встретился с фюрером в его рейхсканцелярии. Гитлер говорил с ним доверительно и поставил задачу — любой ценой дать ему шанс добиться переговоров с союзниками.

— Необходимо сопротивляться до тех пор, — сказал Гитлер, — пока не будет подготовлен политически благоприятный выход из войны. Имеются предпосылки для заключения сепаратного мира с Англией и США, которые не хотят, чтобы Берлином овладели русские. Не в их интересах укрепление военного могущества большевистской России и усиление ее влияния в Европе.

Одновременно фюрер дал указание — прекратить всякое сопротивление союзникам на западе и повернуть 12-ю армию Венка и 9-ю армию Буссе для того, чтобы не позволить сомкнуться кольцу окружения вокруг Берлина.

Удар армий Буссе и Венка был нацелен и против войск 1-го Украинского фронта. Командованию фронта предстояла нелегкая задача: отразить удар этих двух армий и одновременно продолжать сражаться с теми, кто мешает замкнуть кольцо окружения.

24 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов соединились в тылу 9-й армии Буссе, полностью изолировав ее от Берлина. И этой же ночью танкисты Рыбалко прорвали внутренний оборонительный обвод, прикрывающий центральную часть Берлина с юга, и ворвались в город.

Одно кольцо вокруг Берлина замкнулось!

В этот же день, 24 апреля, подошли части армии Венка, которым Гитлер приказал не допускать окружения Берлина, а если оно состоится, то деблокировать его.

Отражением частей Венка занимались командарм Лелюшенко и командир штурмового авиационного корпуса Рязанов. Они направляли свои танки и самолеты против наступающих частей Венка. Особенно удачно действовали штурмовики Рязанова, имевшие большой опыт борьбы с танками.

В своем подземном убежище Гитлер надеялся, что Венк вот-вот придет ему на помощь, он говорил об этом с большим пафосом, а армия Венка тем временем несла тяжелые потери и никакого успеха не добилась.

Отбивая левым флангом армию Венка, генерал Лелюшенко продолжал продвижение своих частей на правом фланге, стремясь замкнуть второе кольцо окружения. В 12 часов дня 25 апреля танкистам Лелюшенко удалось соединиться с частями армии генерала Перхоровича. Таким образом, западнее Берлина войска двух фронтов плотно замкнули еще одно кольцо. После этого танкисты Лелюшенко и армия Перхоровича продолжали наступать на Потсдам, отражая попытки Венка прорваться в Берлин и одновременно уничтожая зажатую между двух колец окружения 9-ю армию Буссе.

25 апреля был издан приказ Верховного Главнокомандующего. На этот раз он адресовался двум командующим фронтами и двум начальникам штабов этих фронтов:

«Маршалу Советского Союза Жукову, генерал-полковнику Малинину, Маршалу Советского Союза Коневу, генералу армии Петрову.

Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и сегодня, 25 апреля, соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершив, таким образом, полное окружение Берлина» (14, стр. 465—466).

В тот же день войска 1-го Украинского фронта на фланге, которому по просьбе маршала Конева уделял особое внимание Иван Ефимович, соединились на Эльбе с войсками союзников. Это была 5-я армия под командованием Жадова.

Приказ об этом историческом событии вышел 27 апреля 1945 года. В нем говорилось:

«Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекали фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии» (14, стр. 473).

27 апреля издан еще один приказ Маршалу Советского Союза Коневу и генералу армии Петрову:

«Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 27 апреля, с боем овладели городом Виттенберг — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба» (14, стр. 477).

Одновременно с этими событиями генералом Петровым по поручению маршала Конева была проведена небольшая, но очень ответственная операция.

Дело в том, что противник, ведя напряженные бои на Дрезденском направлении, прорвал фронт на стыке между 52-й армией генерала Коротева и 2-й армией Войска Польского генерала Сверчевского и вышел в тылы польской армии, где создалась сложная обстановка.

И. С. Конев пишет о ней так:

«В эти дни я главным образом бывал на своем передовом командном пункте, а на основном находился начальник штаба фронта генерал армии Иван Ефимович Петров. Я поручил ему выехать в войска Коротева и Сверчевского и помочь на месте организовать взаимодействие войск, которые при поддержке частей 5-й гвардейской армии должны были не только отразить наступление немецко-фашистских войск, но и нанести им удар» (22, стр. 455).

На это направление выехали генерал Петров, член Военного совета генерал-лейтенант Крайнюков и начальник оперативного управления штаба фронта генерал Костылев.

Генерал Крайнюков в своих воспоминаниях так рассказывает о возникшей здесь ситуации:

«Контрудар немецко-фашистских войск по тылам 2-й армии Войска Польского, несомненно, имел и политическую подоплеку. Гитлеровские офицеры по национал-социалистскому воспитанию всячески разжигали среди немецких солдат ненависть к полякам, призывали истреблять их с такой же жестокостью, как русских большевиков» (25, стр. 610).

Генерал Петров и все, кто с ним приехал, застали командующего польской армией Кароля Сверчевского у моста, где образовалась пробка, и он распекал какого-то артиллериста, уезжавшего на машине в тыл со снарядами, так необходимыми на передовой.

— Разворачивайтесь — и марш на передовую! — приказывал Сверчевский. — Вон деревня, хорошо знаю, что на ее западной окраине находится батарея. Она ведет огонь по танкам врага. Отвезите боеприпасы туда. Понятно? Тогда — марш...

Поздоровавшись с прибывшими, Сверчевский пригласил их в штаб.

Петров спросил Сверчевского:

— Вы что, простудились — охрипли совсем?

Сверчевский иронически улыбнулся и ответил:

— Художественным чтением занимался. Много декламировал.

Генерал Сверчевский доложил, что происходит и в какое трудное положение попала его армия из-за удара Шернера.

Иван Ефимович с большим уважением относился к командующему 2-й армией Войска Польского Каролу Сверчевскому. Он знал его как смелого, инициативного и талантливого военного руководителя.

Сверчевский в 1917 году участвовал в Октябрьской революции. Он был в составе Лефортовского отряда Красной гвардии в Москве во время восстания. В 1918 году он вступил в партию большевиков, активно сражался с белогвардейцами на Западном и других фронтах. В 1927 году окончил Военную академию имени Фрунзе и занимал разные командные и штабные должности в Красной Армии. В 1936 году добровольцем участвовал в национально-революционной войне испанского народа и в течение трех лет под именем генерала Вальтера командовал 14-й интернациональной бригадой, а позднее 35-й интернациональной дивизией. Под его командованием служили русские, поляки, американцы, англичане, испанцы, чехи, итальянцы, немцы-тельмановцы.

С первых дней Великой Отечественной войны Сверчевский командовал дивизией на Западном фронте, а с августа 1943 года был заместителем командира 1-го польского корпуса. Позднее, когда уже выросла и окрепла 1-я армия Войска Польского, где Сверчевский тоже был заместителем командующего, он формировал 2-ю армию Войска Польского, которой ему было поручено командовать.

После того как кратковременная, но очень напряженная операция по восстановлению положения на дрезденском направлении была проведена, Петров вернулся в штаб. Все это время он, естественно, не оставлял своих дел и обязанностей начальника штаба фронта и поддерживал связь как со всеми войсками, так и со Ставкой.

Докладывая Коневу о сложившейся обстановке, Петров заметил:

— На первом этапе Берлинской операции труднее было Первому Белорусскому фронту, а теперь нашему соседу стало гораздо легче. Противник не угрожает его тылам, а нас жмет с запада и с востока.

Сражающимся в Берлине частям и удерживающим кольцо окружения вокруг него необходимы были боеприпасы, горючее, питание. Нередко генералу Петрову приходилось организовывать настоящие небольшие операции, чтобы освободить дороги — дабы транспорт мог пробиться вперед, к частям, ведущим бой.

В один из дней находившаяся между двумя кольцами окружения 9-я немецкая армия Буссе сделала попытку прорваться навстречу армии Венка. А надо сказать, в 9-й армии гитлеровцев были немалые силы — 14 дивизий и много отдельных специальных частей, в общей сложности до 200 тысяч солдат и офицеров. Главный удар Буссе нанес в направлении Луккенвальде. Удар был довольно сильный. Противнику удалось продвинуться к Луккенвальде, он перерезал наши коммуникации и, что было особенно неприятно, в разгаре боев нарушил всю проводную связь со штабами армий, которые участвовали в штурме Берлина и окружали его.

В этой ситуации большая ответственность ложилась на плечи начальника штаба фронта, потому что за организацию связи и непрерывность управления отвечает он персонально. А насколько это сложно, покажут такие цифры: в штабе фронта связь поддерживалась по 27 телеграфным и 30 телефонным проводным каналам, постоянно работало 30 радиостанций. Кроме того, такой же крупный узел создавался связистами под руководством начальника штаба фронта на наблюдательном пункте командующего фронтом. А наблюдательный пункт при таком широком фронте, как правило, был не один. В этом деле надежной опорой генерала Петрова был начальник связи фронта генерал И. Т. Булычев.

Так вот, когда пробивающиеся части армии Буссе перерезали наши коммуникации, то связь со всеми армиями и соединениями продолжала устойчиво поддерживаться по радио и ни на минуту не прерывалась.

Пробиваясь на запад, части Буссе неожиданно выходили к очень важным участкам в наших боевых порядках фронта. Так, например, на одном из направлений оказался штаб 4-й гвардейской танковой армии, гитлеровцы вышли к нему внезапно. Всем офицерам штаба, включая и самого командарма Лелюшенко, пришлось взяться за оружие и за гранаты. Только подоспевшие на помощь находившиеся поблизости части, в том числе 7-й гвардейский мотоциклетный батальон, выручили штаб армии.

Не успели закончиться бои по выручке штаба 4-й танковой армии, как уже понеслись тревожные звонки с аэродрома 9-й гвардейской истребительной авиадивизии. Прямо к аэродрому вышли части противника. И здесь первую атаку гитлеровцев отразили летчики и обслуживающий персонал аэродрома. Сам командир дивизии трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин участвовал в этой неожиданной схватке. В районе аэродрома не только был отражен удар гитлеровцев, но захвачено еще и три тысячи пленных.

28-го Кребс передал отчаянный и последний приказ:

«Всем соединениям, сражающимся между Эльбой и Одером, всеми средствами и как можно скорее привести к успешному завершению охватывающее наступление для выручки столицы рейха» (26, стр. 618).

Но никто не откликнулся. Разгромленный вермахт уже не мог ничего и ничего выручать.

Около полуночи 29 апреля Йодль получил последнюю радиogramму Гитлера:

«Немедленно доложите мне:

1. Где головные части Венка?
2. Когда они будут продолжать наступление?
3. Где 9-я армия?
4. Куда прорывается 9-я армия?
5. Где головные части Хольсте?»

На это последовал в 1 час ночи 30-го столь же краткий и выразительный ответ:

- «1. Головные части Венка замечены южнее озера Швилов.
2. 12-я армия не может продолжать оттуда наступление на Берлин.
3. Главные силы 9-й армии окружены.
4. Корпус Хольсте принужден обороняться» (26, стр. 618).

Умелыми совместными действиями войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов в конце концов ликвидировали окруженные группировки гитлеровцев западнее Берлина. В честь этого был издан приказ Верховного Главнокомандующего, в котором в ряду имен славных военачальников — Жукова, Конева, Малинина упоминался и генерал армии Петров, а в приказе было сказано следующее:

«Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина.

За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен более 120 тысяч немецких солдат и офицеров...» (14, стр. 490).

И еще один приказ Верховного Главнокомандующего, еще один салют в этот же день, 2 мая, отмечали нашу победу. Для того чтобы разделить эти два победных салюта, первый из них, о котором сказано выше, было приказано дать в 21 час из 224 орудий, а второй — в

23 часа 30 минут, на этот раз из 324 орудий. В истории Великой Отечественной войны это, пожалуй, был первый приказ о салюте из такого большого количества орудий. Надо сказать, и победа того просто сама просила. Разговор шел уже не о чем-нибудь, а о взятии Берлина! В приказе Верховного, адресованном на этот раз Красной Армии и Военно-Морскому Флоту, говорилось:

«Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, сегодня, в 15 часов, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров...» (14, стр. 494).

Гитлеровская армия, некогда претендовавшая на власть над всем миром, дошла до последних степеней деградации. Это состояние можно отчетливо разглядеть в той картине, которую увидел личный шофер фюрера эсэовец Эрих Кемпка, выйдя из бункера, где он находился последнее время вместе с ближайшим окружением фюрера:

«...Глазам нашим представилась потрясающая картина. Смертельно усталые солдаты, раненые, о которых никто не заботился, и беженцы лежали у стен, на ступеньках лестниц, на платформах. Большинство этих людей уже потеряло всякую надежду на бегство и было безучастно ко всему происходящему» (25, стр. 619).

Вот как оно все обернулось. Обратите внимание — вместе лежат и солдаты и беженцы — то есть те, кто когда-то стройными, четкими рядами шел, сверкая алчными глазами, на восток, и те, кто, вытягивая вверх руку в фашистском приветствии, неистово раздирали рты в крике «хайль!». Теперь они вместе лежат под заборами, под стенами. Когда-то они мечтали о восточных землях, о большой добыче, а теперь они «потеряли всякую надежду на бегство».

Уже и бежать некуда! Полный крах всех планов, всех намерений, всех иллюзий, всех претензий, вообще всего. И произошло это, конечно, не само собой. К этому состоянию гитлеровцев привели силой оружия, и прежде всего силой нашего советского оружия.

Пражская операция

Перед тем как покончить жизнь самоубийством, Гитлер, причинивший так много бед и страданий своему народу, пытался все-таки еще спасти фашистскую Германию и в своем политическом завещании передал власть новому правительству Германии во главе с гросс-адмиралом Деницем. Этим Гитлер как бы хотел выдвинуть новую власть, которая была бы и наследницей его, гитлеровских, идей, и в то же время, будучи новой, претендовала на какое-то снисхождение победителей к себе.

В распоряжении правительства Деница все еще находились довольно крупные группировки, продолжавшие сражаться: в Прибалтике группа армий «Курляндия», на побережье Балтийского моря группа войск «Восточная Пруссия», западнее Берлина остатки 12-й армии Венка и в Чехословакии — самая большая группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шернера. В этой группе было до 50 дивизий, много специальных частей и новых формирований, созданных из остатков разгромленных дивизий. В Западной Чехословакии союзникам противостояла 7-я немецкая армия в соста-

ве пяти дивизий, эта армия тоже теперь подчинялась Шернеру. В Австрии продолжали оказывать сопротивление войска группы «Австрия», а в Югославии против советских частей и частей югославской Народно-освободительной армии билась группа армий «Юг».

В некоторых книгах, особенно на Западе, Пражская операция 1-го Украинского фронта называется броском на Прагу. Да, это был бросок на Прагу, но не марш, не просто движение военных колонн, это была крупная и очень трудная боевая операция.

Новый глава рейха Дениц в своем выступлении 1 мая по радио заявил:

«Фюрер назначил меня своим преемником. В тяжелый для судьбы Германии час, с сознанием лежащей на мне ответственности, я принимаю на себя обязанности главы правительства. Моей первой задачей является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели продолжатся военные действия» (22, стр. 504).

Правительство Деница прилагало все усилия для того, чтобы как можно больше гитлеровских войск ушло на запад и сдалось в плен союзникам. И Шернер получил от Деница распоряжение: быстро совершить отвод своих армий за Эльбу, в зону действия англо-американских войск. Однако Шернер не был согласен с Деницем — и не потому, что не хотел сдаваться в плен союзникам, нет, он как опытный военный чувствовал: стоит ему сняться с хорошо оборудованных и укрепленных позиций, как его армии будут смяты и разгромлены советскими частями. Шернер говорил, что он может еще долго продержаться на занятых им позициях, и даже предлагал Деницу перевести правительство в Прагу, под прикрытие его группировки.

Насколько сблизилась к тому времени желания гитлеровцев и позиции некоторых западных руководителей, видно из указания, которое Черчилль отдал фельдмаршалу Монтгомери:

«Тщательно собирать германское оружие и складывать так, чтобы его легко можно было снова раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось» (13, стр. 601).

Вот какие случаются метаморфозы не только в политике, а даже на поле боя, где еще полным ходом идет сражение: наш союзник, который не раз клялся в верности и обещал поддерживать нас в освободительной борьбе, уже готовится вместе с врагами, используя его оружие и его солдат, встать на пути возможного советского наступления!

Необходимость как можно быстрее овладеть Прагой вытекала не только из желания скорее завершить войну, но и еще из того, что в Праге чехи, окрыленные успехами советских войск, подняли восстание. Шернер отдал своим войскам приказ: «Восстание в Праге должно быть подавлено всеми средствами».

Читатели уже знают Шернера, его жестокость и могут поэтому представить себе, что значат в его устах слова «подавить всеми средствами».

На Прагу со всех сторон двинулись гитлеровские войска. Прага нуждалась в быстрой и решительной помощи. Об этом руководители Пражского восстания сообщали по радио.

Ставка приказала 1-му, 2-му и 4-му Украинским фронтам в самое кратчайшее время спланировать и подготовить Пражскую операцию, оказав помощь восставшим чехам.

В этот день у генерала Петрова побывал корреспондент «Правды» Борис Полевой, мне кажется интересным их разговор.

Петров говорил, показывая на карту, где дивизии Шернера занимали часть Саксонии, Австрии, почти всю Чехословакию.

— Нам кажется, у этого Шернера хитрая задумка. И силы у него есть. Трудно предположить, что такой военный, как Шернер, не

понимает, что с Берлином все кончено. Он не так наивен, чтобы на что-то надеяться. Наверняка мечтает двинуть свою мощную группу на запад и соединиться с союзниками. Части у него боеспособны. Тут все может быть. Может ввалиться в Прагу, засесть там, занять оборону и... разрушить этот город, который совсем не пострадал.

— А что мы собираемся предпринять?

Начальник штаба водрузил свое пенсне на нос и строго взглянул на корреспондента.

— Вы интеллигентный человек, вам непростительно ставить меня в неловкое положение такими вопросами, батенька мой, и, кроме того, вы неправильно адресуетесь... Сие решают командующий и Ставка. Могу только сказать, что задумана смелая и интереснейшая операция...

То, что это была не простая операция, и то, какие ее особенности беспокоили командующего фронтом, хорошо видно из слов маршала Конева:

«Меня, как командующего фронтом, в эти дни беспокоило не столько сопротивление мощной группировки противника и даже не прочность его укреплений, сколько сочетание всего этого с горным рельефом местности. Ведь операция была рассчитана на быстроту. Именно высокий темп наступления лежал в основе наших расчетов, и надо было всерьез подумать о том, как бы не застрять в горах.

У меня все время из головы не выходила Дуклинская операция 1944 года. Тогда мы тоже пробивались прямо через горы... Помня ее нелегкий опыт, я в последующем сделал все, чтобы при малейшей возможности не забираться в горы, а прикрываться ими. Я пришел к твердому убеждению, что борьба в горах может быть вызвана только самой жестокой, железной необходимостью, когда иного пути — обхода или маневра — нет.

Но именно такое положение и создалось перед началом Пражской операции. Чтобы как можно скорее разгромить засевшую в Чехословакии почти миллионную группировку Шернера, взять Прагу, спасти город от разрушений, а жителей Праги, да и не только Праги, от гибели, не оставалось ничего другого, как прорываться прямо через Рудные горы. Иного пути не было, потому что на подступах к Чехословакии с севера всюду, куда ни сунься, куда ни кинься, горы. Значит, надо их преодолеть. Но преодолеть так, чтобы нигде не застрять, чтобы как можно скорее их проскочить, обеспечив свободу маневра для танковых и механизированных войск» (22, стр. 514—515).

Я думаю, здесь и без моей подсказки читателям будет ясно, как в обстоятельствах, создавшихся при осуществлении Пражской операции, пригодился 1-му Украинскому фронту опыт, мастерство и умение Петрова вести бои именно в горных условиях. Из того, что сказано выше маршалом Коневым, ясно видно: он избегал вести бои в горах. Это диктовал ему весь его опыт сражений в Великой Отечественной войне. Ведь почти все операции, которыми руководил Конев, проходили на местах равнинных, болотистых, лесистых. И здесь, как он сам говорил, он стремился горами прикрывать свои фланги.

У меня нет никаких свидетельств разговоров, происходивших между Коневым и Петровым в часы, когда составлялся план Пражской операции, но думаю, что и так можно быть уверенным: опыт Петрова здесь очень пригодился.

Об этом прямо пишет член Военного совета фронта генерал К. В. Крайнюков:

«Хочу особо подчеркнуть, что в разработку плана Пражской наступательной операции вместе с командующим вложил наряду с другими членами Военного совета очень много труда начальник штаба фронта генерал армии И. Е. Петров. Иван Ефимович раньше командовал 4-м Украинским фронтом, нацеленным на Чехословакию и освободившим часть ее территории, и тогда основательно изучил эту страну, ее важнейшие промышленные объекты, коммуникации и военно-географические особенности.

Когда обсуждался план наступательной операции, генерал И. Е. Петров детально охарактеризовал театр военных действий и подчеркнул, что подступы к Праге

прикрыты грядой Рудных гор, протянувшихся чуть ли не на полтораста километров. Севернее, в районе Дрездена, громоздятся гигантские песчаниковые высоты и лесистые плато, рассеченные Эльбой и ее притоками.

— Эти необычайно красивые места часто называют «саксонской Швейцарией», — заметил Иван Ефимович, — но горы могут доставить нам массу неприятностей. Если мы задержимся на перевалах или сделаем передышку в «саксонской Швейцарии», то понесем излишние потери и не сумеем отрезать пути отхода шернеровской группе немецко-фашистских армий...

Учитывая это обстоятельство и выполняя указания Ставки, Военный совет предусмотрел в плане наступательной операции мощные и стремительные удары по вражеской обороне, отсекающие гитлеровцев от Рудных гор. Это должно было позволить нашим подвижным соединениям захватить перевалы через Рудные горы и вырваться на равнинный простор» (25, стр. 622).

Наше командование ожидало — это вытекало из всей логики предстоящих боев, — что гитлеровцы окажут сопротивление в основном на дорогах, которые через горы выводят к Праге, что именно здесь они будут создавать сильные узлы сопротивления.

Для того чтобы сохранить высокий темп продвижения наших частей, было решено создать специальные отряды, которые при первом же столкновении с упорно сопротивляющимся на маршруте противником должны были, не ввязываясь с ним в бой, обходить по горам, по лощинам, по долинам эти очаги сопротивления, выходить к ним в тыл и бить их с тыла. Эти отряды состояли из всех видов войск, располагали всеми необходимыми инженерными средствами разграбления, могли преодолевать завалы, разрушения и быстро восстанавливать дороги и мосты.

Но это все было потом, уже в ходе операции, а сначала надо было в кратчайший срок завершить ее планирование, что тоже было не так просто. Да еще в соответствии с планом создать группировку для нанесения удара. А для создания группировки надо было перемещать, передвигать большие массы войск. Это тоже легло на плечи штаба и его начальника генерала Петрова.

Некоторым соединениям, чтобы выйти на исходные положения для наступления, предстояло совершить марш в 150—200 километров. А на исходном положении надо было все войска, участвующие в этой операции, пополнить боеприпасами, горючим, продовольствием и вообще всем необходимым.

Для удара на Прагу была создана мощная группировка из трех общевойсковых армий, которыми командовали генералы Пухов, Гордов и Жадов, двух танковых армий Рыбалко и Лелюшенко и еще двух танковых корпусов Полубоярова и Фоминых. Всю эту группировку, кроме их штатной артиллерии, поддерживали еще пять артиллерийских дивизий.

Эта весьма мощная группировка способна была осуществить предстоящую задачу. Но еще шли бои за Дрезден, а группировка для удара на Прагу сосредоточивалась северо-западнее Дрездена, и надо было, чтобы бои за Дрезден не помешали ее сосредоточению.

При планировании операции особое внимание было уделено быстроте ее осуществления и высоким темпам продвижения войск. При этом учитывалось и то обстоятельство, что Шернер под ударами советских войск будет откатываться в сторону Праги и, ослепленный злобой, может, соединившись с эсэсовскими частями и другими спецвойсками, подавляющими восстание, устроить там кровавую расправу над жителями Праги и разрушить саму Прагу.

Чтобы этого не произошло, танковые армии Рыбалко и Лелюшенко, наступающие с двух разных направлений, должны были благодаря своей мобильности опередить ведущие бой части Шернера и, оставив их у себя за спиной, ворваться в Прагу, разгромить там гитлеровские части, борющиеся с восставшими, и встретить Шернера, если он будет двигаться в сторону Праги.

Предусматривалось не только спасти Прагу от разрушения и оказать помощь восставшим, но и, выйдя силами армии Пухова западнее Праги, отрезать отступление войск противника и — во взаимодействии с войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов, тоже наступавшими на Прагу с юга и юго-запада, — ликвидировать их.

Обеспечение действий главной группировки возлагалось на 2-ю воздушную армию под командованием генерала С. А. Красовского. Согласно его решению и указаниям командующего фронтом на главное направление было выделено 1900 самолетов и на вспомогательное — 355 самолетов. Основной задачей авиации было: не дать противнику возможности маневрировать резервами в глубине и не допустить его отхода на запад.

Планирование Пражской операции проходило для штаба фронта в сложнейших условиях. По размаху эта операция была огромной, в ней участвовали все армии фронта, и для каждой из этих армий надо было определить исходные позиции, задачи по дням, рубежам, целям, надо было обеспечить войска всем необходимым. На подготовку такой операции в 1943 году и даже в 1944 году отводился месяц, а то и полтора, а тут всю эту работу надо было проделать за несколько дней.

Штаб фронта в этих трудных условиях нашел выход в параллельном осуществлении планирования и действий войск: разрабатывались планы, писались указания и в это же время войска перемещались на нужные направления. К тому времени, когда они туда прибывали, уже были готовы все необходимые документы для дальнейших действий. Все эти дни штаб во главе с генералом Петровым не только не спал, но не имел ни минуты для отдыха, все работали с предельным напряжением.

4 мая по указанию командующего фронтом генерал Петров собрал на совещание всех командующих армиями. Отдавая последние указания, маршал Конев сказал, что главным в этой операции будет стремительность, Рудные горы и Судеты нужно чуть ли не в буквальном смысле слова перелететь. Ни в коем случае не задерживаться в боях за опорные пункты, за населенные пункты, обходить их, особенно танковым соединениям. После них будет все зачищать пехота.

Дальше Конев обратил внимание на то, что противник хоть и силен, но падение Берлина, разгром почти всей гитлеровской армии оказали, конечно, свое действие на его моральное состояние — он уже совсем не тот, что раньше. Учитывая это обстоятельство, командующий требовал действий решительных, даже дерзких, с применением всего накопленного опыта.

Командующий приказал командирам всех степеней, а особенно штабам дивизий и полков, осуществлять руководство, находясь как можно ближе к боевым порядкам, чтобы немедленно реагировать на все изменения в обстановке и добиваться стремительных темпов продвижения.

Не впервые в этой большой войне очень наглядно проявился гуманизм Советской Армии даже по отношению к врагам. Маршал сказал своим командирам — стараться не допускать излишнего кровопролития. Как только будут создаваться какие-то небольшие окружения или появится возможность предъявить ультиматум какой-либо группировке гитлеровцев — не добивать их, а вынуждать к капитуляции, проявлять в этом отношении инициативу, посылать парламентариев.

Член Военного совета Крайнюков тоже сказал напутственное слово:

— Эта операция должна проводиться под девизом «вперед, на Прагу!». Надо спасти ее. Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами!».

Войска, которым предстояло участвовать в операции, были на пределе усталости. Только что завершилась стремительная и очень напряженная Берлинская операция, участники которой, вдох-

новленные близким завершением войны, казалось, выложились до конца. И вот нужно провести еще одно сражение, не менее сложное и требующее большого напряжения. Но боевой дух войск был настолько высоким, что все участвующие в Пражской операции нашли в себе силы для осуществления и этого подвига.

Незадолго перед наступлением пришла весть, которая вообще вынуждала штаб фронта и всех наступающих сделать нечто невозможное. Ночью 6 мая чешский Национальный совет обратился по радио с просьбой о помощи:

«На Прагу наступают немцы со всех сторон. В действии германские танки, артиллерия и пехота. Прага настоятельно нуждается в помощи. Пошлите самолеты, танки и оружие. Помогите, помогите, быстро помогите!» (10, стр. 394).

Разве можно было в таких обстоятельствах медлить? И Ставка дала указание перейти в наступление на сутки раньше намеченного срока. Первоначально срок начала наступления был определен 7 мая, значит, теперь войска должны были выступить немедленно. Это и было осуществлено.

В первой половине дня 6 мая передовые отряды частей перешли в наступление. Они успешно продвигались вперед, и командующий решил без промедления ввести вслед за ними главные силы. Пошли вперед армии Пухова и Гордова, и сразу же вместе с ними двинулись танковые армии Рыбалко и Лелюшенко.

Генерал Петров очень внимательно следил за флангами этой движущейся вперед нашей главной группировки. Дело в том, что 5-я армия генерала Жадова в эти часы еще не была готова к такому движению. И командующий отсрочил ей начало наступления до 20 часов 45 минут. Это означало, что армия начнет наступление ночью, в темноте. Казалось бы, не следовало так рисковать — ночные действия всегда сложнее и труднее по организации. Но нельзя было и медлить. 5-й армии была поставлена задача овладеть Дрезденом. Дело было даже не во взятии города, а в том, что на дрезденском направлении находились танковые и механизированные дивизии Шернера, которые он мог сразу после того, как наша главная группировка двинется в сторону Праги, повернуть и ударить под основание этого нашего ушедшего вперед клина.

Вот поэтому и было решено, что, несмотря на наступившую ночь, армия Жадова перейдет в наступление, чтобы сковать упомянутые выше танковые и механизированные дивизии врага.

В первый день армии Пухова и Гордова продвинулись более чем на 20 километров. Танковые армии пока продолжали идти вместе с ними.

Если помнит читатель, в тылу этой нашей наступающей группировки, в городе Бреслау, в окружении, находились войска гитлеровцев под командованием генерала Нигофа. Их удерживала в котле, не ведя активных боев и, значит, не имея больших потерь, наша 6-я армия под командованием генерала Глуздовского. И вот на допросе первых же плененных выяснилось: если бы наши части не перешли в наступление 6 мая, то 7 мая Шернер нанес бы сильный удар в направлении Бреслау с целью деблокировать группировку Нигофа.

Но мы опередили и сорвали эту затею Шернера. Такая ситуация оказалась решающей для судьбы группировки в Бреслау. Генерал Нигоф, видя успешное продвижение наших войск в сторону Праги, понял безвыходность своего положения и капитулировал.

По этому случаю Верховный Главнокомандующий издал приказ, адресованный Коневу и Петрову:

«Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады сегодня, 7 мая, полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау).

Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости

генералом от инфантерии фон Нигофом и его штабом прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.

7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе Бреславль более 40 тысяч немецких солдат и офицеров» (14, стр. 503).

Успешно действовала в этот день и 5-я гвардейская армия Жадова. Она продвигалась вперед, охватывая Дрезден с северо-запада и северо-востока, и к концу дня вышла на окраины города. Шернер, опасаясь окружения, приказал отводить этот фланг своей группировки. А командующий фронтом маршал Конев, учитывая это выгодное обстоятельство, приказал, кроме рвущейся вперед к Праге главной группы, перейти в наступление и левому крылу фронта, то есть 2-й армии Войска Польского, 28-й, 52-й, 31-й и 59-й армиям.

Это было гигантское наступление, на широком фронте двигались огромные массы войск — людей и техники. Петрову надо было неотступно держать все это в поле своего зрения, немедленно реагировать на любые задержки, получать и осмысливать информацию, докладывать ее командующему фронтом, который находился впереди, на направлении главного удара, а также сообщать ее наверх — в Генеральный штаб и Ставку Верховного Главнокомандующего.

Нетрудно себе представить, какого напряжения требовало это от начальника штаба и какой при этом надо было обладать способностью быстро все схватывать, оценивать, реагировать и без опозданий осуществлять все необходимое.

Маршал Конев понимал сложность работы штаба фронта при таком размахе и темпах наступления, не случайно, описывая именно эти дни, он говорил о том напряжении, с каким приходилось работать штабам:

«Обстановка была сложной, темпы наступления высокие. Для управления войсками фронта в этих условиях требовались непрерывные донесения снизу, чтобы вовремя регулировать движение войск, выдерживать и направление движения, и темпы. Я должен был все время знать, где что происходит, чтобы иметь возможность соответственно маневрировать другими имевшимися в моем распоряжении резервами в том случае, если наступление где-то остановится, застопорится, упрется в не пробиваемую с одного удара оборону. Бесперебойная информация имела для меня в этот день особенное, исключительное значение» (22, стр. 528).

Вот все это и должен был осуществлять штаб под руководством генерала Петрова.

Кроме сведений о боевых действиях, к Ивану Ефимовичу в этот день, 7 мая, стали поступать запросы от штабов и командиров по поводу услышанного сообщения зарубежного радио о том, что война окончилась. Не имея по этому поводу никаких указаний от Генерального штаба, Петров не мог сказать им ничего определенного. Он и сам слышал по радио передаваемую из Парижа, Лондона, Брюсселя, Амстердама и других городов торжественную музыку, церковные службы, речи о том, что наступил мир.

Как стало известно позже, англо-американское командование приняло в тот день от немцев в Реймсе капитуляцию. Ну, на западном направлении гитлеровские войска уже давно не оказывали сопротивления, и принятие этой сепаратной капитуляции нашими союзниками было просто незаконным, о чем и было заявлено Советским правительством. Но здесь, на пражском направлении, ни о каком мире, ни о какой капитуляции еще не было и речи. Генерал-фельдмаршал Шернер со своими войсками не только оказывал отчаянное сопротивление нашим частям, но и жестоко расправлялся силами еще ранее посланных отрядов с восставшими жителями Праги.

Генерал Петров запросил у Генерального штаба разъяснения о происходящем. Ему ответили, что капитуляцию, принятую союзниками, договорено считать предварительным актом, а 8 мая в Берлине

будет приниматься безоговорочная капитуляция от руководства гитлеровской армии. Принимать ее будут заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и представители военного командования союзных нам держав. Вот она-то и будет считаться завершением войны.

Шернер 7 мая отдал приказ по войскам:

«Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска, что война против Советского Союза будет продолжаться» (13, стр. 529).

В этот же день по приказу Ставки перешли в наступление войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского и 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии А. И. Еременко. Это обстоятельство уже не оставляло никаких надежд группировке Шернера, его били со всех сторон.

8 мая главная группировка 1-го Украинского фронта продолжала свое стремительное наступление в сторону Праги. Шли тяжелые бои на перевалах и в узких местах в горах, везде и всюду части Шернера оказывали жестокое сопротивление.

В тот же день 8 мая на направлении, которому генерал Петров по просьбе командующего оказывал особое внимание, тоже была одержана победа — был взят Дрезден. По этому поводу Верховный Главнокомандующий издал приказ, адресованный Коневу и Петрову:

«Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломали сопротивление противника и сегодня, 8 мая, овладели городом Дрезден — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии...

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Дрезден, представить к присвоению наименования «Дрезденских» и к награждению орденами» (14, стр. 507—508).

В этот же день генерал Петров получил донесение из штаба армии Лелюшенко о том, что в ходе боев они разгромили какой-то штаб, на который налетели в момент его перемещения по дороге. Это была очень большая штабная колонна, и поэтому танкисты доложили о ней, но у них не было времени разбираться ни в документах, захваченных в этом штабе, ни допрашивать офицеров и генералов, которых там взяли в плен. Танкисты рвались вперед. Как выяснилось позднее, это был не простой штаб, а штаб группировки Шернера.

Сам Шернер едва не попал в плен. С этого момента, лишившись возможности управлять своими войсками, Шернер уже скрывался по лесам, пробиваясь в сторону союзников, он даже переоделся в штатский костюм, забыв и о своей фельдмаршальской гордости. Вот что пишет сам Шернер:

«В ночь с 7 на 8 мая мой штаб находился в переброске и утром 8 мая при танковом прорыве русских был полностью уничтожен. С этого времени я потерял управление отходящими войсками. Танковый прорыв был совершенно неожиданным, так как вечером 7 мая фронт еще существовал» (17, стр. 203).

Забегая вперед скажу: этот жесточайший и кровожаднейший из фашистских военачальников все же попал в плен. Позднее Шернер вместе с Клейстом и другими военными преступниками предстал перед советским трибуналом. На суде Шернер повторял применявшуюся многими гитлеровскими генералами защитительную тактику: он-де только подчиненный и выполнял приказы, которые ему давались. Советский трибунал приговорил Шернера к 25 годам заключения. В 1953 году из гуманных соображений срок наказания был наполовину сокращен, в январе 1955 года Шернер был освобожден и уехал в Западную Германию.

Но вернемся к наступающим на Прагу войскам.

Армии 1-го Украинского фронта, как и было запланировано, с ходу преодолели Судетские и Рудные горы и продолжали продвигаться вперед. Население всюду встречало наши войска с восторгом, слышались радостные крики: «Да здравствует вечная дружба народов Советского Союза и Чехословакии!», «Спасибо за освобождение!», «Да здравствует Россия!».

Вечером 8 мая генерал Петров получил информацию из Генерального штаба о том, что через несколько часов в Берлине будет подписана капитуляция, от немцев ее подпишет фельдмаршал Кейтель. Ставка предлагала сообщить по радио всем немецко-фашистским войскам, находившимся на территории Чехословакии, об этой безоговорочной капитуляции. Было приказано прекратить боевые действия на три часа, то есть до 23 часов 8 мая. А если после этой возможности избежать лишних жертв войска Шернера не внемлют голосу разума и будут продолжать сопротивление, то нанести им решающий удар и разгромить окончательно.

И вот наступила трехчасовая пауза. Конев и Петров находились на командном пункте под Дрезденом. Они ждали. Войска остановились и тоже ждали.

Позже пленные гитлеровцы на допросах показывали, что оставшиеся командиры частей шернеровской группировки скрывали от подчиненных факт безоговорочной капитуляции и заставляли их продолжать военные действия, жестоко расправляясь с теми, кто высказывал какие-либо сомнения.

По истечении установленных трех часов, не получив никакого ответа, наши войска возобновили боевые действия. В ночь на 9 мая танкисты 4-й и 3-й гвардейской танковых армий 1-го Украинского фронта совершили блестящий по стремительности бросок и, промчавшись 80 километров, на рассвете своими передовыми частями вступили в Прагу. К 10 часам утра Прага была полностью очищена от последних сопротивляющихся гитлеровских частей. В час дня в 35 километрах юго-восточнее Праги с частями 1-го Украинского фронта соединились войска 2-го Украинского фронта. Вечером этого же дня вышла к Праге и подвижная группа 4-го Украинского фронта.

Но бои на этом не закончились. Недалеко от Праги сражались окруженные — и немалые! — остатки частей группы армий Шернера. Там было до полутора миллиона солдат и офицеров. Правда, они уже не имели общего управления, были дезорганизованы и деморализованы, но все-таки еще оказывали сопротивление.

Тот день, когда наши войска вступили в Прагу и очищали ее от гитлеровских оккупантов, был для Петрова и для всего штаба фронта, пожалуй, очень оригинальным. Несмотря на хорошо организованную связь и успехи наших войск, штаб никак не мог собрать достоверную информацию о том, где находились и что делали наши части.

Командующий фронтом, Ставка ждали донесений, а они в штаб не поступали. Было ясно, что все идет хорошо, но информировать командующего по каким-то предположениям или неточным сведениям генерал Петров не мог.

Маршал Конев так вспоминал этот день:

«Что Прага освобождена, было ясно, но ни одного вразумительного доклада ни от одного из командующих армиями так и не было.

Как выяснилось потом, причиной тому было ликование пражан. На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немелленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попадали все мои офицеры связи в окружение — поцелуи, угощения, цветы...

Потом в этих дружеских объятиях один за другим оказались и старшие начальники — и Лелюшенко, и Рыбалко, и подъехавший вслед за ними Гордов. Никому из них не удавалось выбраться из Праги на свои командные пункты, к своим узлам связи и подробно доложить обстановку» (22, стр. 540).

Из Генерального штаба звонили не переставая и спрашивали:

— Давайте последние сведения! Сегодня должен быть салют в честь окончательной, полной победы. Где же ваши донесения? Где вы там? Что у вас происходит? Уже давно подписана всеобщая капитуляция, а от вас все еще ничего нет.

И вот наконец все выяснено, все установлено, сведения даны и вновь издается приказ Верховного Главнокомандующего, адресованный маршалу Коневу и генералу армии Петрову:

«Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты сломили сопротивление противника и сегодня, 9 мая, в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии город Прага...

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение Праги, представить к присвоению наименования «Пражских» и к награждению орденами...» (14, стр. 510—511).

В честь этой знаменательной победы в столице был дан салют по самому высшему разряду — из 324 орудий.

И в этот же день в столице нашей Родины был издан еще один приказ Верховного Главнокомандующего. Это был тот приказ, которого мы, фронтовики, ждали всю войну, к которому шли долгих четыре года через бои, кровь, подвиги и страдания. И поэтому мне бы хотелось этот приказ привести полностью.

**«ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту**

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салюетует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, 30 артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий,
Маршал Советского Союза И. Сталин

9 мая 1945 года № 369» (14, стр. 511—512).

Этот приказ об окончательно одержанной победе был итоговым, но мне хочется отметить то обстоятельство, что приказ о завершающих боях в Отечественной войне, который предшествовал этому итоговому, был о взятии Праги и был адресован маршалу Коневу и генералу армии Петрову — герою моего повествования.

Страна ликовала. Народы Европы, в том числе и немецкий народ, наконец-то вздохнули свободно. Салютовала победителям Москва, салютовали и сами войска. В часы, когда был дан салют, стреляли не только орудия в Москве, стреляли все, у кого в руках было оружие, стреляли, кричали, было всеобщее счастье Победы!

В предыдущих главах я обещал читателям рассказать о том, как Власов и бывшие белогвардейские генералы Краснов, Шкуро, пошедшие на службу к гитлеровцам, стали пленниками генерала Петрова (разумеется, брал их в плен не лично Петров, но по служебному положению сбор, опрос, содержание, охрана и отправка пленных входит как раз в обязанности начальников штабов всех степеней).

Теперь настало время для того, чтобы выполнить это обещание.

Я приведу рассказ Е. Райгородецкого, который в свое время записал слова полковника в отставке В. М. Доценко о том, как он с генералом М. Ф. Малеевым (оба они служили тогда в Донском казачьем кавалерийском корпусе) неожиданно увидели арестованных белогвардейских атаманов.

«Помещение, куда мы вошли, напоминало заводской цех. На просторной площадке стояли скамейки, разложены полосатые матрацы.

Десяток старцев при полной амуниции лениво поднялись со своих мест. Вперед вышел высокий старик с воспаленными глазами. За ним — обрюзгший коротышка с красным испитым лицом. У обоих генеральские погоны с серебряной канителью.

— Господа! — обратился к ним Павлов (генерал-майор, начальник советского гарнизона в городе Юденбург.— В. К.).— Перед вами заместитель командира Донского казачьего кавалерийского корпуса генерал-майор Малеев. Прошу представиться, господа.

— Генерал Краснов,— сухо произнес высокий старик с воспаленными глазами.

— Генерал Шкуро,— промычал обрюзгший коротышка.

Невнятные голоса раздались за их спинами.

Малеева, видимо, больше, чем нас, поразила эта сцена. Некоторое время он молчал, пристально разглядывая арестованных.

— Простите, генерал,— нарушил тишину Краснов.— Не знаете ли, от чего умер Борис Михайлович Шапошников?

— Маршал Шапошников был тяжело болен,— ответил Малеев.

— Как здоровье Буденного и Ворошилова? — полюбопытствовал Шкуро.

— Отлично. Если это вас интересует.

— Как же! Как же! Приходилось с ними встречаться. Я имею в виду на поле брани. Вы еще не воевали в те времена.

— Напротив, воевал. И, представьте себе, в кавкорпусе Семена Михайловича. Рядовым бойцом.

Шкуро сделал пренебрежительную гримасу:

— Бойцы мало что знали.

— Мало?! — возмутился Малеев.— Мне не забыть, как ночным штурмом буденновцы овладели Воронежем. Захватили ваш штабной поезд. Если не изменяет память, вы, господин Шкуро, чудом спаслись на автомобиле. А под Касторной? А на переправе через Северный Донец? От вашей конницы, извините, осталось мокрое место. Все помним, все, по числам...

— И я вас, буденновцев, погонял...— начал было Шкуро и осекся, почувствовав на себе недобрый взгляд Краснова.

— Полно, полно вам,— возбужденно проговорил Краснов.— Молчите.

Он протер носовым платком воспаленные глаза и обратился к Малееву:

— Получу ли я возможность написать мемуары?

— Не знаю. Правительство решит.

— В таком случае, что же нас ожидает?

— Правительство решит,— повторил Малеев.— Оно выполнит волю народа.

— Я всегда стоял за русский народ.

— Лжете, казачий атаман,— перебил Малеев.— Вы его предали. В первые же дни после установления Советской власти пытались задушить революционный народ. Надеюсь, вы не забыли Пулковские высоты?! Получили по заслугам.

Краснов поморщился, отвернулся к Шкуро.

— Слушайте, слушайте, Петр Николаевич,— прошипел тот.

Сзади захихикали.

Глядя на нас, Краснов почти крикнул:

— Смеем вас заверить, все годы я спасал Россию!

— Чего стоят ваши заверения? — парировал Малеев.— Вы Ленина обманули. Клялись, давали честное слово не воевать против нас. И что же? Продались немецким империалистам, дважды наступали на Царицын. И Гитлеру служили верой и правдой. У вас вон погоны из той же канители, что и у нацистских генералов.

— Другой не нашли,— поспешил оправдаться Шкуро.

Генерал Павлов взглянул на часы. Мы поняли: пора уходить» (28, стр 66—67).

В январе 1947 года по приговору Верховного Суда СССР Краснов и Шкуро в числе других военных преступников были приговорены к смертной казни.

О том, как был пойман предатель Власов, мне, да и читателям, наверное, доводилось слышать разные рассказы. Поэтому, мне кажется, лучше всего привести официальный документ, написанный в те часы и теми людьми, которые брали в плен Власова. Вот боевое донесение об этом командира 25-го танкового корпуса генерала Е. И. Фоминых:

«В 16.00 12.5.45 г. командир 162-й танковой бригады полковник И. П. Мищенко поставил задачу командиру батальона капитану М. И. Якушеву направиться в расположение 1-й дивизии РОА и взять в плен Власова с его штабом и командиром дивизии Буяниченко.

Южнее 2 км Брежи капитан Якушев встретил командира батальона из 1-й дивизии РОА капитана Кучинского, который показал, что впереди следует колонна легковых автомашин со штабом дивизии, где находится и сам Власов.

Капитан Якушев обогнал колонну и машиной загородил дорогу... После первого осмотра тов. Якушев не обнаружил Власова, но один из офицеров показал на машину, в которой находился Власов.

Подойдя к упомянутой машине, тов. Якушев обнаружил прикрывшегося одеялом и ковром и заслоненного сидевшим в машине переводчиком и женщиной предателя Власова.

Приказание тов. Якушева сойти с машины и следовать за ним в штаб 162-й танковой бригады Власов выполнить отказался, мотивируя тем, что он едет в штаб американской армии.

Только под угрозой расстрела Власов подчинился и сел в машину Якушева, но в пути сделал попытку выпрыгнуть из машины и был снова задержан...

Через 2 дня, 15.5.45 г., были взяты командир 1-й дивизии РОА Буяниченко, начальник штаба дивизии Николаев, офицер для особых поручений Ольховик, личный переводчик Власова Ресслер» (25, стр. 661—662).

Власов был доставлен на окраину Дрездена в штаб фронта. Генерал Петров не то чтобы с любопытством, а с какой-то брезгливостью смотрел на этого человека, который стоял, не поднимая ни на кого глаз. Член Военного совета генерал-лейтенант Крайнюков, наверное, вспомнив крылатые слова Гоголя, вложенные в уста Тараса Бульбы, с презрением спросил Власова:

— Что, предательская сволочь и фашистский холуй, помогли тебе твои гитлеровцы?!

В сопровождении охраны Власов на самолете был отправлен в Москву. Читателям, конечно, известно, что военная коллегия Верховного Суда приговорила Власова за предательство и все его кровавые злодеяния к смертной казни и он был повешен.

Бои на территории Чехословакии продолжались еще до 12 мая. В итоговом донесении о завершении Пражской операции, написанном 14 мая 1945 года, сказано: взято в плен 258 661 солдат и офицер противника, 649 танков и САУ, 3069 орудий и много другого военного имущества, 793 самолета, 41 131 автомобиль.

15 мая была опубликована последняя сводка Информбюро по Великой Отечественной войне, и она была, пожалуй, самой короткой:

«Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен» (23, стр. 214).

Сводки Информбюро составлялись по докладам штабов фронтов. 15 мая боевые действия на всех фронтах завершились, и только на участке 1-го Украинского фронта происходили отдельные схватки с

оставшимися в лесах да горах группами эсэсовцев и тех, кто не ждал пощады за свои злые дела.

Думается мне, есть основания предположить, что формулировка сводки Информбюро взята из доклада начальника штаба 1-го Украинского фронта генерала Петрова, уж очень она в его стиле — краткая, ясная, наполненная внутренней гордостью, достоинством и своеобразной полководческой удалью. Вспомните доклад Ивана Ефимовича:

«На Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, кроме пленных».

На мой взгляд, очень похоже и последнее сообщение о завершении боевых действий в Европе: «Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен».

Спасение Дрезденской галереи

Прежде чем рассказать о спасении картин Дрезденской галереи, мне хочется напомнить читателям о той жестокой трагедии, которая постигла Дрезден в последние месяцы войны.

Как известно, Дрезден был одним из красивейших городов не только Германии, но, пожалуй, и Европы. Не случайно его называли немецкой Флоренцией или музеем Германии. Здесь было много шедевров архитектуры и искусства. До войны в Дрездене числилось около 630 тысяч жителей, но в военные годы сюда съехалось много беженцев, и к моменту трагедии, о которой я хочу напомнить, в городе было до полутора миллиона человек.

Есть старое русское присловье: «Врагу такого не пожелаешь». Даже мы, советские люди, так сильно пострадавшие от гитлеровских захватчиков, и то не желали бы немцам такого ужаса, какой обрушился на них наши союзники.

Война шла к концу. Уже было ясно, что Дрезден будет взят советскими войсками, да и по договоренности на Ялтинской конференции город отходил в нашу зону. В феврале 1945 года Дрезден еще находился в глубине расположения немецких частей. Военных заводов в нем не имелось, никакой военной необходимости так варварски бомбить его не было. Но Черчилль руководствовался прежде всего желанием продемонстрировать силу союзников, показать ее советским войскам, ибо он очень боялся того, что мы к завершению войны приходим не ослабевшими, не истощенными, а, наоборот, с возросшей военной мощью. Да еще он, очевидно, не хотел, чтобы в руки советского командования попали ценности и промышленные предприятия, которые находились в Дрездене. Вот поэтому премьер-министр Великобритании и дал указание разработать специальную операцию — кстати, подобные операции были предприняты не только по отношению к Дрездену, но и к другим городам, которым предстояло остаться в зоне советских войск.

Эта операция получила кодовое название «Удар грома». Определяли ее еще и такими образными словами: «Выжженный ковер». Суть ее заключалась в массированном применении большого количества самолетов, которые в несколько заходов должны сбросить очень много фугасных и зажигательных бомб и фактически уничтожить город.

Как писал начальник штаба английских ВВС:

«Эффект будет особенно большим, если избранный в качестве цели город до сих пор является относительно не разрушенным» (25, стр. 629).

Таким городом и был к тому времени Дрезден. В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года на Дрезден совершили налет более 1400 бомбардировщиков. Они сбросили 3749 тонн бомб, 75 процентов которых были зажигательными. Весь город был охвачен пламенем. А через три ча-

са после первого налета, когда все, кто уцелел, спасали своих близких из-под развалин и тушили пожары, был совершен еще такой же мощный налет. Через восемь часов последовал третий удар и окончательно добил город. В дополнение к сбрасываемым бомбам сотни истребителей, которые сопровождали бомбардировщики, с малых высот расстреливали людей, метавшихся по горящим улицам.

В результате этой варварской бомбардировки было убито более 135 тысяч человек и много тысяч ранено. Город горел почти неделю. Зарево этих пожаров было видно на десятки километров.

Я не буду подробно описывать бедствия, причиненные англо-американскими ВВС, все это остается на совести союзников, если вообще после совершения такого злодеяния можно говорить о совести. Но в Дрездене, как известно, находилась всемирно известная картинная галерея. Что же с ней стало?

История спасения Красной Армией бесценных сокровищ этой галереи ныне хорошо известна. Вкратце напомним ее читателям.

Картины Дрезденской галереи и многие другие ценные произведения искусства по распоряжению фашистских властей еще в 1943 году были спрятаны. Спрятаны второпях, в старые каменоломни, и находились в таких условиях, что последствия могли стать очень печальными. И хотя кое-где было устроено отопление и вентиляция, все равно в этих условиях картины постепенно портились.

О том, что происходило дальше, рассказывают немецкие искусствоведы Рут и Макс Зейдевитц:

«Но самая печальная глава в истории картинной галереи за период войны началась после 13 февраля 1945 года. Трагическая судьба картин, вывезенных из замка Милькель (они были перевезены в Дрезден и сгорели во время бомбардировки города.— В. К.), должна была бы заставить разумных и сознающих свою ответственность государственных деятелей прекратить бессмысленную и опасную перевозку ценных произведений искусства, которая проводилась по приказу, изданному в начале 1945 года. Но нацистские руководители были чем угодно, но только не разумными и сознающими свою ответственность работниками государственного аппарата. Сейчас же после 13 февраля нацистский рейхсштатхальтер Мучман приказал ускоренным темпом произвести перебазирование художественных сокровищ из прежних хранилищ восточнее Эльбы в новые убежища, расположенные к западу от Эльбы» (29, стр. 57—58).

Картины стали увозить в разные места — лишь бы они не попали в руки приближающейся Красной Армии. Тут уже их помещали в такие условия, которые неизбежно привели бы картины к гибели. Так была выбрана, например, шахта Покау-Ленгефельд. Те же немецкие искусствоведы, о которых я упоминал, пишут об этом хранилище так:

«Сырость в шахте Покау-Ленгефельд была не единственной опасностью. В некоторых шахтах в течение долгого времени было сложено большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Транспорты с боеприпасами приходили без предупреждения и нерегулярно. Когда прибыли ящики с художественными сокровищами, рабочие думали, что речь идет опять о новом транспорте с боеприпасами, для размещения которого они за несколько дней до этого приготовили одну из свободных шахт» (29, стр. 64).

В общем, все эти перевозки на автомобилях по разбитым дорогам, да еще обращение, как с боеприпасами, когда ящики бросают, не особенно беспокоясь о сохранности содержимого, конечно, приводили к порче бесценных шедевров. К тому же все тайники были заминированы и должны были взлететь на воздух при подходе наших войск и при попытке проникнуть внутрь.

Обо всем этом стало известно гораздо позже. А сначала, когда наши войска вошли в Дрезден и увидели ужасную картину разрушений, те, кто знал о существовании знаменитой Дрезденской галереи, пошли посмотреть, в каком состоянии музей, уцелели ли картины.

Цвингер (так называется этот музей) оказался почти полностью разрушенным. Сохранились только некоторые стены, вокруг все было засыпано обломками колонн и лепнины, когда-то украшавшими один из красивейших дворцов Дрездена. Сначала подумалось, что картины погибли в пожаре. Расспрашивали местных жителей, которых удалось обнаружить поблизости. Никто ничего толком не мог сказать.

Заинтересовался и одним из первых осматривал Цвингер и его подвальные помещения младший техник-лейтенант Л. Н. Рабинович (литературный псевдоним — Л. Волинский). Он служил в 164-м батальоне 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, до войны был художником. Как профессионал, он точно знал, что именно находилось в Дрезденской галерее, что теперь надо искать, и приложил немало сил для поисков. Помогало ему и то, что он хорошо владел немецким языком. Разговаривая с местными жителями, найдя кое-кого из работников Цвингера, он постепенно стал выяснять судьбу картин. В его книге «Семь дней», вышедшей после войны, рассказана не только занимательная история поисков и находок сокровищ в первые семь дней после вступления наших войск в Дрезден, но и со знанием дела описаны многие картины.

О первых же находках был поставлен в известность командующий фронтом маршал Конев, который дал телеграмму в Москву и выделил в помощь 164-му батальону специальную команду и опытных людей. Вот как вспоминает об этом член Военного совета фронта генерал Крайнюков:

«В поиски пропавших шедевров искусства включилась масса людей: работники разведывательного управления штаба и политуправления фронта, «Смерша» и военных комендатур, немецкие должностные лица городского и районных магистратов Дрездена» (25, стр. 633).

После телеграммы Военного совета 1-го Украинского фронта об обнаружении картин Дрезденской галереи, которая пришла в Комитет по делам искусств, в Дрезден был послан эксперт Комитета, энергичнейшая женщина, искусствовед Наталья Соколова. Затем в течение нескольких дней была сформирована бригада художников. В нее входили А. С. Рототаев — руководитель бригады, С. П. Григоров — искусствовед, С. С. Чураков — художник-реставратор, М. Ф. Володин и Н. А. Пономарев — студенты-дипломники Института имени Сурикова.

16 мая бригада вылетела в Германию. Один из членов бригады, художник Володин, пишет в своих воспоминаниях:

«Великая заслуга командования 1-го Украинского фронта — маршала Конева И. С. и генерала армии И. Е. Петрова в том, что ими была отдана команда: до прибытия бригады специалистов картины не трогать, а лишь нести охрану. Затем по прибытии бригады на нее была возложена вся ответственность за работу по спасению» (30, стр. 375).

Каждому из членов этой бригады было выдано специальное удостоверение штаба 1-го Украинского фронта. В этом удостоверении говорилось:

«Начальникам гарнизонов, военным комендантам городов, командирам войсковых частей, начальникам учреждений, всем военнослужащим, вне зависимости от должности и звания, оказывать товарищу (фамилия) всемерное содействие с тем, чтобы намеченные им к изъятию картины и др. художественные произведения были срочно упакованы и без повреждений доставлены на склады по указанию товарища (фамилия)» (30, стр. 377).

Удостоверение было и просьбой и приказом штаба фронта по содействию в розыске и эвакуации картин Дрезденской галереи.

Благодаря усилиям многих людей в конечном счете было обнаружено множество хранилищ, в которых находились картины Дрезден-

ской галереи. Они оказались в большинстве случаев в очень плохих условиях и были накануне гибели.

Как пишет генерал Крайнюков, больше всех отличились в поисках галереи офицеры и воины 164-го рабочего батальона, которым командовал В. П. Перевозчиков (в их числе был и Л. Н. Рабинович). Они первыми обнаружили каменоломню недалеко от села Гросс-Котта. Здесь находилась часть картин Дрезденской галереи. Саперы под руководством сержанта Бурцева разминировали фугасы, заложенные у входа в тоннель. В железнодорожном вагоне, загнанном по рельсам в этот тоннель, и в сарае, построенном там же из досок, находились картины. О находке немедленно же было доложено в штаб фронта.

Привожу слова генерала Крайнюкова:

«Маршалу Советского Союза Коневу, генералам Петрову, Кальченко, Ящечкину, Осетрову и автору этих строк довелось в числе первых увидеть эти сокровища в заброшенной и сырой каменоломне. Затем еще один тайник был обнаружен у шахты Покау-Ленгефельд. Наша поисковая группа, возглавляемая старшим лейтенантом Позирайло, с боем пробилась туда, разгромив подразделение эсэсовцев. Здесь, так же как и повсеместно, пришлось разминировать подступы к тайнику и спасти драгоценные полотна от уничтожения их фугасами, которые подготовили фашистские саперы» (25, стр. 633).

Маршал Конев в воспоминаниях пишет:

«Не буду приписывать себе какую-то особую инициативу в розысках Дрезденской галереи, но внимание, которое я смог уделить этому делу в то горячее время, я уделил» (22, стр. 532).

Я тоже не хочу приписывать какие-то особые заслуги генералу Петрову в спасении картин, но любовь к искусству, его собственные занятия живописью не оставляют сомнения, что Иван Ефимович отдавал этому делу немало сил и времени. Об этом свидетельствуют и те, кто непосредственно занимался спасением картин.

Приведу хотя бы такой штрих. Шофер Петрова, с которым я уже знакомил читателей, Сергей Константинович Трачевский рассказал мне следующее:

— Я подробностей не знаю, дело шофера быть всегда около машины. Но куда возил Петрова в Дрездене, я хорошо помню. Что касается картин Дрезденской галереи, то Иван Ефимович, как говорится, не спускал с них глаз. Как поступит сигнал о новом найденном тайнике, мы туда мчимся. Петров на месте осматривал находки, людей выделял для вытаскивания из шахт. Хотя бои и закончились, дел, конечно, у Ивана Ефимовича было много, но он часто ездил в Пильниц, куда картины свозили. Подолгу стоял, любовался картинами. Любил с художниками побеседовать. Хорошо помню, как много хлопот у него было перед отправкой эшелона — упаковка картин, вагоны надо было подготовить, охрану организовать при погрузке и в пути. Иван Ефимович сам инструктировал начальника караула, да и всю охрану: «Бесценные сокровища везете, каждую минуту помните об этом!..»

Я стал разыскивать членов бригады художников, чтобы, как постоянно стремился, расспросить очевидцев и участников.

Прошло сорок лет — живы ли?

На мое счастье, сегодня живут и здравствуют М. Володин, Н. Пономарев, С. Чураков.

Я встретился и беседовал со всеми троими. Теперь уже они не те худенькие молодые офицеры, которые смотрят с фотографий 1945 года. Поскольку эти художники участвовали в великом деле, помогли сохранить для человечества шедевры искусства, коротко познакомлю с ними читателей.

Николай Афанасьевич Пономарев с 1940 по 1950 год был студентом Московского художественного института. Почему так долго? Нет, конечно же, не по причинам неуспеваемости. Поступил в институт, затем пять лет отслужил в армии, отвоевал всю Великую Отечественную, а потом четыре года доучивался.

Он вырос в замечательного мастера, удостоен Государственной премии СССР, звания народного художника СССР, избран действительным членом Академии художеств СССР и председателем правления Союза художников СССР.

Михаил Филиппович Володин тоже перед войной был студентом Московского художественного института. Как только фашисты вторглись на нашу землю, ушел с четвертого курса добровольцем на фронт. В октябре 1941 года попал в окружение, прошел все передраги, связанные с этой бедой, но все же выбрался к своим. Он не только участвовал в спасении Дрезденской галереи, но создал серию рисунков и картин об этом событии.

Когда я спросил его, действительно ли Петров активно помогал спасению галереи, Володин ответил:

— Не думайте, что я говорю об этом, желая сделать вам приятное как автору книги о нем. Вот что я писал еще задолго до знакомства с вами.

Володин взял со стола книгу, нашел нужную страницу и прочитал:

«За ходом наших работ особенно пристально следил начальник штаба 1-го Украинского фронта генерал армии Петров. Редкий день он не заглядывал к нам хотя бы ненадолго, чтобы узнать, как идут дела, в чем трудности, что найдено нового, что ценное еще не обнаружено» (30, стр. 380).

Степан Сергеевич Чураков принимал меня в квартире, больше похожей на мастерскую реставратора. Он и есть реставратор. Причем один из крупнейших мастеров этого тончайшего искусства. Благодаря его золотым рукам, колоссальной энергии и работоспособности сохранили свой первозданный вид многие шедевры Дрезденской галереи. Он заслуженный художник РСФСР. Благодарный немецкий народ присвоил ему звание почетного гражданина города Дрездена, а правительство ГДР наградило орденом «За заслуги перед отечеством».

Я подробно рассказываю об этих художниках еще и потому, что они хорошо знали генерала Петрова, сдружились с ним за несколько месяцев работы, считали его своим, он подолгу беседовал с ними о картинах и живописи.

Чтобы сократить рассказ, я не буду приводить беседы с каждым художником в отдельности, а передам коротко только то, что связано с Петровым и спасением галереи.

В разрушенном Дрездене не было помещения, в которое можно было бы свозить найденные картины. Командование фронтом выделило летнюю резиденцию саксонских королей в Пильнице, расположенную в 8 километрах от Дрездена. Были присланы и специально оборудованы машины для перевозки картин. Каждая машина грузилась под наблюдением художников, они же сопровождали и руководили разгрузкой в Пильнице. Ночевали в тайниках и во дворце, руководя охраной, выделенной из воинских частей.

Одним из первых перевезли ящик с «Сикстинской мадонной» Рафаэля. 26 мая 1945 года было произведено вскрытие ящика с этим шедевром. Когда была снята крышка и стала видна мадонна с младенцем на руках, наступила торжественная тишина. Все невольно сняли головные уборы. Кто-то сказал: надо составить список присутствующих при этом историческом моменте. Искусствовед Н. Соколова составила такой список, в нем были (приятная неожиданность!) — и маршал Конев и генерал Петров.

Многие картины, обнаруженные в тайниках, оказались «больными» — покрыты плесенью, красочный слой во многих местах отставал. Нельзя было прикасаться, краска прилипала к рукам. Как поднимать в таком состоянии из шахт? Как везти на грузовиках? В эти дни С. С. Чураков и под его руководством остальные художники совершали настоящие чудеса — накладывали наклейки, пластыри, устраивали всякие прокладки, ограничители и другие оберегающие полотна приспособления. Причем в этой работе им, как и саперам, нельзя было ошибиться, каждая ошибка привела бы к гибели одного из шедевров.

В Пильнице закрыли окна, двери, чтобы не было движения воздуха, картины должны были, отдыхая, подсохнуть. Только через месяц, и то после захода солнца, когда наступала прохлада, первый раз открыли двери и некоторые окна, дали доступ свежему воздуху. Картины окрепли. С величайшей предосторожностью удаляли с них плесень.

— Почему Дрезденскую галерею надо было вывозить в Москву? — спросил я Пономарева.

— Для решения этого вопроса меня отправил в столицу старший нашей бригады майор Рототаев. Вы любите опираться на подлинные документы, вот почитайте письмо в Комитет по делам искусств, с которым я тогда ездил.

Не буду приводить все письмо, познакомлю читателей лишь с цитатой, дающей ответ на вопрос, заданный мною Пономареву.

«Хочу сообщить, что сейчас складывается весьма тревожное положение. Дело в том, что все произведения живописи, собранные в Пильнице, находятся, с точки зрения музейной сохранности, в неблагоприятных условиях: здесь стоит очень жаркая погода. Картины, привезенные из сырых подвалов и шахт, запрятанные туда фашистами, сразу попадают в весьма сухое помещение. Мы принимаем все меры, возможные в наших условиях: закрываем днем окна, ставни, двери, проветриваем помещение ночью, когда жара несколько спадает, но всего этого явно недостаточно. Самое большое беспокойство вызывает вообще сохранность этих шедевров мирового искусства. Еще имеются случаи, когда оставшиеся в тылу у нашей армии фашисты организуют диверсии, взрывы, поджоги. И несмотря на круглосуточную военную охрану Пильница, чувство тревоги не покидает всех нас. Мы убеждены, что сейчас настало время, чтобы срочно решить вопрос об окончании наших работ, об отправке произведений искусства в Москву...» (30, стр. 383).

В середине июня пришло распоряжение о вывозе Дрезденской галереи в СССР.

Разрешить недолго, а как это выполнить? Надо изготовить ящики по размеру картин, переложить мягким материалом. А где все это взять? Груза ни много ни мало 28 вагонов — целый эшелон! Да и вагоны разбитые, сами в ремонте нуждаются.

И опять помог штаб 1-го Украинского фронта: саперов выделил, необходимый лес нашел. Почти полтора месяца шла подготовительная работа. И здесь нужно сказать доброе слово о работниках тыла. Много потрудились заместитель командующего по тылу генерал Осетров, начальник тыла, ныне генерал-лейтенант Анисимов, начальник трофейного управления (пришлось в конце войны создать и такое) полковник Курганов.

Очень много внимания уделил начальник политотдела фронта Ф. В. Яшечкин.

Президиум Совета Министров Германской Демократической Республики, выражая огромную благодарность Советскому правительству и народу за его беспримерный в истории благородный поступок, отмечает в своем постановлении:

«...Советские солдаты среди всеобщей разрухи и хаоса спасли от уничтожения и взяли под защиту произведения великих немецких, голландских, фламандских, итальянских мастеров искусства».

янских, испанских и французских художников, которые принадлежат к величайшим и вечным творениям, созданным руками мастеров для всего человечества»... (29, стр. 75).

Наконец 31 июля специальный эшелон был готов к отправлению. Генерал Петров позаботился об охране сокровищ искусства в пути. Для того чтобы эшелон шел без задержки, с ним следовал офицер отдела военных сообщений. Впереди эшелона для предотвращения возможных диверсий был пущен контрольный паровоз. И не зря! На пути до границы не раз были попытки устроить крушение. Как выяснилось позже, готовились и нападения, но были своевременно приняты меры нашими органами госбезопасности.

Вот уже близко граница, но возникает еще одно серьезное препятствие — надо перегружаться: узкая колея сменяется здесь широкой. Вагоны, поданные под погрузку, битые-перебитые. И опять ремонт, работа день и ночь до седьмого пота силами охраны. Видно, хорошо была проинструктирована эта охрана еще на месте отправления — художники очень высоко о ней отзываются.

10 августа 1945 года эшелон прибыл в Москву.

Картины разместили в хранилищах одного из лучших музеев страны — в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Десять лет велась восстановительная работа под руководством народного художника РСФСР П. Д. Корина. Десять лет! Изо дня в день, в условиях научно организованной и идеальной обстановки хранения.

В 1955 году была открыта прощальная выставка, и по решению Советского правительства все спасенные произведения искусства Дрезденской галереи были переданы Германской Демократической Республике.

Безвозмездно.

Бывая в ГДР, я не раз посетил Цвингер, полностью восстановленный трудолюбивыми и умелыми руками немецких строителей, реставраторов, архитекторов.

С удовольствием перечитываю сделанную мелом на стене, заботливо сохраняемую и в наши дни надпись: «Проверено, мин нет, проверял сержант Ханутин». Кстати, я разыскал этого сержанта, у него большие изменения в жизни, — теперь он доктор наук, живет и работает в Москве, рассказал бы о нем подробнее, но это, увы, отход от темы.

Когда вижу в залах этого дворца искусств советских офицеров, я пристраиваюсь к их группе, иду рядом, чтобы проверить уже не раз возникавшее у меня ощущение: мне все кажется, что на советских военных с полотен глядят как на своих знакомых внимательные и мудрые глаза Сикстинской мадонны, Саскии, святой Инессы, Оливареса, да и Рафаэль, Тициан, Рубенс, Рембрандт, Веласкес смотрят с автопортретов в эти минуты с какой-то особенной значительностью.

Я понимаю, не может изменяться выражение глаз на картине, однако ощущение это меня не покидает, все чудится — как-то особенно глядят они на наших военных, а Шоколадница с подносом в руках просто спешит мелкими шажками навстречу желанным гостям.

После войны. Возвращение в родные края

После окончания боев, 29 мая 1945 года Ивану Ефимовичу Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза. То ли радость победы смягчила Верховного, то ли он понимал, что уже просто нельзя не отметить генерала Петрова за все содеянное им в годы войны, но справедливость восторжествовала: генерал армии Петров наряду

с другими начальниками штабов был удостоен этого высокого звания. Я связываю присвоение звания Героя с решением Сталина потому, что высший командный состав представлялся к этой награде по его личному указанию или по согласованию с ним.

В соответствии с соглашением, выработанным союзниками, для контроля за выполнением требований, которые вытекали из Акта о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии, было сформировано несколько групп войск. Центральная группа войск на базе 1-го Украинского фронта была создана 10 июня 1945 года, она располагалась в Австрии и Венгрии со штаб-квартирой в Вене. Командующим группой был назначен маршал И. С. Конев, а его заместителем — генерал армии И. Е. Петров. Группа войск занималась не только контролем за выполнением Акта о капитуляции, но и помогала местным органам власти и населению ликвидировать последствия войны, налаживать работу предприятий и транспорта.

В сентябре Петрову позвонили из Москвы и спросили: даст ли он согласие быть командующим Туркестанским военным округом?

Ничего лучшего для себя Иван Ефимович не желал. Было большой радостью вернуться в родные края, где прошла его молодость, где жили его мать, сестра, многие друзья. Именно эти края он считал своим домом. Согласие он дал немедленно. Так же быстро пришел приказ, и в том же сентябре Иван Ефимович выехал сначала в Москву, а затем в Ташкент.

В это время Юра Петров и я учились в Москве в Академии имени Фрунзе. И Юра и я поступили на учебу после ранения и госпиталя. В стенах академии мы с ним встретились впервые после того, как расстались перед войной в Ташкенте.

Юра за годы войны окреп, возмужал, но был все такой же веселый, порывистый, я бы даже сказал, непоседливый. Кроме учебы, он увлекался фотографией, ходил по Москве с лейкой. Носил ее на груди на ремешке в постоянной готовности. Снимал дома, скульптурные фрагменты, прохожих, заинтересовавших его.

Вскоре после начала учебы Юра женился. В конце этого же года у него родился сын, первенец, Володя, он живет и здравствует по сегодняшнему дню.

Затем родился второй сын. Его в честь деда назвали Иваном. Дед души не чаял во внучатах, они, пожалуй, больше жили у него в Ташкенте, чем в семье молодых родителей. Надо сказать, что семейная жизнь у Юры не сложилась, они с женой вскоре разошлись.

Желая видеть в своих внучатах продолжателей военной династии, дедушка направил их в суворовское училище, с радостью любовался внуками в суворовской форме. Но и тут подстерегала Петрова беда — не закончив училища, Ваня заболел, у него был обнаружен рак. Теперь на Новодевичьем кладбище лежат в одной могиле два Ивана Петровых — генерал армии Иван Ефимович Петров и суворовец Иван Юрьевич Петров.

Сентябрь — месяц для слушателей академии отпускной. Вот тогда, в сентябре 1945 года, и произошла моя первая встреча в Ташкенте с Иваном Ефимовичем. Он только что получил назначение на должность командующего округом, а я приехал в Ташкент в отпуск к своим родителям. Не буду повторять то, что написано в одной из первых глав об этой встрече, только дополню свой рассказ тем, что я там опустил.

Я не хотел в начале повести обращать внимание читателей на свою судьбу, на то, что позднее описал в главе «Несколько слов о себе». Мне думалось, что эти факты из моей биографии на первых страницах отвлекали бы от главной, центральной фигуры повествования — Ивана Ефимовича Петрова, потому и оставил некоторые детали напоследок.

А заключаются они вот в чем. Когда я пришел в дом командующего и часовой разрешил мне позвонить, показав кнопку звонка, а затем вышел на крыльцо Иван Ефимович, первое, что он воскликнул, увидев меня, были такие слова:

— О, Володя, арестант, живой!

А потом, когда он ввел меня в дом, обнял, расцеловал и, отступив на шаг, откровенно разглядывал меня и особенно ордена, которые были на гимнастерке, вот тут он сказал:

— Ну, молодец, не растерялся. Даже стал Героем Советского Союза!

Иван Ефимович не только знал о бедах, которые меня постигли, но и поддерживал моих родителей в те трудные дни.

Вот что пишет мне племянница Ивана Ефимовича, дочь его сестры Анны Ефимовны, Галя. По мужу она стала Завьяловой, живет сейчас в Москве.

«Сожалею, и очень сожалею, что все письма от дяди Вани не сохранились, а их было много — и к маме, и к тете Тане (вторая сестра Ивана Ефимовича, которая жила в Ташкенте. — В. К.), и к бабушке (мать Ивана Ефимовича. — В. К.), и ко мне. Как бы они помогли вам сейчас.

Я узнала о вашей беде еще в 1942 г., но все годы считала неудобным спросить у вас: а за что?

Напишу вам своими словами содержание одного из писем дяди к тете Тане. Видимо, ваша мама — Лидия Логиновна — просила тетю Таню написать дяде о вас, о вашей беде. И вот в одном из писем дядя писал тете Тане, чтобы она обязательно сходила к вашей маме и передала, что во Владимира Карпова он верит, что правда обязательно восторжествует и что Володя еще себя проявит только с положительной стороны и мама будет гордиться, что воспитала такого сына. Просил также передать, что со своей стороны сделает все возможное для доказательства вашей невинности, но что при существующих условиях (война) сделать сейчас ему очень трудно, но, несмотря на всю его занятость, он о вас не забывает.

Это письмо пришло, по-моему, еще из Севастополя.

И вот пошли мы с тетей Таней к вашей маме с этим письмом, и, пожалуй, с этого момента я и познакомилась близко с вашей семьей и вашей мамой, замечательной доброй женщиной. Жаль, что и она и мои близкие уже ушли из жизни.

Ведь для меня и моих сестер дядя Ваня являлся буквально вторым отцом. Моего отца убили кулаки в 1929 г. при организации колхозов, а нас у мамы осталось четверо от 12 до 4 лет и бабушка. Уехать бабушка от нас не могла, т. к. оставить нас было не на кого. Моя мама работала сельской учительницей, и вот дядя и еще тетя Таня взяли заботу о нас всех. Они помогали не только материально, но и внимательно следили за нашими успехами в школе и поведением. Благодаря их заботам мы все получили высшее образование, стали коммунистами, честными тружениками и патриотами. До последних минут жизни дядя находил время интересоваться всеми нашими делами и всегда подсказывал правильное решение в трудных жизненных ситуациях.

Еще раз сожалею об утраченных письмах и других документах.

Спасибо вам, Владимир Васильевич, за память о дяде, за ваш большой труд, рассказывающий правду о его жизни.

С уважением

Г. Завьялова

10.12.83».

Перечитывая эти строки, вспоминаю, как я после фронта навестил семью Гали Завьяловой. Они жили в небольшой комнате на Плющихе: мать Анна Ефимовна, муж Гали — Виктор, двое сыновей — Володя и Егорушка. Жизнь была трудная, было голодно, на столе стояла соленая капуста и вареная картошка, больше ничего не было. Но как в тот вечер мне было тепло в этой доброй, хорошей семье! Мы говорили про Ивана Ефимовича, Татьяну Ефимовну, Юру, моих родителей. Галя рассказывала, как моей матери было трудно без меня, как недобро к ней относились в первый год войны, когда большинство мужчин было на фронте, а ее сын — в лагере.

Мы засиделись. Меня оставили ночевать.

Легли вокруг стола на полу, все ногами под стол. Лежа в темноте, долго разговаривали. Дети уже заснули, а мы все говорили о наших близких, о жизни, о радостях, которые пришли после победы.

Никогда не забуду радушие и теплоту, которые согревали меня в той тесной маленькой комнатке. Бывая сейчас в просторных квартирах знакомых и приятелей, где много хорошей мебели, а на столах — обильное угощение, я часто вспоминаю ту тесную гостеприимную комнату и думаю: почему же теперь порой так мало бывает такой же теплоты и сердечности? Видимо, очень сближали нас в годы войны общие беды, переживания и мы были добрее и внимательнее друг к другу.

Прибыв в Туркестанский военный округ, Иван Ефимович объехал все республики, побывал в памятных с молодости местах. Он встретил здесь много старых знакомых, с которыми служил в годы гражданской войны. Одни, как и он, только что вернулись с фронта, другие, особенно местные жители, которые были его соратниками по борьбе с басмачами, стали уже аксакалами, обрели большими семьями. Ивана Ефимовича всюду встречали как желанного гостя, звали к себе домой, приглашали посетить колхозы. Ему было о чем поговорить с этими добрыми, трудолюбивыми людьми, было что вспомнить с ними.

Военные городки округа за время войны обветшали, утратили свою былую ухоженность — ведь в те годы все отдавалось для фронта. Иван Ефимович узнавал людей, дома, строения, он даже некоторые деревья помнил.

Надо было переводить жизнь армии на мирные рельсы — обобщать опыт Великой Отечественной войны и на основе этого опыта кропотливо учить новое поколение воинов. Вот этим повседневно и занимался Иван Ефимович и, как всегда, проявлял много гибкости, изобретательности. Несмотря на то, что не хватало средств — все деньги шли на восстановление промышленности и сельского хозяйства, — генерал Петров, друживший с руководителями местных органов власти, находил все же возможность помочь воинским частям во всех гарнизонах.

Очень подружился в эти дни генерал Петров с первым секретарем ЦК КП Узбекистана Усманом Юсуповым. Усман Юсупов вырос здесь, на узбекской земле, из простого арбакеша, что по-русски значит возчик, того, кто работает на грузовой телеге. Был Усман Юсупов настоящий самородок, типичный народный вождь, выходец из народа и любимец народа.

Мне доводилось неоднократно встречаться с Усманом Юсуповичем, поэтому я говорю об этом так убежденно, да и, кроме того, прожив долгие годы в Узбекистане, я был свидетелем его замечательных начинаний. Особенно много он сделал в трудные годы Великой Отечественной войны.

Здесь, в Узбекистан, был эвакуирован ряд промышленных предприятий. Фронт требовал огромного количества техники, вооружения, боеприпасов. Под руководством Усмана Юсупова в невиданно короткие сроки эвакуированные в Узбекистан предприятия начинали давать продукцию. Приведу только один пример. Чтобы построить завод, нужны годы, а фронт ждать не может. И вот, используя местный теплый климат, Усман Юсупов приказывает устанавливать станки, привезенные из России, немедленно, прямо с эшелонов, на размеченные строительные площадки. Закладывается бетонное основание, на него ставятся и закрепляются станки, и они начинают работать под открытым небом, а стены и крыша возводятся позднее. Через два-три месяца после эвакуации такие заводы уже давали продукцию на новом месте!

Я думаю, читателям нетрудно понять, как все это было сложно в условиях, когда не хватало всего — цемента, леса, железа. Чего ни коснись — нет этого в Средней Азии. Все поступает в очень ограниченных количествах с предприятий, которые сохранились в Сибири. В общем, это можно назвать настоящим трудовым не только подвигом, но и чудом.

Очень хочется рассказать о моей встрече с Усманом Юсуповым в годы войны.

После того как мне было присвоено звание Героя Советского Союза, однажды ко мне пришел постоянный представитель Узбекистана в Москве и передал приглашение побывать в родных местах, то есть в Ташкенте. Для меня это была высокая честь. Я с удовольствием принял приглашение и поехал в предоставленный мне командованием десятидневный отпуск.

На вокзале в Ташкенте меня встретили мать, отец, близкие друзья и много знакомых людей. Все они были с букетами цветов. Был яркий летний день, цветов в это время в Ташкенте много; клумбы на привокзальной площади, цветы в руках встречающих — все это для меня после фронта было похоже на сказку, ведь шел еще 1944 год.

Был среди встречающих и один «официальный» товарищ, который руководил этой встречей. Он подошел и сказал, что меня ожидает машина и я со всеми гостями могу поехать к себе домой. Его слова меня озадачили, потому что я был старшим лейтенантом, получал по тем временам весьма небольшие деньги, 900 рублей, а буханка хлеба в те годы стоила на рынке 300. И вот когда этот товарищ сказал, что гости поедут ко мне, я, сев с родителями в машину, все думал: чем же и как мы будем угощать этих гостей? Потихоньку спросил об этом маму. Она, счастливая и радостная, сказала мне:

— Не беспокойся, сынок, все в порядке, там все приготовлено.

Я не понимал, из каких недостатков она могла все приготовить, но когда мы подъехали к дому и вошли во двор, понял, что эту встречу подготовили не мои родители, а узбекское правительство.

Во дворе, в саду под деревьями стояли длинные накрытые столы. В конце двора был виден большой казан с пловом, а около него ходил в белом фартуке и колпаке повар. Рядом с казаном стоял огромный медный самовар, видимо, привезенный из какой-то чайханы.

Гости сели за столы, и мы пропировали до вечера. Вечером все тот же товарищ, который руководил организацией встречи, сказал мне:

— Завтра утром Усман Юсупович ждет вас у себя в Центральном Комитете КП Узбекистана.

На следующее утро я побрился, почистился, надраил свои ордена и отправился в ЦК. Тогда Центральный Комитет КП Узбекистана находился в том здании на улице Гоголя, где теперь расположена Академия наук Узбекистана.

И вот встречу мне идет в белом чесучовом кителе, в защитного цвета галифе и сапогах, лобастый, с бритой головой, веселый, улыбающийся Усман Юсупович.

Он обнял меня, трижды по узбекскому обычаю прижал к своей груди. Поздравил с высоким званием Героя и пригласил сесть к столу.

Когда он попросил меня рассказать о том, за что я был удостоен этого звания, я ему сказал:

— Усман-ака, раз мы находимся в Узбекистане, разрешите и мне говорить на узбекском языке.

Усман Юсупович удивленно вскинул брови. Он даже не понял, что я имею в виду, наверное, предполагал, что, как многие русские, живущие здесь, я заговорю на каком-то упрощенном, полурусском-полуузбекском жаргоне. Но когда я заговорил на чистом узбекском языке, Юсупов был поражен и обрадован.

Я не хвастаюсь, говоря о том, что свободно владею узбекским языком. Он для меня был языком моего детства, юности. Я научился

ему, когда жил в узбекской махалле, играл в ащички, в лянги, лазил по садам с узбекскими ребятами. В те дни я больше говорил по-узбекски, чем по-русски. Пожалуй, только дома с отцом и матерью по-русски, а все остальное время с ребятами по-узбекски.

Выслушав мой рассказ о фронтовых делах и о том, как учился здесь в школе, занимался боксом во Дворце пионеров, как стал курсантом Ташкентского военного училища, Усман Юсупович еще раз вышел из-за стола, еще раз обнял меня и сказал:

— Ну что ж, хоть ты и русский, но ты и сын узбекского народа, так и будем считать! — Затем Юсупов попросил: — Я понимаю, что тебе хочется побыть с отцом и с матерью, и ты с ними побудешь, но идет война, фронту нужно стратегическое сырье. Хлопок — это стратегическое сырье. Я прошу тебя побывать хотя бы в ближайших от Ташкента колхозах, выступить там перед колхозниками, рассказать им о том, как вы воюете на фронте, как вы бьете фашистов, и напомнить, что хлопок, который они здесь выращивают, тоже очень нужен для победы. Народ отдает все для фронта и, конечно, устал, и надо подбодрить людей, надо сказать им добрые слова благодарности за то, что они обеспечивают фронт. И я думаю, от твоих слов у колхозников прибавится сил и они будут еще лучше работать для того, чтобы помочь фронту. А вечером будешь возвращаться домой и жить у своих родителей.

На этом мы и порешили. Усман Юсупович пригласил меня в этот день к себе домой пообедать с ним. В назначенное время я был на квартире Усмана-ака. С нами за столом была его жена. Кстати, она украинка — Юлия Леонидовна Степаненко. О многом мы говорили с Усманом Юсуповичем. Он угощал меня вином и говорил, что сегодня мне можно и нужно выпить как фронтовику, а ему нельзя — надо возвращаться после обеда на работу.

Вот здесь за столом, уже к концу обеда, Усман Юсупов сказал мне на всю жизнь запомнившиеся слова:

— Учти, дорогой Володя. Эта награда, которую ты получил, эта звездочка, которая сияет на твоей груди, будет тебе помогать в жизни. Ты будешь расти, будешь продвигаться вперед и по работе и по должности. Но представь себе это восхождение как восхождение в гору. Вот ты идешь в гору, рядом с тобой идут другие люди, и, как это бывает в горах, иногда из-под ног выкатывается камень, можно оступиться, можно даже упасть. Но если это произойдет с каким-то другим человеком, он встанет, отряхнется и пойдет дальше. А вот если такая беда произойдет с тобой, Золотая Звезда превратится уже в тяжелый груз. Тебе, если ты не оправдаешь великое доверие, которым наделили тебя партия и правительство, подняться будет намного тяжелее.

Всю жизнь помню я эти мудрые слова Усмана Юсупова.

На следующее утро за мной прислали машину, и я поехал выступать перед колхозниками. К своему удивлению, проезжая по городу, я увидел свой огромный портрет около сквера Революции, затем еще один на Ходре. Под ними была подпись: «Сын узбекского народа Герой Советского Союза Владимир Карпов».

Вот таким, даже в мелочах государственно мыслящим человеком был Усман Юсупов. Встречу с молодым парнем, ставшим Героем Советского Союза, он использовал для укрепления интернациональных чувств, для поднятия трудового энтузиазма уставших за годы войны колхозников, для того, чтобы поучить уму-разуму и меня, молодого человека, удостоенного высокой награды.

В 1947 году мы с Юрием окончили академию, защитили дипломы и разъехались. Юра получил назначение на должность командира мотоциклетного батальона, а меня направили на дальнейшую учебу на Высшие академические курсы Генерального штаба.

В октябре того же 1947 года дом Петровых посетило горе — скончалась мать Ивана Ефимовича, Евдокия Онуфриевна. Ей было 85 лет, и прожила она большую, нелегкую жизнь. Иван Ефимович помнил ее нешутливое пожелание о том, чтобы ее похоронили с музыкой, и исполнил просьбу матери. Евдокию Онуфриевну хоронили с военным оркестром, который шел за гробом и играл от дома до кладбища. Рядом с Иваном Ефимовичем в эту скорбную минуту, и тоже от дома до кладбища, шел его друг Усман Юсупов, шли сослуживцы, знавшие Евдокию Онуфриевну. Мать была старая, верующая в бога женщина, а сын, несмотря на высокий пост и звание, не считал возможным разубеждать ее в таком преклонном возрасте и тем более препятствовать совершению обряда, о котором она перед смертью его попросила. Евдокию Онуфриевну отпевали в Александро-Невском храме, на так называемом русском кладбище, на окраине Ташкента. Там ее и похоронили.

После окончания Высших курсов я был оставлен работать в Генеральном штабе, а Юра продолжал служить в Среднеазиатском военном округе.

Каждый год я приезжал навестить своих родителей, заходил и к Ивану Ефимовичу. Часто на даче Военного совета, где жили Иван Ефимович и Зоя Павловна, бывал в эти дни и Юра, он по-прежнему не оставил свое увлечение фотографией. Мы с ним подолгу просиживали в затемненной фотолаборатории, и когда приходило время обедать или ужинать, Иван Ефимович стучал в дверь и звал нас:

— Эй, затворники, выходите, пора есть.

В доме Петровых была очень хорошая, спокойная обстановка. Иван Ефимович не мог нарадоваться на своих внуков. После войны семья отдыхала душой, ведь в те четыре года все они были на фронте.

Как это ни странно, но разговоры о войне заходили очень редко. Может быть, потому, что душа еще кровоточила от огромных бед и страданий, которые пришлось пережить народу.

Но, как я уже не раз говорил, судьба была к Ивану Ефимовичу очень сурова. После всего, что осталось позади, после того как наступили мир и покой и счастье, казалось бы, надолго пришло в эту семью, судьба, или рок, или не знаю что снова преподнесли Ивану Ефимовичу страшное горе.

Ашхабадское землетрясение

В ночь с 5 на 6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло сильное землетрясение. Как только об этом сообщили командующему округом, Петров немедленно приказал подготовить самолет и тут же вылетел в Ашхабад. В этот вечер находился в доме отца и Юра, он буквально увязался лететь вместе с отцом. Иван Ефимович не хотел его брать, но Юра не отступал:

— Может быть, я окажусь тебе полезен? Помогать буду.

Настойчивость Юры сыграла свою роль, и Иван Ефимович взял его с собой.

Они прилетели в Ашхабад через несколько часов после случившейся трагедии. ЦК Компартии Туркмении создал специальную комиссию, в которую был включен и командующий войсками округа. Иван Ефимович немедленно вызвал части в пострадавший город, для того чтобы оказать помощь населению.

А помощь эта нужна была срочно, потому что под развалинами домов остались тысячи жителей. Землетрясение произошло в те часы, когда люди спали, рухнувшие стены погребли очень многих. Те, кто уцелел, раскапывали обломки, помогали выбраться родным и близким. Но у иных засыпанных обломками не осталось таких близких, их надо было выручать, и очень срочно.

Прежде всего надо было расчистить дороги, дать возможность проехать машинам для вывоза раненых и убитых, а их было очень много. Напомню, что все это происходило в жарком климате, через несколько часов трупы уже начинали разлагаться.

Надо было организовать медицинскую помощь раненым, кормить людей, ибо и медикаменты и запасы провизии остались под развалинами. Надо было одеть людей, потому что большинство из них было застигнуто землетрясением в постелях и сейчас ходило в нижнем белье. Много других трудностей встало перед теми, кто руководил спасательными работами, если учесть, что все произошло совершенно неожиданно.

Как это часто бывает, в дни бедствия появились и такие выродки, которые, пользуясь охватившей людей растерянностью, стали тащить из рухнувших магазинов и квартир все, что можно было украсть. Иван Ефимович немедленно организовывал борьбу с этими мародерами. По городу стали дежурить вооруженные патрули.

Порывистый и эмоциональный Юра Петров не мог остаться в стороне. Как и на фронте, он стал помогать отцу.

Тут я перехожу к изложению того, о чем уже обещал рассказать читателям,— о гибели Юрия Петрова.

Это произошло 7 октября на окраине Ашхабада, недалеко от аэропорта. Юрий ехал на военном «газике» и вдруг увидел человека, который тащил тяжелый мешок, и в мешке было что-то явно награбленное. Юра приказал остановить машину и подошел к этому человеку. Он был одет в милицейскую форму: гимнастерку, брюки, сапоги, но без фуражки. Гимнастерка была не подпоясана. Мародер был пьян.

Юра спросил:

— Что у вас в мешке?

— А тебе какое дело? Едешь и едешь своей дорогой.

— Ах ты подлец! Людей постигла беда, а ты — грабитель!

— А я тебе говорю: не цепляйся.

Юрий повернулся к шоферу и приказал ему быстро отыскать военный патруль и привезти его сюда. Шофер немедленно помчался на поиски.

О том, что произошло дальше, можно рассказать, используя «Дело об убийстве подполковника Петрова Ю. И.». Я это дело внимательно просмотрел. В небольшой картонной папочке — большая человеческая трагедия! Протоколы допроса написаны простым карандашом, видно, в первые часы после землетрясения даже чернил не нашлось. Приведу рассказ свидетельницы, на глазах которой все произошло, Антонины Григорьевны Варлачевой.

Показания ее имеются в деле. Но я разыскал саму Антонину Григорьевну, теперь она живет не в Ашхабаде, а в Новосибирске, ей уже 89 лет, но память ее навсегда сохранила тот страшный случай, невольной свидетельницей которого она оказалась. Антонина Григорьевна — участница первой мировой и гражданской войн, всю Отечественную была медицинской сестрой в больницах города Ашхабада, оказывала помощь раненым. Вот ее рассказ:

— В ночь перед землетрясением я была в гостях у моей старшей дочери и осталась у нее ночевать. Она жила возле аэропорта, муж ее работал командиром авиаотряда. В ту страшную ночь все спали, а мне что-то не спалось. Сидела и сначала читала, а потом слушала радиоприемник. Вдруг в третьем часу послышался гул, погасло электричество. Дом задрожал, закачался, начал трескаться, посыпалась известка, штукатурка, упал приемник со стола, этажерка с книгами упала, карниз со шторами упал. Шкаф с одеждой повалился на кровать, где спали дети. Все это произошло мгновенно... Пол качался, как палуба корабля в море. Я сначала онемела от страха. Наконец опомнилась, кинулась к родным. Они уже вскочили с постелей.

Выбежать на улицу мы не могли, потому что двери заклинило, зажалось осевшими на них стенами. Мы кинулись к балкону. Его завалил балкон, рухнувший со второго этажа, но выбраться все-таки было можно.

И вот наконец мы во дворе. Было темно, стояла густая неподвижная пыль, как туман. Все дома вблизи аэропорта превратились в кучу развалин. Те, кто уцелел, метались вокруг и помогали выбраться оставшимся под развалинами. Мой зять побежал собирать летчиков для оказания помощи и откапывания людей.

Когда наступил рассвет, мы увидели, что все мы полураздетые, в нижнем белье. Стали с опаской пробираться в остатки дома искать там одежду. Надели на себя, что удалось достать. К концу дня мы и наши соседи стали строить что-то вроде шалашей рядом с рухнувшими домами. Было очень жарко, надо было прятаться от солнца. К тому же задул афганец, так называют песчаный дождик, отовсюду летел песок.

На следующий день, когда я стояла с внучкой на руках у дороги, со стороны кондитерской фабрики показался молодой мужчина, лет двадцати пяти. Он был в полувоенной форме, без пояса. Не нес, а тащил волоком за собой мешок с чем-то тяжелым. А по дороге в это время проезжала открытая военная машина. В ней рядом с шофером сидел офицер.

Увидев грабителя, он остановился и стал его спрашивать: кто он и почему тащит, почему занимается грабежом, вместо того чтобы, как и положено ему, охраннику, охранять имущество и следить за порядком во время стихийного бедствия.

Потом офицер приказал грабителю затащить мешок в придорожный кювет и самому сесть там, в этом кювете, а машину послал за патрулем. Задержанный был пьян, грубил офицеру, не подчинился. Тогда офицер сказал ему, что он его арестовывает, приказал сидеть неподвижно.

Сам офицер стоял на обочине дороги и все смотрел в ту сторону, откуда должен был приехать патруль. И вот вдруг, я даже и вскрикнуть не успела, этот бандит выхватил из кармана свой наган и выстрелил в затылок офицеру. Офицер упал. А грабитель побежал в сторону от дороги, оглядываясь на упавшего офицера.

Я бросилась к офицеру и вижу: прострелена голова, пуля вышла в лицо. Он был еще жив. Тут же я выбежала на дорогу, остановила проходивший грузовик, и мы быстро отвезли раненого в санчасть аэропорта, стали оказывать ему помощь.

Приехал военный патруль, и я стала рассказывать о случившемся и описывать внешность преступника, которого очень хорошо разглядела. Спустя некоторое время приехал начальник особого отдела, и я снова все ему рассказала. Начались поиски. Но в городе, в котором случилось такое несчастье, где не стало ни домов, ни улиц, ни адресов и все жители перемешались, было очень трудно, конечно, искать человека, фамилию которого к тому же никто не знал. Меня несколько раз возили в машине по городу, думали, может быть, я опознаю преступника. Но его так и не удалось тогда найти.

Но однажды был задержан один из мародеров, у которого нашли наган с одним выстреленным патроном. Это навело на мысль, не он ли стрелял в Петрова. Тут же приехали за мной. Я как только увидела, сразу узнала его и подтвердила, что это действительно тот мерзвец, который стрелял в Петрова. Он сначала не признавался, все отрицал, говорил, что меня в первый раз видит.

Его повезли в аэропорт, на место, где все случилось, и я показывала, где он стоял, где офицер стоял, как он достал наган, как он стрелял. Я рассказала все, что произошло на моих глазах. Описала его внешность, что он был без фуражки, без ремня, ворот расстегнут, брички диагональные синие, галифе, сапоги хромовые.

Убийца стоял, опустив голову, и все время молчал. Наконец следователь его спросил: «Куда ты дел форму?» И убийца, мотнув головой, показал на то место, которое было отсюда видно: «Вон там закопал, в кирпичках».

Пошли туда и нашли под кирпичами его одежду. Ту самую, в которой он был в момент совершения преступления...

...Я не называю фамилии убийцы потому, что у него есть ни в чем не повинные родственники, может быть, и дети. Его судили, но в те годы была отменена смертная казнь, и он отсидел 25 лет.

Через полтора-два часа после того, как произошло это злодеяние, Иван Ефимович примчался в аэропорт и самолетом отправил Юру в Ташкент в госпиталь, надеясь, что его там спасут. Иван Ефимович написал записку Зое Павловне и передал ее с сопровождающим Юру врачом: «Мать, мужайся, отправляю тебе раненого сына».

Юра скончался в самолете.

Иван Ефимович прилетел на похороны сына лишь на несколько часов. Он прошел за его гробом до кладбища и, не заходя домой, тут же возвратился в Ашхабад, который нуждался в его ежечасной помощи.

Юру похоронили рядом с бабушкой Евдокией Онуфриевной. На его могиле стоит скромный памятник с надписью: «Подполковник Петров Юрий Иванович. 27.6.1924 года — 7.10.1948 года. Убит при исполнении служебного долга. Спи спокойно, наш сын, светлую память о тебе будем хранить до последних своих дней».

Иван Ефимович пережил своего сына на десять лет, он скончался в Москве в 1958 году в возрасте 62 лет.

В дни, когда я завершаю работу над этой повестью, мне исполнилось столько же. Но я не чувствую себя пожилым человеком, мне все кажется, что я тот же, каким когда-то пришел с фронта. Было мне тогда двадцать три. Не знаю, каким ощущал себя Петров, но мне, да и другим, он еще в годы нашей учебы в училище казался человеком немолодым, умудренным большим жизненным опытом. А начальником училища он был назначен в 37 лет, откомандовав перед этим три года дивизией.

ЭПИЛОГ

Про годы войны были сказаны суровые и точные слова: «сороковые, роковые». Но сороковые, роковые, к сожалению, не кончились вместе с победным завершением Великой Отечественной войны. Эти годы и вообще оказались роковыми, и не только для нашей страны, потому что именно в то время появилось страшное ядерное оружие, которое поставило под угрозу существование всего человечества и самой планеты Земля.

С чего начались эти роковые годы, кто первый повесил дамоклов меч над миром, читателям хорошо известно. Об атомном оружии, как ни о каком другом прежде, сегодня говорится и пишется много и с огромной тревогой.

В конце войны, накануне полного разгрома фашистской Германии, 25 апреля, в тот день, когда советские войска завершили окружение Берлина, на конференции Объединенных Наций выступил только что ставший президентом Трумэн с прочувствованной речью о том, что нельзя больше позволить ни одной нации или группе наций попытку урегулировать свои споры бомбами и штыками, что если человечество не хочет погибнуть вместе с войной, оно должно научиться жить в мире. И в этот же самый день он принял руководителей Манхэттенского проекта с докладом о том, что готова атомная бомба.

Люди знают из многочисленных воспоминаний и свидетельств, как сообщением о новом оружии «необыкновенно разрушительной

силы» Трумэн пытался запугать советскую делегацию на Потсдамской конференции, как позже, желая практически показать Советскому Союзу, да и всему миру, какой страшной новинкой обладает Америка, Трумэн отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Последствия этих бомбежек широко известны, не буду приводить их ужасающие подробности. Скажу только о том, что видел сам, когда в 1982 году побывал в Нагасаки и Хиросиме. Я посетил там не только мемориальный музей, посмотрел не только фотографии, фильмы, подлинные вещественные доказательства атомных ударов, но побывал и в госпитале, который в год моего посещения все еще был заполнен людьми, пострадавшими от радиоактивного излучения. Я ходил по палатам, беседовал с этими людьми, врачи давали пояснения. Обычно приводятся такие цифры жертв атомной бомбежки: в один миг погибло более 240 тысяч человек, ранено и подверглось облучению 160 тысяч человек. Но это только первоначальные цифры. Все годы и после взрывов бомб люди умирали медленной мучительной смертью, число погибших, конечно, намного превышает названные цифры.

Довелось мне побывать и в Соединенных Штатах. Я видел там много интересного, удивительного и ужасающего, но не об этом сейчас речь. Больше всего меня поразила вот такая диковинная подробность. Каждый год в те дни, когда были сброшены атомные бомбы, то есть в первой декаде августа, в самом шикарном ресторане Нью-Йорка собираются участники первой атомной бомбежки. Они пьют шампанское, веселятся и отмечают свою каннибальскую победу. Мне подумалось: вот бы провести их по коридорам больницы, которую я посетил в Хиросиме, испортить бы им аппетит... и понимаю наивность своего пожелания — ведь участники этой бомбардировки видели заснятые взрывы бомбы и те последствия, которые они вызвали, видели погибших, обожженных, страдающих людей, все они, конечно, видели в отснятых фильмах.

Советское правительство не было застигнуто врасплох известием о страшном оружии, созданном в Соединенных Штатах. Соответствующие исследовательские работы велись и в нашей стране. Руководил этими работами академик И. В. Курчатов — и теперь об их результатах все тоже хорошо знают.

Но раз уж возникло такое новое, отличное от прежнего оружие, то оно, естественно, повлекло за собой, как это всегда бывало на протяжении всей военной истории, изменения и в стратегии и тактике, в военном искусстве вообще.

Советское правительство хорошо представляло, на что способны американские стратеги, и, желая обезопасить свою страну, всячески форсировало как работы ученых по исследованию технических свойств и возможностей ядерного оружия, так и труды военных по созданию новой тактики, оперативного искусства и стратегии.

Не берусь широко освещать эти труды, это не входит в мою задачу, расскажу лишь об участии Ивана Ефимовича в этой важнейшей деятельности по обороне страны. Да-да, Иван Ефимович вместе с другими нашими крупными военачальниками стоял у истоков новой стратегии и тактики ядерной оборонительной войны!

В 1951 году, когда Петров еще был командующим Туркестанским военным округом, ему было приказано подготовить план большого учения, на котором отрабатывались бы вопросы, связанные с применением ядерного оружия. Имелось в виду проведение маневров на территории Туркестанского военного округа с участием войск и с условным применением ядерного оружия.

Штаб округа под руководством генерала Петрова составил такой план и представил его на утверждение в Генеральный штаб. Генеральный штаб его не утвердил, так как в нем не все отвечало тем

намерениям и задачам, которые ставил перед данными учениями высший орган теоретического и практического руководства нашей армии.

Были написаны замечания и пожелания командующему Туркестанским военным округом и отправлены в Ташкент. Ознакомившись с этими замечаниями, Иван Ефимович попросил начальника Генерального штаба помочь в разработке плана и прислать к ним тех, кто знает особенности нового оружия и может подсказать, в каком направлении следует вести планирование учений.

К мнению генерала Петрова отнеслись с пониманием, и в Генеральном штабе была создана группа для оказания помощи штабу Туркестанского военного округа. Группу эту возглавлял генерал-лейтенант А. А. Грызлов. В нее было включено шесть офицеров Генерального штаба, одним из этих шести был я.

Мы прилетели в Ташкент, пришли к командующему войсками округа, выстроились в коротенькую шеренгу, генерал Грызлов представлял каждого по очереди, а командующий, выслушав представление, пожимал руку, здоровался и переходил к следующему.

Когда генерал Грызлов представил меня, я увидел на лице Петрова удивление. Как мне показалось, Иван Ефимович задержал мою руку дольше, чем другим, и сказал:

— Ну вот, теперь ты приехал учить меня, старика.

В этих словах была не ирония, не подтрунивание над собой, теперь уже стареющим генералом, а скорее радость за меня, удовлетворение, что вот и я вырос до того, что меня посылают с такими ответственными поручениями.

Генерал Петров ежедневно бывал в наших рабочих помещениях и постоянно консультировал нас, советовался с нами, внимательно прислушивался к тому, что говорили офицеры гораздо более младшие по званию. Эта черта была у него всегда и уже не раз отмечалась мною. Когда разговор шел о деле, он забывал о званиях, суть вопроса была для него важнее всего.

Целую неделю мы работали в штабе округа вместе с генералами и офицерами окружного аппарата и в конце концов составили разработку, которая удовлетворила Генеральный штаб и была утверждена министром.

После завершения этой, если можно так сказать, теоретической части учений, была проведена вторая, основная и самая важная часть его, то есть практические действия войск на местности. Я участвовал в этих учениях как посредник при одном из крупных соединений.

Не буду описывать подробности хода этих больших учений, скажу лишь, что результаты их были обобщены и пошли на пользу всем тем, кто трудился над созданием новых способов ведения боевых действий.

Наша страна вынуждена учитывать агрессивную доктрину США, которые, несмотря на неоднократные предложения Советского Союза отказаться от применения ядерного оружия, прикрываясь разговорами о мире, усиленно наращивают свой ядерный потенциал, создавая новые, более мощные ядерные средства и непрерывно увеличивая их количество. Американские стратеги предусматривают разные типы ядерного наступления: глобальное — когда против СССР будут пущены в ход все виды ядерного оружия со всех баз, кораблей, подводных лодок и континентов; и на театре военных действий — когда американцы втянут СССР в войну в Европе или в каком-либо другом регионе, а сами, как они мечтают, отсидаются за океаном. Эти их мечты основаны на арифметических расчетах: из Европы ракета до СССР летит 5—6 минут, а из СССР до США — 30. И вот американские стратеги надеются, что, поразив нас раньше, чем мы сумеем ответить, они за океаном останутся целы и невредимы.

Но это не столько расчет, сколько просчет.

Американские военные много говорят о чудовищной поражающей силе своего ядерного оружия и стараются не распространяться насчет возможности ответного удара. Они приучают народ к мысли, что он может не последовать, а если и последует, то будет не таким уж страшным.

Исходя из опыта тех учений, на которых мне довелось быть вместе с Петровым, и знаний, полученных в практике службы, скажу, что если американские агрессоры, несмотря на все усилия сил мира, все-таки развяжут ядерную войну, она будет идти не только по их сценарию.

Вспомните неоднократно опубликованные цифры о том, что имеющимися ядерными боеприпасами американцы могут накрыть нашу территорию многократно. Если сегодня в газетах пишут о том, что мы призываем правительство США остановиться на существующем равенстве ядерных потенциалов, значит, мы тоже в состоянии при ответном ударе поразить всю американскую территорию не меньшее число раз. Страшная арифметика!

Представьте себе двух собеседников, которые наставили друг друга в сердце пистолеты, курки которых связаны между собой так, что ни один из стрелков не может нажать курок, потому что неминуемо будет убит и сам. Вот такая же ситуация и с ядерным оружием на сегодня.

На следующий год после проведения учения в Туркестанском округе И. Е. Петрова перевели на работу в Москву, в Министерство обороны СССР. Наряду с обычной деятельностью (инспекторскими выездами в войска, проверкой хода боевой подготовки, проведением учений, испытанием новой техники и многими другими делами мирного времени) шло формирование новых способов ведения боя и операции.

Стало известно, что за океаном были проведены большие учения с практическим применением ядерного оружия и реальными действиями войск в этих условиях. Естественно, назрела необходимость и в нашей армии провести такие учения для того, чтобы прийти к каким-то более конкретным выводам и заключениям. Провести их было поручено заместителю министра обороны Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Сам по себе факт назначения Жукова руководителем учения с практическим использованием ядерного оружия и реальными действиями войск показывает, какое значение им придавалось.

Георгий Константинович понимал всю ответственность и сложность учений, которые ему предстояло прежде всего организовать, а потом и провести. Формируя аппарат руководства, он особенно серьезно подошел к подбору своего ближайшего заместителя и помощника. Надо сказать, что выбор у него был в те годы большой, потому что были живы почти все командующие фронтами периода Великой Отечественной войны — прославленные маршалы, показавшие себя прекрасными организаторами крупнейших боевых операций.

Жуков остановил свой выбор на генерале армии Петрове. Маршал знал его высочайшую работоспособность, видел в конкретной боевой деятельности на Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах, знал о той доброй славе, которая шла о Петрове. И, главное, сам Жуков был высокого мнения о способностях и возможностях генерала Петрова.

Петров, как всегда в любом деле, а тем более в таком ответственном и, как он, конечно, понимал, исторически важном, отдался работе всей душой, с присущей ему большой энергией и рассудительностью.

В течение нескольких месяцев Иван Ефимович руководил оборудованием района предстоящих учений. Здесь были построены объекты различной прочности, неодинаковой конфигурации, на самых разных расстояниях от предполагаемого эпицентра взрыва. Была создана

оборона самых различных типов, начиная от обычной полевой, кончая укрепленными районами.

В общем, было предпринято все для того, чтобы после применения ядерной бомбы можно было провести соответствующие исследования и сделать выводы.

С личным составом, которому предстояло участвовать в этих сложных учениях, проводилась огромная разъяснительная и воспитательная работа. Не только политработники, но и все офицеры готовили солдат нового поколения, не нюхавших пороха, к такому испытанию, через которое не довелось пройти даже бывалым воинам. Фронтное поколение солдат к тому времени давно демобилизовалось из армии, в кадрах остались только боевые офицеры, да и тех постепенно заменяли выпускники училищ и академий послевоенного периода.

Иван Ефимович целыми днями был в поле с людьми. Как всегда, работал много, уставал, конечно, но и чувствовал большое удовлетворение от сознания необходимости его работы.

По вполне понятным причинам я не могу подробно описывать ход учений и всего, что там происходило. Скажу коротко: учение прошло очень хорошо. Были выполнены все поставленные задачи. Ядерный удар, нанесенный точно по намеченным объектам, причинил те разрушения, которые и предполагались. А воинские части, участвовавшие в этих учениях, бесстрашно пошли в район атомного взрыва, даже в его эпицентр, преодолели зоны радиации и выполнили задачи, поставленные перед частями и соединениями.

Разумеется, все солдаты были в предохранительной одежде, соблюдались и другие меры безопасности, чтобы в мирные дни людям не был причинен вред, который, к сожалению, неизбежен в бою.

Все, что происходило на этих учениях, фиксировалось на фотографиях, в кинофильмах и соответствующих документах. После окончания учения эти материалы были тщательно изучены, проанализированы, были сделаны соответствующие выводы. Не распространяясь широко о сути самого учения и выводах, которые там были сделаны, я скажу только одно: генерал армии Петров внес свою лепту в дело защиты Родины и от нового грозного и страшного оружия.

Именно Ивану Ефимовичу Петрову было поручено возглавить всю боевую подготовку Советской Армии и учить войска не только опираясь на опыт, приобретенный в минувшей Великой Отечественной войне, но и с учетом этого нового, разрушительного оружия, что он и делал до своих последних дней.

Вот и прошла перед вами жизнь Ивана Ефимовича Петрова. Жизнь военного, полководца. Поэтому я так и назвал повесть. Как человека я его полностью не раскрыл, потому что для этого необходимо показать дела, события, думы и чаяния его личной жизни. У Петрова были увлечения, не относящиеся к службе, была семья, друзья, были сложные или простые отношения со всеми ими. Все это, даже известное мне, не вошло в повесть. В ней Петров только на войне, в боях и сражениях, в ней — его путь от прапорщика царской армии до советского полководца.

Я не прибавляю к слову «полководец» никаких эпитетов. Может быть, нельзя назвать блестящими победы, одержанные войсками под руководством Петрова, но охарактеризовать их как труднейшие безусловно можно. Вспомните 1941-й, первые месяцы войны, сводки Информбюро об оставленных городах. Гитлеровцы брали их через несколько дней или несколько часов боев, а порой и с ходу. А Одесса 73 дня и ночи, Севастополь 250 суток боролись, отрезанные от всей страны, спиной к морю. Ставка их не забывала, старалась помочь всем возможным, но все же сражаться в таких условиях было исключительно тяжело. И не случайно в те дни Верховный Главнокомандую-

щий И. В. Сталин сказал: «Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для Красной Армии и советского народа».

Позднее на пути армий Петрова вставали горные хребты, морские проливы, лиманы, реки, болота. И противостояли им на всех этих театрах военных действий вышколенные, обеспеченные всем дивизии врага!

Не баловала Петрова полководческая судьба. Чего только стоило одно преодоление Карпат силами всего двух армий! Так и видишь мокрых от пота, дождей и снега, изнемогающих от усталости солдат и офицеров, карабкающихся вверх, чтобы сбросить врага с горного хребта и, собрав неведомо где таящиеся остатки сил, пойти на штурм следующей горной твердыни. И так, казалось тогда, бесконечно, потому что горные хребты вздымались один за другим на глубину в сотни километров!

Как оценить роль Петрова в этих сражениях? Он не лез по скалам, не шел под пулями с солдатами. Но он умом и душой всегда был вместе с ними. И, главное, делал все, чтобы облегчить их участь. Они знали об этом. Они защищали свою Родину, родных и близких. И одним из таких близких был для них Иван Ефимович Петров. Любовь, доверие и уважение к нему были тоже одним из источников тех сил, которые помогали одолевать и врага и горы. Это слова не мои. Это слова солдатские.

Множество людей помнят генерала Петрова, помнят его победы над врагом, все добрые дела, которые он совершил в жизни. Но память человеческая не вечна, потому что люди смертны. Те, кто знал Петрова, как это ни грустно, тоже уходят. И остается для потомков то, что удается запечатлеть на бумаге. Оказывается, бумага при всей ее непрочности — самый надежный материал, на котором оседает и хранится история.

Я не замахваюсь на такие дальние цели, на историю. Мне хотелось лишь, чтобы наши дети и внуки, которых еще касается отблеск пламени Великой Отечественной, с благодарностью вспоминали тех, кто, не щадя себя, отстоял их жизнь и счастье. И одним из них был генерал Петров. Такие личности, как он, украшают нашу историю. Соотечественники гордятся ими. От присутствия таких людей становится теплее в целой эпохе.

Вот и все о нем.

Ну а я счастлив, что судьба близко свела меня с таким замечательным человеком. Рад и тому, что довел до конца это повествование.

Не знаю, как бы оценил мою повесть сам Петров. Если бы он был жив и прочитал ее, думаю, он бы нахмурился, пожурил меня за те похвалы в его адрес, которые здесь присутствуют. Не одобрял он этого. Но поскольку при жизни похвал ему досталось не так уж много, а больше выпало неприятностей и огорчений, я полагаю — поступил правильно. Если иногда мои любовь и уважение к Петрову были слишком заметны, не судите строго. Разве можно упрекать человека за искреннюю любовь?

В общем, заканчиваю свое повествование латинским изречением, которое я приводил вначале: «Сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает лучше».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. История второй мировой войны. В 12-ти т.— М. Воениздат, т. 8, 1977.
2. С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. В 2-х кн.— М. Воениздат, кн. 1, 1975, кн. 2, 1974.
3. К. М. Симонов. Живые и мертвые, кн. 3. Собр. соч. в 10-ти т.— М. Худож. лит., т. 6, 1981.
4. Д. Ф. Устижов. Победа, развеившая мифы и иллюзии.— Правда, 1984 г., 9 мая.

5. В. Р. Бойко. С думой о родине.— М. Воениздат, 1982.
6. М. А. Волошин. Разведчики всегда впереди.— М. Воениздат, 1977.
7. А. Шарипов. Черняховский. Повествование о полководце.— М. Воениздат, 1972.
8. И. Х. Баграмян. Всегда в строю.— Роман-газета, № 11, 1981 г.
9. Правда, 1944 г., 17 июля.
10. А. А. Гречко. Через Карпаты.— М. Воениздат, 1970.
11. В боях за Карпаты.— Ужгород, Карпати, 1975.
12. А. А. Брусилов. Мои воспоминания.— М. Воениздат, 1963.
13. К. С. Москаленко. На юго-западном направлении.— М. Наука, 1972.
14. Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза.— М. Воениздат, 1975.
15. В. Орленко. Операция без выстрела.— М. Политиздат, 1982.
16. А. Н. Асмолов. Фронт в тылу вермахта.— М. Политиздат, 1977.
17. И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза.— М. Политиздат, 1951.
18. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в 2-х т.— М. Политиздат, т. 1, 1976.
19. И. Н. Виноградов. Оборона — штурм — победа.— М. Наука, 1968.
20. Неотвратимое возмездие. По материалам судебных процессов над изменниками Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок.— М. Воениздат, 1974.
21. К. М. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Т. 2. 1942—1945 годы. Собр. соч. в 10-ти т.— М. Худож. лит., т. 9, 1983.
22. И. С. Конев. Записки командующего фронтом.— М. Воениздат, 1981.
23. Сообщения Советского Информбюро. В 8-ми т.— М. Совинформбюро, т. 8, 1945.
24. Б. Н. Полевой. Это было в Берлине.— Лит. газета, 23 июня 1971 г.
25. К. В. Крайнюков. Оружие особого рода.— М. Воениздат, 1977.
26. Д. М. Проэктор. Агрессия и катастрофа.— М. Наука, 1968.
27. Под знаменами танковой гвардии.— М. Политуправление ГСВГ, 1967.
28. Е. Райгородецкий. Конец белого атамана.— Военно-исторический журнал, 1967, № 6.
29. Р. и М. Зейдевитц. Дрезденская галерея.— М. Искусство, 1965.
30. Московские художники в дни Великой Отечественной войны.— М. Сов. художник, 1981.



ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО

Ода коммунистической силе

В мире есть такая сила,
Что людей спасет от бед.
Эта сила нас взрастила
И ведет путем побед;
Не от Ягве и Ярила,
Но от молота, горнила
Засиял над миром свет.
Этой силе все подвластно,
Как весна, она идет,
К делу каждому причастна,
Счастье жизни всем несет;
В справедливости —
прекрасна,
Чистотой искрится ясной,
Как источник горных вод.
Эта сила в нас и с нами
Общей кровью скреплена,
Материнскими глазами
В душу смотрит всем она;
В этой силе нету гнета,
Вся она — живым жива:
Нежность — в кисти позолота,
Труд — по локоть рукава!
Молодежь берет работу
По душе, не по расчету —
Ей на все даны права.
Гэют алые знамена,
В мире их теперь не счесть.
Опадет с угроз нейтронных
Их напыщенность и спесь.
Льется в дали неумно,
По-весеннему стозвонно,
Из Москвы о мире песнь.

Жизнь светлеет год от года,
 Октябрем озарена,
 Так сплотитесь же, народы,
 Дружба нам навек дана;
 Берегите неба своды,
 Ясны зори, тихи воды,
 Ведь Земля у нас — одна!

Притяжение

Хотел бы я подняться в небеса,
 Чтоб груз земной не тяготил мне тела,
 Но не хочу я, чтоб моя слеза
 Столетиями в космосе блестела.

Она должна к земле лететь, и я
 До тех лишь пор в межзвездные владенья
 Стремлюсь душой, пока слеза моя
 Хранит в себе земное притяженье.

ДМИТРО ИВАНОВ

Вечернее

Луч солнца последний под трубкой у деда
 Погас уже в пепле густой бороды.
 И стелется улица, в дымку одета,
 Под ноги идущей с лугов череды.
 Любовь кто-то вспомнил, включив радиолу,
 Бабуси к груди прижимают внучат,
 А вечер, наполненный сплошь маттиолой,
 Тайком вызывает из хаты девчат.
 Над полем комбайн уже поднял для взмаха
 Рукав парусиновый, дескать:

«Прощай!»

Надвинулась ночь голубою папахой
 На окна домов и на смолкнувший гай.
 Десна засыпает.

Звезда покатилась,

На миг озарив своим ярким крылом
 Надежду, что девичьей думой склонилась
 Над трепетной ночью,

над сонным селом.

А в маленькой хатке, что в розовом цвете,
 Тревожа простор, но спокойна на вид,
 Натруженность рук положив на планету,
 Всю ночь

материнская чуткость не спит.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.

МИКОЛА БРАТАН

Другу детства

Пусть мы с тобою открывали мир
в землянках тесных и подслеповатых,
но черный голод солнца не затмил,
и детство — чудо в памяти крылатой.

В глазах и в горле — дым от каганца...
Полынным было время и суровым.
А все ж не стали черствыми сердца,
и в степь родную тянемся мы снова.

Давай землянку отдадим в музей,
пусть правду века знают наши внуки:
мы всей судьбою — от земли своей,
и наше счастье выросло из муки.

Перевел СТ. ЗОЛОТЦЕВ.



ВИКТОР БОКОВ



ОБЛАСКАЙ МЕНЯ, ДОРОГА...

Обласкай меня, дорога, далью
На виду родных полей и сел,
Облеки упреком и печалью,
Осуди за все, что я прошел.

Как зерно, я был под жерновами,
Превращался в мягкую муку.
Горько, что меня не узнавали,
Говоря: «Блины, сынок, пеку».

Витютень! Мой голубь глухоманный,
Как ты стонешь в летнюю жару,
Как ты лезешь в сердце, окаянный,
Я тебя в товарищи беру.

Над моей дорогой бей крылами,
Нарушай покой небесных тел,
Чтобы, как Шаляпин, между нами
Сызранский, самарский воздух пел!

Хлеб

Очередь за тортами огромная!
Я кому-то место уступлю.
У меня желанья очень скромные —
Хлебушка куплю.

Свежего, немятого, душистого,
Что щекочет ноздри по утрам.
И за что я только так неистово
Черный хлеб люблю, не знаю сам.

Мама уверяла: «С хлебом плохо ли,
Хлеб — второе солнышко в избе».
На печи квашня стояла, охала,
Радуюсь крестьянской похвальбе.

Я суслоны в детстве ставил на поле,
На гумно свозил и клал скирды.
Было время — слезы горько капали
В черный, черствый хлеб моей судьбы.

Вот он! Ароматнейшая корочка,
А на ней, как звезды в небе, тмин.
Слышал я о хлебе поговорочку:
Все победы одержали с ним!

* *
*

Море!
Выкати свой янтарь,
будь щедрей,
не скупись, не улыба.
Не задорого
мне отдай,
не за деньги,
а за спасибо.
Неужели
сусеки морские
опустели
и ты бедно?
Если ты янтаря
мне не кинешь,
не смирюсь
и полезу на дно!

* *
*

Цветущий куст
пристанционный,
пристанционная сирень.
Она,
как девушка,
влюбленно
ветвями
трогает шинель.
Ей хочется
обнять солдата,
ему в казарму
через час.
Его предшественник
когда-то
отечество
родное
спас.



ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ



ДНЕПР

Начинается Днепр в России,
И приходит его вода
Темно-синей и светло-синей
В украинские города.

Вишня, яблоня и калина,
Хатки-мазанки и лоза...
И Россия и Украина —
Смотрят ей в голубые глаза.

Шахтерская улица

*Памяти моего земляка-горловчанина
Н. Изотова, «поднявшего,— как сказал
Горький,— труд свой до высоты искусства».*

Улица Изотова... по крыши
Домики в сирени, а над ними
Теплый вечер тополя колышет,
Те, что с детства стали мне родными.

Огоньки горят еще не ярко,
И в молочной дымке звезды редки
Там, где дышит шахта «Кочегарка»,
Поднимая с углем вагонетки.

Люди здесь улыбками своими,
Прямотой и добротой неброской
Так похожи на того, чье имя
Дали этой улице шахтерской.

Л. ЛИХОДЕЕВ



СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ*

Роман

Глава шестая

Надо все-таки дочитать Володьку Свиридова.

...Фанерный парень улыбался множеством эмалированных зубов, воздев руку к небу. Рудакин сидел возле пустого круглого фонтана, уперев локти в колени, уместив подбородок в лагонах. Рядом черной тенью примостился проектировщик.

За ними возник живой белозубый парень, похожий на плакатного, должно быть, с него и писали. В глазах парня светилась гроза:

— Рудакин! Тебе жизнь наеела?

— Нет,— не обернулся Рудакин,— в самый раз...

— А я думаю — наеела!

— А ты не думай.

— Кончай, Рудакин,— посоветовал парень,— не строй из себя (покосился на проектировщика, смягчил голос) сам знаешь кого... У меня сын на подходе!

Рудакин обернулся:

— Почему сын? Может, дочка.

— Ну, дочка, ладно. Она из роддома придет — куда я ее дену?

— Сантехники нету,— сказал Рудакин.

Парень озлился, посмотрел с досадою на черного проектировщика, подумал, как огрызнуться. Сказал:

— Болт я вбил в твою сантехнику!

— Почему мою? Твою! Тебе жить.

— Сдай объект, Рудакин,— мрачно сказал парень,— мы сами доделаем.

— Послушайте,— не выдержал проектировщик,— так же нельзя! Вы же строитель! Надо же, чтобы все было доведено!

Парень посмотрел на него удивленно, будто хотел спросить: а ты откуда взялся? Но не спросил, ушел. Рудакин сказал вслеп:

— Дочка у него.

— Почему обязательно дочка? — возмутился проектировщик. — Может быть, сын!

— Дочка,— уперся Рудакин.— Я его жену знаю, она ему жить не даст с этим домом. И мне не даст. Никому не даст.

— И вы сдадите неготовый объект? — закричал проектировщик.

— Сдам!

— А я буду протестовать!

— Протестуйте.

Проектировщик не находил слов, кипел в своем черном костюме. Наконец нашелся:

— Почему — дочка?!

— Ну сын,— пожалел его Рудакин.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8 с. г.

Алеша появился на трапе — высокий, в синем плаще с поднятым воротником и без шапки. «Холодно ему», — подумала Нина Ивановна и побежала к самолету.

— Алеша! Алеша!

Сын увидел ее, замахал руками, заспешил вниз по ступеням. За ним на тоненьких ногах (эти ноги почему-то сразу удручили Нину Ивановну) торопилась девчонка.

Нина Ивановна не знала, как встретить невестку, не думала и вдруг, увидав, даже остановилась — как быть?

Сын бросился, обнял, смотрел сверху вниз, улыбался, молчал. Девчонка эта стояла за ним и смотрела на свекровь слегка исподлобья, нерешительно, будто сама спрашивала большими кукольными глазами с подчеркнутыми ресницами — как быть?

— Ну здравствуй, — сказала Нина Ивановна, но не сыну, а девчонке этой, сказала весело (сама удивилась), протянула руку, но не жать ладонь, а по плечу, — какая ты у нас красивая!

Сын смотрел на Нину Ивановну насмешливо. Девчонка же вдруг, почувствовав на плече руку, сказала звонко, как с облегчением:

— Здравствуйте.

Нина Ивановна еще раз оглядела невестку. Сын спросил нарочито строго:

— Берем?

И засмеялся.

Шофер Миша знал молодого Курдюмова уже лет двадцать, помнил его еще пятилетним пацаном, когда мальчишку привозила бабушка на Севгаз, показать родителям. На Севгазе было неуютно: тундра. Нина Ивановна все обещала сыну сходить по грибы. У нас здесь подберезовики выше берез! Алешка слушал, широко разинув глазки, должно быть, не понимал: как это — гриб, да выше дерева? Миша слышал, что дальше на север действительно бывают такие несоответствия природы, но здесь березки были хоть и жиденькие, но все же деревья, а не трава. Этот гриб выше дерева почему-то запомнился Мише в связи с курдюмовским сыном навсегда.

С той поры Миша не видел мальчика.

Миша был свой человек в доме (шутка — двадцать лет куда Курдюмов, туда и он). Утром, собираясь на аэродром, спросил Нину Ивановну:

— Гриб выше дерева помните?

— Какой гриб?

— На Севгазе. Когда Марья Николаевна Алешу привозила.

— А! — вспомнила Нина Ивановна. — Подберезовик!

— Ну...

— Миша! А почему не сходили по грибы?

— Так заболел Алеша...

— Да-да-да! Как давно это было! Миша! Ну что ты скажешь? Уже женился.

Молодой Курдюмов узнал шофера сразу, даже не взглядывался. Увидел, поставил сумку посреди бетонного пяточка и побежал:

— Дядя Миша!

Шофер посмотрел на длинного парня — все как надо: волосы по плечи, вокруг рта на подбородке подбритые усы; улыбнулся снисходительно:

— Ну ты даешь! Я бы тебя не узнал. Гриб выше дерева...

— Дядя Миша! Помнишь?

— Помню. Тридцать девять и два у тебя было. Не верил, что доведу.

Молодой Курдюмов смотрел на шофера сверху вниз, взглядывался и удивлялся: чем больше смотрел, тем меньше узнавал.

— Ну что? — помог шофер. — Постарел?

— Дядя Миша! — вдруг обнял его Алешка.

Глаза шофера зачесались, он тоже обнял парня, похлопал по крепкой спине:

— С приездом, Алеша.

И отступил, не глядя в лицо.

Подошли Нина Ивановна с невесткой. Шофер мельком осмотрел жидконогую девицу, повторил:

— С приездом вас.

Невестка как вспыхнула улыбкой, протянула ладошку:

— Здравствуйте, дядя Миша.

— Откуда ж вы меня знаете? — почтительно пожал ладошку шофер.

— Рассказывал как-то о счастливом детстве, — снисходительно улыбнулся молодой Курдюмов, — как мы с тобою клапана затягивали.

— Когда?!

— Ну вот. Ты затягивал, я смотрел.

— Ну ты подумай! Во память, Нина Ивановна!

Нина Ивановна не ответила, прижалась головой к сыновнему плечу, вглядывалась снизу вверх в его смущенное усатое лицо.

Белая курдюмовская «Волга» катилась по маслянистому асфальту небыстро.

Нина Ивановна сидела рядом с Мишей, обернувшись назад, к молодым.

— Ребята, сейчас вы увидите такое, чего никогда не видели!

Красные полотнища тюльпанов тянулись вдоль шоссе, отделяя его от бледно-зеленых пространств, над которыми стремительно носились птицы в твердом голубом небе.

— Поля колхоза «Партизан»! — объявила Нина Ивановна. — Видите, как все ровненько? Председатель — Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда! — Нина Ивановна еще раз осмотрела поля, подумала и добавила: — Колхоз-миллионер!

Невестка сидела молча, уткнувшись в воротничок, Алексей смотрел в лицо матери, улыбался, закинув руку над спиной жены — не то обнимал, не то давал понять: имею право.

Нина Ивановна делала вид, будто не замечает, как сидит сын. Он встретился с нею глазами, улыбнулся.

— Жаворонки! — неожиданно сказал Миша, и невестка вытянула голову из воротника — смотреть.

— Откуда ты знаешь, что жаворонки? — спросила Нина Ивановна.

— Ну галки.

Над шоссе потянулись с опоры на опору три провисших под собственной тяжестью троса. Мачты уходили вдаль, раздвоенные кверху, к перекладине с черными бубличными связками изоляторов — две с краев и одна посередке. Видать их было далеко.

— Новая ЛЭП, — радостно объявила Нина Ивановна, — смотрите, ребята, видите — мачты рожками, облегченные! — Она сама засмотрелась восхищенно: — Недавно ее закольцевали! — Она резко обернулась к сыну, округлила глаза и заговорила страстно и даже гневно: — Представляешь? Мы ахнули, когда нас поставили перед фактом! Это же сумасшедшая стройка! Знаешь, на кого вышел папа?

— Ну, наверно, — улыбнулся сын, — на кого нужно, на того и вышел...

Нина Ивановна повернулась, села спиной.

— Мамочка, — примирительно улыбался молодой Курдюмов, — я просто плохо в этом понимаю...

Миша мельком глянул в зеркало. Ему показалось, что Алешка переглянулся с женой и не только переглянулся, но даже слегка придавил ладонью ее плечико.

Высокий шпиль, видный издали, то пропадал, когда шоссе бе-

гало в неглубокие распадки, то снова взметался. И вдруг приблизился и вырос в рост. Он уходил в небо серым штыком. Снизу почти до половины привалилась к нему немалая бетонная шестерня, за которой из штыка выходили два бетонных перекрещивающихся кольца с низанными на них бетонными же шарами (должно быть, подразумевалась молекула), и внизу подо всем — бетонные квадратные буквы: «Город Новый».

— Приехали? — спросил Алексей, как бы ища примирения с матерью.

Нина Ивановна встрепенулась, пояснила звонко, с гордостью:

— Граница будущего города.

Миша незаметно притормозил — чтобы увидели шпиль получше — и, проехав, добавил скорости. Шоссе снова оказалось в бескрайней степи.

Нина Ивановна обернулась:

— Представляете, ребята? Какой простор деятельности! Отсюда (кивнула на удаляющийся шпиль) до первого дома пока восемь километров. Пока! Отец всегда мечтал о таком просторе! Наконец-то можно строить без оглядки!

Миша снова посмотрел в зеркало на молодых. Ему показалось, что Алешка хотел что-то сказать, девчонка ласково, незаметно приподняла плечико, на котором все еще лежала Алешкина рука. «Наверно, девка регулирует его, когда нужно», — подумал Миша, встретился с Алешкой взглядом, и оба — шофер и молодой Курдюмов — подмигнули друг другу.

За окном тянулось черное поле впритык к дороге. Миша переменил руки на баранке, прикрутил окно, поморщился: из степи в машину пахнуло кислым зловонием.

— Большая химия? — спросил Алексей.

— Горе наше, — виновато пояснила Нина Ивановна, — удобрения... Колхоз «Партизан»... Он теперь получается на городской земле — теперь с ним справиться будет легче.

Алексей не понял:

— Как это — справиться? Он же — дважды Герой...

Невестка приподняла воротник к носу — дышать через ткань. Нина Ивановна рассмеялась:

— С непривычки! Ничего! Зато город будет замечательный! Вот увидите!

Дорога снова поднялась, и вдали, за следующим подъемом сквозь желтоватое марево проступили далекие коробки домов. Они лежали плоско и стояли торчком. Город возник вдруг, будто вылутился из марева, из ничего. Нина Ивановна покосилась на детей, глаза ее зажглись горделиво.

Но дорога наклонилась, и с подъема в распадок пополз зелененький, умытый летним теплом погост. Жидкие прозрачные деревца вставали над крестами и звездочками, над кроватными спинками оград, красных, зеленых, синих, серебряных...

— Кладбище? — спросил Алеша.

— К сожалению, — сникла Нина Ивановна.

— Почему — к сожалению? Естественно...

— Нет, дети! Это неестественно! Никогда с этим не соглашусь! Никогда не привыкну! — Нина Ивановна вдруг втянула носом слезы. — Двадцать восьмого числа похоронили Степу Пиунова. Ты помнишь его?

— Нет.

— Ну да... Ты был маленький. Нет! Я никогда не соглашусь. Если это естественно, нужно подальше от дороги. Зачем постоянно подчеркивать? Да еще — в молодых городах.

Алеша почувствовал, что Нина Ивановна суеверно опасается произнести слово «смерть». Он пожалел ее, но все-таки сказал:

— Мамочка, скрывать это удастся только от тех, кто об этом не знает. Но не все же дети.

И вдруг под бетонный мостик вползла из-за холмика кудрявая зеленая балочка, вынырнула с другой стороны и пошла петлять дальше в степь.

— Речонка,— взбодрилась Нина Ивановна,— будем загонять в трубу! Как Неглинную...

Невестка обернулась, провожая взглядом речонку. Алеша тоже обернулся, даже снял руку с жениного плеча, чтобы было удобнее.

— Называется Ненаглядная,— вдруг произнес Миша, помолчал и добавил: — Тут раки водятся... Мало, но есть.

2

Курдюмов поднимался, как всегда, в шесть. Ходил по кабинету тихо, стараясь не шаркать шлепанцами, говорил с женою шепотом, прислушиваясь к тишине, притаившейся за белой, плотно прикрытой дверью спальни, которую отдали детям. Зудеть электрической бритвой не решался (гремит, как бульдозер!). Отыскал в нижнем ящике стола старый желтенький станочек и обрадовался: в коробочке находился красненький пакетик, десяток лезвий «Тореадор». Пакетик не был еще и распечатан. Курдюмов вспомнил, улыбнулся:

— Смотри, Нина... Володя Свиридов... Когда родился Алешка... Сколько пролежали!

Неразговорчивость молодых смущала Николая Павловича. Ему казалось, что они знают какой-то невероятный язык, беззвучный, интуитивный, на котором общаются тайно, непонятно для непосвященных.

Молодая смотрела на свекра весело, смело, возможно, даже насмешливо. Николай Павлович припоминал, косился на себя — все ли на нем в порядке, не посмеивается ли девчонка.

— Доброе утро! — возвещала Наталья, розовенькая, чистенькая, прозрачная, в игрушечном фартучке, в косынке, завязанной надо лбом рожками.

Николай Павлович чувствовал, что должен изображать строгость, и эта игра весьма развлекала его.

— Ну, чего ты накрутила? — с наигранной брюзгливостью спрашивал свекор, садясь за стол и пряча удовольствие.

Нина Ивановна садилась рядом с мужем, как в гостях. Выходил Алексей, непременно целовал жену в ухо, для чего Наталья выдвигала голову вбок, как на выносном кронштейне. «Почему — в ухо, — размышлял Николай Павлович, — мода такая, что ли?»

Кот Пятница сидел у себя на верхотуре, держа голову бочком, наставив черное ухо локатором. Смотрел с некоторым высокомерием, которое, впрочем, объяснялось более тем, что находился он надо всеми. С того дня, когда он снова появился в доме, Николай Павлович держал дверцу наддверного шкафчика открытой. Когда туда залетал кот Пятница, никто не видел, но с утра он непременно сидел в открытой дверце и ждал, что будет. Когда раздавался чмок в Натальино ухо, Пятница мелко дергал локатором, будто стряхивая поцелуй.

— Наташа,— сказала Нина Ивановна,— ты прекрасно готовишь. Когда ты успела научиться? Наверно, мама у тебя кулинарка?

Алеша прыснул в стакан. Наталья сказала:

— Нужно варить на медленном огне. И — все...

— А ты откуда узнала, что нужно готовить на медленном огне? — выпрямилась Нина Ивановна.

— Не знаю.

— Но для этого нужно время.

— Я не тороплюсь.

— Мама, не трожь ребенка! — перебил Алексей. — Сгорят котлеты.

Курдюмов улыбнулся.

— Ничего смешного не вижу, — посмотрела на него Нина Ивановна. — шутки шутками, но мне бы не хотелось, чтобы у Наташи столько времени занимало все это.

— А я хочу — чтоб занимало! — сказал сын. — Иначе она сразу начнет управлять государством. Ты ее еще не знаешь!

— Алеша, — попросила Нина Ивановна, — постарайся без клоунады.

На невестку она не смотрела.

— Мама, бабы гораздо выносливее мужиков. Не надо им напоминать.

— Да! Выносливее! И этим надо гордиться!

— Плакать от этого надо, мама.

— Николай! Ты слышишь, что говорит твой сын?

— Почему — мой? — улыбнулся Курдюмов. — Наш... Общий.

3

Молодой Курдюмов работал отрешенно, выключенно. Иногда выходил, смотрел на жену, молча подмигивал и возвращался к своим книгам.

К вечеру все-таки отправлялся пройтись.

Наталя знала, спрашивать — куда, не следует. Алешка остывал от дневной работы, бредя куда глаза глядят...

Он шел по Четвертому кварталу, дошел до обрыва и увидел раскиданную старую избу. Дверь была снята с петель, на рыбных чешуйках, как на мелких гривенничках, лежала погнутая вывеска «Буфет от столовой № 6». Буфет был развален не весь, а как бы частично разобран для перестройки. Два плотника затесывали кругляки, сбивая топорами шепу, и щепа эта брызгала от глубокого незвонкого удара. Было еще светло, но на столбе уже тлел прожектор, направленный на работу. Плотники работали хорошо, неотрывно, выхукивая враз с ударом топора.

Алексей постоял, посмотрел и почему-то пожалел, что никогда не плотничал. А топор выгребал из бревна лишнее, и было этого лишнего ровно столько, чтобы, освободясь от него, кругляк принял в себя крест-накрест другое бревно плотно, нерушимо, как вросшее. Плотники работали с охотой, ладно. Было их больше чем двое: внутри постройки кто-то вздымал лесину, командовал: «Заноси, заноси...»

И, не желая торчать без дела, Алексей нехотя пошел мимо, сладко ступая по пахучей свежей щепе. Он спустился с обрывчика, попал на небольшой висячий мостик, сообразил, что под ним — Ненаглядная, и вспомнил, что ее будут загонять в трубу, как Неглинную.

Из-за бревен появился вдруг молодой сильный парень в комбинезоне, в длинных путаных волосах, на которых крышечкой сидел беретик с хвостиком. Лицо его было покрасневшим, крупным, с большими губами, большим носом. Усы тянулись подбрито к подбородку, крепкому и раздвоенному поперечной ямочкой. Усы он подбривал, должно быть, дня три назад. Глаза парня голубели чисто, без мутноты, законной при таком покраснении лица.

— Слышь, — сказал он Алексею Курдюмову, — мы не какие-нибудь такие. Я правду говорю, поверь...

Он приблизился лицом, в небесных глазах теплела искренняя мольба выслушать его. Алексей узнал на нем свои усы и свою шевелюру — только путаную и нечесаную. Парень поднял к носу Алексея тяжелую руку, отделил ногтем большого пальца крохотный, едва заметный кончик указательного:

— Вот столько надо. И за это мы — что хочешь... Но (разжал кисть, поднял указательный палец) — уважь и не перечь...

Плотник хукнул топором, приказал, не глядя:
— Валентин! Кончай...
Парень обернулся на приказ.
Алексей, не зная, что сказать (парень ему понравился), пошел по пахучей щепе.
— Слышь, друг! — позвал его парень. — Я правду говорю... Алё!

4

Молодой Курдюмов почему-то думал об этом парне. Он искал в нем свои черты и находил с удовлетворением.

По утрам Нина Ивановна заводила свои разговоры.
— Можно подумать, что я какая-нибудь ведьма! А я просто хочу, чтобы Наташа провела у нас время с пользой!.. Ты же должна поступать в университет.

— Зачем? — спросил Алеша, думая о парне.
— Как — зачем? — округлила глаза Нина Ивановна. — Человек должен иметь высшее образование!

— Кому должен?
— Как кому? Народу! Государству!
— Наташа! Ты чего-нибудь задолжала? — строго спросил Алеша. — Почему я узнаю о твоих долгах последним?

— У тебя какие-то странные шутки, сын...
— Это не шутки! Она задолжает, а я — расплачивайся?
— Так мне что, — подняла лицо Наталья, — не готовить обед?
— Дети! Я вовсе не хочу выглядеть пугалом, — сказала Нина Ивановна. — Я просто стремлюсь как-то упорядочить ваше время... Скажи сама, Наташа, чего ты хочешь?

— Жить, — тихо сказала Наталья.
— Но это — очень общо. Должна же быть цель?
— Не знаю.
— Странно, — холодно сказала Нина Ивановна.
Скобочки усов слегка раздвинулись на лице Алеши.
— Мама, она хочет быть чемпионкой и занимать какое-нибудь первое место...

— Ну что же, это не так плохо, — вздохнула Нина Ивановна, делая вид, что не замечает насмешки, — тот, кто занял первое место, вышагает тем самым всех своих товарищей.

— Ты думаешь, того он и добивается?
— Конечно! Если он честный человек... Его успех — это успех всех!

— Мамочка, я не желаю ни с кем разделять ответственности за достижения, которых не совершал.

— Твое высокомерие, сын, — все еще спокойно сказала Нина Ивановна, — это твое несчастье. Боюсь, ты прощутишь всю жизнь, так и не узнав радости творчества.

— Мама, — примирительно сказал Алеша, рассматривая кота. — Нужно просто делать свое дело. Желательно — без творчества.

— Ага! — возрадовалась Нина Ивановна. — Значит, что велят? Значит, быть слепым исполнителем?! Хорошо! Нечего сказать!

Алеша пожал плечами.
— Если не делать, что велят, — развалится дом.
Нина Ивановна сдерживалась через силу:
— Сын! Человек не тупой исполнитель! Он должен знать, что делает и для чего. Для чего!

— Чтобы жили.
Нина Ивановна не находила ответа. Слова ее были так просты, понятны и доходчивы. Ей никто никогда на них не возражал. Да и что можно возразить, если все так ясно! И вот — сын. Она не знала, как быть, и старалась говорить тихо, обыденно:

— Понимаешь, Алеша... Есть высшие интересы... Ради которых все личное отступает на задний план.

Теперь ей казалось, что она нашла слова. Сын подошел, наклонился, прижался щекою к щеке:

— Мамочка! Ты думаешь, если мы живем впопыхах, так это от высших интересов? Это просто от безалаберности, поверь мне.

— Как ты смеешь со мною так разговаривать? — дернулась Нина Ивановна.

Алеша выпрямился:

— Вот видишь — смеешь, не смеешь... Творчество, творчество, а в разговоре и слова не пикнуть. Ты ж боишься слов, мама.

Наталья делала вид, что вовсе отсутствует.

— Сын,— печально вздохнула Нина Ивановна,— у тебя нет ничего святого. Мне очень тяжело, но это так. Ты, Алеша, нигилист.

И вышла из комнаты.

— Теперь тебе легче? — спросила Наталья.

— Черт знает что,— порывлся в затылке Алеша.— Ну с чего я завожусь? Зачем мне это? Ты знаешь, Туз, это гены! Мать ведь, в сущности, проповедница. И во мне течет ее нуклеиновая кислота. И я тоже где-то пастор-наставник. Это гены, Туз! Генам, в сущности, один хрен, что проповедовать. Они ведь налажены на форму, а не на содержание.— Он шагнул было в спальню, но вдруг повернулся к жене и шепотом: — Туз, интересно, от кого схватит информацию наш парень?

— Может быть, он в деда,— спокойно сказала Наталья.

5

Граб уезжал из Нового и возвращался, ведя кинолетопись строительства.

Варвары уже не было, вместо нее сидела эта Марина в камуфляжном платице. Комендантша привечала Граба без указаний. Он приезжал уже как свой.

Мадам Баттерфляй встречала его весело, беззаботно, и в беззаботности этой он читал упрек: сам виноват...

Несколько раз она демонстративно появлялась с большелобым Афанасием.

Афанасий был главным эстетическим резервом Лыкова, Дмитрий Ярославич держал — сокровенно — небольшую ватагу художников-оформителей, знатоков интерьера. Погодина прилепилась теперь к этой ватаге.

Афанасий был всегда навеселе, всегда шумел преувеличенно. Какой он был мастер, Граб еще не знал, но отметил странное тяготение мадам Баттерфляй к реставраторам.

— Прекрасная тема! — приглашала Погодина.— Посмотрите, что делают эти энтузиасты!

Граб положил себе непременно посмотреть.

А пока он снимал город.

Прямоугольные газоны зеленели выверенно, проектно, однако через них тянулись желтые тропинки, сокращающие расстояния. Их протаптывали неуклонно, инстинктивно.

А Граб искал перспективу, гармонию этой неразберихи.

Курдюмов отчеркнул у Свиридова:

Экскаваторы, как утицы в малом пруду, крутятся вокруг себя, умащиваясь, разгребая и отбрасывая желтый грунт.

По едва застывшим бетонным мосткам, по свежему черному асфальтовому шороху, разворачиваясь виражами на развязках, с коих только что сняли опалубку,— несутся «газики», «бобики», «рафики»,

несутся, проскакивая как бы под брюхом домовозов, под крюками, ви-
сющимися с неба, под напряженными стрелами, вздымающими груз.

А меж «рафиков»-«бобиков» белыми лебедями среди серых кур
летят белые «Волги», врученные малым начальникам за заслуги перед
небом и землею. Летят белые «Волги», символы победы в соревнова-
нии участков, бригад, управлений. Под задними стеклами раскаленно
горят фибровые каски. Усталые шоферы вдавлись грудью в баранки.
Малые начальники смотрят вперед и только вперед — мытые-перемы-
тые, руганные-переруганные, обнесенные почестями и забалованные
славою, раскритикованные начальством и восхваленные репортерами,
но — железные, как арматура, на которой держится бетон! Они летят
вытрясать, выбивать, уговаривать, лукавить, агитировать к смеж-
никам, к субподрядчикам, к транспортникам, к кладодержателям. по-
тому что одна забота обворожила развороченную землю: даешь мон-
таж — в три дня этаж!..

6

Нина Ивановна услышала какую-то горячую речь еще на пло-
щадке. Она открыла дверь, привычно нащупав ключом неисправный
порожек в замке и преодолев его. Речь хлынула навстречу. Голос был
мужской, но не живой — записанный на пленку. Доносился он из
кухни.

Нина Ивановна несмело остановилась и увидела Наталью, кото-
рая вертелась в каком-то странном танце.

Магнитофончик висел на пуговичной ручке кухонного шкафчика
и кричал по-французски возбужденным непримиримым высоким го-
лосом. Наталья возилась на кухне, двигаясь так, будто из магнитофон-
чика неслась не речь, а музыка. Наталья ловила ритм этой речи и на-
ходила его точно, как сопровождение своего дергающегося танца. При
этом она чистила картошку, плюхала ее в воду, точно попадая в такт
и в кастрюлю. Она была увлечена, она даже не чувствовала, что на
нее изумленно смотрит Нина Ивановна.

На подоконнике сидел кот Пятница, лучась голубыми дышащими
глазами. Он не мог не видеть Нину Ивановну, но ее появление никак
не повлияло на него.

Магнитофончик верещал страстно. Если бы Нина Ивановна знала
по-французски, она услышала бы приблизительно следующее:

— Мир стал сыт, Тодо! Буржуа сидит дома в поролоновом кресле
и после обеда зырит в свой ящик последней модели! Жизнь у него ле-
нивая. Мыслей нет! Ему не о чем думать! Три эс богуют на этой зем-
ле! Секс, сайенс, спорт!

Картофелины вертелись в пальцах невестки с нарастающей быст-
ротой, отрывая тонкую бесконечную кожуру. Лапша кожуры убыст-
рялась, как речь.

Кот Пятница напряженно следил за кожей, медленно поворачи-
вая голову с настороженными черными ушами.

— Sexe, science, sport! — четко повторила Наталья и плюхнула
в лад три чистых картофелины в кастрюльку.

Кот резко выпрямил голову. Он видел Нину Ивановну, но она не
занимала его.

А магнитофончик будто выпустил весь свой запас и начал по но-
вому кругу:

— Для секса он туп — у него нет воображения! Для науки он
глуп — у него нет восторга! Для спорта ленив — у него нет воли, нет
силы воли! Он не способен участвовать ни в чем на свете, он требует
соучастия от других!

Этого захода оказалось ровно столько, сколько нужно было, что-
бы перенести кастрюлю на плиту и цокнуть ею о конфорку.

— Il veut une participation des autres, — крутанулась на каб-
лучке Наталья. Пятница вздрогнул и снова стал медленно поворачи-

вать голову, как на шарнире. Голубые глаза его смотрели на Нину Ивановну, будто приглашая вслушаться. Магнитофончик не унился:

— Он кнацает в ящик, как в замочную скважину, и требует, чтобы там заголяли баб, шмонали атом и гоняли шайбу! О Тодо! Ему надо встряхнуться безопасной для него стрельбой и чужими — не за ним — погонями! Чужими, Тодо!

— Des autres, Tодо! — повторила Наталья, присев к духовке, дергаясь танцем. Теперь кот, вздрагивая, опускал голову и внимательно следил, как опускается Наталья. Она четко открыла дверцу, посмотрела внутрь, закрыла, и магнитофончик уже поднимал ее с короточек — тоненькую, гибкую, замороженную музыкой змейку. А Пятница напряжился, присел и мелкими рывками ушастой головы следил, как Наталья поднимается, будто она и в самом деле была змейка.

Наталья вертелась, цепляя, как в игре, тряпицу, дверцу духовки, ручку сковороды, и Пятница четко ловил каждое ее движение.

Магнитофончик взрывал самого себя изнутри:

— Он боится шевельнуть своей душой, которая застоялась в нем, как жирная жаба! Его надо щекотать, этого ублюдка, этого недоноска!

— Set avorton! — крикнула Наталья на сковороду, держа ее одной рукой и вздымая над нею крышку под новую яростную очередь магнитофончика:

— Ему надо показывать чужую страсть во искупление его паскудного блуда, гадства! Он требует, чтобы перед ним выхлебывались академики и супермены! Во искупление дерьма, которым вместо мозгов набит его набалдашник.

— De la merde au lieu de cerveau! — дернулась Наталья, захлопнув духовку.

Нина Ивановна почувствовала замороженность этим странным спектаклем. Она не понимала речи, но это ей не мешало. Она вздрагивала в Натальины такты, будто магнитофончик и ей ворожил.

— Он любит, когда в телевизоре грабят банки, потому что дрожит за свои вонючие вклады! Он чувствует себя бесстрашным и бравым, не отрывая свой зад от кресла! Он уверен, что не поднимет лап перед шпалером! Тодо! Он филистер, я ненавижу это буржуазное самодовольство! Стрелять!! Стрелять!! Стрелять!

— Tirer! Tirer! Tirer! — радостно захлопала в ладоши Наталья. — Все. Алеша! Всё!

Кот Пятница прыгнул на пол и, задрвав черный хвост, независимо прошел мимо Нины Ивановны.

— Теперь по-испански! — отозвался Алеша.

— Нина Ивановна!

Наталья стояла раскрасневшаяся, но уже сникающая. Нина Ивановна улыбнулась:

— Я видела... Это теперь так учат язык?

— Не знаю,— смущенно пожала плечом Наталья,— это Алеша придумал.

Алеша вышел.

— Mam! А мы и не слышали... Ну как тебе мой метод?

— Во всяком случае — оригинально,— осторожно похвалила Нина Ивановна. — А о чем эта пленка?

Сын махнул рукою:

— А, мам, ерунда! Человечество не хочет умирать стоя, оно хочет жить, сидя у телевизора. Но, мама, не тревожься, это там, у них...

— И все-таки,— насторожилась Нина Ивановна,— кто это говорит?

— Яростный враг мещанства. На диспуте. Он там от них следов не оставляет! Просто молодец! Такие убедительные слова — почище Вольтера!

— Значит, и у них идет борьба с мещанством?

— Да, мам! Это теперь куда ни глянь — первое дело!

Нина Ивановна достала со шкафа маленький чемоданчик, оклеенный металлическими уголками. Одного уголка на крышке не хватало — из голой фибры торчала гнутая заклепочка. Чемоданчик не заперся. Нина Ивановна отвела большими пальцами полукруглые задвижки, язычки отщелкнулись враз. Она подняла крышку, оклеенную изнутри обоями, порылась в вещах и извлекла со дна небольшой мешочек, сшитый из лоскутка плащ-палатки. В мешочке что-то бряцало.

— Отвернись, — сказала невестке Нина Ивановна.

Наталья улыбнулась, предвкушая дар, повернула голову и зажмурилась.

Бережно, двумя перстами Нина Ивановна выудила из мешочка затейливую серебряную цепь. Витые звенья блестели чисто, а через три звена на четвертом держались мелкие бутоны черного серебра с жемчужинкой в пестике. Цепь тянулась на свет, цепляясь в мешочке за что-то с тихим звоном благородного металла. Наконец цепь освободилась, явилась полностью, закачавшись серебряным букетиком — черные листья и цветочки белесой бирюзы и запекшегося пунцового граната.

Нина Ивановна растянула цепь, держа в руках застежки. Букетик, как маятник, качался посередке.

Наталья все жмурилась в ожидании и открыла глаза, ощутив на шее холодный металл.

— Это тебе мой свадебный подарок, — отступила от нее Нина Ивановна, — нравится?

Вместо ответа Наталья подскочила и обняла свекровь:

— Очень нравится!

— Но ты же не видела, поди посмотри в зеркало.

— Все равно нравится!

И подняла ладонью серебряный букетик:

— Рубины!

— Гранаты, — поправила Нина Ивановна.

Зеркало было только в ванной и то небольшое, типовое, со стеклянной подставочкой. Большое зеркало, закутанное в мешок, стояло за шкафом — все не доходило руки приделать. Девчонка побежала в ванную, вертела головой, примериваясь к зеркалу: кулон был длинен, весь в зеркале не помещался.

— Алеша! — радовалась Наталья. — Алеша! Смотри!

Алексей вышел.

— Что тут у вас?

Нина Ивановна улыбалась, держа в руке мешочек. Наталья выбежала из ванной:

— Смотри!

Нина Ивановна чувствовала, что сейчас прослезится. Чувство это было каким-то странным, незнакомым — ей хотелось одаривать, отдавать, и от этого желания сердце плавилось, тепло, поджималось к горлу. Она подняла было мешочек, но сын отгородился ладонью:

— Стоп, стоп, стоп! Не все сразу! Побереги про запас.

— Но это все — ваше! — резко протянула мешочек Нина Ивановна. — Это же ваше наследство!

— Тогда пиши завещание! — сказал сын. — Носи, мать, сама! Ты у нас еще совсем юная пионерка!

Наталья донельзя расширила глазки на мешочек и помирала — что там в середке? Нина Ивановна не устояла перед невесткиным

любопытством, шагнула к столу, высыпала с мягким звоном содержимое. Небольшие цацки, сверкая гранями, светясь многозначительной желтизной, рассыпались по столу, но рассыпались, не разбегаясь, держась кучкой, нехотя, тяжело, без разбега. Лучики, вспыхивающие на гранях камешков, бодрили настораживающим замиранием, будто излучали опасливую радость.

— Грановитая палата,— удивленно протянул Алексей без всякого смеха. Невестка молчала, взявшись ладошками за горло и приоткрыв рот. Нина Ивановна стояла у стола, подняв голову и чувствуя, что глаза влажнеют.

Кот вспрыгнул на стул и мягко положил черные лапы на край стола, уместив меж лап мордочку. Глаза его тлели светлой бирюзой.

— Мать,— спросил Алексей,— откуда это?

— Папа дарил,— с неожиданным вызовом сказала Нина Ивановна.

— Но ты же никогда этого не надевала!

— Случая не было... Вот сережки ношу (потрогала пальцами мочки, как бы проверяя, на месте ли серьги), папа велел проколоть уши. Когда ты родился.

Алексей сказал жене:

— Наташ! Ротик прикрой!

Наталья рассмеялась:

— Можно, я потрогаю?

И — к столу, разгребать цацки.

Нина Ивановна посмотрела на невестку с некоторой ревностью. Все-таки порыв увлек далеко: может быть, не надо было — вот так, сразу, высыпать из мешочка. Но порыв все никак не унимался. Она взяла колечко, золотенькое с тремя малыши камешками — посерединке чистой воды, по бокам — зелененькие, повертела перед глазами, чувствуя, что подарит, не удержится, обязательно подарит! Невестка глянула украдкой, должно быть, догадалась, о чем колеблется свекровь. И взгляд этот вдруг оборвал порыв Нины Ивановны. Она надела перстенок на безымянный палец левой руки. Перстенок шел туго, нехотя, непривычно.

— Наташа,— улыбнулась Нина Ивановна, справившись с перстеньком,— а ты жадная?

Невестка подняла голову, сказала честно:

— Не знаю. Мне все это очень нравится. Но я не знаю. Алеша, я жадная?

— Само собой. Все бабы жадные!.. Кольцо это будешь носить сама! Мама, не вздумай снимать! Наташка! Брось драгоценности! Знаешь, сколько на них пота, крови и других следов прибавочной стоимости?

Кот направил ухо на Наталью. Вопрос, должно быть, интересовал и его.

Порыв окончательно оставил Нину Ивановну:

— Зачем ты так говоришь, Алеша? Папа работал. Я — тоже..

— В таком случае — убавочной стоимости! А ты убери свои мелкобуржуазные паучьи лапки! Встань! Отойди к стенке!

Кот Пятница потерял интерес к происходящему. Он спрыгнул со стула, лениво подошел к окну и, мягко взлетев на подоконник, стал умываться, выставив пистолетиком черную лапку.

Наталья послушно отошла от стола. Алексей посмотрел на нее, оценил:

— Ну, хороша... Цепь, как на бургомистре... Мама, неужели у тебя нет большого зеркала? Пусть хоть посмотрит на себя!

— Есть. Стоит завернутое. Нам же некогда..

— А у меня времени — вагон,— сказал Алеша, не отводя глаз от жены.— Инструмент есть в доме?

— Инструмент? А какой тебе нужен инструмент?

— Прокатный стан, штамповальное устройство, паровой молот, карусельный станок... Мамочка! Молоток и отвертку! Гвозди, шурупчики!

— Наверно, есть у Миши в гараже,— сказала Нина Ивановна и стала сгребать в мешочек цапки, как крошки со стола.

Снова зазудел звонок.

С площадки в прихожую сунулся как бы сам собою огромный букет роз. Цветов было так много, что они вызвали растерянность. Из-за цветов хмурился рыжий Петруха:

— Извиняюсь, конечно...

— Вот это да! — всплеснула руками Нина Ивановна. — Откуда это?

— От Потапенки. С «Партизана»,— сказал Петруха,— с оранже-рей... Дмитрий Ярославич велел. Они задерживаются.

— Дети! — закричала Нина Ивановна. — Это лыковские номера! Этот князь иначе не может! Входите, пожалуйста! Входите!

— Не могу,— сказал Петруха,— Дмитрий Ярославич велел Потапенке швеллер отвезти...

Курдюмов смотрел на Наталью.

Она кружилась, прижимая к себе влажную охапку цветов. Столько роз сразу ей никогда еще не приходилось принимать. Розы были робкие, едва пробившиеся сквозь твердую зелень бутонов. Слабые колючки, прячась в мелкозазубренных листочках, покалывали Наталью не больно, а как бы деликатно, давая понять, что это не сон, можно смело кружиться дальше, не опасаясь исчезновения роз.

Алеша смотрел на жену, испытывая незнакомое прежде чувство восторга, не относящегося ни к чему, возникшего ни из-за чего. Привыкший анализировать, он вдруг отметил, что такое чувство, должно быть, испытывают дети, котята, щенята — все, что представляет собою надежду природы, ее мощный фонд, не оскверненный предрассудками. Но к чувству этому вдруг, будто тоже ниоткуда, подскочил деревянный незвонкий шарик ревности, ударился ни обо что и высек обидную мысль, что радость эту доставил не он.

Явились Лыковы.

Розы стояли в белом эмалированном ведре на подоконнике. Кот Пятница смотрел на них внимательно, будто считал.

— Вы мне доставили огромную радость, Дмитрий Ярославич,— сказала Наталья.

— Рад служить.

Галина Сергеевна окунула личико в цветы:

— Дмитрий! Я ревную! Этого я тебе никогда не прощу!

— Это твой вопрос,— сказал Лыков.

— Сколько просьб у любимой всегда — у разлюбленной просьб не бывает!

На Галине Сергеевне был балахончик с дыркой для головы, на этот раз красненький, хотя тоже из кокетливой дерюжки. Она была возбуждена, говорила преувеличенно радостно.

— Я даже вам немного завидую! Дети уже выбрали дорогу в жизни! Это прекрасно!

«Наверное, поругались»,— подумал Курдюмов.

— Мать,— тихонечко сказал Лыков, но Галина Сергеевна не отреагировала.

— Я считаю дни, когда и наш сын... вот как Алексей, углубится в дело...

— А чем он хочет заняться? — вежливо спросил Курдюмов.

— Я бы хотела, чтобы он был гуманитарием! Точные науки уже всем надоели! Вы помните, как мы все преклонялись перед физиками? Они были засекречены... Теперь пришла пора гуманитариев!

— Вы думаете, их тоже засекретили? — спросил Курдюмов.

Галина Сергеевна рассмеялась:

— Вы меня сочтете отсталой и провинциальной, но я плохо разбираюсь в новых веяниях, хотя полностью признаю их.

— Как же?

— Так же, как я не понимала в физике, признавая за нею глубину... Сейчас входит в моду определенное гоголевское направление. Я чувствую — направление глубокое. Но лично мне, буду откровенна, больше нравятся его полезные произведения — «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души»... А эти — где черти — я, честно говоря, не понимаю... Но направление это идет так, как будто главное — это по-тусторонние силы... Как будто черти действительно существуют.

— А вы уверены, что их нет? — спросил Алеша.

— Я довольствуюсь тем, что мне положено знать, а тому, что не положено, я просто доверяю.

— И правильно делаете! — сказал Алеша.

Снова зазудел звонок.

— Я сам, — сказал Лыков, будто ждал звонка.

Он вышел и вернулся, прижимая к себе бутылки шампанского.

— Дмитрий Ярославич! — воскликнула Нина Ивановна. — Вашим благодеяниям нет конца!

— Куда вы гоняли машину? — ревниво спросил Курдюмов.

— В Усть-Пески! Он еще у меня получит за задержку...

— Строговато, — улыбнулся Курдюмов и подумал о Мише.

Лыков догадался:

— Вы с Михаилом Васильевичем (знает имя-отчество!) не равняйтесь... Он — теремной, хоромный. Член семейства. А моих надо еще выращивать. Из лопухов.

Курдюмов ничего не сказал, посмотрел в темноватые очки Лыкова. Дмитрий Ярославич дернул носом:

— Аристократ знает свое место, какое бы ни занимал. А плебей не знает...

— Это из римской истории? — спросил Курдюмов.

— Ага. Из древнеримской...

Лыков по-хозяйски выставил бутылки — их оказалось шесть штук.

— Для ровного счета, — сказал Дмитрий Ярославич, — подюжины!

Галина Сергеевна посмотрела на Нину Ивановну победительно. Нина Ивановна оценила ее взгляд:

— У вас замечательный муж...

Галина Сергеевна подошла к розам:

— Алексей, ну о чем же все-таки ваша работа?

Алеша не хотел отвечать:

— Да так, в общем... О жизни людей...

— Но все-таки в данный момент вы занимаетесь чем-нибудь конкретно?

Алеша вопросительно посмотрел на Наталью и прочел в ее глазах точный совет: «Не вяжись».

— Ну, в общем, это все... Так. Малоинтересно...

— Но все-таки! — лучилась Галина Сергеевна.

Алеша вздохнул:

— В данный момент — Чарлзом Дарвином.

Услышав о Дарвине, Нина Ивановна вмиг подумала об обезьяне, присмотрелась к личику Галины Сергеевны и обнаружила, что верхняя губа Лыковой несколько удлинена, а маленький красивый подбородок все-таки немножечко скошен. Неужели издевается? Но если ради своих красных словечек он не щадит родную мать...

— Дарвином? — удивилась Галина Сергеевна. — Но ведь про него все известно.

— Возможно,— улыбнулся Алеша,— но меня интересуют обстоятельства предположений... Гипотез...

— Как предположений? — строго спросила Нина Ивановна.

Наталья почувствовала, что проповеднические гены уже шевельнулись в Алешке. Гены она представляла себе как голубенькие шустрые шарики, то сбивающиеся в кучку, то разбегающиеся в стороны.

— Мамочка,— ласково сказал он,— старик жил в эпоху бурного развития конкуренции. Кто смел, тот и съел. Возможно, его открытие было предположением, основанным на наблюдениях всего этого...

— И что из того? — насторожилась Нина Ивановна.

«Не вяжись, не вяжись, не вяжись», — диктовала Наталья.

— Меня интересуют ситуации, в которых находятся люди в момент своих открытий,— вздохнул Алексей.

— Значит,— сказала Нина Ивановна,— ты механически переносишь общественные отношения на законы природы? Оригиналь-но...

— Это очень интересно! — воскликнула Галина Сергеевна.— Нельзя переносить биологические законы на общество. А наоборот, значит, можно?!

— Можно! — заявил Лыков.— Перейдем к следующему вопросу...

— Погоди, Дмитрий! Это же очень интересно! Алексей! Приведите, пожалуйста, еще один пример!

«Ну надо тебе было?» — спросила взором Наталья.

Алеша вздохнул. Он понимал, что тонет.

— Ну вот,— опустил он голову.— Жюль Верн... Великий фантаст?

— Великий! — подтвердила Нина Ивановна, как бы заранее заступаясь за Жюля Верна.

— А из чего у него был сделан корабль будущего? Из какого материала?

— Как из чего? — удивилась Нина Ивановна и посмотрела в глаза Лыковой.

Галина Сергеевна пожала плечиком:

— Из материалов будущего!

— Он был склеен декстрином из бумаги,— мягко сказал Алеша.— Хотелось из сверхпрочной пластмассы, но тогда даже слова такого не было. А декстрин был. И бумага была. Старик (опять старик!) пользовался подручными средствами в своей фантазии...

— Я не знаю, из чего был сделан корабль,— строго сказала Нина Ивановна,— важен дух произведения!

— Конечно,— согласился Алеша,— развивалась техника, и хотелось, чтобы она попала в хорошие руки. Но это... старая проблема — нравственна ли наука...

— А вы как считаете, Алексей?

— Никак. Нулевая она. Вроде ножа. Можно резать хлеб, можно убить человека. В чьи руки попадет.

— Не знаю,— сказала Нина Ивановна,— ты все приземляешь...

Из письма Свиридова к Варваре.

Кстати, Варя, о летающих тарелочках.

Я их не видел. Но меня и не занимает — существуют они или не существуют. Меня занимает смысл легенд, возникших вокруг них.

Смысл этот состоит в том, что инопланетяне, располагающие техническими возможностями, не нам чета — благородны, справедливы и даже сентиментально добры. Они не делают зла. Они наказывают только в крайнем случае. К ним полностью относится древняя гуманная заповедь в индусской чалме: мудрый побеждает неохотно...

Смысл легенд отражает состояние современного и про мышления.

Земная техника, отчаянно воспетая в стихах и в музыке, накопила слишком реальную опасность для рода людского. Чудовищные разрушительные силы могут быть сдержаны не хитроумными рычагами

и кнопками, а только простым человеческим нежеланием нажимать на них.

Пушкин не воспевал техники, несмотря на то, что в его время паровой бум вознес суетную гордыню цивилизации до небывалых высот. Пушкин пел добрую волю. Может быть, потому, что он был гений.

Так вот о доброй воле. В сегодняшних легендах она является к нам извне. Она прилетает из более высоких цивилизаций, являя собою пример мудрости...

Любопытно, что не так давно, еще на моей памяти, когда земная техника не располагала и тысячной долей того, чем располагает теперь, легенды об инопланетянах бывали совсем иными. Мы не боялись себя и потому не боялись их. Мы высокомерно и беззаботно рисовали их злыми и беспощадными. Земляне наводили порядок на их заблудших планетах. Впрочем, вымыслы эти мало кого занимали. Они относились к области игры ума, к области развлекательной фантастики...

Нынешние пришельцы занимают всех: потребность в доброй воле сделалась реальной, будничной и неотложной.

Вчерашние силы зла вынуждены сегодня творить добро. Мы щедро приписываем свои заботы тем, кто о нас, возможно, и знать не знает и ведать не ведает. Мы ждем от них того, что должны делать сами.

Идеи правят миром, Гегель прав. Но всякий раз для того, чтобы возникла идея, человечеству приходится преобильно стучаться физиономией о несъедобные предметы своей предыдущей бодрой деятельности. Это называется критика действительностью. Самый дорогостоящий и — увы — самый неизбежный род критики...

— Не знаю,— сказала Нина Ивановна,— ты все приземляешь... И потом, твои рассуждения относятся к прошлому.

Почувствовав, что Алеша готов снова завестись, Наталья тихо сказала:

— Алеша, это очень специально. Не всем интересно...

— Почему не всем?— сказала Галина Сергеевна.— Алексей! А нет ли у вас чего-нибудь более близкого по времени?

Алеша посмотрел на Лыкову с тоскою, но помимо своей воли все-таки продолжал, удивляясь, что никак не может переключиться:

— Ну, например... При помощи внешних факторов можно изменять природу. Переделывать виды растений, животных...

Кот Пятница вспорхнул на его колени, кольнув коготком. Алеша принял кота, погладил.

— Но ведь эта ошибка исправлена! — воскликнула Нина Ивановна и посмотрела на всех сразу. Она ощущала странную смесь чувств: гордость за сына, который оригинально мыслит, и удручение оттого, что с ним приходится спорить.

Сын поглаживал кота по мягким податливым ушам.

— Ошибка или не ошибка — не знаю. Я знаю, что возникла она при определенных отношениях. Если мы можем, как казалось, запросто переделывать людей, привычки, уклад, взгляды, то с природой мы наверняка справимся. Вот и все.

Лыков заинтересовался наконец:

— Тут что-то есть, парень! Насколько я понял — сегодняшние заботы сильнее вчерашних замыслов.

— Вот именно! — сказал Алеша, почувствовав, что гены носятся в нем, как угорелые. Наталья вздохнула и поняла: муж нашел себе седника.

— Это очень интересно,— начала было Галина Сергеевна, но Лыков перебил:

— Погоди...

— Мне кажется,— сказал Алеша Лыкову,— люди читают не то, что написано, а то, что хотят прочесть. И слышат не то, что звучит, а то, что хотят услышать...

— И видим то, что хотим увидеть! — весело продолжил Лыков.

— Вот-вот... Понять гипотезу, значит, по-моему, изучить время ее возникновения...

— Хвалю,— сказал Лыков,— тут что-то есть. Но — некогда... Некогда, Алексей Николаевич! Некогда! Людям жить надо! Черт с ними, с гипотезами!

— Черт с ними! — махнул рукой Алеша, обрадовавшись концу испытаний.

Николай Павлович, молчавший все время, вдруг спросил:

— Ну, а твоя эта теория... В результате чего?..

— Папа,— сказал молодой Курдюмов,— тебе ведь неохота принимать у Качанова недоделанный квартал? Ты переоцениваешь ценности... Вот в результате этого нового обстоятельства...

— Борьба за сосуществование,— сказал Лыков,— тут что-то есть.

Николай Павлович посмотрел на Лыкова и подумал о Качанове, о естестве действительности, которое он предрек. Что он имел в виду?

— Однако,— дернул носом очки Лыков и поднялся в рост,— мы как-то странно проводим время. На столе уже стоит шампанское, а мы теоретизируем, как будто его еще нет, как будто это еще — гипотеза. Надо перейти к практике...

— Молодые люди подумают, что ты пьяница,— сказала Галина Сергеевна.

— И правильно сделают,— неприязненно ответил Лыков.— Я мечтаю об этом! Что такое пьяница? Понятный человек. Во всяком случае, не теоретик... Если у Алексея Николаевича нет больше теорий — приступим к делу!

Слова эти задели молодого Курдюмова. В них звучала та скрытая снисходительность, которая не всегда ему давалась. Ну зачем он всерьез сунулся проповедовать? Алеша был недоволен собою. Он виновато искал Натальины глаза. И как всегда в таких случаях, Наташка взяла мужнину неловкость на себя:

— Дмитрий Ярославич, у Алексея Николаевича не так уж много теорий. Вам показалось с непривычки...

— Ого! — воскликнул Лыков.— Ребята, вы мне нравитесь, дай вам бог...

Лыков с какой-то странной для него тихой грустью взял бутылку, содрал фольгу, отмотал проволочку и вынул пробку. Шампанское не то что не хлопнуло, не издало ни звука. И, лишь попав в стакан, будто спохватилось, проснулось, зашипело, вспенилось, подбегая к краям.

Лыков разлил в стаканы, сказал, ожидая, пока вино уgomонится:

— Знаете, молодые люди... Хочу думать, что вы совпадаете. Держитесь. Всегда держитесь друг друга. Любовь — это не только когда обнимаются. Надо еще прижиматься спинами для круговой обороны... Тогда крепче.

— Мрачно! — воскликнула Нина Ивановна.— Мрачно!

— А мне нравится,— сказала Наталья, цепко глянув в глаза свекрови.

Лыков посмотрел на нее и поднял стакан:

— Если собрать в единый куб весь бетон, уложенный моим начальником и, смею надеяться, другом Николаем Павловичем Курдюмовым за всю его трудовую жизнь,— сооружение получится впечатляющее — два километра по ребру! Два на два — четыре, да еще на два — восемь! Восемь кубических километров бетона! Вытянуть их вдоль — выйдет стенка высотой в километр, шириною в километр и длиной отсюда до городской вехи!

— Вот это да! — радостно воскликнула Нина Ивановна. — Николай! Так много?!

— Это еще не все, — строго перебил Лыков. — Поставить — встанет обелиск высотой в восемь верст! Чтобы обойти его по периметру, нужно топать сорок минут форсированным солдатским шагом и час — прогулочным... Конечно, подсчет суммарный, оптимальный. Не учтены припуски, брак, слитый впопыхах раствор...

Лыков говорил с преувеличенной серьезностью. И только слова с буквой «р» говаривал нарочито, по-прорабски пренебрежительно.

Курдюмов представил себе воображаемое сооружение (даже голу поднял к потолку). Курдюмов отдыхал. Лыков молот чепуху, и чепуха эта отпускала Курдюмова, как тепло отпускает закаленную поковку. Что же врал Качанов про естество жизни?

— А если весь этот бетон вытянуть по экватору, — неожиданно сказал Алексей, — получится кольцо сечением ноль сорок!

Он сам удивился, что так быстро подчитал.

Лыков посмотрел на него журавлем:

— Вот и философ подсказал интересное решение! Надо обсудить, Николай Павлович...

Курдюмов вообразил это кольцо и почему-то одобрил его больше, чем обелиск. Он представил себе несложную арматуру — квадратиком, нормального сечения. Забава ему понравилась.

— А если до Луны тянуть? — не выдержала Наталья.

— Получится сечение ноль-ноль два! — серьезно ответил Лыков.

— А как же вы туда арматуру запихнете? — заинтересовался Курдюмов и раздвинул пальцы, показывая, сколько это приблизительно — ноль-ноль два.

— Так мало? — разочарованно спросила Наталья.

Курдюмов рассмеялся.

— Кто еще хочет сказать о Николае Павловиче Курдюмове? — нахмурился Лыков.

— Да ладно вам, — отмахнулся Курдюмов. — Вот сидят молодые... Про них и давайте...

— Нет! — возразила Нина Ивановна и резко встала. — Я хочу сказать о моем муже, — раскраснелась Нина Ивановна. — Не потому, что муж... А впрочем, именно потому! Да! Потому! Я благодарна ему за счастье, которое он... Которое у нас было всю жизнь! И если бы можно было начать с нуля, я бы другой жизни, другого мужа, другого счастья никогда бы не хотела!..

— Горько! — неожиданно для самого себя пробормотал Лыков.

Но его никто не поддержал.

Нина Ивановна стояла красная, даже пунцовая, и пересиливала бессмысленной улыбкой подрагивающее лицо. Она пыталась с силою выровнять губы. Брови удивленно вскинулись над переносицей к беспомощно задвигавшемуся лбу, большие, как град, детские слезы нехотя выкатились из уголков глаз и потекли под темными веками, как по заранее уготованным желобкам.

— Ниночка, — встал Курдюмов, — что же ты, детка... Я же — вот он... Куда я денусь?..

В последние дни Наталья все куksилась. Нина Ивановна вдруг сообразила: неужели? Этого еще не хватало. Нина Ивановна смутилась и решила, что говорить об этом должна с сыном, а не с этой девочкой. Сын, конечно, знает, как не знать. Вспомнила, как когда-то сказала Николаю, и покраснела от воспоминаний. Николай тогда просунул руку ей под затылок, прижал к себе голову (лежали в постели в том самом закутке, где теперь лыковский кабинетик, зеленоватый рассвет робко проникал сквозь занавесочки). Николай потерял утренней, еще небритой щекой о щеку (Нина Ивановна и шершавость эту

помнила подробно), протянул свободную руку, погладил по голому животу, повернулся, стал целовать в губы жарко, благодарно. «Ты с ума сошел»,— только и успела шепнуть Нина Ивановна, ощущая томливую покорность...

Наверно, и Алеша так узнал. Тяжелая ревность лопнула и разлилась в Нине Ивановне. Зачем ей знать, что там у них и как? Все, что было, могло быть на целом свете только у нее с Николаем, у других не могло быть и не должно было быть. Стыдливая тайна эта была сокрыта ото всех и запретна и недоступна никому, и, натываясь в книгах на тайну эту, Нина Ивановна ощущала себя обобранной, оскорбленной чужим соучастием и даже разоблаченной.

И вот, пожалуйста, разоблачение вошло с сыном и этой девчонкой. Они повторяли— нет, не повторяли, передразнивали ее тайну.

— Алеша,— сдержанно спросила она,— у вас будет ребенок?

Сын даже не обернулся, отвечая:

— Надо полагать.

— Почему же ты молчишь?

Он удивился:

— А чего — кричать? Закричит — услышишь.

— Но все-таки, Алеша... Как же вы будете?

— Обыкновенно.

— Послушай, Алеша... Это все-таки серьезно. Не так просто.

Сын рассмеялся:

— Знаешь, мама, это оказалось так просто — мы даже удивились!

— Перестань! — вскрикнула Нина Ивановна, покраснев и положив ногу на ногу.— Откуда у тебя столько бесстыдства? Никого это не интересует. Как можно об этом так говорить?

— Ну, мамочка,— протянул сын,— это действительно просто.

Нина Ивановна вздохнула, поднялась, подошла к окну.

— Как вы будете жить? Вы же еще сами не устроены.

— А мы его — к бабушке! — выпалил Алеша.— Пока устроимся!

Нина Ивановна обернулась:

— Но бабушка уже старенькая...

Молодой Курдюмов улыбался широко (очень был похож на Николая в хорошую минуту):

— Мама! Это моя бабушка — старенькая! А его бабушка — молодая!

Нина Ивановна опустила в кресло и смотрела на сына, опустив подбородок от удивления:

— Алеша...

А сын улыбался, и улыбка его перепорхнула на побледневшее лицо Нины Ивановны:

— Алеша... Это я — бабушка?!

— А кто же еще, мама?

— Алеша,— Нина Ивановна поднялась, подошла, подняла руки, дотягиваясь до его плеч,— Алеша... Значит, я — бабушка?

Алеша смотрел ей в глаза:

— Ладно, мама...

Это «ладно, мама» она слышала все чаще. Оно ворвалось в жизнь нечаянно, ниоткуда и сделало жизнь настороженной, незащищенной, пресматриваемой со всех сторон.

— Алеша... Может быть, вам помочь с кооперативом?

Алеша улыбнулся:

— Поможете — спасибо.

Неужели родит, чтобы привязать его? Но почему она так о ней думает? Ах, как нехорошо! Это же — неправда! Почему в голову лезет неправда?

Этот рейс комбинатского самолета увез и детей, и Нину Ивановну (улетела хлопотать о библиотеке). С ними улетел и Граб.

Курдюмов остался вдвоем с котом Пятницей.

А в управлении вместо Варвары — Марина.

Николай Павлович все никак не мог приловчиться. Марина Аркадьевна. Какая Марина Аркадьевна, когда должна быть Варвара Никитична...

— Николай Павлович, — открыла дверь Марина, — из министерства...

Курдюмов кивнул, взял трубку. Взял без тревоги, будто зная, что берет в последний раз. Сердце билось спокойно, отчужденно. Николай Павлович слушал далекий резкий суетливый голос, торопящийся избавиться от слов, которыми звучит. В голосе этом Курдюмов уловил забавный оттенок виноватой настырности, когда нужно переложить свою вину на невиноватого, который обязан ее ликвидировать... «Как дети, — подумал Курдюмов, — чур, не я!» Он не огорчился, а только вздохнул.

Выслушал, положил трубку, стараясь не цокать ею, позвал Варвару. То есть Марину:

— Лыкова...

Лыков вошел немедленно — как ждал за дверью.

— Дмитрий Ярославич, надо развязывать руки Качанову.

— Пересчитали? — нервно спросил Лыков и сел. — Семь пятниц на неделе!

Курдюмов посмотрел на него, усмехнулся:

— От естества действительности...? А? Дмитрий Ярославич? Знал он? Как вы думаете?

— Значит, принимать Восьмой квартал?

Курдюмов развел руками:

— Грандиозный Комбинат расширяется на целый гектар...

— Красиво говорите. Как в газете.

— Это не я. Это меня по телефону так обрадовали.

Лыков закурил.

— Они же год! Целый год морочили... Дистраивать площадей не будете! И — нате! А я знал, что подсунут! Знал!

— Ничего вы не знали, Дмитрий Ярославич. Развяжем товарищу Качанову руки. Примем все как есть. Незавершенка. И пускай дистраивает новые пересчитанные производственные площади. Придет-ся нам с вами пойти на это.

И — надавил кнопку:

— Качанова...

— Не надо, — сказал Лыков. — Я сам позвоню.

— Да он, наверно, знает уже.

— Тем более. Вам не надо, Николай Павлович. Пусть не дождет-ся, чтоб вы — на попятный.

— Может, и не дождет-ся...

Николай Павлович брел домой, ощущая тяжелый страх: вот не дойдет он сейчас, не дойдет, грохнет-ся и — конец! Грудь давило так, будто лежал он навзничь, а на него портовым краном опустили контейнер с оборудованием, сизый контейнер с заморскими буквами на боку, с зонтиком, со стрелками, с бокалом... А между тем он шел, и не было у него сил даже пожалеть о том, что не вызвал Мишу. Да и зачем звать? Идти-то через дорогу!.. Сил не было ни на что. Придерживаясь за дощатую ограду, Николай Павлович вдруг последней мыслью уцепился за вздор: вот сейчас все увидят — пьян директор Комбината! Пьян директор Комбината! А он не пьян. Он не пьян! Он умирает по предсказанию товарища Качанова. Он умирает от естества жизни!

И ничего уже не понимая, в беспощадном страхе, в необузданной власти боли Николай Петрович опустился на колени и припал к нечистым, пахнущим сырыми цементными брызгами доскам...

Очнулся он все от той же боли, от нервных голосов и почувствовал немую свою руку в сухом мягком тепле. Усталость (как будто жизнь ушла, ничего не оставив) не давала шевельнуться. Он видел Варвару и, не удивляясь, что видит ее, зная, что она должна быть, пока еще есть он сам, умиротворялся последней благодарностью к своей памяти.

— Я здесь,— услышал он из небытия, и оттого, что услышал, сознание его прояснилось. Николай Павлович приподнял веки.

Беспощадная усталость слабо всколыхнулась милосердием. Он попытался улыбнуться и прикрыл глаза.

— Нетранспортабелен,— сказал кто-то.

— Хорошо,— сказала Варвара голосом Погодиной — как во сне.

Сон был так могуч, что Николай Павлович уже ничего не слышал.

Мадам Баттерфляй стояла на коленях, уткнувшись лицом в чужой матрац и стараясь не шевелиться, не мешать, не быть, плакала тихо, беззвучно, истомленно, будто долго, очень долго ждала этого случая и — дождалась. Она плакала долгожданными слезами, для которых была создана и которыми еще не плакала ни разу в жизни...

А в квартире сидели врачи, Миша, Лыков и еще какие-то люди и решали, как быть в связи с тем, что больной нетранспортабелен.

Дверной звонок позвал в прихожую.

— Я сам,— сказал Лыков и открыл дверь.

— Телеграмма! — резко объявила девчонка с почты. Беззаботная юная надменность холодила ее кирпчатое личико.

— Давай...

— Распишитесь! Это ваш кот?

Кот Пятница стоял возле крепких ног девчонки, возле босоножек, из которых торчали покрытые пунцовым лаком ногти больших пальцев.

Лыков не ответил. Он посмотрел на сложенную телеграмму, подумал и развернул.

«Выбила тридцать восемь полных собраний классиков русских советских зарубежных целую люблю Нина».

Глава седьмая

1

Лыков воссоздал «Бригантину» размашисто, щедро. Можно было подумать, что изба эта — памятник старины. Большелобый Афанасий пришел докладывать Дмитрию Ярославичу. Смотрел угрюмо, даже ненавистно:

— Экстерьер а-ля терем де боярин кюльтюрель! Семнадцатый век, не позже... Прибавить бы надо, барин.

— Сопьетесь,— так же угрюмо ответил Дмитрий Ярославич,— пойдем, покажешь...

Лыков торчал посреди избы, чуть не подпирая резную матицу.

Новые столы (не какой-нибудь пластик, а лежалый дуб, плахи) стояли чисто, струганные поверхности, подпаленные паяльной лампой,— будто обгорели в каком-то древнем пожаре — лоснились неброским лаком. Столы держались шипами — ни одного гвоздя, куда там! Шипами же скреплены были и лавки.

Тяжелая изразцовая печь выступала углом из дальней стены. На шестке — вроде как бы очищенном со всем тщанием от сажи, но не до конца ввиду невозможности — стоял немалый чугунок. Зеленоватые изразцы (всадник, разящий змия) светились глазурью, как подновлен-

ные. Окна, забранные неширокими витиеватыми наличниками древней ручной работы, затянуты были свинцовыми рамами в некрупную клетку и застеклены старинным цветным стеклом — синеватым, червленым, желтым...

Лыков придирчиво осматривал сделанное. Черти, все-таки! И свинец, и пузыристые стеклышки, и изразцы — не подкопаешься, хоть ногтем колупай! Присмотрелся к наличнику, вздохнул: даже заусеницы предусмотрели!

Большелобый Афанасий, мрачный по случаю окончания работы, смотрел на начальство высокомерно. Помощникам своим — мастерам и подмастерьям — не велел показываться. Ватага ждала на берегу Ненаглядной, у мостика, пока Лыков насмотрится всласть.

Лыков держал дизайнерскую мастерскую на свой риск: проводил по ведомостям окольно, вроде бы ее и не было, никому не позволяя соваться в ее дела. Сел за стол, закурил. Пепельницы были современные, глиняные. А каким быть пепельницам? Ведь не курили табак в старину. А столы — настоящие, дубовые. Года три назад, еще когда порт реконструировали, попался заблудившийся груз, Дмитрий Ярославич велел спрятать. И вот — пригодился.

Афанасий тоже сел, но — за другой стол и тоже закурил, но свои, будто не видел, что Лыков протянул пачку.

Игра эта задела Дмитрия Ярославича. Посмотрел на свободного художника, стал искать, к чему придрататься. Нашел.

Несильный запах жареного тянулся из-за печи. Там находилась кухня. Современная, без баловства, был даже ультразвуковой агрегат на две кастрюли.

— А посуда орсовская, — сказал Лыков. — Хотели сделать по своему рисунку, керамическую, с поливой...

— Не успели, — отвернулся к окну Афанасий, — какая была...

— А почему?

Афанасий молчал.

— Ведь уже не сделаете...

— Не сделаем, — сознался Афанасий.

Лыков вздохнул. Куда спешим? А никуда. Стихает, гаснет задор, и становится постылым то, от чего еще вчера загорелось сердце бешеным рвением. Даже эти — орлы боевые — художники, тайные, не предьявленные, оберегаемые от дурного глаза, зачарованные единственным творчеством и больше ничем, не даваемые — ни планами, ни аврами, не подхлестываемые ни прогрессивками, ни выговорами, — даже они, свободные птицы, заспешили. Раньше срока! Что не доделали — доделают потом! Когда — потом? Сами ж знают — не доделают!

— Скажи мне, вольный каменщик, — посмотрел Лыков на большелобого Афанасия, — какого хрена вам-то надо? Ну, баловство это все. — Обвел глазами помещение: — Прожить без этого можно... Но для вас ведь это не баловство! Для вас это — жизнь! Искусство! Мастерство! Вы же душу вкладывали в эти фокусы! Почему же и вы как новостроевские прорабы?

Афанасий усмехнулся, подошел, сел напротив:

— Дмитрий Ярославич! Жить в социуме и быть от него свободным нельзя...

— Тьфу! — встал Лыков. Прошелся по теремку, успокоился:

— Чего с кухни тянет? Отмечать будете?

Афанасий встал, прижав тяжелой ладонью сердце:

— За ваше здоровье!..

Лыков не выдержал, рассмеялся:

— Чтоб на той неделе интерьеры Управления лежали у меня на столе!

— Запросто! Послезавтра положим...

— Врешь! — закричал Лыков. — Не торопись!

И вышел вон.

Лыков теперь исполнял обязанности Курдюмова. Ему не суждено было сделаться полным начальством, не для того был рожден. Он понимал, что Курдюмов даже если выкарабкается, уже не вернется ни в Новый, ни вообще к делам. А сюда пришлют кого-нибудь...

Лыков почему-то все время думал о том, что до Курдюмова не было над ним шефа, которого он так искренне ценил бы и уважал. Он не понимал, за что, да и не хотел разбираться. Нежное, хрупкое ощущение дружественности, едва обретенное, сменилось саднящей досадою, потерей, произволом нелепой судьбы.

Как говорит этот большелобый пьяница? Платон дороже истины... Истин вагон, а Платон только намечался, да и того увезли на «скорой помощи»...

— Как он там? — спросил Лыков.

— Лучше...

Нина Ивановна приехала расставаться.

Лыков показывал ей «Бригантину».

Нина Ивановна прошлась, будто пробуя прочность пола:

— Дмитрий Ярославич! А название надо менять! Не только романтика — философия должна стать доступной всем.

«Сын настропалил», — подумал Лыков и сказал учтиво:

— Разумная мысль... Как прикажете назвать?

— Дмитрий Ярославич, это гораздо серьезнее, чем вы предполагаете...

— Не сомневаюсь, Нина Ивановна.

Она присела на лавку, поставила рядом незакрытую сумочку, еще раз осмотрела помещение. Лыков не садился, ждал, что скажет.

Лыков знал про Курдюмова все — и давление, и температуру, и тонус. Все ему было известно на вчерашние восемнадцать часов. Марине дано было задание звонить в больницу дважды в день. Лыков чувствовал, что Нина Ивановна не выносила ни страданий, ни болезни, ни — чего похуже.

Лыков видел, как рассматривает она работу и глаза ее влажнеют последним прощанием. Как будто пестовала она дитя для себя, а дитя выросло, взмахнуло крыльями и стало чужим, чьим-то, не ее...

— Как там Алексей Николаевич? Закончил свой труд?

Нина Ивановна очнулась:

— Заканчивает... Скоро будет защищаться.

— А знаете, — посмотрел ей в глаза Лыков, — черканите мне — когда... Я прилечу.

— Правда? — обрадовалась она.

— Прилечу. Хорошо бы Николай Павлович окреп.

— Не думаю.

— Нина Ивановна! Вот поправится Николай Павлович, напишет мемуары. Хорошие мемуары... Он ведь врать не умеет.

— Не напишет.

— Напишет! И выздоровеет... Он ведь вас любит. Все будет хорошо, — сказал Лыков, — всему свой черед. Бывает время замышлять, и время исполнять, и время вспоминать...

— Что это вас вдруг потянуло на философию? Вы же технарь!

— Так вы ж говорите — время требует философичности. Может быть, даже от технарей.

— Правильно, — попыталась улыбнуться Нина Ивановна, — но не такой.

— Да уж какая есть, — весело сказал Лыков. — Бывает так, что силы зла вынуждены творить добро. И мы их срочно мобилизуем на авралы. Как картошку копать в «Партизане».

Нина Ивановна наконец улыбнулась.

— Можно? — зычно спросил Афанасий.

— Занят! — цыкнул на него Лыков.

Афанасий не смутился, вошел, свирепо улыбаясь:

— Этак можно перепугать насмерть.

— Видите, Нина Ивановна,— кивнул на Афанасия Лыков,— гений. Никого не боится. Тоже, знаете, есть время давить гениев и время — терпеть. Ну чего, славный мастер Бенвенуто Челлини?

— Постник я,— рывкнул Афанасий.

— Врешь,— сказал Лыков,— никакой ты не Постник. Скромный ты насквозь!

Афанасий присел рядом с Ниной Ивановной без спроса, покрутил головою, обводя взглядом помещение:

— Ну как? Ничего?

— Это он пришел выслушать еще один комплимент,— усмехнулся Лыков.

— Мне очень нравится! — звонко сказала Нина Ивановна. — Вы действительно оказались прекрасным мастером! И это действительно истина.

— Нина Ивановна,— встал Афанасий,— самая неопровержимая истина состоит в том, что дверь ванной комнаты открывается наружу. Вот начальство может подтвердить. Но даже эта истина, к которой с таким трудом пробивалось человечество, не стоит вот такусенького Платончика! Счастливо оставаться...

И — ушел.

— Чего он приходил? — удивилась Нина Ивановна.

— Свободный художник,— развел руками Лыков,— что хочет, то делает.

Нина Ивановна сунула платочек в сумку и неожиданно наткнулась на мятый конверт, подложенный, должно быть, Афанасием. Она удивленно приподняла клапан. В конверте находилась зеленая пятидесятирублевка. Нина Ивановна вспыхнула. Какая мелочность! Как можно так считаться! Люська всегда была какая-то странная и не умела дружить! Какие могут быть счеты между подругами!

— Дмитрий Ярославич! Вот, кстати! Заведите копилку! И пусть у «Бригантины» будут свои средства! Вот — первый взнос!

«Куда ты деньгами-то швыряешься! — подумал Лыков. — Пригодятся же, особенно сейчас!» Но воздержался осуждать. Был деликатен. Знал: найдет и повод и способ компенсировать.

— Премного благодарен,— сказал Лыков,— непременно пропьем!

Нина Ивановна повеселела. Природная склонность к благотворительности нашла применение.

— Так как же прикажете назвать этот терем-теремок? — усмехнулся под очками Дмитрий Ярославич.

Нина Ивановна посмотрела в лыковские стекла:

— Платон — друг, а истина — дороже... Может быть, он и прав, этот странный художник... Назовем — «Платон»... Кто поймет, кто не поймет, а мы с вами знаем, в чем дело!

— Очень хорошо! Прекрасное название для трактира!

— Дмитрий Ярославич! Опять вы с вашими шуточками!..

— Какие тут могут быть шутки? Я полагаю, теория Алексея Николаевича находит еще одно подтверждение!

— Скажите,— сощурилась Нина Ивановна,— вы называете Алешу так пышно для того, чтобы подчеркнуть его молодость?

— Нет,— совершенно серьезно сказал Лыков,— он мне нравится.

2

Погодина работает в небольшой строительной газете на Алтае. Она завела собаку.

У молодых Курдюмовых родился сын, которого называли Николаем. Николай иногда куксится, иногда — нет. Когда он ревет, Алексей спрашивает:

— Ты по какому вопросу плачешь?

И, не дождавшись ответа, говорит:

— Голословно плачешь.

После этого Николай умолкает и дает ему возможность заниматься не меньше часа. Размышляя о бытии, Алексей успевает также согреть суп.

Наталья работает переводчицей.

Сын Лыковых демобилизовался. Он служил в саперных войсках, и теперь ему легче будет попасть в строительный институт.

Кот Пятница как шастнул тогда мимо почтальоншиных ног — так пропал, и больше его никто не видел.

Качанов строит добавочные производственные площади, опережая сроки.

На могиле Пиуновых лежит камень с надписью — от сына. Экспонаты Федор Степанович отдал в Усть-Песковский краеведческий музей, некоторые взял с собою. Машину, как и дом, предназначил к продаже.

Группа здоровья продолжает занятия по пиуновскому графику и носит имя Степана Федоровича, зачисленного в списки группы навечно.

Миша теперь — начальник гаража. После Курдюмова он не считает возможным возить кого-нибудь персонально. Лыков это понимает.

Граб собирается в дорогу снимать очередной сюжет. Кажется, на Алтай.

3

...— Саша, — сказал проектировщик, — вы мой любимый ученик... Вы были тогда совсем юноша и я был еще довольно молод. И мы мечтали о городе, который возведем тютелька в тютельку по проекту.

— Возведем, — сказал Рудакин, — не этот, так — другой... Обязательно возведем!

— А этот!

Рудакин подумал, вытянул губу, спросил:

— Жить людям надо?

— Но им всегда надо будет жить!

— Всегда...

— И как же, Саша?

— Возведем, — сказал Рудакин, — не можем не возвести...

— Но когда же, Саша? Мне же некогда! Я стар!

Рудакин посмотрел на него нежно, заботливо, сочувственно:

— Жить людям надо? Возведем... Не можем не возвести!.. Ибо всякий день соответствует не проектам, а — заботам...

Нина Ивановна перелистывала книгу Володьки Свиридова, читая страницы, отчеркнутые мужем.



МЛАДЕН ИСАЕВ



МОИМ РАДАРОМ, СЕРДЦЕ, БУДЬ

С болгарского

Моим радаром, сердце, будь,
чтоб видел я
сквозь ветер грозный:
не может мир в ночи заснуть
и мечется
во тьме беззвездной.

За самолетом
самолет
уходит ввысь, тяжелокрылый,
и на свинцовый небосвод
выходят две враждебных
силы.

Там под напалмовым огнем
сгорают дети...
Там руины.
Спит в храме Будда вечным
сном,
на смертный бой
идут мужчины...

Будь, сердце, совестью,
веди
туда, где юные отряды.
В ночи беззвездной,
погляди,
еще дымятся баррикады...

* *
*

Над джунглями кружит
«фантом»
с крылами распростертыми.
А на земле лежит
дитя с глазами мертвыми.

Тропическая ночь
черна и жаждет мщения.
Вбивает желтый месяц нож
в холмы весенние.

Дитя под месяцем
давно
лежит остывшее.
А кажется, лежит оно
под нашей крышею.

Стою над ним.
Не место сну.
А боль все длится.
В стыде и гневe я клянуп
убийцу...

Творчество

В каждой строчке, что мною написана,
есть и боль, и горенье, и страсть.
Бросить искру мне, видно, предписано
и, как лист с ветки, упасть.
Утону я в ночи безмолвия,
где навечно лишь только покой.
Надо мной вновь стрелять будут молнии,
а живые — бросаться в бой.
Но пусть сам я не буду с потомками,
под холодной останусь травой,
я готов с ними быть обломками,
потому что я с ними душой.
Стих обдаст их огнем и сердечностью,
что я в волчьих ночах уберег,
что пронес, не гадая о вечности,
через горы смертей и тревог...

Сколько все же еще не написано!
Где вы, рукописей вороха?
Лишь подальше б он был,
мне предписанный
час последнего в жизни стиха.

Иней

В кудрях рассыпанных моих
светлеет иней сединою,
ведь долгих зим полярный вихрь
неистовствовал надо мною...
Я помню мрак, когда завыл
злодей в свирепом волчьем раже
и в глубине земной зарыл,
закрыв от нас и солнце даже.
Но я — коленопреклоненным
не пал, я звал на бой идти.
«Вставай, проклятьем заклейменный!»—
звучало на моем пути...

И над землею день явился.
 И, жаркой жажды не тая,
 я над источником склонился.
 И снег в кудрях увидел я...
 Ни слова в самоутешенье
 я не сказал в скупой тиши.
 Но вдруг
 опять услышал пенье
 всех птиц
 в лесу моей души.
 Под шум ручья, что был чудесен,
 как голос ветра и травы,
 дух воссиял от новых песен,
 глаза — от чистой синевы.
 В кудрях все гуще снег уже,
 как в северных лесах, сияет.
 Но в вечно молодой душе
 снежинка даже
 не мерцает.

Верность

С добрым утром, Гектор, верный пес
 с мордой в мокрых инеевых клочьях!
 Ты стерег в двадцатиградусный мороз
 звезды ясные сегодня ночью.
 Всю-то ночь ты охранял луну
 и мой дом, что окна занавесил...
 Лаем белую нарушив тишину,
 ты бежишь ко мне, чертовски весел.
 Знал бы ты, как сложен мир большой
 и бывают бури в нем какие...
 Человеческою добротой
 светятся глаза твои большие!
 С добрым утром, мой прекрасный волк!
 Нет в тебе коварства, скажем честно.
 Может, ты не знаешь, что есть долг,
 но про вечность все тебе известно.

* * *

Снег хрустит в безмолвье белом,
 снег хрустит с шагами в лад.
 Я по льду шагаю смело.
 Воды подо льдом журчат.
 Воды весть провозглашают,
 что опять идет весна.
 А еще не отряхает
 иней белая сосна...
 Но я слышал подо льдами
 плеск воды о берега,
 птичье пенье над лесами,
 пробужденные луга.
 Я услышал утром рано,
 что она приходит вновь
 к нам — тепла, благоуханна,
 словно первая любовь.

* *
*

Водопад
разъяренным тигром,
со скалы бросаясь, ревет,
водяными брызгами,
иглами
он до берега достает.
Капли солнца
лови
дождевые,
этот холод серебряный
пей.
Перед белой ревущей
стихией
я моложе опять и сильней.

Перевел ВЛАДИМИР СОКОЛОВ.



ВЛАДИМИР НАСУЩЕНКО

★

ДВА РАССКАЗА

Белый свет

Федоткин всегда бегал один и приносил рыбы больше всех. В товарищах он не нуждался. Приятели его не любили и звали халугой.

У него был дурной характер: терпеть не мог компании, когда кричат, суетятся. скребут лед, где не надо. Он любил тишину, снеговой свет, посидеть одному составляло для него истинное удовольствие и отдых: за неделю шума и грохота в механическом цехе, где работал токарем, он очень уставал.

Так было и на этот раз. Он ушел далеко, даже в бинокль нельзя было разглядеть, что он там делал: среди сияющих льдов его согбенная фигура еле виднелась.

Сначала ему не везло. кругом были торосы — льды, налезшие друг на друга. Когда он сверлил лед, сверло каждый раз попадало на вторую льдину, которая лежала под первой. Коловорот не хватало просверлить две льдины. Он разочарованно отходил, искал площадку, где не было бы наторосившегося льда, и только после восьмой попытки наткнулся на чистое место. Здесь он и устроился. Тут была граница мели с глубиной. От тяжелой работы он вспотел, снял меховую шапку, от головы поднимался пар. Он сел на ящик, немного передохнул, вычерпал лед из готовых лунок, поставил удочки. Глубина была подходящая.

Он сидел бледный — сверло его доконало — и вяло дергал удочку. Ничего не было. Надо было проверить, есть ли окунь, но он решил подождать, успокоиться. Надел шапку и сел спиной к ветру. Лучше посидеть так, полюбоваться простором моря. Отсюда были видны старые разрушенные форты, где проходил фарватер, там шел теплоход с поднятыми грузовыми стрелами. Его корпуса было не видно, только во льдах двигалась ослепительно белая рубка со скошенной трубой и на корме — флаг, истрепанный штормовыми ветрами. По палубе ходил матрос в ушанке и растаскивал швартовые канаты. Слышался гул дизеля. Фарватер проходил слишком близко. Теплоход прошел, взмучивая желтую воду, и стало тихо.

Федоткин занялся снастью, достал блесну. Длинной она была чуть ли не с ладонь, очень узкая.

Он скрывал ее форму и размер. Когда его просили показать, на что он ловит, он неопределенно хмыкал, мычал, как глухонемой, разводил руками:

— Абыкновенная... — и показывал совершенно другую блесну.

Он опробовал на палец впаянные крючки. Они были острые, он точил их алмазным надфилем под увеличительным стеклом. Стоило коснуться ими одежды или кожи, они сразу впивались. Работая, он думал о лете.

Он любил лес. За Выборгским шоссе у него были заветные места: проселочная дорога, уходившая вдаль, где росли старые березы. Он ложился под ними и глядел в небо. Господи, какие эти березы были старые! Половина сучьев сухих, на остальных — две горстки листьев, кора отвалилась, полопалась, открыв черные раны. Раньше там была деревня, теперь — поля и эти погибающие березы вдоль дороги, мухоморы, мигающие из травы, как красные подфарники, трава густая — ног не вытащишь, а еще там был ручей с мелкой форелью. Вот это было место! Ляжешь, никто тебя не видит, трава, как рожь, ни за что не проползти. Вот в этой траве и сидели белые грибы, никто не знал про это. Федоткин вырезал палку и поднимал ею траву, как граблями, там они и поджидали его: почти квадратные, ножки толще шляпок... Набирал их корзину: восемьдесят — сто штук под ручьем. Ветви ив окунали свои листья в воду. Главное, вода рядом. Дальше он не ходил, до бетонки. Этих проклятых машин не счесть, идут одна за другой, битком набитые семьями. Машины в просеках торчали, как тараканы в щелях. Пенсионеры бегали, как лоси. Среди них были сорокапятилетние, они не знали, куда девать силу, дачи у них были двухэтажные. Приходилось обходить их владения за три километра.

Когда заводские ребята собирались на платформе, он являлся последним.

— Федоткин опять хапнул целый кузов боровиков...

Некоторые завистливо вздыхали. Пробовали следить за ним. Но обвести их ничего не стоило. Ляжет в траву, ждет, когда они пройдут, ругаясь:

— Чертов кулак, только что был здесь!

Он лежал и ухмылялся, потом вставал, шел за ними. Кричал им в спины, как водяной бухалень. Они ежились, поворачивали назад.

Где им было угнаться за ним! Знал, что это нехорошо, не по-товарищески, но ничего не мог с собой поделать. У каждого свои привычки, вкусы. И ему всегда везло, потому что он был внимательным, видел то, что не замечали другие, помнил приметы.

Кроме кивка, сделанного из часовой тонкой пружины, на конце удочки была еще одна пружинка более жесткой конструкции — совершенный механизм для игры блесны. Это тоже было его изобретение: при подсечке леса не рвалась, как у других. У него-то редко сходила рыба, если удавалось ее зацепить.

Он освободил одну лунку, бросил туда привязанную блесну. Она ушла под воду зигзагами. Он подождал, пока она коснулась дна, приподнял ее, резко опустил и поддернул. Он знал, что окунь не даст ей упасть, если он там, обязательно схватит. Леска дальше не шла. Он подсек, пружинки сыграли. На свет появился окушек средних размеров. Он называл их щуриками. На худой конец и они годились. Он отрезал брюшной плавник, нацепил его на крючок. Красно-оранжевый плавничок с белой блесной хорошо гляделся на солнце. И блесна была чудо: на нее ушло три серебряных полтинника. По нынешним ценам — шестнадцать рублей одна монета плюс филигранная работа. Потерять ее дорогого стоило.

Мелкий окунь его не интересовал. Знал, что с мелочью ходит и крупный, только надо найти его...

Когда по фарватеру шел пароход, вода от прилива выливалась из лунок.

«Слишком я близко сел к каналу», — подумал он.

Не поленился, встал и пошел искать другую площадку. Везде было одинаково. Прозрачные торосы блестели, как рифленные стекла. Солнце подплавало их, они стали глаже, круглее. Найти среди них площадку было трудно. Иногда он проваливался между ними, чертыхаясь, выбирался. Это было не дело: сломать ногу — пара пустых. Опыта не занимать, но лазить не хотелось.

На ровную, соток пять, льдину он наткнулся случайно. Десять

минут понадобилось, чтобы насверлить дырок. Коловорот у него был сделан из легкого титана, на четверть длиннее стандарта, его хватало пробуровать метровый лед.

Когда ножи достигали воды, коловорот проваливался. Он с силой дергал его, чтобы убрать из лунок шугу, потом переходил к следующей. Просверлил три лунки у торосов и три в стороне. Сходил за ящиком.

«Местечко что надо, можно в хоккей играть»,— радостно подумал он, садясь боком к фарватеру. За торосами канал был не виден, только по приливу из лунок можно было догадаться, что идет очередной караван.

Здесь проходила каменная гряда. Он убедился в этом: привязал к бечевке свинцовую гирику, опустил ее под воду и постучал ею по дну, оно было крепкое, грузик не вяз в иле.

Он успокоился и приготовил тяжелую снасть.

Рыба не заставила себя долго ждать. Окунь был ходовой: с моря шла миграция мелочи, он преследовал ее. Местный окунь бледно-желтый. Этот был с четкими полосами, морды в слизнях. На гряде рыба чистилась, чесалась об камни, освобождаясь от налипших паразитов.

Федоткин расстегнул полушубок, ему было жарко. Нетерпеливый хочет избавиться от своих желаний как можно скорей. Он был не из таких: все делал не спеша. Со стороны можно было подумать, что он пришел посидеть, полюбоваться чистым небом. Но он все замечал. Вытаскивая окуней, рассматривал их с неослабным вниманием. На вид они были очень жесткие, беспомощные, в воде-то они вели себя по-другому: не хотели идти к светлой лунке, тормозили хвостами, дергали из рук леску, трясли головами, стараясь освободиться от злой блесны. Не тут-то было!

Когда из воды показывалась морда с вытаращенными глазами, он аккуратно брал рыбу под жабры, отцеплял от крючка, бросал на лед. Она шлепалась в мелкую воду, прыгала. Он примечал, какое у нее яркое оперение: природа не скупится на красоту всем существам. И думал, что скоро пойдет на пенсию и наймется работать лесником или егерем. Так уж получилось, что он всю жизнь провел в городе, но счастливым чувствовал себя только на лесной дорожке. Он не знал, как это получится, но твердо решил уехать со своей старухой. Дочка не поедет, пусть остается в городе, раз ей нравится там. А с него хватит...

Солнце поднялось высоко, пекло своими лучами. Он снял шапку, пот струился по его морщинистому лицу. В воде на льду виднелась пленка копти, долетевшей сюда из города. Чайки челноками ходили вдоль канала, садились на желтые вывороченные льдины, изъеденные морской водой. Как только появлялся пароход, они поднимались, летели за ним. Матросы бросали им куски булки, хлеба, ради потехи вкладывая в булку ложку крепкой горчицы. Чайки заглатывали эти куски и тут же срыгивали их обратно и резко кричали от боли. Горчицу в воде вымывало, уже другие чайки лакомились остатками. Матросы гоготали и смотрели сверху на заснувшего рыбака.

Все это он видел и ему не нравилось, как они забавляются, мучают голодных птиц, но ничего не мог сделать.

Он наломал кучу окуней. Вытащенные на лед, они долго не засыпали, скрежетали жабрами, шуршали колючей шкуркой.

Ему хотелось, чтобы кто-нибудь видел его прекрасный улов на льду, и как напророчил. Вдали шел какой-то человек. Среди торосов его фигура медленно приближалась. Федоткин знал, как тяжело одолевать торосы: все время проваливаешься в ямы, оскальзываешься, если у тебя нет специальных подков, надеваемых на сапоги перед тем, как выйти на лед.

«Иди, иди,— подумал он.— Много тебе не посветит, а мне уже за глаза...»

Самых крупных окуней он убрал в ящик, и они там молотили хвостами так, что казалось — разобьют ящик вдребезги. Но и те, что остались на льду, были достаточно крупные, сияли вздрагивающими телами.

Есть среди рыбаков деятели, носят с собой бинокли или подозрительную трубу, высматривают, у кого идет лов, и бегут туда со всех ног, и если им везет, то они успевают хапнуть из доли того, кто обнаружил косяк и имел на него полное право. Слишком большое количество лунок пугает рыбу, косяк уходит. Обычно, у кого есть такой бинокль, ходят компанией в четыре — шесть человек. И когда косяк отходит, они рыскают сразу в четырех направлениях, находят косяк, куда бы он ни отошел. Они всегда бывают с рыбой. Но тому, кто нашел косяк, приходится хуже всех: его не принимают в ту компанию.

Тот, что шел сюда, был один. Если он поймает рыбу, то это ему будет заслуженной наградой, потому что пройти пять километров по торосам стоит трудов.

«Если он заявится сюда, я уберу блесну, поставлю удочки, на них вряд ли соблазнится окунь», — так он решил, но не успел вытащить снасть. Леска засвистела, он понял, что заблеснил судака. Мороки с ним больше, чем с окунем; те были покладистые парни, долго не сопротивлялись. Этот с отчаянной злостью и силой рвался в глубину. Приходилось держать его на расстоянии от лунки. Но долго держать его было невозможно, слишком бешеные у него рывки. Завести рыбу нелегко. Он тянул ее, она рвалась, леска дзинькнула и повисла.

Он выругался и сплюнул. Если бы он не таращил глаза на шедшего рыбака, наверняка бы сумел вытащить рыбину, а то боялся, что тот увидит, подойдет и начнет долбить лед под носом.

«Жадность сгубила фраера», — с презрением подумал он про себя и закурил, утер пот заскорузлой ладонью — мозоли царапали лицо, руки у него были, как винты.

Напрасно он переживал. Подошел мальчишка-подросток: лицо его не знало бритвы. От ходьбы он разогрелся, щеки пылали, губы запеклись, кожа на скулах была схвачена весенним загаром.

— Здóрово! — вскрикнул подросток. — Никогда не попадалась такая рыба. Вы здесь поймали? — В его глазах вспыхнул охотничий азарт.

— Здесь, где ж еще, — Федоткин усмехнулся. — Попробуй и ты.

Мальчишка подскочил и два раза присел перед чужим добром, похлопал рукавицами по коленям и бросился терзать лед тупым буром.

— Эй! — крикнул Федоткин. — Лови на моих лунках, вон в том углу. Твоим сверлом только кашу есть. Рыбак...

— Кашу, — согласился мальчишка. — Совсем тупое, поточить нечем...

— На трещине есть что?

— Ловят в одном месте.

— Что ж не сидел?

— Рыбаки все пьяные, ругаются. А я не люблю... Слово других слов нет... Мне противно слышать, как они разговаривают.

— Ишь, принц какой, — удивился Федоткин.

— Я Соня, — тихо ответил подросток и ковырнул ногой спекшийся наст. Лыдинки со звоном полетели по ветру.

— Девка, что ли? — переспросил Федоткин и с любопытством стал разглядывать ее. Она была худая, некрасивая. Под одеждой ничего не видно, вот он и решил, что это парнишка. Она ничего не ответила, удалилась к готовым лункам, размотала удочки и села на раскладной стул.

«Совсем спятили. Девоч на лед выносит. Лет семнадцать ей будет, не больше», — определил он.

Поднимался ветер и затягивал солнце пеленой. Погода портилась, на льду стало грустно. Домой идти было еще рано.

Соня выкопала белую рыбку и тоненько засмеялась. Федоткин удивился ее ничтожной радости, привязал желтую блесну вместо оторванной, ловил на нее. Видно, косяк изменил направление. Он поймал двух старых окуней, больше не было.

— Вы всегда с рыбой разговариваете? — спросила Соня на ветру.

— Я не разговариваю, — отрекся Федоткин. — Когда это я разговаривал?

— Сейчас. Вы так смешно тащили ее и громко разговаривали с ней. Я чуть не умерла от смеха. Но боялась, что заругаетесь... — Она прыснула в лед. — У меня плотва клюет...

Девчонка засвистела и вытащила еще плотвичку, вновь засмеялась, как колокольчик. Она была очень смешливая.

— Я плотву люблю ловить, она светлая, как серебро. А ваши окуни мрачные, жестокие...

— А ты не боишься ходить по льду?

Она смутилась:

— Рыбаки добрые...

— Не все, есть и злые.

— Я таких не встречала...

— Поживешь, встретишь, — сказал Федоткин. — Лучше бы ты на танцы бегала... Замуж не выйдешь...

Соня согнулась и закричала в лед:

— Терпеть не могу танцев, стоишь, как дура. Я учиться хочу на учительницу....

— Что ж не учишься?

— Пришлось идти работать. Отец заболел. Я только и смотрю за ним. Он два раза ложился в больницу. Ничего не ест, кроме рыбы: желудок не принимает... Меня один парень научил ловить. Я и стала ходить...

— Ну и жизнь у тебя, — вздохнул Федоткин, хотел спросить про мать, но постеснялся. Ветер дул с берега. Солнце наскочило на тучу, воздух сырел. Федоткин поднялся, отошел далеко за торосы, там постоял.

«Дурочка», — подумал он, возвращаясь к стоянке.

Вдруг он услышал музыку, не поверил, оглянулся. Море было пустынно, ни одного парохода. Оказывается, у нее был транзистор. Маленький ящичек стоял на льду. Соня вытянула личико, закрыла глаза и раскачивалась на стуле. Она не ловила. Мороз подирал по коже. Мелодия была густая и давила. Федоткин почувствовал себя маленьким, крошечным среди нагромождения льдин. Он снял шапку. Из тучи повалил мокрый снег. Проваливаясь в наст, он направился к девчонке. Она посмотрела сквозь него. Его разозлила ее отчужденность.

— Ну и музыка! — закричал он. — Я замерз от нее. Нельзя ли чего повеселее?

Девчонка посмотрела горестными глазами.

— Это органнй концерт из Риги...

— Они всегда муть передают, — сказал Федоткин и сплюнул на лед.

— Нельзя так говорить, — укоризненно сказала она. — Месса на льду, разве плохо?

Снег лепил в лицо. Федоткину вдруг показалось, что девчонка плачет. Снег таял на ее лице, изломанно и дробно тек по щекам.

— Ты чего? — спросил он.

— Правда, хорошо? «Томящееся сердце, успокойся» — замечательный хорал Баха... Вы только послушайте!

Федоткин закончил войну в местечке Слотва, что в Польше. Солдатам запрещалось входить в костелы. Но он как-то зашел со своим старшиной Бекетовым. Играл орган, свет с витражей лился под ноги. Они стояли в главном корабле, где было видно сутулую спину органиста, его ноги, нажимавшие на педали. Федоткин почувствовал себя скверно, будто провинился перед кем, Бекетову тоже было не по себе. Они вышли на плац и стали смотреть на молодых полячек, которые, проходя мимо, заискивающе улыбались им. Как давно это было, а будто вчера...

Федоткин сел на ящик, посмотрел вдаль, парашютов по-прежнему было не видать. Над фортом летали чайки. Там, наверное, проходил теплый воздушный поток, чайки кружились в нем, не шевеля крыльями. Им нравилось этим заниматься: парить. Никакой выгоды они не имели, просто наслаждались полетом. И еще эта музыка... Наконец она смолкла, «Маяк» забубнил последние известия.

Пора было уходить. Но девчонка ловила, не хотелось оставлять ее одну среди голых торосов.

«Забавная, рыбу ловит и на девчонку-то не похожа... Не женское это дело — ходить на лед». Он вздохнул, стал собираться, сложил рыбу, но решил чуточку обождать, пусть ловит: у нее хорошо держала плотва. Он тоже опустил удочку. Груз не ложился на дно. Что-то было не то, ведь точно знал, какая здесь глубина. Прибавил метр лески, опять не достал дна.

— Слушай, на сколько метров ловишь?

— Тринадцать.

Он смотал удочку, сложил коловорот, надел на него чехол.

— Пошли, — сказал грубо.

— Еще рано, — сказала она, не оборачиваясь.

— Сказал, пошли. Нечего тебе сидеть.

— Еще одну рыбку поймаю. — Она просительно посмотрела на него.

Он был неумолим.

— Вымокнешь, а еще до трещины два часа топтать...

Глубина изменилась, значит, льдина отошла — вот чего он боялся. Могло отнестись в море: ветер дует с берега, торосы — хороший парус для ветра. Но Федоткин ничего не сказал, еще надеялся, что это не так, пугать не стоило.

Он подошел к ней, вырвал из ее рук удочку, смотал ее и стал запихивать вещи в рюкзак: транзистор, рыбу, стул. Она не поняла, почему он злился на нее, гнал прочь.

— У меня плечи мокрые, — пожаловалась она.

— Вот видишь, — сказал он. — Простудиться в два счета можно...

Он вернулся к себе, взвалил ящик на плечо. Он привык таскать тяжести, станок у него был, дай бог, болванки — по метру, это для него ничего не стоило. Она надела свой тощий рюкзак на оба плеча, двинулась за ним. Он шел быстро, но торосы не давали разогнаться, приходилось перелезать их, обходить.

— Не отставай! — покрикивал он.

Она не отставала, шла за ним, как собачонка на поводке. Иногда обгоняла его, скостив расстояние в торосах. Он удивился: сколько у нее было силы, на вид не скажешь. Берега было не видно. Ветер дул в лицо, задерживал движение. Пока не стемнело, нужно было дойти до фирменного припая. Там могло быть разводье, он опасался этого, тогда выходить придется неизвестно где, если вообще поле не оторвало. Он шел и все время думал про это, забывая про девчонку. Она опять обогнала его, стояла, поджидая.

— Ну ты и бегаешь, — сказал он, смахивая пот с лица. — Я ходок, а ты еще чище...

Она засмеялась:

— Ничего особенного, я всегда быстро бегаю, привыкла. На тре-

нировках делаю двадцать пять — тридцать километров. Люблю лыжи. Давайте ящик понесу.

— Вот еще, она понесет! Где это видано...

Он смущенно кашлянул, представил, как она несет ящик. Пусть не думает, что он слабак. Только бы кончились торосы, надо перескочить трещину. Эта мысль неотступно сверлила его. Спутница не понимала всего, но шла хорошо, право, неплохая девчонка, не то, что мамыны дочери...

Ни одного рыбака не было видно, никто сюда не доходил, он поперся, мог бы и на трещине сидеть, как все добрые люди. Раз зашел, надо выходить... Однажды он заблудился в тумане, с тех пор носил компас. Он вытащил его: шли правильно, хотя берега не видно, снег частил. Должны быть люди, есть любители сидеть до потемок. Никого не было, хоть тресни. Торосы стали попадаться реже. Надо было взять левее, чтобы ветер дул в ухо.

Ящик был жутко тяжелый, он его все время подбрасывал. Слишком много рыбы поймал.

«Правильно они говорят, что я хапуга,— подумал он про своих товарищей.— Но они бы тоже, наверное, не выбросили, если бы поймали столько. Дураков нет.— Он ухмыльнулся, успокаивая себя.— Просто они завидуют мне, сами ни черта не умеют ловить, вот и злятся...»

Пошел ровный лед. Следы на снегу заплывали водой. В некоторых местах лед прогнулся, там было полно воды: снежная каша. Приходилось обходить их: упадешь, сразу вымокнешь. Ноги разъезжались, болели в паху.

Эта проклятая девчонка маячила впереди, потом пошла влево. Он хотел крикнуть, но из-за ветра вряд ли она услышала бы. Прибавил шаг, чтобы нагнать ее. И скоро понял, почему она свернула. Она шла вдоль расширившейся трещины: метров пятнадцать темной воды отделяло их от берегового припая.

Федоткин опустил ящик, сел на него. Девчонка подошла. Нет, она не напугалась. Он сидел не шевелясь, растерянно смотрел в воду. Ему хотелось назвать ее дочкой: «Дочка, мы попали в переplet, надо как-то выкручиваться, не торопи меня, я посижу, подумаю, что делать». Но он ничего такого не сказал. Она опередила его:

— Да вы не бойтесь. Найдем место, где льдина еще не отошла далеко, там перейдем, вот увидите...

— С чего ты взяла, что я боюсь?

— Я пойду вперед, вы посидите, раз устали. Вернусь, как только найду подходящую льдину...

— Это не дело. Разъединяться теперь не след. Пойдем вместе, скоро стемнеет.

Он вздохнул и встал. Они пошли краем, не очень близко к воде. Казалось, льдина стоит на месте, но он знал, что она двигается по ветру. Надо шевелиться. Рыбаки давно сбежали, как только льдину оторвало, конечно, они крикнули тем, что сидели близко за трещиной. Те тоже ушли, успели перебраться. А он, старый дурак, поперся такую даль, и эта глупая девчонка увязалась...

Ох, уж эти рыбаки! Если ветер не стихнет, он отгонит льдину в открытое море, там лед начнет разламываться на куски. Это делается очень быстро, вертолет береговой охраны не успевает снять всех. Так было не раз. Он это знал, поэтому шел быстро, как только мог, но не знал, сколько придется пройти. три километра или двадцать. Конечно, можно выбросить груз, но он жалел улов. Рыбу он выбросит в крайнем случае, а колovorот может пригодиться вместо весла, если придется переплывать на какой-нибудь небольшой льдине. Только не приведи бог до этого...

Они шли бок о бок. Иногда трещина приближалась к берегу, но

разводье там было шире. Темнело. В санаториях зажглись желтые огни и светили очень близко.

Он стал отставать. Девчонка придерживала шаг, смотрела на его громоздкий сундук, но не решалась сказать, чтобы он выбросил его к черту. Он плохо соображал. За день сделал не меньше двадцати километров, теперь это сказывалось.

Лед был скользкий. Он два раза шлепнулся в ледяную жижу, полы полушубка промокли, одежда стала тяжелой, да еще он вспотел: свитер на спине был мокрый насквозь.

Они потеряли счет времени. Было одно и то же разводье. Если девчонка вымотается, совсем будет плохо. Он остановился, сел на ящик. Ветер дул порывами, в бок, снег перестал идти.

— Передохни, как бы нам не пришлось куковать на льду до света,— сказал он невесело.

Девчонка снова покосилась на ящик. Лицо у нее сильно осунулось. Даже в полутьме было заметно, что она еле держится.

— Нет, надо идти, пока видно,— упрямо сказала она, облизывая пересохшие губы. Тут были старые лунки, вода выступала из них. Она нагнулась, стала черпать горстями воду и пить, помыла лицо. Выпрямилась и ждала, пока он поднимется, нетерпеливо перебирала ногами.

— Пойдемте. Скоро бухта, там лед крепкий, его не могло разломать,— сказала она, подставляя ветру лицо.— Главное, идти, понимаете?

В своей решимости она была бесподобна. Он встал, взвалил ящик на плечо.

Они шли минут сорок. Разводье стало уже. Это еще ничего не значило. Федоткин вынул из кармана фонарик, осветил под ноги, чтоб не угодить в полынью. Лед был в мелких трещинах.

«Совсем худо,— подумал он.— Лед поломало».

— Вот здесь иди, дочка.

Она перешла и сказала:

— Затушите фонарь, от снега видно.

Он послушно исполнил приказание. И правда, от снега шел слабый отсвет. Было слышно, как за лесом загудела электричка.

— Кажется, пришли,— сказала она.— Попробую перескочить.

Льдина стояла углом к ним: очень длинная и метра три в ширину. Вполне сносный переход, если она не разломана в нескольких местах. Надо было проверить. Он не решался.

— Подожди, торопиться некуда.

От усталости он еле ворочал языком.

— Я легкая, вы вещи перекиньте.

Она прыгнула. Он заметил, что льдина качнулась. Девчонка пошла в темноту и скоро вернулась.

— Вполне можно перейти. На том конце метр чистой воды, не больше. Вы сможете перепрыгнуть?

— Что за вопрос. Ты хорошо проверила?

— Я вам говорю, ничего страшного...

— Много ты понимаешь.

Он бросил к ней ящик. Девчонка хотела поднять его за ремень, но тут же опустила.

— Как вы несли его? — удивилась она.

Он ничего не сказал, развинтил коловорот, надавил им на льдину, она держала. Тогда он тяжело прыгнул подальше от трещины. Льдина накренилась. Он отошел на середину. Она была вся в едва заметных трещинах. Девчонка лезла без разборки. Он очень боялся за нее, медленно тыкал в лед коловоротом, надавливал. С его весом, и еще в одежде, нечего было и думать выбраться, если уйдешь под лед. Он знал это, поэтому не спешил. Она уже стояла на матером льду. Он кинул ей фонарь.

— Мне не перебраться, ноги болят.

— Не говорите глупостей, я вас очень прошу. Тут чуть больше метра...

— Я не козел,— ответил он сердито и, раскачав ящик, бросил его туда, к ней. Коловорот он упер в припай, а ручку положил к ногам, чтобы можно было ухватиться за него, если он промажет. Потом снял полушубок, тоже бросил к ней. Она подобрала его, положила на ящик.

— Я вам руку подам.

— Ага,— сказал он. Плавать вдвоем он не собирался.— Убери руку.

Она опустила руку, стоя на самом краю, светила фонариком. Вода была аспидно-черная. Поскользнуться, съехать туда ничего не стоило. Он отсчитал назад три шага, разбежался и прыгнул. Девчонка дернула его за рукав. Федоткин сшиб ее. Они упали. Она встала, потирая локоть. Он сел на ящик.

— Говорил, отойди. Я мог тебя утопить, если б сорвался...

Он надел сырой полушубок и закурил, стараясь не глядеть на трещину, и думал про девчонку:

«Она еще совсем ребенок. не понимает опасности. Без нее я бы не решился на такую авантюру... Моя дочка лет на пять старше ее, но она не такая... Случись что, в больницу не придет...»

— Пошли, дочка.

Он поднял ящик, взял коловорот, не свинчивая, понес его.

Соня была возбуждена и радостно говорила:

— Я так боялась за вас. Я-то легкая...

— Это ты верно сказала. Ну, ну, пяток километров осилим...

Они шли медленно, лед был хороший. Если бы не груз, они бы давно вышли. Стали попадаться вешки, где у колхозных рыбаков стояли сети. Он не знал, в каком месте они выйдут на берег. Это не важно: железная дорога почти рядом. Из дома отдыха доносилась музыка.

Берег был тяжелый, с обрывом. Они поползли по склону, цепляясь за кусты. Ветки обламывались.

— Тут рыбаки часто падают, термоса бьют. Осторожней,— ворчал Федоткин и тянул сундук.

Вот она, земля!

Они миновали сосновый подлесок, вышли на шоссе. Опять повалил снег. На пригорке стояла ярко раскрашенная будка. Он осветил фонариком на вывеску, прочел название остановки.

— Эка куда нас занесло. Пятнадцать километров крюку дали...— Он осветил еще раз, думая, что ошибся. Теперь знал, где находится.— Ну так что, автобус будем ждать?

— Как вы, так и я.

Она стояла, нахохлившись, под падающим снегом.

— Автобус редко ходит, а до станции километра два. Дойдешь?

— Да.

Из-за поворота показался мотоцикл и осветил их. Мотор вдруг заглох.

— Эй! — крикнул человек, сидевший в люльке.

— В чем дело? — отозвался Федоткин, щурясь от белой фары.

— Яблонька где?

— К Яблоньке на развилке сворачивать. Вы не подвезете одного человека до станции? — Федоткин кивнул на Соню.

— Лучше вы езжайте,— сказала она.

— Подвезем,— откликнулся мотоциклист в темной куртке и крагах. Он был высокий, залепленный снегом шлем делал его еще выше. Лицо у него было недоброжелательное.

— Нет,— упрямо повторила Соня.

— Как хотите.

Огромный мотоцикл зарычал. Снег глухо падал сплошной завесой. Федоткин вскинул на плечо ящик, держась одной рукой за лицо. Он почему-то обрадовался, что девчонка не покинула его. То ли от усталости, то ли от отраженного снегом дневного света у него началась жестокая аллергия. Слезы так и сыпались от нестерпимого зуда. Он почти ничего не видел. Лицо распухло, как от укуса пчел. Он даже чувствовал, как оно надувалось. Это уже было во второй раз. Врачи сказали — аллергия, отчего, они сами не знали, только пожимали плечами. Дня через три пройдет... Хорошо, что со льда он успел выйти...

От дороги к станции вела натоптанная тропа. Снег перестал падать, в лесу было тихо, только шумели вершины. Мягко похрупывал снег. Федоткин посмотрел на запотевшие часы: был двенадцатый час ночи. Он сгреб с перил снег и помыл лицо.

За лесом завопила электричка, звеня на повороте холодной сталью. Резко тормознула у платформы.

Они вошли в пустой вагон. Печки хорошо грели. Девчонка прислонилась к окну, вытянула ноги.

— Не верится, что дошли...

Он свинтил колovorот, положил его на полку. Он плохо видел заплывшими глазами и все время трогал лицо, сжимая и разжимая кулаки.

— Ой, что это с вами? — спросила Соня и нежно дотронулась до его щеки теплыми пальцами.

— От белого льда, дочка, слишком много света было. Пройдет...

Она покачала головой, сняла шапку, волосы рассыпались по плечам. Напрасно он думал, что она некрасивая. Волосы у нее были замечательные. Лицо горело от ветра.

— Посплю немножко, — сказала она.

— Спи, я разбужу. — Он проглотил горький ком, застрявший в горле, снял шубу и укрыл ее плечи. Она благодарно глянула на него и закрыла глаза. Он долго сидел не шевелясь, потом нагнулся, развязал ее легкий мешок, выставил на скамейку потный транзистор и стал кидать из своего ящика тяжелую рыбу в рюкзак. Мелочь он оставил себе.

Перстень с плоским камнем

Учительский дом стоял на бугре и продувался всеми болотными ветрами. В палисаднике уныло ходили две индюшки с ободранными, почти голыми шеями и сердито бормотали. Утро выдалось ясное, холодное. На мокром крыльце виднелись следы.

Почтальон толкнул калитку и, отваливая лепехи грязи с подошв, прошел по кирпичной дорожке к веранде. Дверь была подперта палкой. Он оглядел заброшенный двор. У сарая возвышалась куча ольховых поленьев. Топор воткнут в чурку.

Из сада появился учитель Шорин, держа в руке садовые ножницы. На нем были старые штаны на заклепках, спортивная фуфайка, перекрещенная швами, и выгоревшая шляпа.

Он вежливо поздоровался с почтальоном, полез за пазуху, вытащил мятые сигареты и закурил. Серая индюшка подошла к почтальону и клюнула его в руку. Почтальон выругался:

— Паршивка, каждый раз щиплетя...

Учитель отогнал птицу и извинился:

— Порода глупая. Но яйца они несут хорошо...

Почтальон вздохнул, переступил с ноги на ногу. Ему было тяжело приносить письма этому человеку. Он получал их редко, даже совместно было приходиться. Когда пишешь через день, а тебе отвечают от случая к случаю, то все ясно.

«Мое дело маленькое», — подумал почтальон.

Учитель был женат. Жену привез из областного города, где учился на курсах по повышению квалификации. Женщина она была молодая, цветущая, с какой-то печальной походкой и зябким голосом. Учитель любил ее, лето и осень они прожили хорошо. Но она, видно, не могла привыкнуть к этой дикой местности, томилась по большому городу, в котором родилась.

Зимой начались вьюги. Леса и болота заоченели, душа ее совсем затосковала. Однажды учитель проснулся глубокой ночью. Морозный ветер хлестал жесткой поземкой в деревянные стены, выл в трубе.

Учитель встал, зажег слабое, мигающее электричество — где-то отходил провод — и пошел в комнату жены. Она сидела на диване и плакала в поджатые от холода колени. Он еле успокоил ее, напоил горячим чаем. Она упрямо твердила: «Уеду. Не могу здесь больше оставаться ни одной минуты».

Утром он проводил ее на автобус и стал жить один. Поселковые бабы трепали, будто у его жены есть в городе полюбовник, к которому она и сбежала. Он не обращал внимания на досужие сплетни, терпеливо учил детей в школе-восьмилетке. Начальство его ценило. Он просил перевода в город, но замены ему не присылали: учителя в глухомань не спешили. На каникулах он ездил к жене и каждый раз возвращался к началу занятий.

Вот все, что почтальон знал о его жизни.

Шорин покривил жесткий рот, воткнул ножницы в паз бревна и сдержанно спросил:

— Что там у вас?

— Телеграмма. Распишитесь.

Почтальон раскрыл сумку, извлек пачку газет, бумагу и карандаш.

Шорин расписался, нетерпеливо распечатал бланк. Почтальон видел, как лицо учителя побледнело.

— Случилось что?

— Жена заболела, просит приехать. Не знаете, вертолет здесь?

— Еще в шесть утра улетел. Нет смысла туда идти. А до шоссе ей-ей... Трактора, и те не ходят. Я к вам на бугор запарился лезть. Грязь — ног не вытащить...

— Конечно, с вашим-то весом, — согласился учитель.

Почтальон вытер пот со лба.

— Хожу много, а толку никакого. Уф, в горле пересохло...

— Выпить хотите? У меня есть кисленькое, жажду хорошо утоляет.

— Стаканчик не мешает пропустить.

Почтальон свалил растопыренную суму к ногам, согнал ладонью росу со ступеньки и сел. Учитель убрал палку от двери, вынес длинную бутылку и стакан.

— Все, что осталось после праздника. Не обессудьте.

— Мне не к спеху. Сначала вы...

— Я не буду. Пейте, не стесняйтесь. Мне надо собрать кое-что в дорогу...

Почтальон выпил и долго смотрел на учителя, потом сказал:

— Вы действительно решили идти?

— Безусловно. Сегодня суббота, у меня нет занятий...

— Я бы не советовал. Два дня вас не устроит. Река разлилась, паром вряд ли ходит...

— Ничего, лодку найду.

— Там одни старухи живут...

Учитель вынес болотные сапоги и стал переобуваться.

Почтальон допил остатки, насадил стакан на бутылку, прищурившись, смотрел на грязных индюшек и думал, что в доме учителя — одни книги. Про директора школы этого не скажешь, дом полная ча-

ша: десять ульев злых кавказских пчел, два кабанчика, мотоцикл «Урал», хозяйственная жена...

Учитель потопал сапогами и ту же затянул брючный ремень.

Почтальон поднялся со ступеньки, закинул суму на толстое плечо и хмуро кашлянул в кулак:

— Вы это... Через Сонькину Гриву попробуйте идти, все-таки ближе. В случае чего, возвращайтесь, не валяйте дурака. Кха... Моя благодетельная поглядит за вашими птюшками, если что...

— Буду признателен. Корм в сарае,— сказал учитель и заморгал на солнце синими глазами.

Почтальон покачал головой, пошел к калитке и дважды оглянулся на него, пока спускался вниз и переходил мостки, перекинутые через канаву. Ему казалось, что учитель не в своем уме. Разве нормальный человек пойдет в самую распутицу? Жена бросила, не хотела жить здесь, теперь вспомнила, что есть муж...

«С этими бабами одна морока. Есть курвы...»

Через двадцать минут Шорин вышел из дома. За спиной у него был рюкзак, в котором лежали офицерская плащ-палатка, кусок сала, хлеб. В боковом кармашке брякали три патрона: забыл вытащить их после охоты на тетеревов.

Около леспрохозовского управления стоял «газик», закипевший грязью до верха. В моторе копался шофер. Учитель подошел к нему и осведомился — не поедет ли он куда. Шофер поднял лохматую голову с заломленной на затылок кепчонкой и протянул:

— Чего-о? Машина на диффер садится. Главный бухгалтер хотел на участок просочить, еле выбрались. Почитай, на неделю дорогам—крест. Вы куда?

Шорин ничего не ответил, повернулся, зашагал по бровке. На сапоги липла комьями глина. Низкие дома рабочего поселка блестели белыми крышами. У изгороди задумчиво стоял телок с отвисшей шкурой. Оля Рундукова несла на березовом коромысле ведра с водой. Увидев учителя, она покраснела, потупила глазки и поспешно свернула в проулок. Она уже гуляла с парнями и часто пропускала школу.

Солнце набирало силу, пекло в затылок. Шорин снял фуфайку, запихнул ее в рюкзак и снова зашагал, высоко поднимая ноги. К вечеру он рассчитывал достичь реки, чтобы засветло переправиться через нее, а там до шоссе рукой подать.

Началась лежневка. Временами Шорин брел по колено в воде, нащупывая сапогами жерди. В низинах виднелись остатки снега. Птицы еще не успели обжить сырой продрогший лес. Только светло тенькала синица, и вѳрчала вода в канавах.

Дорога была избита, истерзана лесовозами. Деревья по краям дороги погибали: проходившие здесь трактора задевали гусеницами стволы, измочаленная щепка свисала клочьями. На теплых буграх лезла мелкая трава и кислица. Шорин наклонялся, срывал нежные лепестки и жевал их, чтобы перебить горечь табака во рту.

Он немного повеселел, успокоился, когда вышел на длинное болото, за которым начиналась грива, что тянулась километров на семнадцать в сторону реки. Там всегда сухо.

Продираясь сквозь болотную чащу, он ставил ноги под самые корни кустов, боясь провалиться. Хватался за жидкие ветки и переставлял ногу под другой куст. Прутья больно хлестали по лицу. Он морщился, оберегая глаза. Болото не отпускало. Оставалось каких-нибудь двадцать метров кустики неожиданно кончились, ногу ставить некуда...

Возвращаться не было смысла, раз он столько прошел.

Из воды торчала тонкая сосенка. Хотел дотянуться до нее, но почувствовал, как почва заколебалась, уходя из-под ног. Он беспомощно оглянулся — кругом вода. Сколько раз ходил тут с ружьем, а забыл, что нужно взять правее.

Опять выбрался к спасительным кустикам, заметил невдалеке

сломаннные ветки. Было глубоко, но почва держала его вес. Сделал шаг и ухватил рукой тонкий хлыст, торчавший из болота, шевельнул сапог и двинул его на четверть ступни. Держит. Даже вздохнул и смело переступил вправо. И начал считать шаги, следя за уровнем воды по голенишам.

Когда вылез на сухое место, руки дрожали. Солнце ярилось. Синий дым окутывал болото.

Он сел под сосну, блаженно жмурясь на яркий свет. С цыканьем пронеслись вальдшнепы, вытянув вперед шильца. И он пожалел, что нет с собой ружья — срезать бы их седьмым номером.

Над гривой поднимался ветер, гнал синие волны воздушного потока. Деревья качались, пружиня корнями. Шорин задрал голову вверх и следил, как сыплются отжившие иглы. Казалось, что соснам нравится качаться на ветру — все-таки движение.

Он спустил голенища сапог до колен и встал на песчаную тропу. Идти было легко. Изредка встречались валуны, изрезанные старческими морщинами. После холодного утра камни потели. Летом здесь уйма боровых грибов. Леспромхозовские бабы брали одни шляпки.

Становилось прохладно. От болот веяло изумительной свежестью. Идя по крепкой тропе, Шорин вдруг вспомнил, какое у жены было несчастное лицо перед отъездом, когда она сидела на табурете у синей стены, и его охватила внезапная тоска.

Он отмахал по гриве километров десять, поднялся на гору, где стояла геодезическая вышка. Отсюда уже были видны совхозные поля, крошечные домики у переправы. До них оставалось часа три хорошего хода. На горе росли красные сосны, возвышаясь, как колонны в храме: каждый ствол был виден в отдельности.

Ноги стали тяжелеть, сапоги цеплялись за кочки, мелкие камни. Перед оврагом он сел под могучую ель, сжевал хлеб с салом и задрал распухшие ноги на пень, чтобы кровь оттекла от ступней. В теплой прорехе под елью толклась мошкара. Опять пронеслись вальдшнепы, гоняясь друг за другом. Тут недалеко были тока косачей, и охотничий шалаш находился слева от овражка.

Шорин поднялся и пошел вниз. Тропа оборвалась у черного леса. На осинах виднелись клочья звериной шерсти, прошлогодняя трава была примята — лежка лосей. Переход где-то здесь.

Морщась от сильной боли в коленках, Шорин остановился, выдернул сухостоину, ножом выстругал из нее шест и по бревну перешел на ту сторону. Впереди были еще два ручья.

«Интересно, сколько там воды?» — подумал он, не выпуская из рук шеста.

Показался ручей. Бревен тут не было, нужно искать брод. Шорин потоптался на берегу, выискивая пологое место, — везде было одинаково. Тогда он сел на качающуюся кочку, спустил сапоги в воду. Течение нажимало. Стукнул шестом в дно — метр, не больше. Он перевернулся на живот, встал на ноги, ощущая холод ледяной воды через резину сапог. Он боялся, что течение собьет с ног, двигался осторожно, крепко втыкая шест в каменистое дно. Вода неслась с коричневыми клочьями пены. Выбравшись на крутой берег, он лег на землю.

Погода портилась. На небе появились темные облака. Солнце мощными столбами прорывалось сквозь них. Шорин опять думал о жене. Как-то она сварила немислимый обед. Он отодвинул тарелку и сказал: «Я не хлебаю помои». «Ничего, милый, съешь, не привередничай».

Он действительно съел. Она вообще ничего не умела делать и обладала притом чудовищным самомнением и ложным интеллектом. Он пробовал ее воспитывать, подсовывал книги. Она не могла осилить ни Тацита, ни Плутарха, находя их занудными. В ее голове был полный сумбур. Он многое ей прощал, терпеливо учил. Теперь, когда она уехала, понял, что был к ней слишком суров, требователен. Ну и что

из того, что она не умела заштопать фуфайки? Жить с ней рядом — этого вполне хватало для счастья...

«Ах, черт побери, пойду еще немного».

До совхозной дороги было порядком. Под ногами короткими перебежками шмыгали черные полевки, словно приветствуя его. Одна мышь умывалась на кочке, вздрагивая на ветру тонким носиком, потом зевнула, как ребенок. Здесь было нор полно — мышье царство. Он обошел их, чтобы не нарушить расположение ходов: земля осыпалась.

Второй ручей был не такой бурный. Ноги в коленях плохо сгибались, и Шорин с трудом слез в коричневую воду, померил дно — было слишком глубоко. Он огляделся, увидел камень, скрытый водой, второй торчал посредине, дальше шел завал из доломитовых плит, подходивший почти под самый берег. Это ему было на руку. Главное — добраться до середины. Он выбрался на подводный лоб, упираясь шестом в расщелину, и сделал слишком широкий шаг, оскользнулся и рухнул в воду. Пока выкарабкался на плиты, одежда намокла, в сапогах — полно воды. Холода не чувствовал, но было неприятно. Ему и раньше приходилось принимать ледяные ванны, и всегда находил выход из положения.

Солнце клонилось к закату. Среди валунов он выискал яму, натаскал туда сучьев и настрогал мелкой стружки.

Одно плечо у фуфайки оказалось достаточно сухим. Он снял ее, отжал, распорол сухой шов и вырвал оттуда клок ваты. В спичечном коробке было коричневое месиво. Нечего и думать, что они загорятся, даже если их долго сушить на слабом солнце. Он, когда уходил из дома в лес, всегда заворачивал спички в специальную резинку, а тут сплеховал, забыл начисто.

«Чего-нибудь придумаем», — решил он, выискал плоский камень и достал латунный патрон. Пыжи были залиты парафином, он надеялся, что порох не подмок.

Разрядил два патрона, дробь положил в карман, а порох высыпал на теплый камень. Потом осторожно выковырял зеленый капсюль, насыпал его порохом и сверху положил клок ваты. Для верности нашел еще тончайшей бересты и, наставив тупой кончик ножа в середину капсюля, слегка стукнул по рукоятке. Капсюль щелкнул, выбросил короткое невидимое пламя. Вспыхнувший порох опалил ладонь, и вата загорелась, поджигая бересту.

Скоро огонь пылал. Теперь можно заняться одеждой. Он распялил фуфайку на колья, сапоги поставил к камню стоймя. Из раструбов повалил пар.

Шорин с удовольствием щупал босыми ступнями теплые иглы, прошлогодний лист, прикидывая, сколько еще осталось топтать: километров восемь, не больше. Река недалеко. Совхозные поля подходили к ней. Одно поле было распаханно, по нему бродили голодные чайки. На северном берегу лежал снег. Ароматный дым костра уносило ветром.

«Совсем хорошо, хоть раздевайся», — подумал Шорин, добавляя хворосту в огонь. Можно было сделать нодью и спать в этой яме до утра. Он снова думал о жене, возвышаясь до тоски по ней, вспоминал ее печальную походку.

Он заторопился, не дав досохнуть одежде, раскидал головни по камням. Наверху ветер крепчал, Шорин сразу почувствовал его силу и шел согнувшись, привыкая к дороге, что огибала поля. Можно было сократить путь, пересечь пахоту, но он не мог позволить себе такой роскоши: ноги плохо повиновались, правый сапог жал в подъеме. Учитель поймал себя на мысли, что сейчас похож на своего отца, который всю жизнь проработал агрономом, и когда он приходил с полей, то походка у него была такая, будто он только что слез с лоша-

ди, проделав двухсотверстный путь. Шорин не любил отца за грубость, за эту кривоноготь.

«Как я был глуп»,— подумал он и оглянулся.

Геодезический знак накрыла темная туча. Но солнце еще не зашло, была надежда засветло дойти до переправы, лишь бы найти лодку...

«Брешет почтальон, найду лодку!»

Показались печные трубы, торчавшие, как после пожарища. Избы были разорены, перевезены на центральную усадьбу, только у самой реки лепились пять домов. Казалось, там никто не живет. Но Шорин знал, что оставшиеся старухи смотрят на него из-под занавесок. Он постучал в первую дверь и крикнул:

— Есть кто дома?

В ответ послышалось глухое бормотание, скрипнула дверь в сенцах. На порог выползла дребезжащая старуха в козьем платке и внимательно оглядела пришельца тусклыми глазами.

— В изобку заходи, парень.

— Нет, бабушка. Переехать надобно. Не подскажете, у кого есть лодка?

— Нету. касатик, разве что у последней Марфы... У ей челнок. Только она ноне не в себе. более...

— Как это у последней? — не понял учитель, стараясь не глядеть на бедную старуху. На вид ей было лет девяносто.

— Последней последней.— упрямо повторила она.— Три померши, она вот крепкая... Рыбу ловит сама. Сходи, может, и дасть...— Старуха показала рукой на дом под новым шифером.— Ты откуда взялся?

Шорин сказал. Старуха не поверила:

— Ох, брехать горазд, парень. Птица не пролетит оттуда. Трактора твоего не слышно...

— Да я пешем...

— Ох, такую даль занесло. Мы, почитай, две недели живого человека не видывали. Куда на ночь поплывешь? Ну, иди, иди, пока Марфа спать не легла...

Старуха спустилась с крыльца, но дальше двора не пошла. Ветер продувал ее насквозь. Держась за изгородь, заспешила в дом.

Ни магазина, ни почты здесь не было. Покосившиеся столбы еле держались в жидкой почве, вот-вот упадут, и тогда старичье останется без света.

«Как они живут? Начальство-то что думает? А, черт!»—выругался Шорин, топая по раскисшей дороге.

Крикнул простуженный петух. Солнце бросало заходящие блики на стылую реку. На том берегу был виден паром, стоявший на приколе, толстый трос уходил под воду. В будке паромщиков ставни были заколочены. Вода несла с верховья отдельные бревна, навозный мусор с соломой, смытый с полей. Под берегом ныряли две гаги.

Он вошел во двор указанного дома. Здесь был полный порядок. Дрова аккуратно сложены в круглое кострище, в углу стояли козлы с недопиленным бревном — в резе торчала финская пила. В дверях сарая виднелись остатки сенной трухи. Желтая от старости коза стучала рогами в стену. Там шевелилась рослая женщина. Она вышла, держа в руке мокрое ведро. Ее жилистые ноги были засунуты в резиновые сапоги без чулок. Лет ей было шестьдесят или семьдесят, и Шорин не решился назвать ее Марфой.

— Послушайте, вы не дадите лодку? Паром не ходит.

Суровое лицо Марфы не предвещало ничего хорошего.

— Нет у меня лодки.

— Ваша соседка сказала, что есть...— растерянно пробормотал учитель.

— Мало ли что скажут. Нет, и весь сказ.

Она повернулась уходить, держа на отлете ведро, качающееся от ветра.

— Честное слово, хорошо заплачу.— Он полез в карман.

Марфа обернулась. Глаза у нее были красные, как у кролика, и слезились.

— Не нужны мне ваши гроши.

— Слушайте, у меня жена заболела, телеграмму прислала. Поверьте,— заискивающе сказал Шорин, переминаясь тяжелыми от налипшей глины сапогами.

— Значит, жена заболела?

Он кивнул.

— Не могу доверить лодку чужому. Чего доброго, угоните, она денег стоит...

— Что вам бояться? Перевезете — и обратно. Полчаса, не больше...

— Вот еще. Мне руку нарвало, не согнуть.

Она пошевелила грязными пальцами.

— Перстень дашь, так бери...

Шорин снял с левой руки перстень с плоским камнем, молча протянул его последней Марфе. Она усмехнулась, взяла и стала рассматривать.

— Дорогой, дорогой, не сомневайтесь,— заторопился Шорин, сдерживая себя, чтобы не сказать: «Да подавись им...»

Хозяйка задрала полу засаленного ватника, положила перстень в карман.

— Лодка на берегу, весла под навесом.

Шорин взял весла, закинул их на плечо и пошел к мутной реке.

Смеркалось. Перевернутая плоскодонка лежала далеко от воды. В грязи валялась банка с остатками гудрона и квач: лодку недавно смолили.

Учитель сбросил весла и перевернул лодку на днище. Она была очень тяжелая от смолы. Попытался сдвинуть ее, но днище всосалось в грязь. Он выругался и нашел под забором длинный кол, чтобы действовать им как рычагом. Дело пошло.

Наверху маячила Марфа, смотрела, как он мучился с этим допотопным корытом.

Лодка плюхнулась в воду. Шорин отдышался, снес весла и поднял с земли свалившуюся шляпу. Пошел мокрый снег.

Хозяйка спустилась к реке и заглянула в лодку, будто хотела убедиться, не захватил ли он чего лишнего.

— Не беспокойтесь, верну вашу лодку дня через два,— сказал он недружелюбно.

— Перстень свой забери, не годится.

— Оставьте на память или зятю подарите...

— Вот еще выдумал, нет у меня никакого зятя.

— Ну, продадите.

— Я думала, ты проходимец... Позавидуешь твоей жене. Прямо не верится, кому сказать... Забери,— тупо повторила Марфа.

— Считайте, что он ваш,— заупрямился учитель и сдвинул лодку на глубину. Вдруг Марфа опустилась перед ним на колени.

— Возьми. Не бери грех на душу...

— Вы что, спятили? Встаньте сейчас же,— опешил учитель.

— Не встану, пока не возьмешь,— заскрипела последняя Марфа и вытянула вперед руки.

— А, черт! — Он обошел лодку, взял злополучный перстень, сунул его в карман. Женщина поднялась, утерла длинный рот платком и, сгорбившись, пошла сквозь снежную завесу. Дранные сапоги хлопали по ее голым ногам. Учитель долго глядел вслед. Ему было стыдно, что старый человек унижился перед ним.

Уже стемнело, и другой берег был невидим. Лодка двигалась тяжело. На горе зажегся огонь, он правил на него. Снег валил, не пере-

ставая. Он бросил весла, надел плащ. Мощным течением лодку сносило. Шорин боялся, что прибьет к обрыву: там некуда вытащить лодку, поэтому греб наискось реки. Ноги упирались в какую-то планку, и гребки получались сильные. Он откидывался всем телом, гнал лодку к угрюмому берегу. Вода плескалась за бортом. На середине реки ему было очень одиноко. Лодку крутило на фарватере, огонь то исчезал, то выскакивал в другом месте. Снег таял на лице, перемешиваясь с потом, катившимся из-под шляпы.

Лодка ударилась обо что-то твердое, качнулась. Туча прошла, подул ночной ветер.

Шорин вылез в мелкую воду и вытащил лодку на пологий спуск. Парома было не видно. Он спрятал весла в кусты и медленно пошел в гору. Сапоги с чавканьем разъезжались в жидкой глине. Он запутался в длинной плащ-палатке и упал в грязь. Поднялся, чувствуя, что уже нет сил, но помыл руки мокрым снегом и снова двинулся вперед.

В домах горел заманчивый свет. Здесь можно было переночевать, утром дойти до шоссе. Деревня находилась немного в стороне, он решил идти напрямик.

В просвете туч выскочила бледная луна. Снегу навалило прилично. По шоссе с воем промчался грузовик.

Чувства притупились, Шорин уже не осознавал реальности своего существования, просто шел.

У знака поворота он остановился, поднял руку, отяжелевшую от длинного перехода.

Машины не останавливались. Из-под колес фонтанами летело снежное месиво. Он ждал минут сорок, надеясь остановить какой-нибудь транспорт, даже снял измызанную плащ-палатку и засунул ее в котомку, чтобы не пугать водителей. Из-за поворота блеснули фары.

Он простер руки, раскрыл рот, уже ничего не соображая, выбежал на середину шоссе. Дико визгнули тормоза. Машина пошла юзом, вильнула, подпрыгнула на обочине и встала, как вкопанная.

Дверца распахнулась, на дорогу выскочил разъяренный человек в поролоновом тулупчике.

— Ты что, болван, лезешь под колеса?

Вслед за водителем вышел человек с фонарем. Яркий луч хлестнул по глазам. Шорин зажмурился, согнал с лица деревянную улыбку.

— Слушайте, выключите фонарь, я ничего не вижу...

— Что тебе надо видеть, любезный? — процедил водитель.

— Я спешу в город. Никто не останавливается... Очень сожалею, что так получилось. Я не хотел...

Фонарик погас. Шорин пригляделся. Тот, что вылез вторым, поправил на груди фотоаппарат с вороненой насадкой и презрительно плюнул:

— Вот кадр, я понимаю.

— Я заплачу.— Шорин вытащил из кармана слипшиеся деньги.

Человек с аппаратурой восторженно засмеялся и красиво помаhal руками, как делают спортсмены после разминки.

— Хочет дать нам заработать... Да мы тебя за тыщу не возьмем, понял? От тебя навозом несет. После тебя машину нужно проветривать двое суток, прощельяга. Нализался, глаза в куче... Поехали, Станислав.

Щелкнули дверцы. Автомобиль буксанул, поднял широкую бульдожью морду, освещенный, как корабль, вырвался на шоссе. Все стихло.

Шорин немного постоял в темноте. Он сознавал, что поступил дурно: машина могла перевернуться, дорога очень скользкая. Приняли его за пьяного, ладно, по физиономии не дали, были бы правы...

Но ему было обидно, лучше бы его изматерили по-свойски, чем так издеваться...

Он сел на придорожный камень, перемотал портянки и снова встал на дороге.

Мчалось какое-то чудовище на колесах, целая башня. Габаритные огни горели очень высоко. Догадался, что идет тандем «Совтрансавто». Они никогда не останавливаются, хоть ляг на полосу. Двигатель работал с надсадным ревом в гору.

Шорин прижался к обочине, без всякой надежды вытянул руку, показывая большой палец в землю. Обдало горячим выхлопом, водяной пылью.

— Керосинка проклятая! — в сердцах выругался Шорин.

Рокот мотора вдруг смолк, он услышал крик:

— Эй, парень, чего стоишь?

В город добрались к утру.

Чистое, умытое солнце поднималось из-за домов. Ветра как не было. Кошмарная ночь осталась позади. Рейсовые автобусы еще не ходили. Выпавший снег таял, в сточные люки бежали веселые ручьи.

Шорин миновал безлюдный парк, где шел под сводом набухших ветвей, тополиным тоннелем. Пахло распускающимися почками. По аллее с деловым видом ходила хромая ворона. Шорин тоже хромал растертой ногой и, глядя на птицу, повеселел, вспомнив старую поговорку: «До чего нельзя долететь, нужно дойти, хромая».

В красных кустах встряхивались воробьи. После бессонной ночи все казалось зыбким, нереальным: летняя эстрада, будочки касс, павильоны.

Он вышел из парка. Между домами густо висли провода. Прошел первый троллейбус, щелкая старыми крышками по асфальту. Город просыпался. Ожидая молочную цистерну, на углу стояла очередь с белыми бидонами. Шорин свернул в улочку. Он не знал, дома ли жена или в больнице, но ключ у него был при себе.

В прихожей пахло знакомыми духами, дорогими сигаретами. Он скинул мешок, сбросил затрапезную фуфайку и зажег гулю светильника перед зеркалом. Мельком глянул на себя: небритый, красное, грубое от загара лицо, пепельно-рыжие волосы слиплись, от шляпы набухшая полоса на лбу... Он был некрасив, это понял еще в детстве, и, будучи уже взрослым, махнул на это рукой. Ведь время делает наши недостатки более терпимыми...

Он тихо открыл дверь, вошел в комнату, озаренную весенним солнцем, рвущимся сквозь тюль. Жена спала, свернувшись калачиком. Легкий румянец играл на ее щеках.

«Пусть спит», — подумал он и опустился на стул у двери.

Жена открыла глаза, с испугом села на кровати, поджав под себя ноги.

— Ой, думала, ты мне снишься. Хорошо, что приехал. Я тебя ждала завтра. Ты на поезде или на автобусе? — Она провела ладонями по кружевной сорочке.

— Прилетел, — хотел сказать: «На крыльях любви», но передумал. — Ты заболела?

— Немножко. Потом расскажу... Это Ритка придумала. Мне было так грустно без тебя, хоть вешайся... У нас спор с ней вышел. Она сказала, что ты не приедешь, дорога плохая. Мне так хотелось тебя видеть, сказать...

— Что сказать?

— Ничего... Мы пошли и дали телеграмму. Не сердись, милый, глупо, конечно... Ох, эта Ритка...

Шорин тупо уставился на свои тяжелые сапоги и подумал, что что-то изменилось, он не понимал что, он чувствовал, как она удаляется от него, и ничего не мог сделать. В голове не укладывались ее слова.

Он с трудом стянул сапоги, поставил их у двери. Жена зевнула, опухшие после сна веки ее слегка дрогнули.

— В Доме офицеров выступает московский гипнотизер. Психологические опыты... Слышишь, что говорю? Рита рассказывала: все сидят, как кролики. Взгляд у него ужасный. Одна дура прислала ему записку: «Когда я выйду замуж?» Представляешь? Знаешь, что он ответил? — Жена фыркнула, весело засмеялась.— «Покажите мне свое лицо, я вам точно скажу». Вот... Ну, не дура ли?

Она снова засмеялась, откинула пышные волосы. Ее поджатые колени глядели, как два спиленных ствола.

Он стянул свитер, повесил его на стул, ничего не ответил. Лицо у него было по-прежнему тупое, ничего не выражало. Жена обиделась.

— Ты совсем деградировал в своих болотах. Ничем не интересуешься... Господи, на кого ты похож? Прими ванну.

Она соскочила с кровати, босиком прошла по солнечному полу и стала одеваться. Она знала, что муж любит смотреть, как она одевается, поэтому не спешила, аккуратно разглаживала каждую складку и настороженно следила за ним. Он видел, что она наблюдает, и закрыл глаза.

Когда она надела яркое праздничное платье, он крепко спал, сидя на стуле.

— Спишь, что ли? — окликнула она.

Он не ответил. Из его ослабевшей руки выпал какой-то круглый предмет и покатился по гладкому полу.

Она подобрала его. Это был перстень, который он никогда не снимал с руки в память о брате, погибшем в Арктике.

Она ничего не поняла, положила перстень на стол, потом нечаянно глянула на ноги спящего мужа. В ее лице что-то дрогнуло.



ЛАРИСА ШЕВЧЕНКО

★

В КЛУБ НА ТАНЦЫ

Рассказ

Бабушка была старенькая, очень старенькая, но в свои восемьдесят два года не утратила живого ума, читала без очков и ходила так быстро (особенно когда замечала очередь в магазине), что могла бы посоревноваться и с молодыми еще, семидесятилетними приятельницами. Их она то ли с жалостью, то ли с презрением называла «сердечницами».

Поэтому дети, а точнее внучка Тома и ее муж, после некоторых раздумий все же решились доверить ей своего сына, пятилетнего Богдася. Держать его в садике уже не хватало никаких сил. Не пробыв там и трех дней, Богдась мигом простужался, и Тома вынуждена была каждый раз сидеть с ним — сначала на больничном, потом на справке по уходу за ребенком, которая не оплачивалась. И так без конца. Только выходит малыша, только кончатся все эти банки, горчичники да ингаляции, а он уже снова болен. И все это в то время, когда оркестр, в котором она работала, напряженно готовился к большим гастролем, а мужу оставались считанные месяцы до защиты диссертации. Он бы и ночевать не приходил из своей библиотеки, если бы это было возможно.

Болезненность Богдася врачи объясняли плохими гландами, причем одни советовали немедленно удалить их, другие — категорически запрещали делать это, пугая молодых родителей тем, что у ребенка может замедлиться развитие. И в бессонные ночи Тома, глотая слезы, уже видела своего сыночка таким же маленьким, как теперь, но с бородой, и он выступает в цирке всем на потеху, потому что куда же денешься с таким ростом? Ну и не делали операцию, ждали, пока подрастет.

С няньками им тоже не везло. Мало того что их и днем с огнем не найдешь и берут они даже страшно вымолвить сколько, так еще и попадались все как одна — капризные, несговорчивые. Словом, беда, да и только.

Конечно, лучшим выходом из такого положения была бы Томина мама, но та и в мыслях не держала расстаться со своей фабрикой, где за тридцать лет выросла от работницы до главного инженера. И хотя уже переступила границу пенсионного возраста, о внуке и слышать не хотела. Даже волосы начала красить, в группу здоровья записалась, чтобы подольше оставаться молодой. Последнее почему-то особенно задевало Тому, словно мама тем самым вообще отреклась от своей прежней жизни, в том числе и от собственной дочери.

Оставалась бабушка Фросина, которая лет десять назад перебралась из села к дочери — после того, как у той умер муж, Томин отец. Вопреки утверждению, что старые люди плохо приживаются на новом месте, бабушка довольно быстро освоилась, завела знакомства и даже

нередко путешествовала по всему городу по своим таинственным делам. Но если дочь или внучка пытались выведать, где она была или куда собирается, бабушка упорно отмалчивалась, сердясь, что ее пытаются контролировать, как малого ребенка.

И все же она скучала. В непогоду или в длинные зимние недели она часами сидела у себя в комнате, с тоской глядя куда-то в стену. Отказывалась от еды и телевизора. Хворала, говорила, что скоро умрет, хотя ни на что конкретно не жаловалась и отказывалась от всех врачей. Впрочем, все эти десять лет она собиралась умереть, и потому ее вечно занятые родственники стали относиться к этому как к норме.

Тома, например, считала все это неотъемлемым признаком старости. Да и что делать в этом возрасте, как не вспоминать свою прошлую жизнь? Да еще внуков нянчить, вернее, правнуков. Правда, о такой науке, как педагогика, бабушка не имела ни малейшего понятия, она даже читала по складам, как первоклассница, но тут уж делать нечего.

И вот бабушка Фросина переехала к внучке, в маленькую комнату, смежную с той, где спали Тома и ее муж. Впрочем, бабушке, казалось, хватает места, потому что, в отличие от Тома, она никогда не жаловалась на тесноту.

И началась у них новая жизнь. Причем новой она была не только для мальчика, который привык к частой смене обстановки — то садик, то больница, — а и для самой бабушки, ведь собственных детей она нянчила так давно, что уже и забыла об этом.

Просыпались они с Богдасем рано, задолго до звонка будильника, но не вставали, а долго еще лежали в постели, тихо переговариваясь, — до тех пор, пока в квартире не начиналась утренняя суета. Тогда они вообще замолкали, делая вид, что спят. Чтоб не нарываться.

И если раньше Богдась часто раздражал маму, делая то, чего делать не следует, а бабушкин характер никак нельзя было назвать ангельским, то теперь их коллективный разум действовал безошибочно. Оберегая собственную независимость, они ревностно следили за тем, чтобы не попадаться родителям на глаза, когда те спешат, или ссорятся, или ждут гостей и изо всех сил делают вид, что никаких неудобств в их доме не существует. И всякий раз, обдумывая, куда бы скрыться от греха подальше, они открывали все новые и новые возможности. Поначалу они освоили ближайшие скверики и детские площадки. Прихватив с собой печенье и компот в бутылке из-под армянского коньяка, где на наклейке радовали глаз красные и синие горы, они надолго исчезали из дома.

— Неужели нельзя налить компот в термос или хотя бы в молочную бутылку? — раздражалась Тома. — Что о вас люди подумают?

Но бабушка будто и не слышала, — видно, горы очень уж сильно манили ее.

Другим излюбленным местом прогулок стал рынок. Весной или летом, когда утреннее солнышко так красиво освещало деревья, бабушка с Богдасем спешили с огромной старой сумкой, несли ее вдвоем, каждый за свою ручку. И хотя порой надо было купить только морковь или зелень, сумка всегда была с ними. Они ходили по рынку часами, бабушка долго приценивалась, непременно пробовала каждый продукт, никогда не забывая и про Богдася.

— Ну как? — спрашивала она у правнука, запихнув ему в рот щепотку творога или абрикос. — Не кислый, брать можно?

И хотя в большинстве случаев они ничего не покупали, еще не было случая, чтобы кто-нибудь из продавцов рассердился на них.

Впрочем, наслаждаться рынком выпадало нечасто: Тома наказывала брать продукты в магазине, а своих денег у бабушки не было. Свою небольшую колхозную пенсию она переводила сестре, тоже уже старенькой, которая жила в селе с сыном-калекой. И все же

из денег, выданных ей на мелкие расходы, бабушка всегда умудрялась осчастливить Богдасы рыночным гостинцем: то китайским мячиком на резинке, который трещит, как бешеный, то леденцом на палочке, то глиняной свистулькой.

Нельзя сказать, что между бабушкой и Богдасем все проходило гладко. По временам, чересчур буквально понимая равенство между ней и собою, Богдась старался незаметно ускользнуть от бабушки. И впрямь, разве можно сердиться, если человеку хочется свободно попутешествовать, открывая окружающий мир? Однажды, когда бабушка задремала на весеннем солнышке, Богдась обошел пустой в этот утренний час скверик и вышел на улицу. Как учили в садике, он дождался, пока на светофоре загорится зеленый огонек, что уже само по себе было интересно, и перешел дорогу. Потом свернул за угол, миновал еще один скверик и пошел вниз, все дальше и дальше от бабушки. Машины, моряк с золотым кортиком на боку, огромный пес, который добродушно тявкнул на мальчика и побежал своей дорогой,— все было так увлекательно!

В это время бабушка, не найдя его поблизости, не то чтоб перепугалась, но подумала, что вот уж будет крика и упреков, когда Тома узнает. Она подождала еще — Богдасик не появлялся. Тогда она вернулась во двор, почти уверенная, что найдет его там. Во дворе, кроме соседской Катьки, шустрой одиннадцатилетней разумницы, никого не было. Катька сразу же бросилась помогать бабушке.

— Да вы не волнуйтесь,— говорила она по дороге, едва поспевая за бабушкой.— Конечно, столько несчастных случаев вокруг, что надо быть очень осторожным. Вон в пятнадцатой квартире одна девочка...

Дальше, как из мешка, посыпались жуткие истории о несчастных детях, которых сбила машина, украли преступники и с которыми случилось что-то совсем уж невероятное, чего бабушка была уже не в силах уразуметь. А Катька все продолжала и продолжала живописать разные ужасы, так что, слушая ее, бабушка прозревала и начинала наконец на старости лет понимать, что в городе, как в сказочном лесу, ребенка ожидает бесчисленное множество опасностей.

— Горе мне, горе,— бормотала она и мелко крестилась, чего уже давно не делала на улице, с тех пор, как перебралась в город.

И как Катька углядела его на бульваре среди множества людей! Богдась независимо сидел на скамейке, словно поджидая их, и лишь нахмуренное личико выдавало, что он устал и боится, хочет домой.

— Вот он, Фросина Ивановна! — победоносно закричала Катька на всю улицу.— Сейчас будем сдавать в милицию за непослушание!

Бабушка молча, с красным от напряжения лицом подошла к Богдасю и молча врзала ему. Легонько, один раз, потому что ее и без того слабая рука дрожала, как не своя.

— Будешь еще? — едва выговорила она и замолчала, испуганно глядя на Богдасы.

Чего-чего, а уж этого тот никак не ожидал от своей подружки — ведь до сих пор они жили душа в душу, и вот на тебе!

— А ты, ты... — сжав кулачки, пошел он на бабушку, и голос у него звенел от обиды.— Ты — Афросинья!

Только однажды, когда бабушка не согласилась купить ему зимой мороженое, Богдась назвал ее так, Афросиньей. Верно, он считал это тягчайшим оскорблением, потому что все, даже незнакомые люди, называли ее просто бабусей. И сейчас он знал, что делал, потому что на глазах у бабушки мигом заблестели слезы. Плакала она и по дороге домой, и вечером в постели, когда уже все улеглись спать.

— Не плачь,— говорил ей Богдась, вытирая и себе нос простыней,— не плачь, завтра на рынок пойдем, я вот денег насобираю.

И он сунул бабушке в руку два пятака.

Осенью Тома уехала на долгие гастроли, а отец Богдасы все еще готовился к защите диссертации, так что дома он почти совсем

перестал появляться. Зачастили холодные дожди, в скверике уже не погуляешь. Телевизор бабушке и Богдасю разрешали смотреть только по воскресеньям, чтобы не портить глаза, и они целыми днями сидели на кухне, глядя в окно, или играли в детское лото, если это можно назвать игрою, потому что правил ни бабушка, ни Богдась не знали.

— Скоро зима придет, заметет нас по самую крышу,— говорила бабушка, забывая, что она не в селе.

— Может, пойдем елочку купим? — предлагал Богдась, и глаза у него сияли новогодней радостью.

— Не время еще, до елки еще несколько месяцев.

— Плохо,— вздыхал Богдась.— У нас елочных игрушек целый ящик, я знаю, где он стоит.

И они снова глядели в окно. Наконец, день заканчивался, они ужинали и укладывались спать.

Тогда же, осенью, они и набрали на эти танцы. Дело в том, что путь к скверику пролегал мимо Клуба железнодорожников — старого кирпичного здания, похожего на средневековый замок. Говорят, до революции здесь была гимназия, в которой учились несколько известных писателей. Теперь в этом доме показывали кинофильмы, а в выходные дни играла музыка. Как-то, возвращаясь вечером с прогулки, Богдась, как зачарованный, потянул бабушку на эти звуки.

— Вы куда? — остановила их старенькая, как и бабушка, билетерша.— Здесь танцы, а не детский сад!

— Мы только поглядим, а танцевать не будем,— принялся уверять ее Богдась, и, видя, что ему не очень верят, приготовился зареветь.

— Пусть мальчик посмотрит,— попросила и бабушка неуверенно.

И пока билетерша жаловалась на непорядок, Богдась уже бежал по ступенькам в танцевальный зал. Потом он рассказывал бабушке, что собственными глазами видел там елку. Должно быть, он не так уж погрешил против истины — ведь гирлянды, развешанные под потолком зала, и впрямь напоминали о вечном празднике.

— Танцы теперь перевелись,— тем временем рассказывала билетерша бабушке, которая осталась возле нее, как залог их с Богдасем честных намерений.— Да и где нынче танцуют? Дома под пластинку или в ресторане. А помните...

Так бабушка и Богдась стали завсегдатаями Клуба железнодорожников. В субботу, если даже стояла хорошая погода и можно было погулять в скверике, бабушка одевала Богдася в лучший костюмчик, сама покрывалась цветастым платком, и они отправлялись на танцы. Бабушка оставалась внизу с билетершей, а Богдась бежал в зал, где, тихонько устроившись в углу, часами мог наблюдать, как танцуют взрослые. Что его там привлекало — кто знает, даже бабушке не смог бы он объяснить этого. Да она и не требовала никаких объяснений, а порой и сама присоединялась к правнуку, и тогда они осторожно, чтобы не обидеть тех, кто танцевал, переговаривались в своем углу.

У них уже были любимые пары, которым они приветливо улыбались и мысленно желали всяческого успеха. Да и большинство постоянных посетителей уже знали их и здоровались, словно с добрыми знакомыми.

— Эй, молодец,— шутили, поднимая Богдася на руки, веселые парни,— не нашел еще себе невесту?

Иногда какая-нибудь пара брала Богдася к себе в середину, и он плясал с ними под бешеный ритм серьезно и с чувством собственного достоинства, не обращая внимания на смех и шутки по своему адресу. В перерыве между танцами кто-нибудь обязательно приносил Богдасю из буфета шоколадку. А один раз случилось так, что у их нового знакомого из клуба был день рождения и он пригласил бабушку и Богдася в буфет и угостил пивом. Бабушка вначале исбаи-

валась, но Богдасю так хотелось попробовать запрещенного напитка, а знакомый так горячо убеждал, что от нескольких глотков никакого вреда не будет, наоборот, лишь польза, что она согласилась.

Веселые, довольные возвращались они из клуба. «Алюю руту не ищи вечерами» — звучали на улице два тоненьких голосочка, и улица смеялась и пела вместе с ними. И тогда в совсем уже пустом дворе им и попалась соседка со второго этажа, мать той самой Катки, такая же говорливая и любопытная. Услышав их пение, она так и замерла на месте.

— Откуда, Фросина Ивановна, так поздно? Не у родственников ли на именинах были?

— Нет, из другого места, — ответила бабушка уклончиво.

— С танцев идем, — похвастался Богдась и даже на цыпочки пристал от гордости. — Мы там пиво пили!

Он так и не понял, почему бабушка не дала ему досказать и, не простившись с соседкой, быстро потянула его домой.

Тома узнала обо всем в тот же день, как вернулась с гастролей. Что уж ей там наговорила языкастая соседка, какими подробностями пугала, так и осталось неизвестным, но вечером у Тома случилась истерика. Из ее выкриков можно было разобрать лишь отдельные слова:

— И спиртным от обоих несло! Напоить малого ребенка!

Бабушка не оправдывалась, лишь подбородок у нее дрожал, словно от холода.

Утром за завтраком, когда все молча глотали свою кашу, Тома была уже значительно спокойнее.

— Ну что ж, решено: Богдась снова пойдет в садик. — И, взглянув на бабушку, немного смягчилась: — Ты можешь остаться у нас, если хочешь, отвозить и забирать его из садика. А то переезжай к маме.

Бабушка ничего не ответила, и в напряженном молчании, которое воцарилось за столом, Томина ложка звенела как-то особенно неприятно.

— Надо платочков докупить, — откликнулась наконец бабушка, — видно, помирать мне пора.

Перевела с украинского Е. РОССЕЛЬС.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГРИГОРИЙ ОГАНОВ



ЭКРАН ДЛЯ БИЗНЕСА

Все относительно в этом лучшем из миров... Философический скептицизм этой древней сентенции не однажды приходит на память, когда знакомишься с практикой современного западного искусства вообще, а развлекательных программ американского коммерческого телевидения, особенно тех, что приурочены к «прайм тайм» — наивыгоднейшему вечернему времени, в частности.

Помнится, какое недоумение вызвала в 1962 году на только что открывшейся в Нью-Йорке в музее современного искусства выставке картина Энди Уоролла «Сто консервных банок». На полотне и впрямь были тщательно воспроизведены поставленные рядами друг на друга и образовавшие таким образом правильный прямоугольник консервные банки с томатным супом фирмы «Кемпбелл». Как будто вырезали сто этикеток и наклеили их на плоскость — все реально до предела. В чем тут смысл? где тут искусство? — недоумевала публика, не догадывавшаяся об ожидающих ее новациях куда похлеще. Спустя ровно двадцать лет одна из западных художественных галерей пополнилась новым бесценным шедевром — «концептуальным» произведением под названием «Комнатная температура». Эта, с позволения сказать, композиция составлена из тастика и двух... дохлых мух. «Я восхищен законченностью, однозначностью и ясностью композиции этого произведения», — заявил журналистам директор галереи, сподобившейся чести выставить на всеобщее обозрение это «неповторимое» творение дошедшего до крайности модернизма.

Все относительно... В сравнении с дохлыми мухами консервные банки Уоролла выглядят просто-напросто прекраснейшими в своей благородной красоте эстетически объектами. Иллюзия? Да, конечно. Даже своего рода мистификация, ибо банки остались банками, и ничем иным они быть не могут.

Но вот однажды мне довелось увидеть в Соединенных Штатах рекламу симфоджазового фестиваля, соединенную с рекламой популярных... сигарет. Об этом стоит рассказать подробнее.

Вначале дирижер, одетый в белый блейзер, черные брюки, с черной бабочкой на крахмальном воротничке — ни дать ни взять метрдотель заурядного ресторана, — бодро пританцовывая, выбежал на эстраду, попутно раскланиваясь с оркестрантами, взял с попитра дирижерскую палочку, сделал пару шажков к краю рампы, к публике и, весело ослабившись, произнес: «Приятного аппетита!» — после чего повернулся к оркестру, поправил ноты на попитре и взмахнул палочкой. Оркестр заиграл. В программе первого отделения концерта были произведения Дюка, Мило, Герцвина...

Было это в Атланте, штат Джорджия, Соединенные Штаты, 23 июня 1982 года. Концерт начинался в 9 часов вечера, играл Атлантический симфонический оркестр, дирижировал Уильям Фред Скотт. Биает у меня сохранился...

До этого июньского дня мне не доводилось слушать Атлантический оркестр, но в программке было указано — главный музыкальный руководитель и дирижер Роберт Шоу. А Шоу я хорошо знаю: замечательный, влюбленный в музыку дирижер, прекрасный педагог. Лет пятнадцать—двадцать назад он приезжал в Советский Союз, и я был почти на всех его концертах. Тогда Шоу руководил студенческим хором, но назвать его непрофессиональным или, как у нас принято, самодеятельным коллективом не хотелось: это был очень слаженный, требовательный к себе и весьма разборчивый в выборе репертуара хор. Больше всего ему удавались старые негритянские спири-

чуэлз — церковные гимны, гением негритянской культуры превращенные в народную песнь, в самовыражение страдающей и надеющейся души. Их исполнение стало для меня одним из самых памятных музыкальных впечатлений, а старенькую, не стереофоническую даже пластинку «Хор Роберта Шоу», выпущенную вскоре фирмой «Мелодия», я храню бережно до сих пор.

А сейчас я хотел бы вернуться к тому июньскому вечеру в Атланте. Днем, после того как все деловые встречи, осмотры, переговоры были завершены, Стюарт Лури, некогда корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн» в Москве, а в 1982-м ведущий тележурналист вашингтонского отделения Си-Эн-Эн (Кабельная Новостная Телесеть), встретивший нас в столице Джорджии, предупредил: вечером поедем на концерт. Тогда я не обратил внимания на брошенную им фразу — «там и поужинаем». Подумалось — поужинаем, навёрное, после концерта где-нибудь в ближайшем ресторанчике или перекусим по-московски в перерыве между отделениями. А такие допущения, основанные на привычках и традициях совсем других, удаленных от Соединенных Штатов на многие тысячи километров мест, а вернее — других цивилизаций, лучше не делать. Иначе рискуешь попасть впросак.

Так оно со мной и случилось, хотя, скажу в свое оправдание, виду я не подал, даже глазом не моргнул, когда заботливые хозяева, поинтересовавшись, какое из сухих вин я предпочитаю — белое или красное, разложили буквально за минуту до начала концерта крахмальную салфетку у меня на коленях, водрузили на нее прозрачный пластиковый бокс с сандвичами, салатом, кусочком жареной индейки и приправами, вручили пластмассовые нож и вилку и в пластмассовый же стаканчик налили гранатового тона калифорнийское а-ля бордо вино. То же самое они приготовили себе; оглядевшись, я увидел, что те же прозрачные боксы, раскрытые, как партитуры, лежат на коленях еще полутора тысяч местных меломанов. Ну, а дальнейшее вы знаете — приятного аппетита! — и полились чарующие звуки. Впрочем, чарующие — это я хватил через край, оркестр играл неважно...

И все же подозреваю: не все мне поверят. Да и я бы сам, расскажи мне кто-нибудь эту историю, засомневался, — в Соединенных Штатах есть великолепные, высшего мирового класса симфонические оркестры; еще совсем недавно ими дирижировали такие великие музыканты, как Тосканини, Орманди, Стоковский...

Все это так, и я вовсе не хотел воспользоваться этим атлантским эпизодом, чтобы бросить тень на все американское искусство или на нравы тамошней публики, столь далекие от наших представлений. Тем более что в пестром многообразии фактов и явлений современного американского искусства достаточно куда более весомых свидетельств надругательства над здравым смыслом и хорошим вкусом, превращения кино, эстрады, даже литературы в грубый, щекочущий нервы, безвкусный и античеловеческий по своей сути духовный ширпотреб. Немало примеров этому дает американское телевидение; его экран, пожалуй, самый мощный распространитель бесчисленных ковбойских фильмов-вестернов, леденящих кровь боевиков на криминальные темы, пышных, блестящих и пустых шоу, сентиментальных историй, призванных очаровать домохозяек, — классического набора произведений так называемой массовой культуры. Это особая тема, и мы к ней еще обратимся.

Гвоздем программы было второе отделение, в нем выступал виртуоз-саксофонист Джерри Муллиган со своим джазовым квартетом, и эта часть концерта была выше всяких похвал, — свидетельствую искренне, — я не большой поклонник джаза, но хорошее от плохого отличить умею. Это была очень серьезная, глубокая по чувству и, как мне показалось, чуточку грустная музыка. Но — главное — это была настоящая музыка, напоминавшая о других, лучше нам известных «королях джаза» — Луи Армстронге, Дюке Эллингтоне. С Эллингтоном Муллиган был очень близок, и Дюк писал пьесы специально для него.

На обратном пути из парка Частайн, в огромном огороженном решеткой амфитеатре которого мы только что слушали Муллигана (ко второму отделению с ужином все уже управилось и ненужные больше пластиковые боксы, стаканчики и вилки с ножами побросали в специально для этого поставленные у эстрады огромные баки), я уже пристальнее вглядывался в разбросанные по городу щиты-афиши, рекламировавшие только что отзвучавший концерт. Главным их элементом была увеличенная примерно в двести раз коробка сигарет известной марки «Кул». К названию тем же шрифтом была пририсована вторая строка — «Джаз» и внизу помельче — «фестиваль в Атланте».

При чем тут сигареты, спросите вы и обнаружите при этом полную неосведомленность о положении дел в американском бизнесе и в американском же искусстве. Джазовый фестиваль 1982 года в Атланте и в других больших городах страны потому и смог состояться, что была перед этим магическим словом — джаз! — поставлена еще более магическая приставка «Кул». Ибо кто же, если не могучая монополия, заинтересованная в максимальном распространении своей продукции, финансирует от щедрот своих такое малоприбыльное, невзирая на цену билетов, событие? В данном случае меценатом-благотелем стала сигаретная корпорация. Честь ей за это и слава в веках и занесение ее громкого табачного имени в анналы американской музыкальной культуры, а также и немедленная, уже запланированная сверхприбыль, ибо, если вы любите джаз, то закуривайте, пожалуйста!

Да, деньги, ассигнованные корпорацией на поддержку джазового фестиваля в Атланте, — это та же плата за рекламу, никто в Штатах «за так» добрых дел не делает, все, включая благотворительность, должно окупаться, желательно с превышением.

И американцы закуривают. Это вот, пожалуй, одно из самых удивительных наблюдений — повелительное, императивное воздействие рекламы на американцев, не знающее (в среднем, в среднем!) отказа. Об этом еще в первый мой приезд в Атланту, в 1976-м, в год двухсотлетия Соединенных Штатов, подробно говорил президент всемирно известной «Кока-колы», одной из могущественных монополий Америки, штаб-квартира которой находится в этом южном городе, столице штата, Джеймс Пол Остин.

В тот год корпорация тратила на рекламу — на все виды рекламы — 120 миллионов долларов в год (в 80-е годы расходы фирмы еще больше возросли: только на телевизионную рекламу ежегодно тратится больше 100 миллионов). «Вы думаете, мы зря бросаемся деньгами? — спросил, заметив наше удивление, президент. — Нет, мы и цента зря не потратим. Но представьте себе, наша знаменитая на весь мир кока, которую американцы пьют, кажется, уже пятым поколением, нуждается тем не менее в повседневной рекламе. Уж поверьте нам, проевшим зубы на коммерции, — американцы, как и большинство других людей, устроены так, что если в течение недели им не напоминать о кока-коле, не показывать на телеэкранах, как из запотевшей приталенной бутылочки некто явно счастливый тянет через соломинку волшебный эликсир, то они, вчерашние потребители, забудут коку и будут пить что-нибудь другое, — то, что рекламируется телевидением. А мы со своей почти столетней, не знавшей упадка историей просто-напросто прогорим...»

Не знаю, как насчет «большинства других людей», но в отношении своих соотечественников тогдашний президент «Кока-колы» был совершенно прав. Многолетнее исправное функционирование рекламной машины, достигшее, кажется, совершенства на электронном экране, заставило всех в Соединенных Штатах, независимо даже от естественного чувства отвращения к рекламной назойливости, повиноваться рекламе. Пресловутый «средний американец», вычисленный и запрограммированный социологами от коммерции, кряхтя и проклиная эти осточертевшие, набитые, как колбаса шпиком, рекламными вставками телепрограммы, их все же смотрит, а потом покупает в магазине, в супермаркете, в дрозг-стори все-таки именно то, о чем он слышал, по поводу чего его снабдили информацией, что он «знает», то есть как раз то, что ему только что рекламировали.

Так уж «устроен» американец. Он, этот сугубый индивидуалист, этот ярый приверженец всяческой свободы и ничем не ограниченной личной инициативы, фактически и шагу ступить не может без четких, ясных указаний, полученных («свыше»), от святой, непогрешимой Рекламы. Без «коммершлэ» — рекламных коммерческих объявлений производящих, торговых, страховых, обслуживающих фирм он растерян, дезориентирован, сбит с толку. Он — как слепец в новом Вавилоне «общества потребления». И реклама — его собака-поводырь.

Эта зависимость американцев по обе стороны прилавка — и тех, кто покупает, и тех, кто продает, — от рекламы и является той основой, тем краеугольным камнем, на котором базируется вся сложная, разветвленная система коммерческого телевидения Соединенных Штатов, как, впрочем, и вся жизнь страны — ее экономика, ее политические институты, ее духовная жизнь, ее обычаи и нравы. Собственно, коммерческая реклама — это и есть главный «энергетический продукт» капитализма, главный двигатель безостановочной мистерии купли-продажи, главное оружие жестокой конкурентной борьбы: ты съешь — или тебя съедят.

Назойливое господство рекламы замечаешь сразу, приехав в любую капиталистическую страну, в Соединенные Штаты в особенности. Быстро привыкаешь к тому, что, купив пухлую, в 96, а то и в 132 и больше страниц американскую газету, сразу же выбрасываешь в мусорный ящик целые секции, составленные сплошь из коммерческих объявлений и бесконечных колонок биржевых курсов. Привыкаешь и к ежедневному вечернему превращению центральных улиц любого более или менее крупного города в сплошной двусторонний, сверкающий неммыслимыми огнями рекламный щит, назначение которого во что бы то ни стало всучить тебе заманчивый страховой полис, или авиационный первого класса билет на гавайские пляжи и обратно, или, на худой конец, бутылку самого крепкого, самого ароматного, самого лучшего в мире виски, или очередное неотразимое голоногое (слабо сказано!) бродвейское ревю, или еще что-нибудь более «специальное».

Но чтобы в полной мере понять, что господствует, что правит бал в этом закрученном, заверченном на максимальные обороты мире, надо включить телевизор.

Даже если ваш телевизор в номере отеля не снабжен специальной приставкой-пультом и не подключен за дополнительную плату к кабельным телевизионным системам, и то в Нью-Йорке, например на Манхэттене, у вас будет выбор в добрую дюжину каналов.

Ограничим себя пока тремя каналами, по которым ведут в Нью-Йорке, как и по всей стране, свои передачи три основные или, как они любят называть себя, «национальные» телесети: Эй-Би-Си, Эн-Би-Си и Си-Би-Эс.

Это крупные, чисто коммерческие организации, связанные множеством разнообразных интересов с другими гигантскими промышленно-финансовыми монополиями США. Эти телевизионные корпорации сами представляют собой каждая целую империю с филиалами, с дочерними предприятиями, с бесчисленными связями в различных государственных, общественных, церковных кругах. Эта мощь и эти связи, не говоря уже о прямом влиянии компаний-рекламодателей, с которыми телесети тесно сотрудничают, и определяют четкие классовые ориентиры в политических позициях коммерческого телевидения.

Та же Си-Би-Эс (Коламбия бродкастинг систем) — сложный конгломерат различных предприятий, как родственных основному бизнесу, так и весьма далеких от него. Корпорация владеет известной во всем мире фирмой записей «Коламбия рекордс», выпускающей долгоиграющие пластинки миллионными тиражами. Ей принадлежат также фирма музыкальных инструментов, производство наглядных пособий для школ и колледжей, издательство «Холт, Рейнхардт и Уинстон», несколько популярных журналов для любителей природы, для тех, кто любит мастерить всякую полезную в хозяйстве утварь. Помимо этого, в конгломерат Си-Би-Эс входит ряд киностудий, корпорация вкладывает немалые средства в дорогостоящие работы по глубоководному исследованию океанов, владеет контрольным пакетом акций нескольких иностранных компаний различного профиля и даже являлась одно время хозяином известнейшей бейсбольной команды континента — «Нью-Йорк янкиз».

Но, пожалуй, наиболее впечатляющим следует считать то, что массовой рекламе не подлежит: близость «Коламбия бродкастинг» военно-промышленному комплексу. Корпорация занимает заметное место среди поставщиков военной и авиакосмической промышленности; в 60-х годах она имела «общие дела» с такими гигантами, как «Дженерал моторс», «Форд мотор компани», «Крайслер». И Си-Би-Эс не исключение. Обе конкурирующие с ней телесети могут похвастаться не менее пышной свитой дочерних предприятий, а среди их компаньонов и спонсоров (так в США называют фирмы, финансирующие в рекламных целях спектакли, фильмы, телепостановки и т. д.) — звезды первой величины большого бизнеса Соединенных Штатов.

Они — соперники и конкуренты, эти три «национальные» телесети, они делят, привыкли делить потенциальную телезрительскую аудиторию страны на три почти равные части, милостиво и брезгливо выделив некоторый малый процент из числа чудаков для еще одной, но уже не коммерческой, а так называемой общественной, существующей на субсидии частных «благотворительных» фондов, пожертвования отдельных лиц, добровольные взносы самих телезрителей, а также скупые государственные ассигнования. Коммерческие телегиганты не берут, да и никогда не брали в расчет эту телесеть — Пи-Би-Эс (Паблик бродкастинг систем), тем более сейчас, когда появился новый, чрезвычайно напористый, агрессивный и даже, по-видимому, уже неустрашимый конкурент — кабельное телевидение.

Но в нем, как и в более общих тенденциях — технических, программных, идеологических — телевизионного развития США, нельзя разобраться, не опираясь на картину «традиционной» телевизионной обстановки, какой она сложилась в последние годы. А в последние годы, даже можно говорить о трех послевоенных десятилетиях, эти коммерческие телекорпорации занимали безоговорочно монопольное положение на телевизионном рынке Соединенных Штатов. Сначала это были Эн-Би-Си и Си-Би-Эс, начавшие вести телепередачи соответственно в 1927 и 1929 годах. Позже, в 1943 году, появилась Эй-Би-Си, и с тех пор до середины 70-х годов ничто не омрачало их безраздельного тройственного господства в стране.

Эти три компании контролируют разветвленные телевизионные сети, они обеспечивают доставку программ на множество местных телетрансляционных станций, расположенных практически по всей территории США. И хотя «антитрестовское» законодательство и «регулирующие правила» Федеральной комиссии связи запрещают корпорациям владеть больше чем семью телепередающими станциями, фактически в орбите влияния каждой из сетей-колоссов находятся сотни столичных и провинциальных «независимых» частных станций, строящих свои передачи преимущественно на программах той или иной (а иногда и двух, а то и всех трех) телесети-монополиста. В свою очередь группы транслирующих станций на местах объединены корпорациями меньшего масштаба в так называемые цепи.

И вся эта сложная иерархия телевещательной индустрии в полном смысле слова день и ночь занимается добыванием весьма существенной прибыли, не взирая ни цента с телезрителей. В этом-то и весь фокус! Такое «бескорыстие» весьма корыстолюбивых телекорпораций выглядит весьма похвально, а к тому же позволяет боссам трех телевизионных монополий горделиво заявлять о своей благородной миссии служения народу Соединенных Штатов.

Впрочем, лицемерной политической риторикой в США уже никого не удивить. Цену телевизионного «служения обществу» тоже все хорошо знают. И прежде чем вникнуть в хитроумную механику извлечения звонкой монеты из телевизионного эфира, хочу процитировать бывшего губернатора штата Техас Джона Коннели, того самого, кто был легко ранен в президентском автомобиле во время покушения, приведшего к смерти Джона Кеннеди, тридцать пятого президента США. В одной из своих речей Коннели сказал: «Эн-Би-Си, Эй-Би-Си, Си-Би-Эс. Их нужно считать тем, что они есть: крупными предприятиями, которые созданы предпринимателями под защитой нашей свободной экономической системы. Они принадлежат к числу самых выгодных в Америке. Это гигантские корпорации, которые приносят прибыль так же, как и крупные компании, занимающиеся производством автомобилей, электроприборов, стали, добычей полезных ископаемых, переработкой нефти, газа и другого сырья, производящие самые разнообразные товары для американского потребителя. Сегодня индустрия средств массовой информации — это большой бизнес!»

Это свидетельство человека, знающего что к чему. А теперь представьте себе, что вы сидите у телевизора в Соединенных Штатах, вы нашли программу, по которой идет английская постановка «Короля Лира» (все лучшие постановки классики, попадающиеся на американском телеэкране, — английские. Программы отечественные, голливудские — это главным образом ковбойские вестерны, детективы, эротические фильмы, всякого рода шоу. Сами работники американских телесетей на мой вопрос, что, по их мнению, лучшее было показано за последние годы на телеэкране США, назвали «Анну Каренину» и «Сагу о Форсайтах» — английские телепостановки, и «Леонардо да Винчи» — спектакль итальянского телевидения). И вот в тот самый момент, когда Лир начинает опрашивать дочерей, как сильно они его любят, чтобы в соответствии с этим решить, какую часть королевства им отдать, — в этот самый момент экран на мгновение гаснет, тут же загорается снова, и взором телезрителей предстает умопомрачительная блондинка в весьма экономном бикини, с бутылочкой сьюпер-шейда фирмы «Коппертон» и, зазывно улыбаясь на фоне пальм и лазоревого моря, наглядно объясняет, как надо намазываться этим, естественно, самым лучшим в мире кремом, чтобы стать неотразимо шоколадной и обрести полное счастье.

Сценка длится ровно тридцать секунд. Еще столько же занимает сюжет с новой моделью «Олдсмобила», обзавестись которой обязан каждый настоящий американец; экран гаснет снова, и через миг старый Лир получает возможность продолжать драматичный дележ королевства. А через пять минут — все снова. Только товары уже другие. Так и идет дело: кусочек Шекспира — крем для загара — модный автолиму-

зин — кусочек Шекспира — стиральный порошок — кофейный чудо-напиток — кусочек Шекспира... Нет, за классиком последнее слово не останется. «Король Лир» закончит свои земные дела, его сменит бейсбольный матч или какое-нибудь ревью, а дезодоранты, кремы, распахонки, зубная паста, питательные смеси для болонок останутся. Ибо они — дело, они — прибыль, они — мировоззрение.

И так всегда, что бы вам ни пришлось смотреть — драму или концерт, политическую дискуссию или встречу боксеров-тяжеловесов, репортаж о полете космического экипажа или прямую трансляцию похорон президента Кеннеди.

С точки зрения акционеров телевизионных корпораций эти минутные вкрапления коммерческой рекламы выглядят драгоценными камнями, вставленными в оправу программ. В качестве оправы или, если выражаться по-современному, носителя годится, как мы выяснили, все — и веселое и грустное. А вот подобрать «камень» — дело не простое. Нужно знать, какой «бриллиант» в какую оправу. Одно дело — в программы дневные, их по преимуществу смотрят домохозяйки, и тут уместнее всего рекламировать то, в чем они в данный момент как раз и нуждаются: мыло, крем, стиральные порошки, детское питание, приправы к блюдам. Предметы более дорогостоящие — мебель, занавеси, парфюмерию следует показывать попозже, ближе к приходу домой мужа. А спортивный инвентарь, автомобили, ювелирные изделия — это уже другое дело, их надо давать вечером, когда мужчины в доме и их можно уговорить раскошелиться.

Драгоценными эти минутные вставки становятся из-за своей цены: «национальные» телесети, собирающие аудиторию в десятки миллионов телезрителей, получают за минуту рекламы в «прайм тайм» — наиболее удобное для просмотра вечернее время по 200, 300, а то и 400 тысяч долларов от монополий-рекламодателей. То есть несколько миллионов за вечер. Игра, оказывается, стоит свеч — затраты на рекламу окупаются увеличением продажи рекламируемого продукта.

Есть и такая обобщенная цифра: телевизионные корпорации получили за год от разных фирм, рекламирующих свои товары на телеэкране, 8 миллиардов 440 миллионов долларов. Это больше годового бюджета иной латиноамериканской республики...

Сказав, что коммерческие объявления, реклама вообще влияют на общественные идеалы, на мировоззрение американцев, я ничуть не утрировал ситуацию. Классический американский ответ на вопрос: что такое телевидение? — гласит: великий продавец товаров. Это правда, но не вся правда. В идеологическом плане американское коммерческое телевидение — это еще и пропагандист и продавец так называемого американского образа жизни. И не только самим содержанием своих художественных или, как их, пожалуй, более правильно, если иметь в виду именно телевидение в США, здесь называют, развлекательных, а также документальных программ. И не только постоянными рекламными вставками, а они тоже содержательны, у них своя мораль и своя сверхзадача. Хотя и прилагаются усилия к тому, чтобы максимально затемнить дело. Так, журнал «Ти-Ви гайд», помещающий на своих страницах расчетливо дозированное количество читательских писем, напечатал недавно весьма примечательное, характерное для своей тонкой политики поддержки монополий-рекламодателей письмо. Его автор, некто Рош из штата Монтана, писал, что он очень любит коммерческие объявления по телевидению, но не потому, что они рекламируют товары («я предпочитаю полагаться на собственный выбор и на советы других покупателей»), а, видите ли, за то, что они помогают его детишкам расширять свой словарный запас. С умилением приводит он лепет своей четырехлетней доченьки, заявившей совсем «как в рекламе», что «апельсиновый джус — прохладный и освежающий», а «моя кожа — мягка и придает мне моложавый вид»...

Как бы там ни было, тот слоеный пирог, который получается в результате внения рекламных сенок в живое тело программ, имеет уже свой вкус, оказывает свое воздействие, отличающееся от того, какое могли бы произвести взятые отдельно, независимо друг от друга конкретная передача и конкретная реклама.

Постараюсь пояснить эту мысль. Производят ли прерывающие то и дело представление рекламы кремов и автомобилей определенное воздействие на характер восприятия того же «Короля Лира», или «Гамлета», или «Анны Карениной»? Все согласятся: конечно. И дело не только в том, что они мешают сосредоточиться, что они грубо, можно сказать, бестактно прерывают действие, а тем самым прерывают и то состояние вовлеченности в действие, захваченности им, которое зритель испытывает и которое, незаметно для него, производит в его душе важную созидательную

работу, особенно если речь идет о произведениях непреходящей художественной ценности.

Главное заключается в том, что эти назойливые рекламные сценки, появившись в самый, с точки зрения здравого смысла, неподходящий момент, как бы «отрезвляют» зрителя, возвращают его из мира, созданного Толстым, Шекспиром, Бальзаком, мира огромного, удивительного, тревожного, сотрясаемого конфликтами, густо заселенного поучительными судьбами, сильными характерами, в мир иной, якобы «на грешную землю». В ту глаженную, продезинфицированную рекламными режиссерами псевдо-действительность, бесконечно далекую от реальности, где живут не люди, а манекены, те самые «нормальные личности», которые не знают ни трагедий, ни драм, и все их проблемы сводятся к «трудной задаче» выбора наилучшей, наименее эффективной марки дезодоранта и наимоднейшей расцветки «крайслера» или «кадиллака» («кадиллак» предпочтительнее, поскольку дороже). Идентифицировать эту «нормальную личность» с простым человеком, со средним американцем, то есть с главным потенциальным потребителем, и направить его на путь истинный, что означает, во-первых, заставить его выбросить из головы все «посторонние» мысли, а во-вторых, купить именно те товары и продукты, которые ему рекомендованы с телевизионного экрана (с гляцевых журнальных обложек, с размалеванных рекламных щитов, со стендов неоновой рекламы и т. д.), — вот священная цель и высочайший смысл не знающей остановки деятельности телевизионных и всяких прочих коммивояжеров большого бизнеса.

Единственным «смягчающим обстоятельством» тут является тот неоспоримый факт, что программ высокохудожественных, представляющих действительные художественные ценности на каналах коммерческого телевидения совсем немного. Даже можно сказать — они редкость, нечто вроде чрезвычайного происшествия, случившегося по явному недосмотру коммерческого отдела — самого главного, диктующего программную политику в любой телесети. Ибо ни Шекспир, ни Данте, ни Толстой не могут конкурировать с захватывающим кровавым детективом, со шпионской драмой или с бейсбольным матчем по числу зрителей. А ведь именно оно, это число, и приносит прибыль от рекламных объявлений. Так что в конечном счете, рассуждают в штаб-квартирах телесетей, публика получает то, чего заслуживает. И нечего с ней церемониться!

«Современный человек думает, что он знает, чего хочет, тогда как хочет он того, чего от него требуют», — писал по поводу такого рода обработки человеческой личности в современном буржуазном обществе известный западный философ и социолог Эрих Фромм. Человек является жертвой этой манипуляции, этой подстановки иллюзии вместо действительности, разбуженных рекламой вожделений вместо подлинных потребностей, внушенных представлений о мире вместо здоровой критической оценки явлений и событий.

Здесь все взаимосвязано. Цепочка тянется далеко, звено за звеном. Быт, политика, общество, мой дом, мои заботы, мои ночные страхи... И есть ведь еще такой маленький, пугливый, недоверчивый зверек, как человеческая совесть. Он живет где-то в самом скрытом, самом далеком уголке души, таится где-то во мраке и лишь изредка начинает перебирать лапками, тихо, тоскливо скребется. Он и просится наружу и боится — не без оснований. Задавят добротными сапогами «стопроцентного американизма» и высшей государственной необходимости. Подстрелят из винтовки с оптическим прицелом. Вот почему совесть в Америке очень пуглива. Ей надо помочь, а то она и оставшуюся часть людей превратит в неврастеников или — и того хуже — в красных.

Телевизионная реклама помогает и тут, и в таком тонком деле она знает толк. Представьте себе еще раз: вы у телевизора в Нью-Йорке, в любом пункте страны. Наступил час главных вечерних новостей (в США это в 6.30 или в 7 часов пополудни). Все три коммерческие телесети выпускают на экран своих самых опытных, самых популярных, самых аттрактивных ведущих — политических обозревателей. У Коламбия бродкастинг им до недавнего времени был легендарный Уолтер Кронкайт, самый известный телевизионный обозреватель в Штатах.

Сейчас его сменил Дэн Разер, птица совсем другого полета, журналист-«ястреб». У Эн-Би-Си ведущих главных новостей двое — Роджер Мада и Том Брокау, у Эй-Би-Си — Френк Рейнольдс. Это мастера высокого класса. Они как бы «сервируют» программу, заранее спланированную с особой тщательностью. Дело в том, что вечерние новости

открывают тот священный отрезок вечернего времени, который называется «прайм тайм» и который дает максимальную прибыль от рекламы. Чем больше зрителей у экрана,— это уже азбучная истина,— тем выше плата за рекламу. А так как замечено, что после новостного выпуска люди редко переключаются на другой канал, то конкурирующие телесети стремятся «привязать» к своему каналу максимум телезрителей как раз во время трансляции вечерних новостей. А это в условиях «свободного предпринимательства» может означать только одно: предельное насыщение новостных программ сенсационными сюжетами.

Что же такое сенсация по американским понятиям? То, в первую очередь, что шкочет нервы, что леденит кровь от ужаса, пробирает по коже морозом. Одним словом, нечто страшное или хотя бы необычное. Как выразился один американский остряк, если собака укусит человека — это не сенсация, а вот если человек укусит собаку — это уже совсем другое дело, это достойно внимания: о таком еще никто не слыхивал. На практике в программах новостей американского коммерческого телевидения это выглядит так: к показу будут отобраны прежде всего самые кровавые сюжеты — убийства, катастрофы, пожары (желательно — с жертвами), ограбления (лучше — с перестрелкой), самоубийства.

Соответственно и в тематике международной. Телевидение может годами не показывать ничего из какой-нибудь африканской или азиатской страны, хотя там происходят важные вещи — строятся города и дороги, ликвидируется неграмотность, развивается промышленность. Скорее всего американский телезритель вообще не знает ничего об этом государстве, даже не подозревает о его существовании. Но если там произошел переворот, если льется кровь, телевизионные корпорации США тут как тут: запахло жареным. Однако не ожидайте внимательного и добросовестного политического, социального анализа происходящего — этого не бывает никогда. Это, во-первых, «скучно», а во-вторых, невыгодно. Правящий класс США не заинтересован в прояснении причин — это на руку коммунистам, это им нужно докапываться до классовой сути всех столкновений, войн, всех перемен.

Эту свою вынужденную некомпетентность, неосновательность американское телевидение да и все другие средства информации оборачивают себе на пользу, с гордостью, более смахивающей на лицемерие, ссылаясь на «абсолютную объективность» своих информационных сообщений: мы, дескать, только рассказываем о том, что произошло, мы только показываем, «как это было», не пытаясь высказывать свое мнение, комментировать, выдвигать свою версию причин того или иного явления. Поступать иначе — значит, оказывать давление на аудиторию. Пусть телезритель сам делает свои выводы...

Это очень удобная метода как раз для тех, кто хотел бы, не неся никакой ответственности, манипулировать в своих скрытых целях сознанием людей. В самом деле, «беспристрастные объективисты» из американских и прочих западных средств массовой информации умалчивают при этом, что в их руках находится весьма действенное оружие пропаганды, позволяющей информируя — дезинформировать: жесткий тенденциозный отбор информации.

Как это делается, к какому кощунственному искажению действительности, к какой неправде приводит, я имел возможность убедиться лично в конце июня 1982 года, когда израильская военщина, захватив южные районы Ливана, блокировала западный Бейрут и методически, квадрат за квадратом обстреливала его ракетным и орудийным огнем, подвергала атакам с воздуха с применением варварского американского оружия — кассетных и шариковых бомб, напалма и фосфорных зажигалок; уже в первые дни этой бандитской акции гибли главным образом беженцы с юга и мирные жители ливанской столицы, других разрушенных агрессором городов — дети, женщины, старики. Мир с содроганием узнавал о зверствах израильских захватчиков, проводящих настоящий геноцид, в мировой прессе публиковались фотодокументы, которые не могут не потрясать: искалеченные люди, разрушенные дома, истекающие кровью старики, обожженные фосфором лица детей... Что же показывало американское телевидение в своих репортажах с многострадальной, политой свинцом и напалмом ливанской земли? В это трудно поверить, но, повторю, видел собственными глазами на экране телевизора в Нью-Йорке: солдаты-окупанты заходят в лавки кустарей, покупают ливанские сувениры, на пляже в районе, контролируемом действующими в сговоре с израильянами правохристианскими формированиями, загорают красотки в бикини; в восточный Бейрут приезжают иностранные туристы полюбоваться экзю-

тивеским зрелищем — пылающим в огне, окутанным клубами дыма западным Бейрутом... Одним словом, создавалось — намеренно, умышленно — впечатление, что ничего особенного не происходит. Оккупация — ничего страшного, так, почти увеселительная прогулка. Жизнь продолжается, ну, а то, что «где-то» стреляют, — к этому американский телезритель привык: ведь в каждом выпуске новостей, не говоря уже о ковбойских фильмах и шпионских детективах, все время стреляют, все время падают трупы — привычное дело. Конечно, подлость, конечно, кощунство, хотя все показанное — «факты», тщательно отобранные, отмытые от крови, отредактированные в полном соответствии с канонами «свободной» и, прибавим, «неподкупной» прессы. Разве стоит считать подкупом миллионы, получаемые телесетями в качестве законной платы за коммерческую рекламу из рук могущественных монополий?

Способов весьма «деликатного», я бы сказал, артистического редактирования фактов на американском телевидении, в ходе которого происходит довольно тонкий процесс их направленного преобразования в нечто, порою прямо противоположное первоначальному, — таких способов множество. Вот телесеть Эй-Би-Си сообщает устами своего политического комментатора: «Ливанский конфликт стал своего рода испытательной лабораторией новейших американских вооружений, которые...»

Я специально не закончил цитату, чтобы обратить ваше внимание на концовку этой «объективной» информации. Что, вы бы думали, последует за этим бескомпромиссным «которые»?.. Которые способны причинять страшные муки раненым? или... которые рассчитаны на массовое уничтожение мирного населения? или... которые были поставлены Израилю Пентагоном как раз перед самым вторжением агрессора в Ливан? Ничего похожего. В любой из этих фраз содержалась бы правда, но там также была бы и нравственная оценка содеянного. А это вовсе не понравилось бы ни Пентагону, ни Белому дому, ответственному за попустительство, за прямое поощрение агрессора, ни многочисленным друзьям тель-авивских экспансионистов в политическом и финансовом истеблишменте США. Информация была закончена весьма округло: «которые прежде не опробывались в боевых условиях». И все. Как будто речь идет не о преднамеренном массовом убийстве детей и женщин. И заметьте, в этой отполированной до глянца информации вообще отсутствует всякое упоминание Израиля, израильских войск, израильского вторжения. Вместо всего этого — некая нейтральная формула: «ливанский конфликт». Всего-навсего!

Вроде бы все в этой информации — правда, вроде бы даже признали, что это именно американским оружием оснащен некий «испытатель», что пентагоновские стратеги имеют и свою корысть (испытание новых видов вооружений), а сколько здесь подлых умолчаний, сколько сокрытия истины, сколько дезинформации! Но все это — вполне привычные, можно сказать, давно апробированные методы работы репортеров и программных менеджеров американского телевидения. Это будни коммерческого телевидения Соединенных Штатов.

...Скрипнули, взвизгнули тормоза, и длинный черный «кадиллак» вздрогнул всем телом, свернул влево и, протащив мгновенно переставшие вращаться колеса по булыжнику мостовой, замер, как гончая перед зайцем. «Зайцем» был симпатичный на вид молоденький парнишка в потертых джинсах и майке с замысловатым рисунком-эмблемой и не менее замысловатой надписью через всю грудь. Но эти подробности я рассмотрел уже потом, когда прошел первый шок. А сначала я увидел, что парень был в наушниках. Вот почему он не только не видел нас — он нас и не слышал. Тонкий провод вился вверх из заднего кармана джинсов, там — миниатюрный кассетный магнитофон, в другом кармане — набор кассет, хватит на весь день. Последняя за океанская мода — род очередного массового увлечения: иду и ничего не слышу. Слушаю свое: светлую грусть Шопена или призывные вопли Донны Саммер, орущих панков или рыдающий саксофон Джерри Муллигана... То, что делается вокруг меня, — просто не существует, это по ту сторону бытия. «Какое мне дело до вас всех, а вам — до меня». Этот эпизод, судя по длинной и очень выразительной тираде нашего водителя, — явление частое. Из-за таких вот блаженных, объяснил он, «знаете, сколько машин разбилось в Нью-Йорке, — не будешь же давить ушастика; этот еще ничего, а то, бывает, и наушники нацепит и на коньки роликовые встанет и катит себе с ветерком, вихляясь в стиле «рок», не оглядываясь по сторонам, — смертники, да и только!»

Уход в себя, в свой частный, маленький, замкнутый мирок, стремление создать

своего рода непроницаемую перегородку между собой и другими людьми, спрятаться, как в кокон, от забот и тревог окружающей действительности, от ее, похоже, неразрешимых проблем всегда было свойственно западной, и в частности американской, молодежи, да и вообще всем, кто живет в капиталистическом мире. И не только стихийно возникало это стремление, не только разочарование и безысходность, справедливо отмечаемые всеми, в том числе буржуазными, исследованиями, становились причиной такого трагического отчуждения. Сам уклад жизни, сами принципы капитализма воспитывают в людях крайний индивидуализм, неверие в бескорыстие чувств, в возможность взаимопонимания, взаимопомощи. Не только отчужденность, но и цинизм порождает это разрушение, это растрепанность души. Известная западная кинозвезда, своеобразный, тонкий талант, сказала недавно, отвечая на вопросы журналиста в Канне: «По-моему, счастье — это хорошее здоровье при плохой памяти». Вдумаемся: это ведь формула бегства не только от дня нынешнего, но и от своего прошлого!

Не называю имени этой кинозвезды из уважения к созданным ею образам. А ведь ей удалось выразить самую суть буржуазного, собственнического представления о счастье как об успехе — любой ценой, о судорожной погоне за ним, о мираже, погнавшись за которым теряешь столь многое. Хочешь успеха — научись подавлять в себе элементарные человеческие чувства, научись быть безжалостным, бессердечным, научись «забывать» — друзей, идеалы, устремления молодости. Это все — обуза, ненужный груз. Разве память о Хиросиме не может помешать навязывать союзникам по НАТО новые вооружения, новые ракеты, новые усовершенствованные методы массового убийства людей? Разве воспоминание о Сонгми не может свести судорогой руку, дающую напалм, шариковые и фосфорные бомбы израильской армии для уничтожения женщин и детей Ливана? Так прочь такую память!..

Вот какую цепь рассуждений может вызвать эпизод с нью-йоркским мальчишкой, напялившим наушники от магнитофона и вышедшим как в пустыню на шумную, зачумленную суетой и спешкой, безумным «траффиком» улицу. Однако Нью-Йорк не был бы Нью-Йорком, а Соединенные Штаты Соединенными Штатами, если бы на каждый полюс здесь не было бы припасено по антиполюсу. И если буквально на каждом шагу сталкиваешься в Америке с отчужденностью, самоотстранением, с попытками отгородиться от действительности глухим забором индивидуалистического сознания, то столь же часто встречаешь здесь иные чувства, иную реакцию, на первый взгляд — прямо противоположного характера. Они возникают в самых разнообразных ситуациях, проявляются в самых различных формах, но объединить их можно одним типично американским словом: жажда «паблисити».

Стремление получить известность, хотя бы на мгновение попасть в центр внимания, показать себя публике, заявить о себе — пусть даже самым нелепым образом, даже ценой преступлений и неизбежного потом наказания, но лишь бы громко, лишь бы на весь город, на всю страну. Стать причиной сенсации, попасть в заголовки газет, а еще лучше на экран телевизора — это, кажется, заветная мечта каждого американца, от предприимчивого несмышленишка-школьника до убеленного сединами старого джентльмена. Сколько совершается во имя «паблисити» опаснейших, с риском для жизни трюков, какие только дурацкие рекорды не побиваются соперниками!

Не во всех случаях подоплека этой всегдашней готовности американцев принять, не раздумывая, немедленное участие в любой неблагоприятной, грозной, опасной затее, если она принесет, может принести желанную известность, носит столь явно выраженный драматический социальный характер, как это засвидетельствовано в талантливейшем фильме американского кинорежиссера Сиднея Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?». Но, думается, всегда за этой болезненной, нестерпимой жаждой известности стоит стремление вырваться из тоскливых сумерек обыденщины, из бесперспективного, жалкого существования, не имеющего ни яркой цели, ни хотя бы некоего самоудовлетворяющего смысла.

К этой «серой гамме» чувствований американца 80-х годов следует добавить еще одну линию спектра: страх. Сегодня это самое распространенное в Штатах состояние, и, само собой разумеется, оно не могло не сказаться и на американском телеэкране.

Вот характерная в этом отношении сердитая статья телевизионного критика Бенджамина Стайна, выразительно озаглавленная «Каждый вечер — страх, неистовство, хаос и издевательство». Этот заголовок, по сути дела, выражает впечатления автора от развлекательных вечерних программ «национальных» телесетей. Он сравнивает программы нынешние с телестановками четвертьвековой давности и, носталь-

гически превозноса прошлые, обрушивает свой гнев на все то, что преподносят телезрителям сегодня три могучие корпорации американского коммерческого телевидения.

Б. Стайн пишет: «Дело в том, что на телевидении, способном так захватить сознание человека, что пространство экрана становится для него как бы окном в реальную жизнь, психологическая атмосфера претерпела поразительную перемену. Когда-то программы телевизионного «прайм тайм» были воплощением ясности, уверенности и спокойствия Дома, в которых разворачивалось действие, были опрятными и чистыми; приклеты героев — короткими и ухоженными; соседство — безопасным и надежным. Мужчины в этих постановках были мужественными и умели владеть собой. Женщины были хорошими, заботливыми домоправительницами, верными женами, довольными жизнью. Дети знали, что их ждет здоровое, сулящее успех будущее». Правда, Стайн признает, что это благополучие, возможно, было преувеличенным, порою невероятным. Идиллия была скорее желаемой, чем действительной. В реальной жизни даже в тихих провинциальных семьях 50-х и начала 60-х годов происходили и конфликты и драмы. Но, по правде говоря, сама эта созданная телевидением атмосфера благополучия приходилась по душе телезрителям. «Сегодня, — продолжает Стайн, — ситуация полностью изменилась. Теперь же на экране перед нами предстают неустойчивость, чувство постоянной тревоги, раздоры и опасности, подстерегающие нас всюду в этом «райском саду», которым является «прайм тайм». Сладость ситуаций и изюминки своеобразия в характерах подменены в программах болезненностью, что способно стимулировать только неврастеников, впадающих в ипохондрию...»

Раздражение в этой тираде чувствуется. Но еще больше здесь неспособности. Что, собственно, имеет в виду разочарованный автор под такими понятиями, как «изюминка», «сладость», которые так ласкают ему слух, и что называет «хаосом» или «издевательством»? Неужели ему в самом деле дороги семейный уют, доброжелательные, заботливые мужья, ласковые жены, прилежные, подающие надежды дети? Если бы! Тогда можно было бы простить автору и некую консервативно-ностальгическую тягу к «добрым старым временам» и определенный налет мещанства в его умиленных живописаниях образцовых героев.

Однако дело обстоит совсем не так. Бенджамин Стайн сам свидетельствует против себя, перебирая один за другим многие и в самом деле довольно банальные вечерние сериалы, по многу лет идущие в программах «национальных» коммерческих телесетей. Их нынешнее состояние приводит автора в уныние. Но не потому, что в эти когда-то почти бесконфликтные постановки ворвались насилие, секс и любые мыслимые пороки, не потому, что язык персонажей стал напоминать воровской жаргон или сленг городских трущоб, а грубость, жестокость и эгоизм стали как бы нормой во взаимоотношениях людей. Б. Стайну не понравилось другое: увеличение числа рефлетирующих, неуверенных в себе героев, их неспособность быть долго и надежно хозяином положения — о чем бы ни шла речь: о главе семьи и его правах и обязанностях или о главе корпорации, его прерогативах и коммерческой хватке.

Даже такой образцово-показательный персонаж, как запущенный в 1981 году корпорацией Эй-Би-Си на телевизионную орбиту Величайший Американский Герой — школьный учитель Ральф Хинкли, превратившийся после случайной встречи с пришельцами из глубин Вселенной в этакое сверхсупермена, и тот не радуется. Нет в нем той цельнометаллической твердости духа, той типично американской смеси добродушия и брутальности, которую с таким успехом всегда демонстрировали бравые завоеватели Дикого Запада, лихие парни, ловко выхватывавшие кольты из кобуры и умевшие между двумя стаканчиками виски отправить на тот свет пару-другую краснокожих. А этот, нынешний, — что? Даром что получил от инопланетян волшебную силу, а пользоваться ею так и не научился по-настоящему. Летая по небу, как птица, он... заблеивает; оказывается, его укачало. А то разлетится так, что вдруг — растяпа! — предельно стучается о стену. «Внутренне он остается слабаком, — печалится телевизионный критик, — ему очень далеко до подлинных героев прошлых времен. И если он все-таки побеждает, то только потому, что на помощь ему приходят внешние силы...»

Правда, кроме таинственных «внешних сил» у него есть еще один наставник-покровитель: Билл Максвелл — Джи мэн, человек из ФБР, американской охраны. Тоже надо сказать, весьма современный поворот. Волшебство волшебством, а служба службой. После всех потрясений конца 60-х — начала 70-х годов, после громких, ошеломивших страну разоблачений грязных дел американских спецслужб и высших эшелонов власти (у этих вполне дозированных и в целом контролируемых разоблачений

был свой прагматический резон,— об этом чуть позже), после Вьетнама и Уотергейта, ставших символами позора, большой бизнес всерьез взялся за восстановление, казалось, безнадежно скомпрометированных «имиджей» и подмоченных репутаций.

Именно в эту пору у экранного супермена Джеймса Бонда появилось несчетное множество кинематографических, телевизионных, рисованных — для мультфильмов и бесконечных комиксов — двойников. И подавляющее большинство из них еще до выхода на экран, на печатную страницу или вскоре после этого (в первой серии главный персонаж Ральф Хинкли был еще не Величайшим Американским Героем, а всего-навсего скромным провинциальным школьным учителем) призывались на действительную службу в Федеральное бюро расследований, в Центральное разведывательное управление или еще в какую-нибудь охранно-погромную организацию. Конечно, призывались они именно для того, чтобы «спасти Америку» от всяких напастей, самой грозной из которых, безусловно, была, есть и, судя по всему, еще долго будет мерещиться «красная опасность». Вот почему программ типа «Величайший Американский Герой» — превеликое число в «прайм тайм» всех трех коммерческих телесетей, так же, впрочем, как на большом экране американского кинематографа.

В бесчисленных, длящихся годами сериях этих программ много стрельбы, поножовщины, схваток, арестов и допросов. Это, так сказать, их основное содержание. Но в промежутках стреляющие и допрашивающие герои успевают жениться и разводиться, обдѣлывать свои личные делишки, далеко не всегда благопристойные, с тем чтобы снова стрелять и допрашивать.

В сезон 1981—1982 годов только по трем каналам коммерческого телевидения США было объявлено множество новых программ полицейской тематики. Вот лишь некоторые из них: «Хилл-стрит блюз» — приключения полицейских из участка, расположенного в пользующихся дурной славой городских трущобах. Это обстоятельство дает возможность постановщикам в десятках серий продемонстрировать на домашнем телеэкране целый паноптикум «колоритных персонажей» — опустившихся бродяг, мелких грабителей, панельных девиц, сутенеров, наркоманов и пьяниц. Другая серия: «Фриби и Бин». Так зовут двух друзей-полицейских, разбитных малых, которым тоже приходится возиться с людьми, оказавшимися на самом дне общества. Еще одна серийная постановка — «Энос», полицейская комедия, в которой милый, но придурковатый новичок вечно делает не то, чего от него ждут. Но, конечно, хэппи энд всех приключений гарантирован. «Страйк форс» — «Ударная сила». Так называется полицейская бригада «специального назначения» в Лос-Анджелесе, городе-рекордсмене по преступности. В рекламном объявлении нового сериала действия героев охарактеризованы весьма высоко: «...и в считанные секунды они сделали из этих подонков кровавый бифштекс». Очень завлекательно!

И это — примите во внимание! — я назвал лишь малую часть новых сериалов трех телесетей. Примерно столько же, если не больше, здесь постановок, где в центре интриги не полицейский, а частный детектив. Более чем достаточно и сериалов, персонажи которых действуют уже не в узких рамках городских трущоб, не в значных уголках благословенных богом и военно-промышленным комплексом штатах Калифорния, Техас, Невада и даже не «в глобальных масштабах», как, например, тот же Джеймс Бонд, никак не желающий выйти в отставку, а в просторах Галактики.

Чем же объяснить, с одной стороны, неуверенность и рефлексующую слабость духа современных «величайших героев», а с другой стороны, те амбициозные задачи, которые ставят перед ними голливудские сценаристы и режиссеры, работающие на потребу большого экрана и еще более прожорливого коммерческого телевидения? Думается, обе эти характерные черты — свидетельство забот конъюнктурного характера. Рефлексия — дань современности, некоему современному характеру, извращенному американской действительностью в стрессах и нервных расстройствах, — какими бы сверхъестественными качествами ни обладал «величайший герой», зритель, этот замотанный и затурканный обыватель, должен иметь хоть какой-то шанс для того, чтобы отождествить себя — пусть чисто гипотетически — с этим телевизионным или кинематографическим воплощением типично американской мечты: быть суперменом.

Что же такое супермен в обычном американском восприятии? Это не просто персонаж, не просто экранный герой, это голубая мечта каждого жителя Соединенных Штатов. Это возможность решить мучающие тебя проблемы, расправиться с недругами или конкурентами, избавиться от комплексов, от мучительных страданий духа, от страха перед завтрашним днем. То есть найти выход из положения, созданного реаль-

ной, бесчеловечной действительностью. Она-то и подсказывает американцу бесчеловечные же пути «избавления». Супермен пробивает себе дорогу в жизни кулаками. Он легко перешагивает через чужие страдания, презирает чужую боль, ему неведомы жалость, сочувствие. Это типично капиталистический «герой»..

Что же касается распространения «подвигов» этой разновидности сверхчеловеков на просторы глобальные и даже космические, то это тенденция если не прямо продиктована, то уж, во всяком случае, подсказана теми имперскими настроениями, теми претензиями на «мировое лидерство», которые давно уже кружат головы вашингтонским администрациям. Не случайно среди стандартизованных, из серии в серию повторяющихся коллизий так часты сюжеты, связанные с кознями «иностранных агентов», роющих яму Соединенным Штатам даже там, где этого никак не ждешь.

Внешне эти бесчисленные сериалы, заполняющие основное время и вечерних, включая «прайм тайм», и дневных (наряду со специально рассчитанными на специфическую дневную аудиторию так называемыми мыльными операми — бытовыми мелодрамами) программ всех трех коммерческих телесетей, вроде бы призваны развлекать. Об этом без устали кричит реклама в «Ти-Ви гайд», карманного формата издания — сборнике программ всех каналов американского телевидения на ближайшую неделю: «захватывающая интрига!», «невозможно оторваться!», «ошеломительные приключения!». Об этом же всерьез и откровенно нам говорили в редакционных офисах и кабинетах руководителей телекорпораций. Развлекательный бизнес — важнейшая составная часть телевизионной индустрии Соединенных Штатов, и он приносит главную долю доходов от коммерческих объявлений, которыми обильно нафаршированы эти программы. Кстати, «мыльные оперы» потому так и называются, что днем, когда они транслируются, считается наиболее уместным рекламировать для домохозяек стиральные порошки, мыло и прочие обиходные товары.

Все это так, и соображения коммерции всегда имеют приоритет в любом бизнесе. И все-таки сериалы с суперменами, секретными агентами, частными детективами выполняют отнюдь не только развлекательную функцию: знакомые с детских лет каждому американцу, они как бы взрыхляют почву, подготавливают сознание к не критическому восприятию куда более зловредной пропаганды, уже не иносказательной, не облаченной в развлекательные одежды, а прямо, в лоб пропагандирующей ненависть к «красным», страх перед «советской угрозой».

Вроде нашумевшего телевизионного фильма «Третья мировая война», показанного телесетью Эн-Би-Си в 1982 году. Действие, разворачивающееся в картине, авторы — столь же изобретательные, сколь безответственные — относят к 1987 году, когда «выведенные из себя бесконечными эмбарго американского президента русские» посылают свой «специальный диверсионный отряд» на Аляску с тем, чтобы в ответку за американские санкции перерезать линию нефтепровода, жизненно важного для Соединенных Штатов. Это и становится прелюдией к третьей мировой войне. И вот уже летят через океан смертоносные ракеты с многозарядными ядерными боеголовками...

Допускаю: кому-то может показаться, что на фоне бесчисленных «звездных войн» и «галактических апокалипсисов», заполнивших коммерческий телеэкран, эпизоды «третьей мировой войны» — нечто, не стоящее внимания. Такая, мол, убогая фантазия — десант на Аляске, контрдействия полковника Кеффи, обязательная соблазнительная красота — агент контрразведки, гамлетовские сомнения перед запуском межконтинентальных ракет... Разве это может кого-то захватить? Да, в сопоставлении с пышностью и необузданной фантазией супербоевиков, своего рода вестернов космической эры, фильмы типа «Третьей мировой войны» сильно проигрывают в зрелищности. Но у них свое «секретное оружие» — нарочитая приближенность к реальности, максимальная имитация достоверности изображаемого, полная иллюзия всамделишности. Продюсеры таких картин ставят режиссеров в жесткие рамки: никаких модернистических усложненностей, равно как и бутафорского примитивизма, здесь не допускается, зритель должен поверить в возможность, чуть ли не в неизбежность того, что показано в фильме.

Конечно же, это прямая, беззастенчивая обработка американского телезрителя (и не только американского: телефильму «Третья мировая война» была организована так называемая мировая премьера — он транслировался и в другие страны), обработка, выгодная самым реакционным, самым воинственным кругам американского империализма. Это воспитание ненависти к Советскому Союзу, к советским людям. Это

нагнетание страха перед «советской военной угрозой», выдуманной военно-промышленным комплексом для оправдания собственной ненасытной алчности.

А чтобы чувства эти — страх и ненависть — не выветривались, а закреплялись, их надо подогревать. Делается это (в перерывах между такими «художественными» фильмами, как «Третья мировая») так называемыми документальными программами, специальными или включенными в регулярные информационные передачи. В последние годы в них все чаще стали принимать участие официальные лица из числа членов правительства, руководящих работников госдепартамента, генералов из Пентагона. В многочисленных пресс-конференциях, интервью, экстренных заявлениях они, опираясь на авторитет своих постов, выполняют ту же задачу: внушают телезрителям, что «угроза велика», что Соединенные Штаты «практически беспомощны» перед лицом «русских ракет», что спасение нации зависит только от того, раскошелится ли она еще на десять, двадцать, сорок, нет, лучше — сто миллиардов долларов для «дополнительных» программ Пентагона, для создания новейших, особо убойных видов оружия, для организации новой сети военных баз и т. д. и т. п.

На следующий день на телевизионном экране появляются весьма солидные, в толстых роговых очках эксперты, которые, развернув карты и схемы и пересыпая свою речь непонятными терминами, доказывают, что практикуемая ныне пентагоновскими специалистами система базирования межконтинентальных баллистических ракет в подземных пусковых шахтах очень ненадежна. Более того, с каждым днем возрастает их уязвимость. Эти коварные русские так наловчились запускать свои ракеты, что им уже ничего не стоит одним ударом накрыть все эти шахты и уничтожить все американские стратегические ракеты в их колыбели. Чем же тогда Соединенные Штаты накажут русских, как разрушат их города? Надо немедленно что-то предпринять!..

Американцев не просто обманывают; обмануть можно раз, второй, третий. Можно, исхитрившись, обмануть десятый раз — для этого нужна определенная ловкость рук и немного фантазии. Но это не выход из положения для тех, кто собирается обманывать американцев все время, всегда — сегодня, завтра и во веки веков. Им нужно другое: безотказный автоматизм выбора между правдой и ложью... в пользу лжи! А для этого, как ни странно, американец должен быть не простаком, не доверчивым малым, которого ничего не стоит обвести вокруг пальца. Такой образ американца — пресловутого «среднего американца» — довольно широко бытует в очерковой, типа путевых заметок, литературе, и не только у нас. Нет ничего дальше от истины. Американец вовсе не простака, не какой-то ковбой-деревенщина, развесивший уши перед сладкоречивым коварным соблазнителем, вещающим с телеэкрана. Этот житель Нью-Йорка или Среднего Запада, калифорниец или техасец — всегда прагматик, практичный человек, как то и полагается каждому стопроцентному американцу. Его символ веры — успех, любой ценой, любыми средствами. Его кредо — индивидуализм, удел одиночки в мире, где человек — как волк. Его критерии — доллар, счет в банке, покупательная способность.

«Забота о карьере, — писал один из патриархов западной социологии, К. Мангейм, —...предписывает контроль за идеями и чувствами, которые разрешается иметь...». В этой жесткой формуле звучит насмешка над пресловутой «свободой воли» в «стране равных возможностей». Предписанность мыслей и чувств, постоянное конформистское принятие жестокой и уродливой действительности, вынужденность подавлять в себе те или иные «мешающие» успеху человеческие импульсы сказываются на духовно-психических качествах личности.

Соответственно вырабатывается нравственный «ценз» американца, и тот разгул преступности, жестокости, секса, культ силы и денег, который приходится наблюдать на экранах телевизоров, как, впрочем, и в повседневной действительности, является если не абсолютно распространенным, то, во всяком случае, весьма обычным выражением этого нравственного уродства.

Итак, успех любой ценой... Эта формула внушается американцу как первая заповедь, как строка в таблице умножения. Она обволакивает его в зале кинотеатра, липкой патокой сочится с рекламных кадров коммерческого телевидения. Боевым кличем звучит она в агиттаже любительского спорта, как молитва повторяют ее перед кабинетами всемогущих голливудских менеджеров слетающих со всех концов Америки девочки-старлетки, мечтающие покорить волшебную «фабрику грез», покорить или умереть. Погоня за успехом — национальное заболевание Америки, род паранойи. Неудачники, а их становится все больше, не интересуют никого. Они постепенно ухо-

дят в отвал, в отбросы общества, «выпадают в осадок» или ищут прибежища в сектах, в суровых фанатических сообществах, управляемых лицедеями-гангстерами, вроде знаменитого Муна, провозглашенного «наместником бога», вроде кровавого маньяка Джонса, главы секты «Народный храм», все девятьсот с лишним членов которой совершили массовое самоубийство при не очень ясных обстоятельствах.

Характернейшая, красноречивая символика: тем, кто не смог выдержать безостановочного марафона в борьбе за место под солнцем, этих «собачьих бегов» всеобщей конкуренции, выпадает на долю одно — уход из жизни. У неудачливых детей Америки есть только одна возможность обратить на себя внимание в этой равнодушной к чужой беде «стране равных возможностей»: убить себя или начинать убивать других. И когда это случается, американская пресса и телевидение показывают себя во всей красе. Запах крови вызывает в редакциях великий энтузиазм. Именно в такого рода случаях репортеры и операторы должны проявить все, на что они способны, — всю свою изобретательность, оперативность, напористость. На практике это означает, что они должны оказаться на месте кровавого происшествия раньше конкурентов, бывает — раньше полиции. И они творят эти «чудеса». Они умудряются взять интервью у лежащей в луже крови умирающей жертвы; предсмертные стоны и хрип создают так ценный «эффект присутствия», моральная сторона дела отодвигается тут на задний план, ради сенсации можно пойти на все. Зафиксированы случаи, когда операторы американского коммерческого телевидения, посланные на выполнение «спецзадания», проникали в камеры смертников накануне казни — никакие самые строгие правила, никакие тюремные заборы не могут остановить неистовых репортеров, добывающих «гвоздь» вечерней программы новостей.

Вот потрясающий в своей правдивой обнаженности чувств рассказ телевизионного репортера, двадцать лет проработавшего на нью-йоркской телестанции Дабль-Ю-Эн-Би-Си, Боба Тигю.

Это случилось на Бликер-стрит, в нью-йоркском районе Гринич-виллидж, богатом происшествиями. Старая вражда двух соседей, мелких домовладельцев, разрешилась внезапно кровавой драмой: один из них убил другого выстрелом в упор. Жена и двое детей-подростков остались сиротами. Когда отдел новостей телестанции срочно направил репортера на место происшествия, Тигю, как он сам говорит, решил на этот раз «для разнообразия» не проявлять обычной для телерепортеров бесчувственности и наглой навязчивости. Опросу нескольких соседей-свидетелей, побеседую с детективами, сниму место, где произошло убийство, и вернусь в редакцию, решил он и вышолнил весьма добросовестно все, что задумал.

Съемочная группа уже стала упаковывать камеры, когда перед репортером появились два паренка. «Снимите нас для телевидения, мистер. Мы видели все, как тут было», — они просящими глазами смотрели на Тигю. «Что вы видели?» — «Мы видели, как произошло убийство». — «Но я уже заснял других свидетелей, и вы мне не нужны», — отрезал репортер. «Но мы — лучшие свидетели, мы — дети убитого...» «Я остолбенел на миг, — рассказывает Тигю, — но все лучшее во мне давно взяла себе моя профессия, и я приказал операторам снимать. Они сами запросились — совесть моя была чиста. Бог мой, какие ужасные подробности я услышал! Они перебивали друг друга, торопясь рассказать одну страшную деталь за другой, они говорили так связно, так подробно, как будто они рассказывали о смерти какого-нибудь пришельца с Марса: «И вдруг — паф! И он выстрелил отцу прямо в глаз!»

Мы снова начали укладываться, когда к нам с таинственным видом приблизился какой-то пожилой джентльмен. «Она вас ждет!» — объявил он мне и стал наблюдать, какое это произведет на меня впечатление. Я уже догадывался, что речь идет о вдове. «Да, — подтвердил старик, — это жена убитого, она — моя дочь...» Видит бог, я не хотел этого. Я думал, что я не должен беспокоить людей в их неутешном горе. Но они сами искали меня. Вдову мы застали в слезах, но и явно в самом лучшем из ее платьев. Не очень уж охотно протянул я к ней свой микрофон, оператор начал снимать. Плача и причитая, она стала рассказывать... По всем канонам нашей телевизионной практики это был успех. В отделе меня будут поздравлять. Когда я держал микрофон, несколько слезинок ее упали на мою руку. И меня осенило: она, так же как и ее дети, хотела, чтобы весь этот проклятый мир разделил с ними их горе. Она инстинктивно ждала сочувствия, которого было так мало вокруг... Может быть, кто-то услышит... Мысль об этом чуть смягчила те угрызения совести, которые я все еще испытываю в такие вот моменты, довольно частые в работе телевизионного репортера.

Да, я использую людей в целях, продиктованных заданием, но и они со своей стороны используют меня,— я это понял. А почему бы и нет? Ведь телевидение «принадлежит всем»...»

Такие сюжеты — Боб Тигро рассказал правду — обычное дело в новостных программах американского коммерческого телевидения: считается, что они привлекают телезрителя, в них есть элемент детектива и определенная эмоциональность, волнующая сама по себе. А это уже — принцип, «творческая установка», в соответствии с которой и происходит наполнение программных новостей разного рода драмами — пожары и наводнения, ограбления и убийства, перестрелка с контрабандистами и смерть от злоупотребления наркотиками составляют главный костяк «внутренней информации». Прибавьте сюда не менее драматичные события, происходящие в мире, прибавьте тревожные высказывания комментаторов и агрессивные, запугивающие речи официальных представителей Пентагона, госдепартамента, Белого дома, рассуждающих о мифической советской «военной угрозе», о «происках международного коммунизма» и «беззащитности» Соединенных Штатов.

Возьмите во внимание и то, что все эти сюжеты подаются динамично, они быстро сменяют друг друга на телевизионном экране, что вам все время напоминают: это происходит сейчас, сию минуту, это не отредактированная запись, а самая настоящая неприкрытая правда, она несется к вам через космос по линиям телевизионной спутниковой связи, и наши доблестные репортеры, не жалея сил и времени, а иногда и рискуя жизнью, делают все, чтобы сообщить вам всю правду... Возьмите все это во внимание и вы получите представление о характере психологического воздействия на американских телезрителей, практически на весь народ Соединенных Штатов.

И вот в этом электронном «роге изобилия», из которого сыплются, обрушиваясь на вас, убийства и взрывы, гангстерские схватки и вой полицейских сирен, картины бедствий и ужасов, вдруг светлым лучом мелькнут забавные сценки коммерческих объявлений, где никто ни в кого не стреляет, где не льется кровь, не плачут в истерике дети; эти сценки протекают, как правило, в лоне благополучной «типичной» американской семьи, где красавица мама и русоголовые ангелочки-дети ждут с нетерпением, когда вернется с работы домой стройный, спортивного типа «среднеамериканский» папа, чтобы обрадовать его невероятно счастливым приобретением — изящными пластиковыми баллонами с самым ароматным, самым мягким, самым лучшим в мире шампунем «Ревлонфлекс!» Папа немедля появляется, красавица жена его целует, детки виснут на его могучих плечах, а через мгновение они все оборачиваются к вам и декламируют: «Покупайте, покупайте, покупайте «Ревлонфлекс!»...»

Вот на что способна коммерческая реклама! — она исцеляет, она лечит раны, которые наносит вам этот ужасный, неустроенный, вечно воюющий, бунтующий, чего-то требующий мир. Можно перевести дух, рассеяться, оглядеться вокруг себя и сказать: благодарение тебе, о боже, что я — жив, что меня не застрелили в горах Сальвадора, не сожгли напалмом и не изрешетили шариковой бомбой в Ливане, что я не был в том самолете, который взорвался в воздухе, едва успев взлететь, что меня не сбросили с моста в пропасть, предварительно ограбив, что я не держал свои малые сбережения в том банке, который обанкротился вчера, благодарение тебе, что живы и здоровы мои ненаглядные детишки, что улыбается жена, а если тебе, господи, нужно, чтобы я купил «Ревлонфлекс», я это сделаю, разрази меня гром и молния, я это сделаю завтра же...

Реклама, как внутривенное вливание — ежедневная процедура, прописанная заботливыми врачевателями от коммерции, успокаивает американцев, она возвращает им равновесие, она убаюкивает растревожившуюся было совесть. Она помогает каждому стать конформистом и указывает простую и понятную цель жизни — быть потребителем, покупать, покупать, покупать. Телевизионная реклама возводит конформизм и потребительство на свой заманчивый электронный пьедестал. Обыватель становится мерой всех ценностей. А в этой системе координат куда легче, чем это принято думать, приучить человека к бесчеловечности окружающей его со всех сторон действительности, внушить представления о неизбежности кошмаров и катастроф, о «естественности» капиталистического разбоя и грабежа. И — самое главное — о том, что нет никакого смысла сопротивляться всему этому или пытаться изменить существующий порядок вещей. Куда лучше запастись загодя «атомным индивидуальным убежищем» — на случай ядерной войны, восьмизарядным револьвером — на случай нападения грабителей и «лучшим в мире дезодорантом» — для полного счастья.

Американцы — в подавляющем большинстве своем — так и поступают. С атомными убежищами, конечно, дело идет туго, не всем они по карману, но с кольтами, браунингами, винчестерами, автоматами и прочим оружием проблем нет. Считается (по далеко не полным данным), что на руках у американцев нынче более ста миллионов огнестрельных единиц, то есть практически в каждой семье есть что-нибудь стреляющее, и часто не в единственном числе. И этот факт — тоже одна из весьма содержательных реалий американской семьи.

Стоит ли удивляться, что на американском экране так много стреляют?

...Величайшее открытие нашего века совершилось! Автора, занимающего не слишком высокий пост в Пентагоне, — помощника министра обороны Соединенных Штатов — следует немедленно представить к награждению Нобелевской премией мира. Он, бесспорно, заслужил ее. Еще бы! Бесконечное, с постоянно-переменным успехом идущее соревнование меча и щита, снаряда и брони наконец-то разрешилось в пользу щита. Помощник главного пентагоновского «ястреба», оказывается, нашел путь к выживанию любой отдельно взятой человеческой особи в любой, даже самой «неограниченной» ядерной войне.

— Все очень просто, — объясняет встревоженному человечеству Томас Джонс, помощник шефа Пентагона. — Выройте яму, накройте ее парой снятых с петель дверных полотен, набросайте сверху три фута земли, и вам уже не страшны никакие ядерные удары.

Т. Джонс назидательно прибавляет: «Каждый может сделать это...»

И тут же тень сомнения (наконец-то!) слегка омрачает его чело: «Конечно, если всем хватит лопат...»

Эти поразительные откровения вполне в духе домашних советов из популярной журнально-телевизионной рубрики «Сделай сам!» пентагоновский спец обнародовал в качестве «отрезвляющего противоядия» охватившему Соединенные Штаты, не говоря уже о Западной Европе, антивоенному, антиракетному движению, изрядно попортившему нервы воинственным вашигтонским крестоносцам. К тому же официальным властям надо было как-то реагировать на телевизионный фильм, потрясший прошлой зимой Соединенные Штаты. В то зимнее воскресенье телекорпорация Эй-Би-Си выпустила в эфир картину, премьеры которой несколько раз откладывалась, — телевизионный фильм «На следующий день».

...Самое сердце «одноэтажной Америки» — штат Миссури, городок Лоуренс с его пятьюдесятью тысячами жителей, затерявшийся среди прерий и пшеничных полей. Как и повсюду в сегодняшней американской глубинке, здесь есть деловой торговый центр с несколькими небоскребами, есть стадион — то ли для бейсбола, то ли для регби, есть отели и конторы, а вокруг — уютные домики, в которых живут так называемые средние американцы — рабочие и мелкие бизнесмены, клерки и фермеры со своими семьями, со своими обычными, житейскими заботами. И вот на эту «среднеамериканскую» идиллию обрушивается беспощадный смерч ядерного конфликта.

«Ограниченная» ядерная война, развязанная, как это и планируется нынешними пентагоновскими стратегами, в Европе, мгновенно распространяется по всему миру, и вот уже две великие державы обмениваются смертоносными ударами. С базы стратегических ракет «Минитмен» близ Лоуренса поднимаются межконтинентальные носители водородных боезарядов и проносятся над головами жителей городка, оставляя серебристый след в лазоревом небе. Их «терминал», конечный пункт назначения — советские города. Провожая взглядом полет американских ядерных ракет, люди догадываются, вернее, угадывают каким-то шестым чувством: ответный удар — неотвратим. И действительно: над Канзас-сити, крупнейшим городом штата, вырастает смертоносный гриб. Но он где-то там, эпицентр взрыва за горизонтом. И, увидев растущий на глазах черный гриб, жители Лоуренса надеются, что он так и останется лишь страшным видением. Но, увы...

Буквально через несколько мгновений раскаленная взрывная волна достигает Лоуренса. Огненный вихрь сметает все на своем пути, сжигает дома, вырывает телеграфные столбы, сминает в гармошку автомашины. От людей, только что двигавшихся, говоривших, занятых делом, остаются лишь обугленные скелеты, рассыпающиеся в прах в невыносимом, адском пламени. Канзас-сити уничтожен полностью. Лоуренс — в развалинах, улицы усыпаны трупами, обломками, сгоревшими автомашинами. Оставшиеся в живых, облученные смертельными дозами радиации, бродят, как тени. Они умрут мучительной смертью через несколько часов или несколько дней...

— Как будто в каждом американском доме, где есть телевизор, взорвалась ядерная бомба,— так подытожил охватившие людей в этот вечер чувства один из телезрителей.

Шок был мгновенным и повсеместным. И этого больше всего опасались власти. Они готовились к появлению этого фильма как к вражескому нашествию. Еще в пору работы над сценарием у автора картины начались неприятности. Пентагон, у которого Эй-Би-Си моушн пикчерс намеревалась арендовать нужную для съемок военную технику, соглашался предоставить ее только при условии, что будет коренным образом изменена концепция фильма, его сюжетное построение. Их не устраивало многое: и «сгущение красок» по поводу страшных последствий ядерного столкновения («зачем раньше времени пугать американцев?»), и вырастающая из фильма, хотя прямо и не выраженная в нем, мысль о том, что это именно так называемое двойное решение НАТО, именно начавшееся размещение американских ядерных ракет первого удара на территории ряда западноевропейских стран стало тем детонатором, который и вызвал ядерную смерть Канзас-сити и Лоуренса. Свирепая американская цензура постаралась начисто «выстричь» из телефильма этот обвинительный мотив...

— Они самым категорическим образом потребовали,— вспоминает режиссер-постановщик картины Николас Майер,— чтобы из фильма явствовало, что это именно русские нанесли первый ядерный удар. И тогда мы вынуждены были отказаться от всяких контактов с Пентагоном...

Еще до выхода на телевизионный экран фильм «На следующий день» четко выявил разделение Америки на два лагеря: тех, кто выступает за прекращение безумной гонки ядерных вооружений, за честные и действенные переговоры, за продолжение политики разрядки, и тех, кто, объявив Советский Союз «империей зла», закурил удила и явно ведет дело к дальнейшему нагнетанию напряженности, к конфронтации, чреватой ядерной войной. Неудивительно, что «ястребы», одержимые идеей «ядерного устрашения», пошли фронтальной атакой на фильм и его создателей. Больше других усердствовал Джордж Фолуэлл, известный в Соединенных Штатах проповедник-евангелист, совмещающий свои еженедельные устрашающие воскресные проповеди, транслируемые множеством американских телецентров, с руководством архиконсервативной, реакционной организацией «Моральное большинство».

Преподобный Фолуэлл ринулся в бой, пытаясь предотвратить демонстрацию этого «антипатриотического, антиамериканского фильма» или, по крайней мере, задержать ее до того, как закончится размещение новых американских ракет в Западной Европе. Устроив специальную пресс-конференцию, лидер «Морального большинства» заклеил картину как «коммунистическую пропаганду», мешающую Белому дому проводить политику «с позиции силы» и играющую «на руку Кремлю». Он потребовал запретить фильм. Когда же из этой затеи ничего не вышло, Фолуэлл внес телефильм Эй-Би-Си в свой «черный список», а заодно включил в него не только создателей картины и руководителей телекорпорации, но и активистов антиракетного и антиядерного движения в США и сторонников замораживания вооружений.

Кое в чем лидер «Морального большинства» уже превзошел своего духовного предтечу — бесноватого сенатора Маккарти, свирепствовавшего в годы «холодной войны»: бдительный пастор оптом заклеил как вероотступников и предателей всех тех служителей церкви, кто выступает за прекращение гонки вооружений, против политики «с позиции силы». Он разглядел «агентов Москвы» даже в конгрессе США — 36 персон! И, по словам этого крестоносца, их список еще далеко не закрыт.

Не отставали от Фолуэлла и многие органы правой, реакционной прессы Соединенных Штатов. Любимый журнал Рональда Рейгана, ультраконсервативный «Нэшнл ревью» заявил: «Главная цель советской политики в последние два года состоит в том, чтобы предотвратить развертывание ракет «першинг». Эй-Би-Си истратила 7 миллионов долларов на фильм, который содействует этой политической цели СССР и провоцирует истерию несведущей публики...» Еще откровеннее высказался директор «Фонда консервативного большинства» П. Дитрих. «Они подрывают наше правительство,— возопил сей страж реакции,— они дискредитируют все устои власти. Показ такой картины накануне размещения наших ракет в Европе — заговор!» Дитрих потребовал привлечь создателей фильма к судебной ответственности.

Весьма своеобразной была и реакция большого бизнеса. Несмотря на то, что демонстрация ленты на телевизионном экране явно обещала собрать рекордную аудиторию, фирмы-рекламодатели отнюдь не спешили скупить те двадцать пять 30-секунд-

ных коммерческих промежутков, которые были предусмотрены корпорацией Эй-Би-Си для рекламы потребительских товаров. Могучие монополии, крайне заинтересованные в рекламе, по-видимому, побоялись попортить себе политическую репутацию. И все же, несмотря на всю эту свистопляску, власти не решились запретить показ телефильма. Они прибегли к более «хитроумной» тактике. «Не связывайтесь в споры насчет последствий ядерного конфликта и не обвиняйте Эй-Би-Си в просоветской позиции». — посоветовал ультрапатриотам директор отдела информационной политики при президенте США Кевен Хопкинс. В Белом доме решили попытаться нейтрализовать реакцию американской общественности на этот телевизионный фильм. От телекомпании потребовали провести сразу же после демонстрации фильма его «обсуждение». К телекамерам был послан сам государственный секретарь Дж. Шульц. Он не стал спорить с картиной — он понимал, что проиграет в этом споре. Шульц решил согласиться с авторами антивоенной ленты. Не хочу сказать, что он симпровизировал — импровизации политиканов его пошиба обычно бывают хорошо подготовлены. К тому же конец 1982 — начало 1983 года стал как раз тем периодом, когда «калифорнийская мафия» вынуждена была смириться с необходимостью предвыборного превращения караса в пороса: срочно надо было избавляться от привычной экипировки ядерных крестоносцев и натягивать гуттаперчевые маски записных миротворцев.

И вот в стиле рецензента из провинциальной газеты государственный секретарь США изрек, предварительно наморщив лоб: «Фильм мне понравился. Он в живой и драматической форме говорит о том, что ядерная война просто недопустима...» Можно, конечно, удивляться лицемерию людей, стоящих ныне у руля государственного корабля Соединенных Штатов. Загрузив все трюмы, все погреба и палубы корабля смертоносным оружием, оцетинившись со всех сторон ракетами первого удара, они осмеливаются вместо свойственного им пиратского флага вывесить на ветру оливковую ветвь. Заявил же недавно сам глава вашингтонской администрации, что он «готов присоединиться» к участникам антивоенных маршей протеста и демонстрировать вместе с ними у решетки Белого дома...

Нет, удивляться не следует. Ибо нет такой самой чудовищной лжи, которую не сочинили бы сегодня в Белом доме, Пентагоне или государственном департаменте, лишь бы оправдать, а еще лучше — скрыть свои подлинные планы. И вот государственный секретарь США, пустившись во все тяжкие, пытается перейти от похвал в адрес создателей антивоенной ленты к использованию картины для обоснования принятой рейгановской администрацией гонки ядерных вооружений. Шульц, прямо глядя в глаза миллионам зрителей, говорит буквально следующее: «Того, о чем рассказало нам фильм «На следующий день», удастся избежать, если Америка будет по-прежнему вооружаться и полагаться на силы ядерного устрашения. Точно по вывернувшей здравый смысл наизнанку вашингтонской формуле: «Разоружение через довооружение». При таких философских кульбитах апеллировать к логике бессмысленно.

Это хорошо понимали и создатели фильма. Не зря же в официальном Вашингтоне беспокоились, как бы телезрители не приняли голос президента в фильме «На следующий день», звучащий за кадром в эпизоде после обмена ядерными ударами, за голос самого Рейгана. Ведь похожи тут были не столько сами голоса, сколько содержание и стиль высказываний, сама антилогика, одинаково присущая и нынешнему и фильмовому президентам. «Америка не погибла, — разносится по радио над лежащими в руинах, дымящимися городами бодренький, по-актерски натренированный голос президента. — Мы по-прежнему полны решимости сражаться за демократию и свободу». Но тени людей, бродящие среди трупов и развалин, уже не могут среагировать на вкрадчивые увещания и ультрапатриотические призывы...

Вряд ли в массе своей среагируют американцы и на «успокаивающие» сентенции государственного секретаря, хотя они были и вкрадчивы и патриотичны. В них не было одного, но зато более важного элемента — правды. Соглашаясь с фильмом, кивая головой в знак согласия с сидевшим рядом известным ученым-физиком Карлом Саганом, заявившим во время телеобсуждения, что даже ограниченный ядерный конфликт, вроде того, что показан в картине, может погрузить земной шар в мрак и холод на долгое время, Дж. Шульц обманывал телезрителей. В его появлении на телеэкране, как в каждом профессионально поставленном спектакле, была своя «сверхзадача». В данном случае — ослабить, в максимально возможной степени ослабить воздействие этого фильма на телезрителей.

Преуспели ли в этом госсекретарь, да и вся вашингтонская администрация? Как бы там ни было, впервые Америка ощутила подлинное дыхание войны. Более двух часов, пока длилась почти не прерываемая привычными рекламными вставками трансляция этой шумевшей ленты, 100 миллионов американцев — рекордная цифра во всей истории здешнего телевидения — сидели, не шелохнувшись, у экрана, подключенного на канал Эй-Би-Си. О чем они думали, эти «средние американцы», люди разного достатка и разных профессий, глядя, как гибнут в ядерном аду их соотечественники, их соседи, как рушатся целые улицы, как цветущий городок превращается в мертвую, излучающую смерть пустыню?

Ответ на этот вопрос не так однозначен, как это может показаться на первый взгляд. Конечно, никто не радовался и не хлопал в ладоши. Таких не было даже среди самых преданных приверженцев нынешнего курса вашингтонской администрации в международных делах. Но не было и единства в мнениях, как предотвратить ядерную смерть, как избежать рокового хода событий.

Одни — и их было немало — укрепились в своей решимости всеми силами бороться против безумного милитаристского курса Вашингтона, против гонки вооружений, набирающей новые обороты. Сразу после демонстрации фильма в крупнейших городах США появились листовки с призывами: «Не допустим гибели нашей планеты!», «Нет — першингам», «МХ» и крылатым ракетам!». В городских советах, в церквях, студенческих общинах прошли стихийные митинги, участники которых требовали установления контроля над ядерными вооружениями, прекращения дальнейшей разработки и производства чудовищных видов оружия. «Увиденное на телеэкране, — сказал руководитель антивоенной общественной организации «Центр военной информации» адмирал в отставке Ларок, — должно заставить многих задуматься над тем, что надо предпринять, пока еще не поздно». Как бы отвечая ему, мэръ ставшего за один вечер знаменитым городка Лоуренс Дэвид Лангхерст заявил: «Как мэръ, отец и просто гражданин я обязуюсь бороться против ядерной катастрофы. Ибо сколь бы ни был мал наш город и сколь бы ни был он далек от мировых столиц, ему, как и всем другим городам земли, грозит та же опасность». Столь же недвусмысленные заявления сделали известные американские актеры Пол Ньюмэн, Мэрил Стрип...

Но раздались и другие голоса. Я не имею в виду высказывания таких монстров, как «отец» американской водородной бомбы — физик Эдвард Теллер, повторивший свое давнее заявление: «Ничего страшного в мировой ядерной войне нет — ведь погибнет всего лишь несколько сотен миллионов людей...» С ученым-людоедом, подвизающимся ныне на поприще советника в Белом доме, как и со многими другими ядерными крестоносцами, все ясно. Беспокоит иное. Опросы, проведенные в США после демонстрации фильма «На следующий день», дали результаты подчас неожиданные. У многих, как это ни странно, телефильм вызвал реакцию, обратную той, какую можно было предположить.

«Я испытал чувство облегчения, — заявляет телезритель. — Слава богу, что это только телефильм, что ничего такого на самом деле не произошло». Неожиданный вывод? Не вполне. От внимательных исследователей не ускользнул тот факт, что критицизм, свойственный «среднему американцу», его готовность высказать свое недовольство по тому или иному поводу опираются скорее на эмоции, чем на глубокое осознание причин. Типично американская реакция: мысль ограничивается констатацией нынешнего момента. «Хорошо, что войны нет», — дальше этого сознание не проникает. Что будет завтра, почему такое, что показано в фильме, может произойти — обо всем этом американский обыватель думать не хочет. Незрелость, незрелость критического сознания американцев в соединении с давней индивидуалистической традицией делает это сознание чрезвычайно податливым влиянию официальной пропаганды. А о том, насколько усилились в конце 70-х и в 80-х годах антикоммунистические, антисоветские составляющие этой пропаганды, говорить не приходится. Размахивая на внешнеполитической арене пугалом «советской военной угрозы», штатные пропагандисты Вашингтона повели внутри страны наступление на любые проявления социального или политического критицизма. Были выдвинуты ура-патриотические лозунги — «избавиться от комплекса поражения, неудач и кризисов», «забыть Вьетнам», «забыть Уотергейт», «вернуть Америке ее мощь».

И, видимо, в том же плане борьбы с инакомыслием следует рассматривать решение телекорпорации Эй-Би-Си, принятое сразу после демонстрации фильма «На следующий день»: создать в противовес этой антимиитаристской картине — другую, со-

вершенно противоположного плана. Картина, о которой объявлено заранее, еще не имеет сценария, но зато ей уже придано шокирующее название: «Топика, штат Канзас, СССР». В чем дело, что за географические новости? Может быть, в название вкралась опечатка? Ничего подобного! Именно так будет называться провокационный подстрекательский телепасквиль на тему о том, как в 1994 году Советский Союз начинает захватническую войну в западном полушарии и вскоре оккупирует один штат за другим... Кому понадобилось еще и еще раз пугать американцев нашествием «комми» — красных, ясно. Факт такого «уравновешивания» весьма красноречив. Вот ведь как грубо, как беззащитно направляют жало лжи — газетной или телевизионной — те, кто делает сегодня погоду в американской пропаганде.

Надо сказать, что масштабы влияния этой оголтелой пропаганды не всеми наблюдателями оценивались правильно. Лишь волна шовинистических чувств, прокатившаяся по Соединенным Штатам, когда этот милитаристский колосс обрушился на Гренаду — крохотное островное государство в Карибском море — и «одержал блистательную победу», отчетливо показала миру, до какой степени обольщивания и развращения можно довести сознание вроде бы цивилизованной нации. В том-то и заключается огорчительный парадокс нашего века, что и юродству рейгановских заклинаний об «империи зла» и «миролюбии Белого дома», и нехитрым алогизмам типа «хочешь разоружения — довооружайся», и глупейшим сказочкам о «спасении от ядерной атаки» путем укрытия в яме, накрытой досками («хватило бы лопат»), — американец, типичный «средний американец» если не поголовно, то довольно значительным числом еще верит. Верит!

Кстати, о лопатах. Это новейшее снаряжение американской армии недавно получило себе применение. Незадолго до начала установки «першингов» и крылатых ракет в одном из районов Федеративной Республики Германии, где расквартированы американские войска, часть специального назначения провела особого рода «тактические учения»: была вырыта огромная траншея, предназначенная для массового захоронения западноевропейцев — будущих жертв третьей мировой войны, которую пентагоновские стратеги намерены проводить на европейском ТВД — театре военных действий. Такая заботливая предусмотрительность заокеанских могильщиков «до слез» тронула местных жителей. От американских военных властей потребовали объяснений. Те стали ссылаться на «здравый смысл». Дескать, лучше заранее отрепетировать свою заложническую судьбу.

Все точки над «и» поставило сообщение о том, что маневры, в ходе которых была успешно проведена эта предпогребальная операция, шли под кодовым названием «Confidence Enterprise» — «Предприятие Уверенность».

Они — уверены. И лопатами запаслись.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО



«КРАСОТА, КОТОРОЙ МЫ СЛУЖИЛИ...»

Фильмы Александра Довженко «Звенигора», «Арсенал», «Земля», «Иван», «Аэроград», «Щорс» давно получили высшую оценку народа — они признаны классикой советского киноискусства; режиссер был одним из тех, кто закладывал основы, разрабатывал принципы социалистического реализма в молодом советском кинематографе; на его экранных произведениях учились многие мастера мирового кино.

Общеизвестна и литературная слава А. П. Довженко. Собранные воедино — к сожалению, уже после кончины Александра Петровича — его киноповести, рассказы, статьи свидетельствуют о ярком, самобытном таланте Довженко-прозаика.

Сегодня о великом сыне украинского народа говорят, спорят, пишут больше и чаще, чем при его жизни. В Англии, Франции, Италии — все страны и не перечислишь — выходят исследования, посвященные его творчеству. Стремительно растет количество переводов его прозы. Киноповести «Поэма о море», «Зачарованная Десна», сборники рассказов выходят массовыми тиражами. Высоко оценивая довженковскую прозу, многие критики ставят его имя в один ряд с именами самых крупных писателей современности. Ю. Барабаш в своей книге «Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики» пишет: «Стремясь осмыслить сделанное советской литературой, размышляя над ее дальнейшим развитием, мы часто обращаемся к наследию Довженко — так много в нем и неповторимо характерного, и вместе с тем типичного, так много животрепещущих проблем нашего литературного процесса связано с ним».

Творческая жизнь Александра Петровича складывалась нелегко. И, наверно, это естественно для художника-новатора, чье творчество опережает время, отрицает при этом сложившиеся каноны, утверждает новое в искусстве. Да, его фильмы, его прозу понимали и принимали далеко не все. Можно говорить о разных тому причинах — объективных и субъективных. Он страдал, болел душой, встречаясь с этим непониманием, холодом, порой даже неприязнью, но оставался художником, верившим, что его искусство необходимо народу. В этом черпал силы, жил этой верой.

Все, написанное Довженко, вызывает пристальное внимание современных исследователей. На Украине выходит второе издание пятитомного собрания сочинений режиссера, издан его четырехтомник на русском языке. Опубликованы статьи, речи, дневники, многие письма. Казалось, нет строки, вышедшей из-под пера Довженко, которая бы уже не появилась в печати... Но есть наследие Довженко, которое до сих пор неизвестно широкому кругу читателей. Это — письма из личного архива Юлии Ипполитовны Солнцевой, жены и друга Александра Довженко.

Они встретились в 1928 году в Одессе. Ю. И. Солнцева — в ту пору восходящая кинозвезда (за ее плечами уже был шумный успех главных ролей в фильмах «Аэлита», «Папиросница от Моссельпрома», «Глаза, которые видели» и других) — снималась на местной студии в фильме «Джимми Хиггинс»... А. П. Довженко уже создал киноленты «Ягодка любви», «Сумка дипкурьера», «Звенигора»... Их знакомство было необычным. Несколько раз встречались в павильонах студии, но даже не расклани-

вались — не были знакомы. И вдруг Довженко пришел к людям, у которых — он знал — была в это время Солнцева, пришел и сказал ей: «Я пришел за вами. Хочу рассказать вам очень интересное». И она пошла за ним...

Она осталась с ним на всю жизнь. Чтобы быть рядом с Довженко, Солнцева отказалась от всего, что до этого было главным в ее жизни. Профессиональная актриса, она изменила профессии, отвергла все заманчивые предложения сниматься (а среди них было и приглашение из Голливуда) — отвергла ради того, чтобы стать ассистентом режиссера (это одна из самых неблагодарных кинематографических профессий)...

Всю жизнь их связывали удивительные по силе чувства преданности, дружбы, любви. Любовь жены жива и сегодня, когда со дня смерти Довженко прошло почти тридцать лет. В этой любви обрела силы Юлия Солнцева, чтобы, преодолевая немалые трудности, продолжить дело жизни Довженко: воплотить в кино то, что не успел сделать он. Благодаря Солнцевой обрели экранное воплощение довженковские «Поэма о море», «Повесть пламенных лет», «Зачарованная Десна», «Незабываемое», «Золотые ворота». Ее усилиями основан музей Довженко, собраны его архивы, реставрированы старые киноленты. Она — постоянный консультант выставок, редактор и рецензент многочисленных публикаций, посвященных творчеству Довженко.

В архиве Солнцевой хранятся письма мужа, написанные в дни, когда они вынуждены были расставаться. Таких дней было относительно мало. Начиная с 1929 года Солнцева — постоянный помощник Довженко. Она работает с ним на фильмах «Земля», «Иван». Вместе с Александром Фадеевым Довженко и Солнцева едут на Дальний Восток, проходят десятки километров заснеженными таежными тропами — собирают материал для будущего фильма «Аэроград». В 1940 году заканчивают фильм «Щорс», работают над документальной лентой «Освобождение». Все эти годы они неразлучны, поэтому и писем в ту пору нет.

Письма появились в войну.

В 1941 году Довженко завершил работу над сценарием фильма «Тарас Бульба». Было выбрано место съемок, которые планировалось начать в августе. Война нарушила все планы.

Уже 23 июня в одесской газете «Большевистское знамя» появилась первая «военная» статья Довженко — «К оружию!», 27 июня он выступает в газете «Кино» со статьей «Враг будет разгромлен».

Довженко вместе с Киевской киностудией, художественным руководителем которой он в это время являлся, должен был эвакуироваться в Ашхабад. Но он рвется на фронт: пишет письма, заявления, доказывая свое право быть на передовой, убеждая, что он не только кинематографист, но и опытный журналист, писатель. Наконец в январе 1942 года его вызывают в Москву, и уже в конце февраля полковник Довженко (кстати, это был единственный кинематографист, удостоенный такого высокого воинского звания) уезжает на Юго-Западный фронт.

Первое из публикуемых писем жене — еще из Москвы.

«13.II.42. Моя дорогая! Много, очевидно, воды утечет и много утечет человеческой крови, прежде чем это письмо попадет в твои руки...

Время трудное. В Ленинграде, по словам прилетавшего поэта Тихонова, умирает в осаде от голода ежедневно 6—7 тысяч граждан. Москва на добрых три четверти голодает. Лица серые, осунувшиеся, угнетенные. Трудно... Разоренные крестьяне живут в ямах и в снегу. Нечего есть на Урале... Боятся весеннего тифа, мора, голода и прочих людских страданий... Трудно и смутно. Россия переживает трагическое время, находящее себе кое-какое отражение в газетах. Гитлер попытает исправить свою ошибку наступления на Москву и основные свои силы бросит на Кавказ, чтобы овладеть нефтью нашей и вылезть в Иран и Ирак. На юге Украины, стало быть, будут разыгрываться самые чудовищные сражения. Мы хотим предупредить это наступление своим наступлением, пока есть снег и холода. Вот в это место и время я и думаю съездить, насколько позволят обстоятельства. Через пару дней я выеду в Воронеж и пр. Большаков¹ дал командировку только на месяц, и то с трудом. После Воронежа

¹ Большаков И. Г. — в то время председатель Комитета по делам кинематографии при СНК СССР.

я возвращусь, очевидно, в Москву и здесь буду писать, если ничто не изменится... Видел Фадеева. Он болен гриппом в «Москве». Скучный какой-то и немного рассеянный. Поговорить с ним душевно не удалось. Были люди. Ищу Павленко. В «Москве» лежит контуженный Е. Петров, живет Эренбург. Вот и все знакомые... Большаков очень топчет меня с картиной². Между прочим, он предложил мне перейти работать на тифлисскую студию... Когда я тебя вызову, обязательно захвати машинку пишущую... и поменьше вещей. Бумаги захвати. Мама пусть сидит, сейчас ее сюда не пустят. Да она и пропадет здесь от голода и холода... Будь здорова. Нежно целую тебя, моя родная, дорогая подруга. Нежно целую тебя. Сашко».

На фронте Довженко работает без усталости. Только в течение марта 1942 года он пишет более десяти рассказов и крупных статей. В это время появляется мысль совсем уйти из кино, чтобы целиком отдаться корреспондентской работе. Никто здесь не подозревает, что у него большое сердце.

Довженко стремится собственными глазами увидеть войну, он постоянно среди солдат на передовой, в окопах, госпиталях, среди жителей освобожденных от гитлеровцев городов и сел. Смотрит, расспрашивает, записывает. В дневнике тех лет Всеволод Вишневский отмечал: «Остро, трагически все переживает Довженко. Он написал «Мать» — мучительный, сильный рассказ; в нем много правды, чего-то понятого вновь».

В основе большинства военных рассказов Довженко лежат подлинные события, реальные судьбы. Его рассказы, очерки сочетают публицистику и поэзию, философские размышления и страстную обличительность. На фронте он создает исключительные по силе воздействия рассказы «Стой, смерть, остановись!», «Отступник», «На колючей проволоке», «Победа», «Тризна», «Не примирить» и многие другие. Здесь он ведет дневниковые записи. По ним видно, что и на фронте он оставался художником, мечтающим о больших, масштабных полотнах. Замысел его самого поэтического сценария — киноповести о детстве «Зачарованная Десна» возник уже в 1942 году. На страницах военных полевых блокнотов рождаются образы, характеры будущих литературных героев.

«...Это письмо я пишу очень краткое и исключительно, так сказать, деловое... Пишу я тебе из Воронежа, откуда дня через два-три, не больше, уезжаю в направлении Харькова к фронту.

Я в Ашхабад не вернусь.

На днях я буду официально зачислен на работу в Политуправление Юго-Западного фронта. Я решил быть здесь, а не в Ашхабаде и Ташкенте... Я буду там, где сражается народ против чудовищного, смертельного врага. Это решение мое окончательное, как бы трудно часом и страшно, может быть, где-то иногда мне ни пришлось...

Что я делаю и что буду делать? Я, дорогая моя, родная и никогда нигде не забываемая Юлюша, пишу. Я пишу статьи для фронтовых газет, для врагов даже (для забрасывания врагам) и для народа (тоже для забрасывания). Это тоже оружие, но такое нужное, что вы даже не представляете. Кроме того, я пишу рассказы. Недавно написал один — «На колючей проволоке» — большой, пишу еще две повести для газет и одну повесть о своем детстве³. Работаю, в общем, много. Родится у меня сценарий — хорошо, не родится — родится что-то другое, пьеса, или роман, или серия рассказов, интересных и нужных народу. На Украине немцы делают чудовищно страшные дела...

Ты получишь телеграмму правительственную как основание для приезда сюда. Тебе здесь найдем какую-нибудь работу... Я правильно сделал, что приехал сюда... В Комитет⁴ начальнику я не писал ничего и, по-видимому, не напишу. Не поднимается рука. Для меня ясно, что я у него не работник уже. Может быть, ты приедешь и меня в чем-либо ином убедишь. Я очень скучаю и грущу по тебе. Мы скоро увидимся. Я немного похудел. Иногда болит грудь зверски, а в общем ничего. Судя по тому, что делается в Киеве, батьки наши, наверно, давно уже погибли. Пусть это ляжет на совести двух наших друзей, обещавших их вывезти. Впрочем, совести у них

¹ Речь идет о фильме «Тарас Бульба».

² Киноповесть «Зачарованная Десна».

⁴ Комитет по делам кинематографии.

особенно не примечаю. Бог с ними. Страданий так много, что все любое величайшее горе сегодня тонет и теряется в нем, как капля в океане.

Настроение в армии бодрое и уверенное, все, что читаешь в газетах, верно отражает состояние общих дел. Верю, что скоро увижу многострадальный Харьков. Это будет огромной нашей победой...

Моя дорогая, любимая. Великое мы переживаем время. Величественное и страшное по чудовищному размаху людских страданий. А наша Украина — это бездонное горе. Будь здорова. Твой на всю жизнь, моя дорогая. Сашко. 2.V.42 год».

«...Это письмо я тебе пишу из небольшого прифронтового городка Валуйки, из которого немцы нас выкурили частыми и сильными бомбардировками... В данную минуту тоже летают. Их обстреливают помаленьку, но это пустяки по сравнению с тем, что было дня четыре тому назад, когда в течение 7 часов на малюсенький городок было налетело 104 аэроплана-бомбардировщика. Словом, мы распозлились по селам. Я тоже сегодня ночевал в 15 километрах. Но это все, так сказать, небольшие текущие дела. Очень жаль, что... провалилось наше харьковское наступление...

Теперь о нас, о себе. Благодаря оторванности, долгой и трудной, мне очень трудно тебе объяснить подробно те большие перемены, что произошли в моей жизни. Они навалились на меня как-то, пожалуй, даже внезапно, и я не освобожусь уже от них, по-видимому, до смерти. Что же это такое? Это, дорогая моя Юлюша, те невиданные страдания, которые упали на несчастную голову моего народа...

Я Большакову не писал еще о своем уходе, все ожидаю твоего приезда. Я вообще ему ничего не писал, всякое воспоминание о нем делает меня больным...

Может быть, я в чем-либо ошибаюсь. Может быть, ты переубедишь меня, и я буду проситься назад в кино и т. п. Но прошу тебя верить мне, что никогда ни на секунду и в этот страшный час нашей истории не подумал ничего корыстного, личного, карьеристического, что остаюсь верным народу...

Очень страдаю при каждом ежедневном воспоминании о тебе, о твоей личной неудаче с фабрикой⁵ и с Ашхабадом и мамой... Я не могу отсюда уехать. Мне не нужно ничего уже, ни денег, ни квартиры. Не нужна мне и кинематография...

Я твердо решил, если у меня хватит сил еще, все их отдать на что-то более прочное, и долговечное, и умное, чем кино... Я буду писать о страданиях, героизме и трагедии своего народа. Много продумал, многое наметил и, безусловно, что-то сделаю... Напиши мне. Когда я узнаю, что ты в Москве, я немедленно соображу, как приехать к тебе...

Денег где-нибудь займи. Я сейчас беден.

Будь здорова, моя дорогая. Нежно обнимаю тебя и целую твои родные ручки. Милая моя Юлюша, будь сильна духом, как всегда. Целую тебя. Сашко. 42.4.VI. Валуйки.

Если это письмо ты найдешь у себя, а товарищи уехали, знай, что лучше всего передать мне письмо в редакцию «Известий». Можно писать так: Дей. арм. политуправление Юго-Западного фронта, А. П. Довженко».

Фронтная газета «Красная Армия» первой печатала фронтные рассказы и статьи Довженко. Их перепечатывали другие издания, имя писателя все чаще стало появляться в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», «За Радянську Україну», «Комуніст», на страницах журналов «Новый мир», «Октябрь», «Большевик» и других. Многие его рассказы в годы войны выходят отдельными книжечками. «Его имя, — вспоминает о Довженко фронтной корреспондент А. Алинин, — служило безотказным пропуском на любой участок фронта, но командиры частей всячески оберегали его. Его и в политуправлении фронта просили не рисковать, не лезть под огонь».

«...На сей раз я так давно тебе не писал, что делается даже страшно, как вспомню. Были и обстоятельства плохие, связанные с различными передвижениями и прочим, и неуверенность, где ты, и, наконец, пару раз подвели товарищи. Обещали перед отъездом в Москву зайти, да так и не зашли. А один молодец, работник ТАССа, некий... взял письмо, чтобы тебе вручить лично и привезти от тебя ответ через 5 дней — он летал самолетом, — приехал недели через 2—3 и письмо, негодай.

⁵ Так А. П. Довженко называл киностудию.

бросил в ящик, не зайдя к тебе. Я обругал его последними словами и, к сожалению, не уверен, что и здесь он меня не обманул.

Это письмо и тысячу рублей денег я передаю тебе через Алексея Суркова, очень хорошего человека и поэта.

Сообщаю тебе, наконец, свой постоянный адрес: Полевая почта, 28, редакция газеты «Красная Армия», мне.

Сообщаю немедленно, в Москве ли ты. Я, Юля, решил твердо не возвращаться в кино... если это даже окончательно разорит и погубит мою жизнь... А самое главное, я не могу уйти из армии и не хочу. Я должен быть в ней, и ты, надеюсь, это понимаешь. Особенно сейчас, когда дела наши здесь, на Ю.-З.⁶, плохи и тяжелы, когда мы снова отступаем — уже в донские степи... Я очень, очень много думал за это время. Ты скажешь мне: «Все это верно, Саша, но при чем здесь ты? Ты ведь не воин». Нет, родная моя, я воин. Я уже получаю с передовых позиций письма. Командиры пишут, чтоб я побольше им писал, т. к. они любят мои статьи за правду, за науку...

Милая моя, родная! Мне хочется тебя видеть, и я постараюсь это сделать в ближайшее время. К сожалению, тебя сюда я сейчас не зову. Не время. Я думаю, что этот месяц будем мы гулять по Дону, а может, и за Доном, и тут возможны всякие неожиданности. Но я постараюсь прилететь к тебе. У меня разрывается душа всякий раз, когда я вспоминаю тебя и маму. Как вы, где вы?..

Как ты живешь без денег и работы? Продавай, что есть, ничего не жалея, ничего. Не то время. Милая моя, кто знает, как невероятно переменялась и наша жизнь, и все вообще, и все-все. Кроме того, у меня есть гонорар в «Красной звезде». Получи его и в «Известиях» — за большую статью «Украина в огне». А в «Кр. звезде» за статью «Отступник», и еще туда посылаю одну или две на сих днях. В «Правде» также имеется за какую-то небольшую статью. Забери все это... Я получаю сейчас немного, 1200 рублей жалованья. Вот и все. Но мне здесь особенно деньги не нужны. И я их с наслаждением буду все посылать тебе. В последнее время я из-за плохих обстоятельств внешних мало писал, но я верю, что приеду не с пустыми руками — тем и мыслей уже на 5 лет работы, хоть не вылезай из-за стола...

Я кончаю это письмо спешно. Зашел Сурков. Они быстро уезжают из этого места (Россошь). Через пару часов уезжаю и я за Дон. Положение быстро как будто ухудшается. Настроение тоже... Ну, будь здорова... Думай обо мне хорошо. Это самое потрясающее и тяжелое время. Не забывай меня и прости. Твой всегда Сашко. 1942.6.VII. Россошь».

Задолго до освобождения Киева Довженко было поручено сделать документальный фильм «Битва за нашу Советскую Украину». Его ближайшим помощником стала Юлия Солнцева.

«Дорогая моя. Поздравляю тебя с Киевом. Видишь, как все получилось хорошо. Доехал я очень хорошо и чувствую себя хорошо. Ночевал в с. Требухи, где я когда-то покупал улы. Сегодня ночью взят Киев. Целую ночь он горел страшным незабываемым пламенем... Привет и поклон. Сейчас светает. Еду разыскивать несчастных наших батьков.

Буду беречься. Привет и целую, родненькая моя. Сашко. 6 ноября, 1943 г.»

Вместе с Миколой Бажаном и Юрием Яновским Довженко вошел в горящий, погребенный под руинами Киев. Он еще не знает, что отца его, Петра Семеновича, нет в живых... Квартира в Киеве разграблена и заминирована, уничтожена большая библиотека, которую всю жизнь собирали Довженко и Солнцева...

Вскоре закончена «Битва за нашу Советскую Украину», куда вошли материалы, отснятые сорока военными кинооператорами. Довженко — автор сценария, руководитель и организатор работы этого большого творческого коллектива. Впервые в советской документалистике в фильме использована вражеская кинохроника, ставшая могучим оружием контрпропаганды. Страстная, до боли правдивая картина эта имела большой успех.

В 1945 году вышел на экраны второй документальный фильм Довженко «Победа на Правобережной Украине».

⁶ Юго-Западный фронт.

В сентябре 1945 года Довженко записал в дневнике: «Закончилась мировая война. Я хочу работать. Я хочу верить до смерти... что будет мир. Что не нужны будут герои-мученики. Академия наук стала на страже мира...» В этом же году режиссер пишет два сценария: «Повесть пламенных лет» и «Мичурин».

В 1946 году начинается работа над фильмом «Мичурин». Но на экраны он вышел лишь в 1949 году. Официально произведение получило самую высокую оценку — Довженко была присуждена Государственная премия, — но работа, растянувшаяся на несколько лет, многочисленные поправки, переделки, на которых без конца настаивало кинематографическое руководство, — все это издергало и измучило автора.

К периоду работы над «Мичуриным» относится письмо Довженко из подмосковного санатория. Солнцева в эти дни находится в Кисловодске.

«Пишу тебе из Барвихи с нижнего этажа, палата № пятнадцать, в которой я пребываю вот уже десятый, кажется, день. Зима. За окном снежная поляна, дальше хвойный лес, тишина, довольно зяблый, надо полагать, мороз, который я ненавижу, завидуя ежедневно тебе. Как хорошо, как уповательно, сказал бы, очевидно, Гоголь, зимой в Кисловодске, когда и т. д.

Я живу близко. У самой Москвы. В соседней почти комнате. Я звоню иногда. Звоню маме... Я не скажу, чтобы я наслаждался отдыхом и одиночеством, которые также иногда необходимы человеку. Я пребываю скорее в некоем искусственном, вынужденном состоянии, имеющем видимость отдыха и безмятежности санаторного бытия в санатории, несомненно, первоклассном. Нельзя, не получается. Главная болезнь — усталость и душевная измотанность. А настоящего покоя в душе нет. Творческий процесс не только не закончен. Он оборван и остановлен перед рядом вопросительных знаков, которые, словно домовые или лешие, нет-нет да незаметно, безгласно и показывают из темных углов тебе свои несмонтированные темные хари, и ты чувствуешь с тоскою и угнетенностью, что ни пальмы в кадках, ни цветные дорожки, ни рыбки в аквариумах, ни сладкие блюда — ничто не спасает тебя от их упорного недремлющего ока. Так-то, милая моя. Друзей здесь у меня нет и знакомых тоже почти нет. Сережа Михалков да большой В. А. Веснин...

Вчера приехал Гриша Ал.—ов⁷. Рассказывал о кончине Сергея Михайловича⁸. Оказывается, у него был одновременно второй инфаркт и кровоизлияние в мозг. И еще оказалось при анатомическом вскрытии, что у Сергея было феноменальное сердце. Оно было... невероятно маленькое, совершенно неправильного устройства, редчайшее... На меня это произвело угнетающее впечатление, и мне еще больше стало жаль его. Добрая ему память.

Сегодня две недели, как я здесь. Вначале было хорошо. А вот несколько дней стала одолевать печаль. И я никак не могу ее одолеть. Я иногда даже ночью пробуждаюсь от тоски. Я жалею, что мы не вместе, моя родная. Но я, очевидно, не приеду к тебе. Это все непросто. Кроме того, я решил начать исправлять пьесу и сценарий. Незаконченная работа, неосуществленная радость завершения — вот причина страданий. Куда уйдешь от нее? Где и в чем забвение? Только в труде во что бы то ни стало.

Я не очень поправился. Но я утешаю себя мыслью, что ты отдохнешь на юге вне суеты и спешки. И очень за тебя рад. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я, пожалуй, больше ничего и не хочу. Мечтаю о лете. Как бы мы ни кончили работу, мечтаю уехать с тобою надолго на юг. Попробуем поселиться где-нибудь у моря. Хочется тепла и красоты. Хочется думать о высоком и очиститься в труде, который где-то должен же ждать меня еще как самое главное, посланное мне судьбою. Будь здорова, моя дорогая, любимая. Я обнимаю тебя и говорю все наши дорогие слова... Пока я жив, всегда и всегда с тобой... Привет сердечный Косматову⁹ и всем добрым людям на путях. Будь здорова, твой Сашко. 17. II—48».

50-е годы — время наиболее интенсивной литературной деятельности Александра Довженко.

У него была привычка: перед новым годом составлять творческие планы на ближайшее будущее. В одном из таких планов — до 60 названий! Среди них — девять

⁷ Режиссер Г. В. Александров.

⁸ Режиссер С. М. Эйзенштейн.

⁹ Оператор Л. В. Косматов. Вместе с Ю. М. Куном снимал фильм «Мичурин».

сценариев, пять пьес, романы, рассказы, очерки. Много сил он отдает написанию романа-эпопеи «Золотые ворота».

Во время одной из поездок в Киев Довженко пишет Солнцевой:

«Моя дорогая! Умоляю простить меня за долгое молчание. Я сейчас, в эти вот дни,— самый неинтересный человек в мире. Я совершенно пустой. Во мне решительно ничего нет, что относилось бы к чему-нибудь иному, чем то, что я делаю. Я заканчиваю некое художественное произведение — пьесу. Очень сложную, трудную. Они (герои.— Л. К.) сходятся подчас с огромным трудом и пожрали меня целиком. И чем больше я проникаю в них, тем больше противоречий, несовершенств, недомолвок, недочувствованного. Приходится копать в их трудностях, страданиях. Взвешивать чувства, сортировать по вкусу, правде, допустимости и так дальше, тому подобное. Как они меня оседлали — герои мои! Меня бы сейчас запереть на замок на хлеб и воду еще бы недели на две и чтоб решительно ни по какому поводу ни в личной, ни в общественной жизни не раздирал когтистый зверь, именуемый совестью, все, очевидно, увенчалось добром бы.

Может быть, оно так и будет. Еще раз прошу тебя, моя любимица, прости мою неучтивость, потери немного. Мы так ведь уже с тобой натерпелись. Я ни о чем не думаю. Ни об успехе. Ни о судьбе своей. Ни даже часто о тебе, прости. Это продолжится совсем немного. Я весь принадлежу им и думаю только о них. Еще не все хорошо. Но уже есть. Это уже живет, стремится, любит и страдает. Есть уже шаленные конфликты, и мальчики кровавые в глазах, и, кажется мне, увлекательность. Фу... боже мой... Где ты там, милая моя? Как мне жаль, что я тебя обидел. Ну, ты умная. Ты все мне прощаешь... Целую. Твой Сашко. Привет всем, привет, привет.

День. 3 часа. Один в квартире. Пусто. 30.X. Киев».

В начале 50-х годов главной темой творчества Довженко стал сценарий фильма «Поэма о море».

Местом действия своего будущего произведения художник выбрал грандиозное строительство рукотворного моря, на берегу которого уже рождался город Новая Каховка. Вместе с Солнцевой он неоднократно выезжал туда для сбора материала.

Осенью 1952 года Довженко приехал в Новую Каховку один — приехал писать сценарий. Отсюда почти каждый день он пишет жене.

В этих письмах с удивительной силой проявилась личность художника, увлеченно и беззаветно служившего своей стране, народу, человеку, всей душой преданного высоким идеалам нашего общества. В письмах почти нет ничего житейского, бытового, они — о главном, что всю жизнь волновало Довженко, — о творчестве, искусстве, работе.

«...Вот я и снова в Каховке. В Запорожье не заезжал. Не заезжал и в Старую Каховку. Я в Ключевой, т. е. в Новой Каховке, где среди виноградников в прошлом году мы видели начало нового городка. Сейчас все это значительно шире и больше.

Дорога от Киева до Каховки была поистине очаровательна. Ехал я в каюте первого класса — люкс, один на великолепном пароходе «Ломоносов». Поселился я в этом городке в гостинице пока втроем в двух комнатах, а дня через два буду иметь отдельную комнату. В городе я всего еще пять часов. Вечер. Работа на строительстве еще только начинается, и мне как будто бы будет чрезвычайно трудно писать сценарий, но я абсолютно уверен, что напишу этот сценарий хорошо и сделаю замечательный фильм.

Я очень много передумал за это время, глядя на мир, на людей, прислушиваясь к голосу собственного духовного мира. Я пришел к уверенности в том, что надо будет здесь мне сделать два фильма, написав для этого два сценария (не 2 серии) и закончив первый фильм к первому январю 1953 года. Строительство здесь будет продолжаться долго, до 1956 года. Я не буду тебе сейчас описывать всех своих планов, намерений и впечатлений. Об этом через несколько дней. Жара сегодня в полдень была зверская. Сейчас четверть девятого, темнота полная и тепло, сухо и очень что-то есть ласковое, мягкое в воздухе.

В этом году здесь везде был прекрасный урожай, и люди вздохнули легче после целого ряда послевоенных тяжелых лет засух — неурожаев. В Запорожье я поеду дней через 12, когда окончательно решится вариант каналов и когда, следовательно, все станет для меня ясным.

С завтрашнего дня начинаю вплотную знакомиться с целым рядом людей и

писать их портреты. Сейчас перечитываю свои записи и вижу, как много нового и интересного я продумал и придумал уже для будущего фильма, но это еще его дух, а не плоть. Мне нужны наблюдения над живыми людьми, чтоб я знал, что я должен синтезировать в фильме о построении коммунизма.

Это меня поглощает всего, и я решил сделать все, чтоб это было прекрасным. Но это не укладывается в представление об одном фильме. Пока ничего никому не говори. Придет время, напишу все, что надо...

Делать буду сейчас все по-другому. Думаю о конфликте, о сюжете, да, но больше думаю пока о новых коммунистических чертах в человеке, посвящая свой фильм маленькому великому советскому человеку, строителю коммунизма...

Я очень рад, что приехал сюда. Я вступаю в какую-то новую полосу нашей жизни, трудной, но хорошей. Я обогащусь здесь новым, что есть в нашей общественной жизни, и подымусь к новой красоте, которой мы с тобой всю жизнь служили. Может быть, это будет подлинная симфония коммунизма. Мне приятно, что в этом маленьком письме я повторяю тебе это чуть ли не в третий раз. Мне жаль, что все прекрасное я видел без тебя и думал без тебя. Я тебя люблю и часто о тебе вспоминаю. Но, с другой стороны, может быть, и лучше, что первый период нового становления я проведу в одиночестве. Это, надеюсь, будет длиться недолго, и мы снова будем вместе через две-три недели. Живи хорошо и стремись к внутреннему миру. Я всегда с тобой. Купил тебе в Киеве два куманца, два барана, две вазочки, маленькую и порядочную... и керамическую подставку для настольной лампы. Просил Пашу¹⁰ при первой возможности все это доставить тебе в целости. Познакомился с очаровательными людьми, у которых можно будет еще кое-что заказать, в частности керамические изразцы. Ко мне везде хорошо относились в Киеве, и это меня радовало. Так же относились ко мне на пароходе. Думаю, что и здесь будет то же

Я постараюсь писать тебе почаще... Завтра иду представляться.

Будь здорова, родная моя Юличка. Окно открыто, везде поют девушки. Сашко. 1952.5.IX. Адр. Новая Каховка, Херс. обл., улица Горького, 10, гостиница».

«...Очень жарко. Гораздо жарче, чем было в прошлом году. Вчера, слава богу, утих суховей, и мне стало легче дышать. Жара начинается прямо с девяти до пяти-шести, на небе ни облачка, тихо — стоит великолепная южная осень. Вчера я купался в Днепре как раз на том чудесном месте, где в прошлом году мы наблюдали, как шоферы вынимали занозу из ступни красивой девушки на самом берегу и как все смеялись. Поблизости стояла баржа с кавунами. Кавуны по рублю кило. Лидия каховская¹¹ будет готова через неделю. Урожай в этом году был здесь, в степях, колоссальный. Отстал один только хлопок. Был позавчера в Старой Каховке на сельскохозяйственной выставке. К сожалению, был недолго. Сегодня думаю съездить еще, очень меня заинтересовало. Один колхозник выставил гору мешков личного заработка — ни больше ни меньше как 20.060 килограммов.

Чудесно принял меня Андрианов¹². Это прежде всего умный, хороший человек, коммунист. У меня будет образ. И нашел образы изумительно интересные в будущем сценарии на комсомольской конференции и на рабочем собрании. Вообще я понял: надо как можно больше входить в непосредственное соприкосновение с живыми людьми, творящими помалу великие дела. Буду сегодня на участке плотников, где на постройке одного дома работает один батько с четырьмя сыновьями. С одним из его сыновей я познакомился. Много неполадок, трудностей и прочего. Но все равно будет так, как надо. Все родит много мыслей. Записываю ежедневно. Скоро заработаю над сценарием и напишу его быстро. Шлю тебе нежный привет. Сашко. 10.IX».

«Дорогая моя. Пишу тебе 13-го сентября в 9 часов утра. Уже жарко и душно. Дым из двух заводских труб по соседству подымается прямо вверх: давление высокое. Шумят рабочие машины, трактора-тягачи. Трудовой день в полном разгаре. Проснулся я сегодня рано. Уезжали мои сожители. И я теперь буду жить в двойном номере один. Это лучше. Никто не помешает теперь мне думать и писать. Я сейчас

¹⁰ Сестра А. П. Довженко.

¹¹ Сорт винограда.

¹² Андрианов С. Н. — один из руководителей строительства Каховской ГЭС и каналов.

Духовно весь ушел в окружающий меня мир великого коммунистического строительства. И я рад, как никогда, что я здесь и что делаю именно это. У меня это как ощущение долга перед народом и обязанности художника — сына народа. У меня появились спокойствие и уверенность. Я вижу вокруг в людях чрезвычайно много нового и интересного. И когда это происходит в сознании каждый день, ничем не перебиваемое, появляется внутреннее чувство глубокого проникновения в действительность, реальную, нигде не вычитанную, ни у кого не списанную. И уже вырисовываются ясно некоторые элементы моего будущего здания в таком увлекательном и новом выражении, которое никогда бы не приснилось в Москве ни мне, ни одному писателю, а тем более сценаристу. Я сейчас, Юличка, иду по такой дороге, что кажется мне уже — пробуду я здесь еще полтора-два месяца и смогу на основе своих записей, которые я веду по нескольку раз в день, не расставаясь со своей записной книжкой, что смогу уже я тогда за год написать роман не хуже любого, возможно, писателя. Я пишу живых людей, с которыми я встречаюсь, или которых слышу на рабочих собраниях, или говорю с ними сам... Я, увы, только сейчас понял, какая прелесть не в выдумывании людей, а в самих живых людях, которых потом придется в книге видоизменять, расставлять, дополнять творческой фантазией и т. д.

Мне сообщили о вызове на телефонную станцию к 9 часам вечера. Это, несомненно, твой звонок. Ты, очевидно, волнуешься, как я здесь живу. Жара, были суховеи и ветры, песок, куда ни ступи, пыль, словом, неурядица много. Но я берегу себя. Сегодня первый душный день, облачный. Прекрасно везде, потому что это стройка нового и великого, а это самое главное. Повторяю, я очень обогатился уже и приеду к тебе наполненным до края и готовым на необыкновенный, может быть, труд.

Здесь слышны песни днем и вечером. Вот и сейчас чудесно поют девушки: делают городской парк перед моим как раз окном, разносят чернозем, покрывают пески, поливают... Сейчас я еду с местным редактором газеты на каменоломни — на так называемый Любимовский карьер (в 25 километрах). Мне надо там повидаться с каменьями, особенно с одним из них, тамошним комсоргом, произведем на меня сильное впечатление на комсомольской конференции. И конференция была для меня исключительно интересной и содержательной. Если я не явлюсь к телефону, то только лишь по одной причине: если что-либо непредвиденное задержит меня на карьере.

Юля, приезжай ко мне. Приезжай через Киев пароходом «Гоголь» или «Сталин» до самой Ключевой (Новая Каховка). Вот получишь наслаждение! Без машины я пока обхожусь и обходиться пока можно еще с месяц, до переезда в Симферополь — Керчь. Напиши мне все свои соображения по этому поводу. Напиши про все, что делается у тебя дома, на фабрике и в Москве... 13.IX».

«...Получил твое письмо и лекарство с другим письмом в один и тот же день, в субботу. Передал мне лекарство писатель Збанацкий, приехавший из Киева. Нагибеда в Киеве задержался. Очень жалею, что так нескладно у тебя получается с работой... Мне легче, чем тебе. За мною, как-никак, картины и сценарии. Видно, что там уже наперед ненавидят мой сценарий — что же, будем трудиться для блага народа, памятуя, что конфликты и пережитки звериного быта долго еще будут существовать в искусстве так же, как и в жизни. Я не думаю, что тебе надо ехать сейчас в Одессу. Это ты сможешь сделать на худший конец и весной. Сейчас, мне кажется, тебе нужно полечиться и отдохнуть. Поэтому надо думать о Кисловодске скорее.

Мои дела, как я тебе писал уже, чрезвычайно здесь сложны. Строительство всего гидроузла пребывает в том виде и будет пребывать еще не менее года, если не больше, в том состоянии, которое в гораздо большей мере является предметом литературы и принадлежит литературе, а не кинематографии. Поэтому весь сложный процесс, который мне надлежит осуществить в искусстве не с позиций нашего временного расстояния, а параллельно процессу, т. е. в самом его становлении, я должен выразить в борьбе человеческих образов и характеров, предполагая заранее отсутствие здесь крупных конфликтов социальных. В этом единственно возможном смысле такое же раздолье писателю-романисту, какое горе-сценаристу, нуждающемуся в лаконичности, поставленному в необходимость выразить все это многотысячное сложное человеческое хозяйство, разбросанное на многие сотни километров, на ста страницах

канцелярских на машинке. Поэтому я и писал тебе, что по сей день еще я больше готов к писанию романа, чем сценария, и записи, которые я делаю, это записи большого литературного полотна еще, а не кинематографического отжатого синтеза. Я, признаюсь тебе, не сделаю сценария в ноябре. Если мне посчастливится написать его первый вариант к первому января, так это будет уже хорошо. Кстати, это и было бы вполне нормальным. Ведь это же не Кутузов и не Петр I, где все изложено веками десятки, сотни раз на страницах истории, поэзии, литературы. Это построение коммунизма, где все должно быть устремлено вперед и поднято высоко впервые, в самый разгар своего движения, где надо перевернуть не тома чужих книг, а тысячи живых движущихся сил во всем их разнообразии. Если бы чиновники из нашего переулк¹³ это понимали или даже не понимали, а хотели понимать, как это все непросто. Я не говорю о бытовых трудностях и сложностях: степь, жара, холод, пески, ветры. Я говорю о трудностях создания здесь произведения. Если бы я знал, что у них есть добрая вера в то, что я делаю. Но я чувствую, что у них этого нет, а есть одно желание — чтобы это как-то было скоро сделано. Им нужен только полный результат... Я хочу одного: написать честно сценарий, чтоб он был чистым выражением всего, на что я способен сегодня. И я верю, что где-то очень скоро он у меня быстро начнет идти на-гора. А пока рою шахты, порой болят руки и сердце. Натыкаюсь на многочисленные тонны руды, из которой будет плавиться мой трудный металл. И роясь вот так, стараюсь изо всех сил очистить все, к чему прикасаюсь, держать свой факел высоко и поднять всю окружающую меня живую и мертвую природу до своего сердца. Я верю в свою победу творческую так же, как верю в победу окружающих меня людей, моих братьев и сестер, в их победу в строительстве коммунизма. Только холодный ветер из переулка угнетает меня и угнетает порою состояние здоровья... Больше я тебе о своих трудностях писать не буду, потому что я, кажется, начал повторяться. Я буду теперь уже писать нечасто касающееся непосредственно моего производства, т. е. уже о сценарии конкретно... Больше всего я вспоминаю тебя и прошлое наше лето, когда мы ездили здесь и были почти счастливы...

Вчера было 2 года моему строительству. Был праздник здесь. Музыка была и танцы. Здесь преимущественно ведь молодежь. В Ключевой (Новой Каховке), где стояло тогда несколько десятков финских домиков и начинали возводить первые дома, уже живет свыше 11 тысяч человек. Остальные живут в Брестанах, Старой Каховке и в Казацком, приезжая и уезжая на автобусах и речных трамваях. Купался только один раз в жару, и то у самого берега по пояс в воде. Сердце, представь себе, меня мало тревожит... Что бы мне еще надо: первый том «Истории запорожского казачества» Эварницкого. Там есть описание старых степей, очень мне нужно для сценария. Лежит в моей комнате на нижней полке в самом углу к улице. Нужна также книга «Исторические песни украинского народа» Антоновича. Лежит посреди большой полки с кожаным корешком. Было бы очень славно, если бы ты прислала мне еще экземпляр «Земан». Лежит он с правой стороны на полке, примыкающей к моему столу, в большой толстой папке. Там их две: коричневая и голубая с моими старыми рассказами. В одной из них... Тоже надо для сценария.

Надо, чтобы ты сейчас же подготовила вторые все экземпляры сборника сценариев... Их через месяц или даже раньше мне придется передать в Киев для напечатания на украинском языке. Подготовь мне это поменьше... Вот подготовка второго экземпляра, Юличка, и есть главное, чем я тебя прошу заняться. По-видимому, моя жизнь сложится так: до нового года пишу сценарий. С весны до конца года делаю фильм и другой сценарий об этом же строительстве и потом другой фильм. Это будут не две серии, а две автономных картины. К этому же времени у меня должен появиться роман «Золотые ворота» — о строительстве гидроузла... Больше я ничего не хочу, и ничто меня не свернет с этого пути. Это и будет мое прямое участие как художника в великом народном деле.

Будь здорова, моя дорогая... Береги свое здоровье. Помни, что тебе надо это до 92 лет. Я очень рад, что к тебе придет Паша. Но это значит, что она так и не передала тебе моей глины: шести или семи предметов. Я потребую отсюда еще, чтоб она это сделала.

¹³ Малый Гнездикинский переулк в Москве, где располагалось Министерство кинематографии СССР.

Будь здорова, милая. Вспоминай меня хорошо и верь в хорошее. Сашко. 1952.22.IX. Новая Каховка.

«...Вчера я в первый раз надел пальто, спасибо тебе. Сегодня снова тепло. На небе ни облачка... Позавтракаю и в восемь с половиной утра пойду на свое хозяйство в пойму Днепра. Там сейчас основные мои герои. Я сижу с ними пока еще в болоте. Еще только котлованы вымывают земснаряды, да забиваются пшунты, да строятся дороги, земля перемещается, намывается, засыпаются болота, топи, протягиваются, бурятся длиннейшие ряды сложной системы водопонижения. Еще воду из котлованов будут выкачивать не раньше, чем через месяц, а первый бетон — и не на плотину, а на шлюз — дай бог, чтоб начали класть в декабре. То состояние и выражение величественности возведения, которое так впечатляет всех, будет здесь, как мне точно известно, ровно через год: в сентябре, примерно, будущего года. Словом, все сойдется, как надо. Пока же я сижу с народом в болотах среди озер, кувшинок, ржавых труб землесосов, песка, дорог, грузовиков, среди шума моторов, рева пульп, среди деловой суеты слитного коллектива строителей. Построение произведения должно иметь ведь человеческие отношения. А отношения в основном производственные. Такова наша жизнь. Поэтому и думать не приходится о разных вольных вымыслах. Надо все понять. А главное — людей. Мне очень трудно здесь без тебя, и в то же время мне хорошо. Я очень обогатился здесь знанием людей, характеров, новых профессий. Все ежедневно новое. Я понял только теперь и ощутил до конца, что значит жить с народом. Потом я вижу здесь много прекрасного и нового в природе...

Я спешу, прости меня. Сегодня вечером я напишу тебе большое письмо. Я очень похудел, много хожу, сердце ведет себя прилично, бывает иногда звон в ушах, немного кашляю вследствие бронхита, но я не жалуясь. Город построен очень плохо и некрасиво. Украинские архитекторы и академики проспали новый город, черт бы их побрал; но я и такой уж люблю, ведь ему всего лишь второй годик. Все здесь страшно юное и прекрасное. Я один из самых старых здесь людей, и мне бывает грустно на низу Днепра порой. Сколько воды утекло. Какие прошумели лета. Будь здорова, моя дорогая. Нежно целую тебя. Твой Сашко.

Никто из писателей не приезжал. Я здесь никого уже не жду. Все заняты своим. 8.X.52».

«...Сейчас полдвенадцатого. Я жду «виллис», чтобы ехать в Никополь, шофер опоздал, и я решил написать тебе это письмецо, которое тебе, очевидно, также не понравится, поскольку в нем ты не найдешь ответов на главные вопросы. Все главное я напишу тебе по возвращении через три дня. А сейчас я просто здороваюсь с тобой, просто обращаюсь думками к тебе. Сегодня здесь похолодало. Я надеваю пальто. При мне студент ГИКа, местный парнишка из Великой Лепетихи, сценарист, комсомолец по фамилии Болгарин. Здоровье мое в общем удовлетворительное. Грипп давно прошел. Кашляю легко. Похудел. Давление не меряю. Шлемник принимаю, уже осталось не больше как на неделю. Спасибо тебе за твои письма и за телеграмму. Твои заботы вызывают во мне глубокую благодарность и преклонение перед тобой. Машины мне не надо присылать. Сейчас это уже не имеет смысла. Мне дают «виллис». Я отбиваю на нем печенки, но жить можно. Езжу я немного. Я больше езжу на грузовиках-самосвалах в кабинах шоферов. Обычно я подымаю руку, и каждый из них останавливается и забирает меня. Они, очевидно, чувствуют, что всех их люблю, как своих братьев или сыновей. Мне всегда приятно с ними говорить и слушать их. Сколько прекрасного заложено в простых душах народа, и какое высокое сознание. Иногда я бываю счастлив от общения с ними. Я много также хожу пешком, и это, очевидно, также нужно мне. Все у меня в порядке на душе, Юличка, и на тот год с ранней весны мы здесь с тобой. Признаюсь, я полюбил этот берег реки и этих людей так, что остался бы с ними до конца жизни на этой реке, строил бы плотины и думал о великом вместе с ними. Как много познал я здесь новых волнующих и дорогих вещей в людях. Какими желаниями весь преисполнен. Задание вырисовывается уже, хоть и в больших трудах, прекрасное и огромное. Письма, о которых ты меня так заботливо предупредила, я напишу в первый же день возвращения. Сегодня читал речь Фадеева. Вращаюсь я ежедневно среди инженеров, гидрологов, механизаторов, руководителей на самых местах их творчества — среди котлованов, воды, песка, труб и машин. Сижу на производственных совещаниях, запи-

сываю, изучаю деловые производственные отношения и людские характеры. Ко мне все относятся с уважением и, очевидно, ждут от меня увековечения своих трудов в искусстве. Я это чувствую. На днях парторг собирает по моей просьбе у себя лучших стахановцев, чтобы я рассказал им о своих задачах и о том, что я уже понял. Потом я им задам вопрос: что каждый из них хотел бы увидеть в будущем фильме? Это будет разговор свободный, но очень нужный для меня. Повторяю тебе — здесь внешне нет решительно ничего, вдохновляющего киноглаз, но я влюблен в болото, где я с ними сижу. Я вижу в нем огромную красоту, которая дороже мне всех вместе взятых изысканных пейзажей и законченных зданий. Оно живет передо мною, видоизменяясь ежедневно, красивейшее в мире рядом с Днестром с высоким правым берегом, просторами земными и небесными, с жарою и ветрами, преобразуемое великим маленьким человеком, нашим современником... Если что у нас не клеится пока, моя дорогая, давай потерпим. У тебя много мужества, и воли, и ума. А вообще все будет прекрасно, и сознание свое мы должны нести в труде и ожидании прекрасного...

Будь здорова. Сашко. 11.X».

«...Я остаюсь в Каховке. Слава богу, во мне не только не прошла влюбленность в этот новый крошечный коммунистический город и в великое дело, творимое здесь, а, наоборот, я влюбляюсь в него с каждым днем все больше и больше. Если меня спросят, откуда вы, я отвечу: с Новой Каховки. Хожу я много, езжу не особенно. Я полюбил все, что вокруг меня, и так, как никогда этого со мной не было. У меня прекрасное состояние духа. И я чувствую, что я здесь как-то разбогател духовно.

Я часто думаю: почему мне здесь так хорошо? Потому, что я живу среди народа — строителя коммунизма в прямом, непосредственном смысле на одной из главных точек, ежедневно встречаюсь с людьми, которых я люблю и которые ко мне относятся с совершенным почтением, что все они, и я в том числе, заняты и стремятся к единой драгоценной цели. Я радуюсь здесь ежедневно, находя в моих современниках дорогие черты нового и прекрасного, и я с ними слился всеми своими чувствами и мыслями. А Днестр! Я никогда уже не оторвусь от него. Он уже весь вошел в меня, синий и теплый, с песчаными берегами, с птицами, журавлями, тысячами гусей, летящих вдоль его сверкающей голубой глади на юг. Прекрасен он утром рано, еще в тумане розовом, и днем, и вечером. Вдоль его берегов ходят люди простые, мужчины, женщины, девушки, дети, на работу и после труда. И я люблю их. Вся моя душа переполнена любовью к ним, к Родине нашей. Я еще тебя заберу сюда, и мы станем жителями Днестра... Уже теперь я знаю, что и умру когда-то на этой реке, с улыбкою благословляя людей.

Здесь очень хорошо ко мне относятся люди. У меня здесь нет ни одного недоброжелателя. Все здесь считают меня своим человеком. Я как бы член коллектива коммунистической стройки, мне всюду открыты двери в любое время. Есть инженеры, с которыми я часто встречаюсь, и они мне стали ближе режиссеров. Гидрогеологи, гидромеханики и прочие представители ведущих профессий современности.

Не думай, однако, что мне так уж совершенно легко. Я пережил здесь огромные трудности внутреннего порядка, о которых только сегодня впервые я тебе напишу: я только сейчас приступил к непосредственному писанию сценария, исписав перед этим три записные книжки. Это уже мое счастье. То есть я обретаю внутренний покой, и уж теперь я равен им всем. Я уже строитель, а не наблюдатель, ты это хорошо почувствуй. Пока весь сложный беспокойный труд заключался в длительных мучительных поисках аспекта обобщений, потому что без этого аспекта все здесь может поверхностному фотографическому оку показаться серым. Так и говорят обычно приезжающие сюда космополитические снобы... серо, неинтересно, и чем больше смотришь, тем скучнее. Я отчитал недавно здесь одну такую особу.

Так, милая и родная моя, я нашел художественно-творческую концепцию. Когда я сел за стол уже с ней и написал первую строчку, я вдруг почувствовал то, что всегда говорил тебе: есть полсценария! От напыла переполнивших меня сложнейших чувств я заплакал и стал ходить по комнате. Потом я должен был даже прилечь. Я, конечно, опоздаю для... Большакова, но, как и писал я тебе, я не опаздываю ни для народа, ни для строительства. В самый раз, родная: будет две автономных картины к концу стройки и будет Книга. Картину про самое главное в нашей современности, Юлячка, мы создадим гаягитскую и прекрасную, лучшую из всего, соз-

данного нами. Так я уже вижу своим внутренним видением художника, сына народа, так чувствую, к этому иду. Поэтому если я не приеду к тебе скоро, не огорчайся. Я не должен прерывать начала своего потока. Я принадлежу великой стройке коммунизма весь и должен быть теперь спокойным, радостным и уверенным. Ничто теперь не должно меня отвлекать. Мой быт мне безразличен. По-видимому, он посредствен, но я же недаром сказал тебе, что я каховчанин. Иногда я казался и кажусь себе более здоровым, чем в Москве. Очень много здесь ласки в природе. Я люблю тебя, моя милая жена и друг мой. И я полон благодарности к тебе. Повторяю еще раз: я пришел к концепции. Теперь я должен нести ее, как драгоценную чашу с драгоценным вином. Правду нашей жизни я должен поднять всю и всю природу до самого своего сердца, и сердце должно на большой высоте и биться высоким и чистым биением....

Вспоминай обо мне, желай мне добра. Относительно денег я что-то придумаю скоро, и деньги у меня будут. Радуюсь, что у нас такая прекрасная машина...

Передай, мое сердечко, привіт од мене всім добрим людям, всім, хто любить мене, хто не забував, хто згадає про мене добрим словом.

Фадееву и Рязанову я не написал еще, но уже в течение этих трех вечеров напишу непременно. Днями теперь буду только сценарию принадлежать. Я не могу приехать в Москву без сценария. Это невозможно, и я не хочу этого. Поэтому все должно быть кончено здесь. Уж если на то пошло, ты ко мне приедешь погодя, когда я соображу с капиталом.

Здесь очень тепло. Днепр синий. Тополі і верби край берега, помнишь, дивчині витягивали з ножки занозу. Вот там я отдыхаю. Небо синее. Кругом все молодое. Все движется. Мы думаем здесь все, что перед новым годом уже положим в котлован шлюза первый кубометр бетона. А сейчас труд і піт і всі заботи на болоті, которые дороже мне всех пейзажей Версаля. Несколько слов о художниках: это кретины, безграмотные, подслеповагыё. Что тут можно писать! Весной я привезу сюда Петра Петровича¹⁴ и умолю его написать лично для меня три пейзажа. Ему об этом скоро напишу. Нет здесь ни сановников из Академии архитектуры, ни писателей, ни поэтов Украины... Первая великая стройка коммунизма! Я думал, все здесь — учат, просвещают строителей и сами набираются у них ума и вдохновения. Нету никого. Подслеповагыё их глазки еще не видят здесь бетонного величия. Еще не картинно здесь. А люди... Что им до людей. Отсюда ведь высокое начальство далеко. Еще выпадешь, здесь сидя, «из поля зрения».

Вот так-то, дорогая... Тебя целую, обнимаю. Припадаю к ручкам. Твой Сашко. Сценарий будет столь же невероятно сложен, сколь и интересен. 16/X.1952. Н. Каховка.

Здесь ведь работал наш батько, когда ему было девятнадцать лет. «Човнами припливав».

Незадолго до смерти Довженко записал в дневнике: «Есть что-то глубокое в этом образовании моря, что-то похожее на историческую судьбу нашего народа. Расширяются берега, новые морские горизонты волнуют сердца строителей...»

Все было готово к началу съемок «Поэмы о море», даже отснята часть природы на берегу молодого Каховского моря. Но окончить свой лучший, как он считал, фильм Александр Петрович не успел. Это сделала Юлия Ипполитовна Солнцева.

В 1959 году Довженко за сценарий «Поэма о море» посмертно был удостоен Ленинской премии.

Его именем названы улицы и школы. Существует его музей. Одна из крупнейших киностудий страны носит имя Довженко. На родине художника, у деревенской простой хаты, стоит отлитый в бронзе памятник. Мемориальными досками отмечены места, где жил и творил замечательный мастер. Продолжают волновать фильмы и книги Довженко. В практике современного киноискусства претворяются его теоретические труды. Цветут заложенные им сады... Живет все, созданное могучим талантом художника. Живет в народе и память о нем.

Но есть одно место в Москве, где сохранился еще и кусочек реального мира

¹⁴ Художник П. П. Кончаловский.

его бытия. ...Квартира на Кутузовском проспекте в Москве просторна и аскетически проста. Ни одной лишней вещи — только самое необходимое. Поразительная чистота, много света. Гладкие светлые стены, чистые, не знающие ковров деревянные полы. Самая простая мебель. Единственные украшения — несколько предметов народного искусства: расписные тарелки, глиняные кувшины; на стене — огромная картина «Сирень» П. Кончаловского, подаренная хозяину квартиры.

В одной из комнат — там, где висит «Сирень», — все сохранено в таком же виде, как при жизни Александра Петровича. Лежит на тахте украинская плахта, описанная Жоржем Садулем, посетившим в свое время семью Довженко; стоит старенький телевизор с линзой перед экраном; лежит старая шляпа: выстроились у стены, будто ожидая хозяина, его чемоданы. На полках — книги Александра Петровича, к ним постоянно добавляются новые и новые издания его трудов, монографий о нем. Здесь же — мраморный бюст Довженко работы Веры Мухиной. Ежегодно в дни рождения и смерти Довженко за столом этой комнаты собираются его старые друзья..

Нет, это не комната-музей. Это жилая комната человека, которого здесь всегда помнят, любят и потому так трогательно, трепетно и бережно сохраняют его мир.

Уже много лет в этой квартире живет красивая, обаятельная женщина — Юлия Ипполитовна Солнцева.

...— Я думала, что Довженко за всю жизнь написал мне только три письма.— Улыбаясь, Юлия Ипполитовна протягивает мне аккуратную завязанную папку.— А теперь, когда по просьбе «Нового мира» заглянула в свой архив, убедилась, что писем было гораздо больше..

Всего их около восьмидесяти.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАЛЕРИЙ ТИМОФЕЕВ

★

РАВНЯТЬСЯ НА КОРЧАГИНА

К 80-летию со дня рождения Н. А. Островского

...необходимо перевоспитать себя так, чтоб служба социальной революции была личным делом каждой честной единицы, чтоб эта служба давала личности наслаждение.

М. Горький.

О Николае Островском написано огромное количество статей, брошюр, монографий. обстоятельно исследована его жизнь. И тем не менее осмысление наследия Н. Островского с позиций нашей современности в нравственно-гуманистическом, философском и эстетическом смысле — задача во многом еще не решенная. Недостаточно исследован и образ Павла Корчагина.

Одни утверждают, что Павел Корчагин — автопортрет писателя, другие говорят: исключительная натура, человек будущего, идеальный герой.

Противоречивость суждений тут не случайна и объясняется сложностью самого образа.

Острая полемика не прекращается и вокруг определяющей черты Павла Корчагина — его коммунистической идейности, революционной целеустремленности. Здесь, по сути, вырастает тема «герой и время», решение которой выходит далеко за пределы собственно литературного ряда и связано с важнейшими социально-нравственными проблемами современной идеологической борьбы.

Наши идейные противники, так называемые советологи, стремятся извратить глубоко гражданственный и гуманный смысл образа Корчагина, приписав герою романа слепой фатализм и черствый аскетизм. Западногерманский критик Юрген Рюле безапелляционно заявил: роман «Как закалялась сталь» «заключает в себе нечто бесчеловечное и бездушное». Высокая идейность и революционная страсть Корчагина трак-

туется как черствость, бездушие, безразличие к жизни. Это шаблонный ход буржуазных идеологов, бросающих героям советской литературы упрек в бездуховности.

Признать духовную красоту Павла Корчагина — Прометей советской литературы — значит признать, что социалистическая революция создала благоприятные условия для всестороннего развития личности.

Наши идейные противники не могут не заметить, замолчать героя, который стал властителем дум прогрессивной молодежи планеты. Но они всячески стараются нейтрализовать его влияние, а то и перетолковать его преданность революции во вред революции, разлагаясь, вопреки художественной логике образа, о «бесчеловечности и бездушии» героя.

Обиднее всего, что сами-то мы, несмотря на наше восхищение нравственной красотой героя Островского, порой узко, однобоко трактуем его. Так, например, известный биограф Н. Островского ныне покойный С. Трегуб, немало сделавший для изучения и популяризации творчества писателя, утверждал, что личное и общественное у Корчагина не сливаются органически, а только «переплетаются»: герой «ни разу не дал личному восторжествовать над общественным». Выходит, что эти два начала — в постоянном разладе одно с другим. А случается, что защита Павла от обвинений в аскетизме превращается в прославление аскетизма. Именно такое впечатление производят рассуждения критика Л. Аннинского о «сверхэнергии духа» героя Островского. Можно только приветствовать смелость исследователя, когда он стремится докопаться

ся до потаенных глубин корчагинского характера. Справедливо утверждение, что нравственная красота Павла Корчагина — в «редкостном совпадении судьбы личности и судьбы идеи», в их «неразделимости». Но тут же Аннинский принимается рассуждать о том, что жизнь Корчагина прошла под знаком «аскезы» — «жизнь сознательно частичная, сознательно неполная и ущербная». А как же быть с утверждением самого критика, что Корчагин и идея — одно, потому что жизнь его есть жизнь в идее и ему нечего приносить себя в жертву? Это куда ближе к истине, чем мысль о «жертвенном самосмирении» Корчагина, которую раньше отстаивал Л. Аннинский.

Однако почему герой все же свободен от «аскезы»? Потому что достиг полной гармонии личных и общественных интересов? Потому, заявляет критик, что здесь нет даже «остатка», которым надо было бы «жертвовать». Эта мысль варьируется в брошюре Л. Аннинского «„Как закалялась сталь“ Николая Островского» на разные лады: «Корчагин полюбил идею. Это была любовь всецелая, всезахватывающая, вытеснившая все из души героя»; «...у него осталась только идея»; «Здесь не остается ни кусочка души, не отданной идее безраздельно...»; «Корчагин был весь в духовности, всецело и безостаточно» и т. д. и т. п.

Вот оно что! Жертвы нет, потому что уже нечем жертвовать. Так это же еще хуже, чем «жертвенное самосмирение». Там хоть что-то оставалось в человеке человеческое, что надо было смирять во имя «высшего долга». Здесь уже и смирять нечего: «высшая идея» буквально поглотила героя. «Всецело и безостаточно». Но ведь это и есть та самая «аскеза», наиболее резким врагом которой, по справедливому утверждению критика, был сам Н. Островский. Так скрытая полемика критика с самим собой обернулась повторением самого себя.

Трактовка Корчагина с позиции «жертвенного самосмирения» оказывает нежелательное воздействие на некоторые инсценировки и экранизации романа, на характер иллюстраций к его тексту. Кинорежиссер Н. Мащенко говорил: «Корчагин, может быть, единственный из всех киногероев-коммунистов так откровенно и беспощадно отсекал от себя очень многое, личное, без чего нет и не может быть полной жизни человека...»

Следы этой концепции есть и в телефильме «Как закалялась сталь» (сценарий А. Алова и В. Наумова, постановка Н. Мащенко). Но вместе с тем видно стремление режиссера «очеловечить», «утеплить» образ Корчагина. Получается противоборство взаимо-

исключающих тенденций. Касаясь вопроса о «силе» и «уязвимости» позиции Корчагина, Н. Мащенко сказал: «Мы должны дать ему высказаться по этому поводу до конца, дать ему ошибиться, расстаться со своей любовью, с Ритой, чтобы затем показать, как много он потерял».

Вот по этому «максималистскому» поводу Корчагин в исполнении актера Конкина действительно высказался «до конца». Если в романе удар «по сердцу кулаком» — только случай, по утверждению самого героя, «ошибка молодости», то в телефильме этот случай возводится почти в принцип поведения Павла. Он говорит Рите, что революцию делают те, кто может отречься от всего, от себя. И он с завидной легкостью «отрекается». Никого Павел так не любил, как Риту. Можно вообразить, какие бури бушевали в его душе, когда он, такой щедрый на дружбу, на любовь, навсегда порывает с Ритой. А в телефильме он идет довольный, улыбающийся, словно только что не потерял — обрел несказанно дорогое.

О толковании романа «Как закалялась сталь» в духе демонстративной жертвенности говорят и некоторые иллюстрации. От этого недостатка не свободны работы даже такого талантливого художника, как В. Минаев. В его иллюстрациях мы видим мужественного Корчагина, человека железной воли. Но этим далеко не исчерпываются человеческие качества героя. А где же душевная щедрость, интеллектуальное богатство, романтическая увлеченность и другие черты его многогранной природы, без чего не понять ни истоков, ни сути его солдатского мужества? На иллюстрациях В. Минаева Павел Корчагин — фигура мрачная, суровая, исполненная сектантского фанатизма. Не ищите здесь ни возвышенности, ни того обаяния, в ореоле которого изобразил героя сам писатель.

Удивительно, что подобная трактовка Павла Корчагина не только не встречает возражения, но даже вызывает восторженные оценки. Так, один из искусствоведов видит заслугу В. Минаева как раз в том, что ему удалось показать в портрете героя Н. Островского «почти аскетическую отрешенность от себя» (разрядка моя. — В. Т.).

Одновременно бытует и другой, прямо противоположный взгляд на характер Павла Корчагина. В недавно опубликованной книге «Счастье борца» о романе Н. А. Островского «Как закалялась сталь» Н. Грознова пишет: «Раскрывая этику взаимоотношений личности и общества при социализме... Островский стремится... в каждом об-

щественном, политическом поступке своих героев разглядеть прежде всего движение их сердца».

В таком духе критик рассматривает истоки мужества и самого автора: «Так жить, так понимать свое место в жизни научило писателя прежде всего его сердце» (разрядка моя.— В. Т.). Здесь, как видим, в решении вопроса о соотношении общечеловеческого и социального в сознании героя и его автора предпочтение отдается сугубо личному, миру чувств. Между тем, существует совсем иная точка зрения. Еще в сороковые годы известный литературовед В. Гоффеншефер, останавливаясь на просчетах ряда прозаиков в решении вопроса о соотношении общечеловеческого и классового, отметил, что проблема эта решалась иначе, более успешно, и привел в качестве «разительного примера» жизнь и книги Н. Островского. Несколько позже, в 1954 году, газета бельгийских коммунистов «Драпо руж» справедливо писала о книге «Как закалялась сталь»: «Этот роман первый в русской литературе рисует героя, в котором объединяются не только личные интересы с социальными (мы это видели уже, например, у Павла Власова в «Матери»), но который не видит никакой разницы между своими собственными интересами и интересами государства».

В чем же нравственное величие Корчагина? В том, что он принес себя в жертву гражданскому долгу, или в том, что нашел в службе социальной революции глубоко личную заинтересованность?

На первый взгляд может показаться, что близки к истине те, кто придерживается концепции «жертвенного самосмирения» Корчагина. Говорил же он, что «личное ничто в сравнении с общим». После окончательного разрыва с Тоней Тумановой он «слово дал себе дивчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим». Когда Павел Корчагин почувствовал, что привязанность его к Рите с каждым днем растет, он решил ударить «по сердцу кулаком».

Были и другие факты в биографии героя, которые могут навести на мысль о его аскетизме. Да и сам автор, повествуя о ярости буденновцев, громивших белополяков, пишет:

«Павел потерял ощущение отдельной личности... растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «МЫ»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада».

И все-таки, можно ли отнести его к убежденным скелетам, подавляющим свои естественные склонности во имя служения идее? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо

уяснить, каков у Н. Островского характер взаимосвязи «герой — время».

В этом отношении Павел Корчагин не является принципиально новым художественным открытием, таким, например, как Павел Власов, начавший новую эру в развитии мирового искусства. Нельзя сказать, что Н. Островский увидел в жизни и показал в романе то, чего никто не видел из писателей и не отразил в своих произведениях. В образе Корчагина нетрудно обнаружить политическую зрелость и преданность рабочему классу, столь характерные для Павла Власова, клычковскую принципиальность и душевную чуткость, кожуховскую сопротивляемость обстоятельствам, чумаловскую деловитость и левинсоновскую мечту о прекрасном будущем...

Однако роман «Как закалялась сталь» отнюдь не повторение пройденного. Здесь проявилось «аккумуляторное новаторство», как удачно назвал Л. Новиченко литературные явления подобного рода. Суть такого новаторства применительно к Павлу Корчагину раскрыл В. Озеров:

«Отдельные черты этого человека можно было увидеть в ряде произведений конца 20-х — начала 30-х годов. В романе Н. Островского они впервые предстали в чудесном единстве, слившись в одном характере нового человека»...

Естественно, речь идет не о механическом соединении различных черт советского характера в одно целое. В романе Островского хорошо известные мотивы обрели новое звучание. Возьмем, к примеру, трагическое начало, которое проявилось уже в литературе 20-х годов. У Н. Островского оно доведено до необычайного накала. Много ли у нас произведений, где трагическое и героическое составляют единый сплав? Чувство ответственности перед коллективом, народом, страной — характерная черта героев советской литературы. Присуща она и Павлу Корчагину. Но автор раскрывает новое — корчагинское — своеобразие этого нравственного качества, о чем хорошо сказано в самом романе:

«Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем,— дело чести».

Одно дело, будучи крепким, здоровым, выполнять свой долг перед народом, Родиной. И совсем другое — балансировать на грани смерти и делать, казалось бы, невозможное. И ни больше ни меньше как в интересах всего человечества. Притом с такой силой самоотдачи, перед которой отступает сама смерть.

Герой Н. Островского, выросшего на земле Украины, до последнего дыхания борющегося за процветание родного края в братской семье социалистических республик, с особой полнотой воплотил в себе душевное и духовное богатство всех советских людей, в его пристрастиях и увлечениях читатель находит то коренное, что рождено Временем и что придает героическому характеру ярко выраженный историзм и масштабность.

Автор работал над романом «Как закалялась сталь» в те годы, когда создавались «Поднятая целина», «Время, вперед!», «Большой конвейер», «Гидроцентрал» и другие произведения, в которых судьба колхоза, стройки и судьба человека сливались воедино. Но молодой писатель с особой, впечатляющей силой раскрыл единство устремлений героя и хода истории.

Наша литература богата целеустремленными героями. Однако такого «одержимого», как Павел Корчагин, пожалуй, до него не было. Это совсем не значит, что «Красные дьяволята», Морозка, Метелица, Матвеев, Гориков не знали, за что они сражались на фронтах гражданской войны. Ими, конечно, тоже руководила устремленность к счастливому будущему своего народа. Но о многих из них можно сказать словами Д. Фурманова, относящимися к Василию Чапаеву: он, «как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит». Разное осмысление Времени, разная степень осознания идеала.

Павел Корчагин, если воспользоваться образной характеристикой Горького, поднялся на такую высоту величайшего интеллектуального плоскогорья, которой его литературные сверстники еще не достигли.

Характером Павла Корчагина, всей образной системой романа Н. Островский одним из первых наиболее глубоко раскрыл «во всем его величии и во всей его прелести наш демократический и социалистический идеал», к чему еще в начале века призывал В. И. Ленин. В духовном облике Корчагина как бы происходит гражданское «дозревание» героя нашего времени.

Благородная целеустремленность Корчагина проявляется не просто в отдельных его поступках или словах — она составляет духовную суть героя. Но есть одна изумительная картина — миг высшего озарения, когда заветная мечта Павла раскрылась с покоряющей силой. Это посещение героем братской могилы.

Н. Островскому удалась здесь тонкая психологическая вещь: картина остродрома-

тична и высокопатетична, но в ней нет ни мелодраматизма, ни патетических излишеств. Она подкупает точностью и глубиной психологического анализа, многое выигрывая и оттого, что подготовлена движением сюжета, в напряженной динамике которого ясно просвечивает дух Времени.

Павку Корчагина обуревают мысли планетарного масштаба. Но эта устремленность в далекое грядущее глубоко осознана героем, она является результатом его большого жизненного опыта. Правда, в ключевых главах романа ему только восемнадцать. Но каких лет! И в какое время! Большевикское подполье, гражданская война, героическая Боярка. Это очень много. Корчагин уже достаточно духовно зрел, чтобы за горизонтом повседневного бытия увидеть мир будущего, мир человеческого счастья, почувствовать реальность и достижимость нашего идеала. Вот откуда такая ясность и глубина его раздумий о высшем назначении человека — о смысле жизни.

Чтобы ярче показать значимость и весомость корчагинских устремлений, автор раскрывает их в резко контрастном сопоставлении с мелкими, ничтожными мыслишками и чувствами людшек, с которыми герой сталкивается. Все они хотя и современники Павла Корчагина, но живут словно в другое время, далекое от забот и волнений сегодняшнего дня. Такова теща Артема Корчагина, богомольная и ворчливая старуха, таковы кумушки, сидящие на крылечках и от безделья перемывающие косточки проходим. Да и об Артеме в это время Павел беспокоится: «Закопается, как жук в навозе». Павлу, жившему на огненных рубежах своего времени, мелочность людских устремлений казалась уродством. Вот Корчагин идет через просторную городскую площадь, где совсем недавно «мужественно умирали братья, для того чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом рабства».

За несколько минут перед мысленным взором Павла промелькнули человеческие судьбы, образы встреченных им людей — от равнодушных к Времени до героев Времени. Так естественно возникает вопрос: во имя чего, ради чего живет человек на земле? — один из важнейших в мировой литературе вопросов. Н. Островский решает его с удивительной ясностью, социальной остротой, находя слова покоряющей силы.

В размышлениях Корчагина над холмиком братской могилы — грусть о невосполнимых утратах и неутоленная жажда жизни. И любовь к людям, и ненависть к насильникам. И воспоминание о прошлом и

клятва в верности соратникам. Стоя над прахом тех, кто сгорел в борьбе за счастье простых людей, он не разумом — всем существом своим осознал, что «самое прекрасное в мире — борьба за освобождение человечества».

Этот внутренний монолог выдержан в патетическом ключе. Так торжественно и приподнято Корчагин не говорит в повседневной жизни. Слово Корчагина обращено здесь ко всему человечеству. Поэтому приподнятость рассуждений героя воспринимается как вполне естественная.

Собственная мечта Павла Корчагина передана в форме несобственно-прямой речи. Своим косвенным вмешательством, публицистически обнаженной мыслью, самой тональностью передачи мыслей героя автор стремится оттенить четкость и ясность осознания Корчагиным социалистического идеала.

В картине посещения Корчагиным братской могилы автор сопрягает прошедшее, настоящее и будущее. Тут взаимодействуют мир социальных схваток, утрат, радости созидания и мир одухотворенной природы с ее вечной гармонией. Очередная весна воспринимается как весна необычная. Это весна молодой Советской республики после окончания гражданской войны. Весеннее обновление природы автор рисует экономно и точно. Стройные сосны, зеленый шелк молодой травы, весенняя прель земли — все это складывается в единый образ обновления жизни.

Молодой герой романа причастен к этой таинственной гармонии. Но в том-то и трагизм ситуации, что рожденный для радости созидания Корчагин будет отторгнут болезнью от весеннего мира.

Этот важнейший в образной системе романа эпизод не самым удачным способом интерпретирован в упомянутом телефильме «Как закалялась сталь». Внутренний монолог Корчагина, включающий в себя известные слова о «самом прекрасном в мире», переделан в... похоронную речь. Неизбежно меняется и тональность этих слов и звучание всего эпизода.

Мысли героя о готовности к благородному подвижничеству (как они раскрываются в романе) — не громкая декларация, произнесенная в состоянии аффекта. Это предельно откровенный наедине с собой разговор-исповедь о самом заветном и сокровенном. Возвышенные мысли Корчагина продиктованы не временным чувством, вызванным только что виденным и слышанным, как это представлено в телефильме, но глубоким внутренним убеждением.

Социалистический идеал для Павла Корчагина не есть что-то абстрактное, недостижимое. Это его выстраданное, конкретное представление о будущем. В грядущем Павлу видится человечество, освобожденное от классового и национального гнета: «одна республика... для всех людей» земли, где не будет чересполосиц и государственных границ, порождающих кровавые побоища — от «местного значения» до мировых масштабов.

Прекрасен этот порыв в завтрашний день человечества. Но как на всем облике Павла Корчагина, так и здесь есть некий избыточный максимализм — некоторая упрощенность в представлении о коммунистическом идеале. Он притягателен для героя как осуществление мечты о равенстве, социальной справедливости, благополучии всех трудовых людей планеты. Рассказывая матери о будущей мировой республике, Павел говорит: «... вас, старушек да стариков, которые трудящие, — в Италию, страна такая теплая по-над морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть».

Сознание Корчагина уже усвоило социальные и экономические преимущества будущего общества, но упрощенно представляет реальную сложность и продолжительность пути к нему, еще не в состоянии охватить нравственную суть, красоту грядущих человеческих отношений. Это естественно: слишком много натерпелся он от голода и холода, чтобы, не думая об удовлетворении первоочередных жизненных потребностей, сразу устремиться к самому возвышенному. Но он на верном пути: в его словах о будущей социалистической Италии, сказанных с такой теплотой и задушевностью, выражена светлая мечта о времени, когда осуществляются наши социальные идеалы. Корчагин поднялся на такую идейную и нравственную высоту, откуда широк обзор народной жизни. Он поэтому мог не просто сравнивать настоящее с минувшим, но и заглянуть в далекое будущее человечества.

Бескорыстие, доброта, нравственное величие Павла Корчагина проявляются прежде всего в том, что он борется за совершенные формы социальных отношений, окончательное торжество которых ему увидеть не доведется. И он не скорбит от того, что ему не достанется от будущего караваля.

Ощущение нравственного величия Павла Корчагина, возникающее в эпизоде на братском кладбище, уже не покидает нас до конца романа. В любом поступке героя мы

различаем свет высокого идеала, будь то строительство узкоколейки, коммунистический субботник или история Костьки Фидина. Нравственное величие героя и в его конкретном, повседневном деле, и в его мыслях и чувствах, в высоте видения мира, в страсти борьбы, в способности думать о судьбе города, цеха в масштабах страны, всего мира. Даже ослепнув на правый глаз, он реагирует на эту беду так: «Лучше бы ослеп левый,— как же я стрелять теперь буду?»

Сила жизненной позиции Корчагина — в глубокоом понимании целей революционной борьбы и своего места в ней. Конечно, «настоящая идея» — великая сила, но если для ее осуществления нет твердой воли, характера, она мертвый капитал. Так же как и волевой характер без «настоящей идеи» — корабль без руля и ветрил. Настоящий человек — сильный характер плюс «настоящая идея». В этом гвоздь концепции «прекрасного человека будущего», положенной в основу образа Павла Корчагина. Затрудняюсь назвать другого героя литературы тех лет, который так же глубоко понимал бы значение личности в идейной борьбе и, поднимаясь к общественному идеалу, с такой же страстью воспитывал бы свою волю.

Романтика самовоспитания борца-революционера впервые была отражена в литературе Чернышевским в образе Рахметова. Затем английская писательница Э. Войнич в романе «Овод» успешно развивает эту традицию. У М. Горького та же традиция обогащена пафосом социалистического переустройства мира («Мать», автобиографическая трилогия).

Уже в начале нашей советской действительности воспитание и перевоспитание людей, искалеченных капиталистическим строем, стали насущным требованием времени. Естественно, это стало главной задачей и нашей молодой литературы. Однако писатели, изображая рождение нового человека, зачастую останавливали свое внимание на решающей роли обстоятельств, среды, коллектива: «Возьми меня, переделай и вечно веди вперед». В этих словах большого поэта В. Луговского выражено стремление слиться с героическим временем, быть на уровне его требований. Но одновременно сказывается пассивное отношение к сотворению собственного «я».

Тем не менее и в то время советская литература, нацеленная на героическую борьбу и труда, уже начала проявлять интерес к роли самовоспитания в формировании нового человека. А. Фадеев, например, в об-

разах Иосифа Левинсона, Ивана Морозки показал, как народная борьба за новую жизнь порождает в человеке желание быть лучше, стремление творить самого себя. Н. Островский уловил весьма перспективную традицию и развил ее, подчеркнув значение духовной активности человека в совершенствовании своей личности. Романтика самовоспитания пронизывает весь роман «Как закалялась сталь». Разумеется, человек — продукт общественных отношений, но быть ему лучше или хуже во многом зависит и от него самого. Автор тщательно прослеживает, как его герой упорно вырабатывает, культивирует беспощадную требовательность к себе, умение в нужных случаях перебороть себя. Стихия чувств, своеволие, элементы партизанщины, характерные для юного Павки, постепенно преодолеваются им. Самодисциплина, железная выдержка становятся качествами его натуры. Это — подвиг. Подвиг неброский, не сопряженный с риском для жизни, как, например, спасение Федора Жухрая. Искусство управлять собой помогло Павлу выиграть поединок с «предательством» тела, прорвать «железное кольцо». Это тоже может показаться проявлением аскетизма. Но неужели нравственное величие Корчагина, покорившего читателей духовной красотой и обаянием, — в беспощадной отрешенности от всего земного, человеческого ради борьбы, пусть даже и во имя высокой идеи?

По-разному люди относятся к гражданскому долгу. Многие тут зависят от того, насколько он осознан, стал глубоким мотивом их деятельности: для одних долг — повинность, тяжкая обуза, для других — внутреннее побуждение, душевная потребность.

Прекрасно, когда человек способен забыть о себе, борясь за общее благо. Но еще прекраснее — уметь найти в борьбе за благо других свое призвание, личное счастье. Служению возвышенным идеалам революционеры отдаются всей душой, словно бы забывая себя. Но какое же это самопожертвование, если — всей душой, а не против души!

Мысль о жертвенном смирении чужда марксистско-ленинской этике. К. Маркс и Ф. Энгельс заклеили противопоставление собственной личности и человечества как подлое, рабское унижение. В. И. Ленин писал, что без увлечения в революционном процессе невозможен успех борьбы.

А для того, чтобы пробудилось увлечение, мало одного диктата долга. Нужна личная

заинтересованность. «Без личной заинтересованности ни черта не выйдет,— категорически заявлял Владимир Ильич.— Надо суметь заинтересовать». Заинтересовать значит «заботу о дальних» приравнять к заботе о личной своей судьбе. Тогда служение революции уже не будет жертвоприношением.

Кульм жертвенности — явление историческое. Возникнув на заре человечества, он претерпел ряд модификаций в условиях эксплуататорского общества, которое не может существовать без человеческих «жертвоприношений». Проще говоря, угнетенные массы вынуждены жертвовать своими интересами во имя благополучия господствующих классов. Это не значит, что в старом мире не было места и условий для проявления патриотических чувств народа. Были и Куликовская битва и Бородино. Тем не менее жертвенность культивировалась сверху — как жизненный принцип. Под него прямо или косвенно подводились государственная, идейная, политическая, философская, религиозная, нравственная основы. Подводились по-разному, но с единой задачей — убедить народ в святости поповской проповеди, веками звучащей с амвона: «Каждый должен терпеливо нести свой крест».

С ликвидацией классового, антагонистического общества наступает конец порабощению человека человеком. Каждый работает на свое рабоче-крестьянское государство, то есть на самого себя. Социализм, открывая широкому дорогу к сознательному историческому творчеству народных масс, преодолевает извечное противоречие между личными и общественными интересами. Кульм жертвенности исключается самой природой, гуманистической природой нашего строя, нравственная сущность которого выражена в призыве: «Все во имя человека, для блага человека». Советские люди считают общенародные интересы своим кровным делом. Об этом свидетельствует весь дух нового Закона Советского Союза, где нашла отражение гражданская и духовная зрелость нашего народа.

Народ нашей страны принес немало жертв во имя свободы родины, торжества социалистических идеалов, но ему чужд культ жертвы.

Советская литература с первых дней своего существования стремилась показать героев, для которых долг перед народом — превыше всего. Но при решении проблемы соотношения личного и общего не всегда правильно расставлялись акценты. В 20-е годы наши писатели нередко **выдвигали на**

первый план жесткий императив — «надо». В ту пору популярна была дилемма: «Или революция, или персидская княжна», то есть или активная общественная деятельность, или личная жизнь со всеми земными благами.

«Коллектив — вот моя семья. Революция — вот моя любовь», — говорит Иванова — героиня пьесы В. Билль-Белоцерковского «Шторм».

Целеустремленность героя нередко трактовалась как прямолинейность. Акцентировалось внимание на рассудочности революционера, на рациональном обосновании «жертвы».

Остаточные явления этой «детской болезни» молодой советской литературы встречаются и поныне. М. Колесников в романе «Изотопы для Алтунина», подводя итоги одной из бесед членов бригады кузнеца Сергея Алтунина, пишет: «Ты как бы начинаешь видеть корень всего: человек живет не для себя, а для людей, и весь он принадлежит им». А в романе Н. Сизова «Наследники» культу жертвенности предсказано бессмертие. Один из положительных героев, комсорг гигантской стройки Анатолий Снегов самоуверенно пророчит: «Я утверждаю, что готовность к самопожертвованию — не потребность какой-то одной эпохи, а признак гражданственности во все времена. Уверен, что и при коммунизме будут жертвы...»

Как тут не вспомнить Добролюбова, который более ста лет назад уже прекрасно осознавал полную несовместимость гражданственности и слепой жертвенности. Известны резкие суждения на этот счет Чернышевского, считавшего, что жертва — «сапоги всмятку».

Перед иным неискушенным читателем, если он начнет судить о нашей жизни по произведениям, пафосом которых является идея «человек живет не для себя», высокая гражданская сознательность и морально-политическое единство советских людей могут предстать как хмурая готовность души в себе все живое, человеческое.

Остаточные явления культа жертвенности в сегодняшней литературе говорят о том, как нелегко и теперь решается проблема соотношения общечеловеческого и социального. А ведь от решения ее в конечном счете зависит успех в создании героических характеров. Уже в двадцатые годы среди многих героев прозы, как бы осененных ореолом жертвенности, появлялись образы революционеров, на облике которых не было резкой печати аскетизма. Создатели этих образов старались проникнуть в

глубь нравственного мира новой личности, показать ее не только в социальном плане, в событиях эпохального масштаба, но и в обыденной жизни (Марютка, Любовь Яровая, Годун...).

Н. Островскому была близка эта перспективная традиция, на фоне которой эмоциональная недостаточность некоторых героев проявлялась особенно зримо. В годы первых пятилеток, когда создавался роман «Как закалялась сталь», читатель желал познакомиться с литературным героем, который был бы показан во всем богатстве жизненных связей, в многообразии чувств и страстей — не только бьющим японских самураев, поднимающим из руин фабрики и заводы, организуя колхозы, но и во внутренних своих борениях, поисках, да и просто — радующимся обычным земным благам.

Именно такой взгляд на нового героя как на личность многогранную мы находим в романе Н. Островского. Как упрек в адрес авторов, увлекающихся живописанием аскетов, «кожаных курток», звучат его слова о том, что участники революционных битв, может быть, больше других чувствовали очарование жизни, но твердо знали, что самое главное сейчас — уничтожить классового врага и отстоять революцию, и это сознание подавляло все.

Подавляло, но не подавило. Никакие социальные «боевые бури» не заглушали человеческое в человеке. В романе «Как закалялась сталь» есть сцена, великолепно подтверждающая эту мысль. Рита Устинович отчитывает Сережу Брузжака за то, что он «пускается в лирику» («Я этого не люблю»), Устинович — инструктор политотдела дивизии. Избегая всякой «чувствительности», держалась деловито и строго. И вдруг, отступая от привычной роли, она, внезапно обхватив белокурую голову Сережи Брузжака, «властно» целует его в губы. Это меняет первое впечатление об Устинович как о «принципиальной противнице лирики». О многом говорят и слова, которые Рита несколько лет спустя скажет Павлу Корчагину: «Не надо быть таким суровым к себе... В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства». То есть радость любить и быть любимым. Этот мотив пронизывает повествование о судьбе Павла Корчагина, Сергея Брузжака и других героев романа. Страстная преданность Корчагина коммунистической идее не ущемляет полноты его духовной жизни, а напротив, позволяет ему максимально развить и проявить все богатства своей индивидуальности.

О Павле Корчагине мало сказать, что ему

ничто человеческое не чуждо. В нем человеческое наиболее человечно и активно, что с особой силой проявилось в его борьбе за торжество высоких общественных идеалов. Писатель глубоко раскрыл тонкую взаимосвязь партийности, целеустремленности и принципиальности героя с его этическими, психологическими и эмоциональными чертами. Пример Павла Корчагина убеждает в том, что каждый, жаждущий возвышенного, прекрасного, неизбежно должен прийти к самым высоким гражданским идеалам.

В романе «Как закалялась сталь», может быть, наиболее оцитою для своего времени обнаружился тот процесс «осердечивания» коммунистического идеала, который так характерен для искусства социалистического реализма и который позже с большой силой проявился, например, в фильмах А. Довженко. Революционная страсть невозможна без душевной щедрости, интеллектуального и эмоционального богатства, как невозможно извержение вулкана из горы, в недрах которой не бурлит раскаленная лава.

Отсюда, однако, не следует, что Н. Островский стремился в каждом общественном поступке Павла Корчагина, как пишет Н. Грознова, «разглядеть прежде всего движение... сердца».

Правда, в письме брату Артему герой писал: «Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где разрывается железная лавина штурма?» Здесь действительно «предательству» тела писатель противопоставил не ум, а сердце. Но не вообще сердце, а сердце большевика. Павел Корчагин с полным основанием мог бы повторить слова Федора Гладкова о том, что у настоящего революционера заветные его идеи живут не только в мозгах, но и в сердце, омываются его кровью. Здесь трактована роль мировоззрения и эмоций в социальной практике человека.

Н. Грознова права, когда отвергает взгляд на Павла Корчагина как на аскета. Но, отрицая эту крайность, она впадает в другую, прославляя некую «гегемонию сердца». Интересно, как от альбомных слов о «сердце» нам перейти к четким социальным, мировоззренческим категориям?

Н. Островский был убежден, что человек делается человеком, если он собран вокруг какой-либо настоящей идеи.

Рассказывая о жизни Павла Корчагина, автор особенно тщательно прослеживает

рождение и развитие его политических взглядов. О доминирующей роли идей в судьбе героя в романе сказано со всей откровенностью: встречи с подпольщиком-большевиком Федором Жухраем стали для молодого кочегара решающими. Писатель с большой достоверностью и художественной силой раскрыл диалектику идеала и характера, сознания и эмоций, всюду подчеркивая определяющую роль мировоззрения. Нам особенно дорога в Павле Корчагине жажда справедливости, тревога за судьбу своего народа, за будущее всего человечества.

Привлекает нас и обостренное чувство собственного достоинства, отличающее Корчагина. Как писал критик В. Лукьянин, быть человеком, ощущать себя человеком для него важнее, чем иные блага жизни.

К. Маркс считал, что «для пролетариата смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости — важнее хлеба». Называл достоинство первоопределяющим качеством, которое «больше всего возвышает человека... придает его деятельности, всем его стремлениям высшее благородство».

Естественно, само чувство достоинства — еще не гарантия верного социального выбора. Григорию Мелехову не откажешь в гордости, самоуважении. Однако это не избавило его от политических метаний, трагических ошибок. Чувство достоинства у Павла Корчагина носило ярко выраженный пролетарский характер.

Рос он в рабочей семье, где учили не унижаться, горб не гнуть «перед всякой сволочью». Поэтому уже с детства никому не прощал он своих жестоких обид, не забыл и попу незаслуженную порку... Неспроста в нем так сильно развита жажда справедливости. Даже свои мальчишеские драки ведет он «всегда по справедливости». А стремление к равенству и братству приводит его к мечте о том единственном мире, где они могут восторжествовать — к социализму. В романе убедительно показано, как «настоящая идея» овладевает сердцем Корчагина, переходя в его эмоции, в несокрушимую волю.

В бытовых, жанровых сценах, чередующихся с картинами больших исторических событий, автор выявляет многогранность характера Павла Корчагина. Герой встает перед читателями не только как воин, строитель, комсомольский вожак, но и как человек, которому ничто человеческое не чуждо. В нем есть душевность, отзывчивость, нежность. Широкий диапазон его эмоциональных проявлений: от нескромно нежного («Я так люблю тебя, Тоня!») до ослепляю-

щей ненависти («Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту!»), от заразительного жизнелюбия («Есть для чего жить на свете!») до трагического отчаяния («Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться?»).

Заслуга Н. Островского не только в том, что он окончательно освободил образ революционера от аскезы, показал, что ему присущи простые человеческие эмоции. Не меньшее значение имеет и то, что писатель уловил в жизни и отразил в своем романе динамику, переменчивость «вечных» начал в человеке, доказав, что это «вечное» не статично: оно изменяется в зависимости от течения времени, от глобальных социальных перемен. Это особенно явственно проявилось в изображении личной жизни Павла Корчагина.

Любовь, как известно, самое непокорное чувство («сердцу не прикажешь»). Однако даже в той сфере, где диктатура сердца, казалось бы, всевластна, Корчагин не подчиняется безоглядно этой «диктатуре». Автор с удивительным тактом раскрыл диалектику взаимосвязи вечного зова прекрасной юности и суровых требований Времени. Не умаляя «радости хорошего чувства», герой все же считает, что «самое прекрасное в мире — борьба за освобождение человечества». Это — не чрезмерный рационализм, не аскетизм, а трезвый взгляд на жизнь, в которой любовь играет большую роль, но не главную.

Корчагин жил в трагическое и счастливое время. Две войны. Две революции. Кровь, смерть — обычное дело. Сокрушались прежние авторитеты. Рождались новые. Это был невиданный подъем народного духа. Шестнадцатилетние хлопцы командовали полками. По следам событий рождались легенды о героизме тех, кто умирал за то, чтобы жизнь была прекрасна для всех людей земли. Великий Октябрь шествовал по необъятным просторам нашей Родины. Мировая революция ожидалась если не завтра, то уж послезавтра наверняка, как об этом думал Виктор Безайс, герой романа В. Кина «По ту сторону». В такое время быть человеком — значило быть революционером. Многие, особенно комсомольцы, были убеждены, что каждый должен добровольно отказаться от личной жизни, от любви, от семьи и целиком отдаться «самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Сознательное, целеустремленное самоограничение Павла Корчагина — не принцип, утверждаемый навечно, а суровая необходимость, вызванная Временем. Он умел

любить и дружить, «запоем» читать книги, с упоенностью плясать, играть на гармошке, увлекаться шахматами и шашками, наслаждаться природой. Но «борьба за освобождение человечества» была самой бурной его страстью. Страстью мудрой, глубоко осознанной, исключая жертвенность героического одиночки.

Сочетание идейной целеустремленности и покоряющей человечности придает облику Павла Корчагина неотразимое обаяние. «Мне кажется,— писал А. Фадеев,— что во всей советской литературе нет пока что другого такого же пленительного по своей чистоте и в то же время такого жизненного образа». Действительно, того уникального сплава общечеловеческого и социального, образ которого дал писатель в характере Пав-

ла Корчагина, кажется, пока никому не удалось добиться.

В умении Н. Островского сопрягать сугубо личное и эпохальное много поучительного для современной литературы, где не так уж редко встречаются произведения, в которых производство и личная жизнь словно разведены по разным полюсам.

Борясь против однолинейности и эмоциональной недостаточности в изображении героя нашего времени, Н. Островский романом «Как закалялась сталь» утверждал в советской литературе концепцию героического характера — концепцию духовно богатой, многогранной личности, посвятившей себя борьбе за воплощение в жизнь коммунистических идеалов.

г. Октябрьский Башкирской АССР.



Ю. СУРОВЦЕВ



ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Статья вторая*

СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, СУДЬБЫ НАРОДНЫЕ, СУДЬБЫ ТРАГИЧЕСКИЕ...

Понятно, что в этом названии скрыто присутствует, отражается знаменитое пушкинское рассуждение: «Что развивается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ — судьба человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки».

Слова Пушкина, только что цитированные, широко известны. часто приводятся в литературоведческих работах, в том числе и касающихся художественно-исторической литературы. Но нередко трактуются они, к сожалению, вне социально-исторического и культурно-исторического контекста.

Восстановим его — вкратце, конечно

Пушкин отстаивает мысль о народном характере истинной драмы, говоря об ее «площадном» генезисе и имея в виду ее цель. Не придворность, благодаря которой возникла на театре «робкая чопорность, смешная надутость... привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострашием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения», но именно — естественность, знающая себе не одну только эстетическую цену; настроенность на не избранную «толпу» зрителей, человеческий (читай — реалистический) смысл изображаемого в «драматическом волшебстве» действия-зрелища («Драма стала заведовать страстями и душою человеческою»; «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует

наш ум от драматического писателя») — об этом печется Пушкин, когда говорит о «судьбе человеческой, судьбе народной».

Историческая трагедия достигнет своей народной цели, если покажет правдиво, глубоко истинно человека, его душу — и потому Расин и Шекспир стоят в данном случае у Пушкина рядом. Для Пушкина «народ» не есть обязательный предмет изображения в «народной драме», он есть указание на общечеловеческий интерес, на заинтересованность (новой литературы, нового зрителя) в правде, в том числе — и в правде истории. За стремление дать эту правду без прикрас Пушкин высоко ценил Вальтера Скотта, этому стремлению учился у Шекспира, следовал этому стремлению в работе над «Борисом Годуновым».

Нам следует быть всегда и во всем историчными в суждениях о литературе, об эстетике!

Конечно, важной силой, важным элементом драматического, трагического действия народ мог выступать, даже «безмолвствуя». Но как такой участник действия, который уже не может передоверить своей исторической роли никакому «хору» и никаким «представителям», как участник сюжета, берущего начало в героических и трагических коллизиях истории, народ — уже в нашем социальном понимании — мог появиться в художественно-исторической драматургии и романистике, да и не просто появиться, а ворваться, определяя правду и кривду, свет и тени, добро и зло, только на основе социалистическо-революционной жизненной практики.

Опыт этой практики резко расширил и обновил историческое содержание собственно-эстетических категорий, таких, как «героическое», «возвышенное», «трагическое», с коими имеет дело всякий, кто пи-

* Статью первую см. «Новый мир» № 7 с. г.

шет или изучает исторические драмы и романы.

Судьба человеческая, судьба народная... В эстетические (героические, возвышенные, трагические) представления об этом художественные эпохи вносят свою особую лепту каждая, «выковывая» постепенно все более удлиняющуюся цепь духовных ценностей.

...Исторический роман представляет нам, в переплетении и взаимопроникновении, судьбы человеческие и через них судьбы народные. В переплетении, взаимопроникновении этом возможны, понятное дело, разные акцентировки, ракурсы видения «Мысль народная» может вобрать в себя «судьбу человеческую», и тогда будет доминировать эпический принцип, который, в свою очередь, способен вобрать в определяемую им общую структуру произведения трагические конфликты на правах «части» в более широком и сложном «целом». Судьбы народные в романе-эпосе в целом не разрешаются трагически. И в иных типах исторического романа — нашего, принадлежащего к социалистическому реализму, романа: его духу более отвечает принцип — народ бессмертен. «Взгляд любого народа на свое прошлое оптимистичен, — заявляет Т. Каипбергенов автор народно-эпической трилогии, о которой шла у нас речь в первой статье. И далее автор «Дастана о каракалпаках» объясняет, почему оно так: «Ибо это взгляд на ту дорогу, что проложена сотнями поколений, проложена из былого в настоящее и будущее. Даже простая тропинка где-нибудь в поле не бывает ненужной и напрасной, потому что в одиночку тропу не протопчешь, а раз шли по ней многие — значит, многим она нужна. Так что же говорить об исторической дороге целого народа?»

Ну, а если писатель, автор исторического романа, держит в центре внимания путь отдельного человека, чаще всего реально-го исторического лица? Как тут будет обстоять дело? Многих исторических романистов сегодня особенно влекут индивидуальные человеческие судьбы. Притом нередко — трагические.

...«Человек и власть» — вот ситуация, очень часто исследуемая нынешним историческим романом, открывающая историческим романистам многообразные, в том числе многообразно-трагические, коллизии. При этом социальные предпосылки и характеристики этой ситуации вовсе не всегда исследуются сегодня писателями непосредственно; порою они подразумеваются,

порою выступают как условия решения задач, а сами задачи — чаще всего нравственно-психологического свойства. Каков человек и как он ведет себя, как действует, добиваясь власти, а затем удерживая власть, — вот этот ракурс изучения нравственно-психологических механизмов в центре внимания многих писателей, ракурс, согласимся, роднящий историческую романистику с исканиями прозы о современности. Разумеется, это не абстрактные, «моделирующие» все и вся конструкции — там, где такое случается, нет, собственно, художественно-реалистического постижения истории. Нет, потому что механизмы механизмами, психологические переклички перекличками, однако же существенны, необходимы и такие вопросы: кто этот человек-деятель? какова по природе своей власть, к вершинам которой он стремится (социологически — «грубо», но точно: чья власть? способны ли эта власть и этот деятель быть гуманнее предыдущих и когда, тотчас ли, не тотчас ли способны?, и т. д.)? А на подобные вопросы объективного порядка и ценностного значения можно реально ответить лишь при социально осознанном, конкретно-историческом взгляде на вещи.

Бывает так, что писателя увлекает и сама по себе историческая (оценочная) проблема. Пиримкул Кадыров в романе «Бабур» доказывает общую прогрессивность не только поэтического и прозаического, но и политического наследия Бабура — Тимурида, завоевателя Северной Индии, основателя империи Великих Моголов, полководца администратора, а еще и создателя замечательных стихов и автора знаменитой автобиографической «Бабур-намэ». Здесь, так сказать, нет резкого диссонанса между человеком, обладающим властью, и самой его властью, ее скрытой логикой, хотя сильно звучит в романе и социальный мотив: этот шах добр к народу, но так, как может быть добр... шах; этот шах гуманист своего времени в отличие от своего соперника Шейбани, но династическая война между ними вполне относится к разряду феодальных распри, беспощадных и несущих только бедствие трудящимся массам. Сильно звучит здесь и мотив противоречия между творческими интересами Бабура-поэта, Бабура-музыканта и политической деятельностью Бабура-шаха, Бабура — государственного человека. В Индии Бабур нашел вторую родину; сдружить мусульманскую и индустскую культуры на почве общегуманистических (своеобразно ренессансных?) идей было его заветной идеей. И тем не менее всю жизнь свою

в Индии этот счастливый основатель империи, собственной династии тосковал по родине, по своей Фергане. Самарканду, Мавераннахру, и это важное обстоятельство подробно и непредвзято исследует писатель.

Бабур умер рано. Но это не трагическая гибель. Трагична судьба другого предренессансного или своеобразно ренессансного деятеля «нашего» Востока — Тимурида, внука Тимура, правителя Мавераннахра Улугбека, великого ученого-астронома средневековья, гуманиста, всю жизнь боровшегося против исламского ультраконсерватизма, фанатизма и павшего в этой неравной борьбе. Узбекского писателя Адыла Якубова в романе «Сокровища Улугбека» эта фигура исторического и культурного деятеля привлекла более всего именно трагизмом. Перед нами трагизм слишком раннего культурного новаторства. Узкий круг близких друзей понимает ценность того, что делает Улугбек-просветитель и Улугбек-ученый. Вокруг тьма, она сгущается, опора Улугбека-политика делается все более шаткой и узкой, хотя писатель вносит в сюжет некоторые «по-вальтерскоттовски» заостренные «ходы», связанные с «простыми людьми», которые симпатизируют Улугбеку. Трагичен Улугбек и тем, что ушел вперед своего времени, и тем, что остался в нем: «восточная» идея возмездия за прежние грехи — не его, но его рода — тяготит сознание, интриги властолюбивого сына он склонен принять за воплощение этого фатума. Единственное для Улугбека утешение души — наука, единственная радость — безлюдье обсерватории, но... Победивший сын и стоящие за ним фанатики — шейхи, все те, кто живет грабежом военным и вообще грабежом чужого грода (а Улугбек, хоть и «слабый» правитель, пытался как-то упорядочить налоги в своем государстве), лишили его и этого утешения души... «И снова, снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури проносились после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому что возмездие за пролитый океан крови неизбежно Неотвратимо. Если не настагает оно того, кто пролил эту кровь.. то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие?» Трагически безвыходный этот ход мысли: «Совесь Улугбека может быть спокойна, — думает сам о себе Улугбек. — Сорок лет он правил Мавераннахром, завоевательных походов не предпринимал, разве что в юности и для того, чтобы не распалось государство. И в Хорасан

ходил на закате жизни в целях обороны, иначе расколосось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга». Это, конечно, поблажка себе, своей совести. Стремление отделиться от иных Тимуридов и по этой линии, хотя... высочить из своего времени никому не дано.

Власть, трон, заботы о нем не позволяли Улугбеку быть гуманным... Власть, которую завоевали руководители маздакитов, безудержная власть произвола, породив оргию убийств и грабежей, извратила те цели, во имя которых спланировал вокруг себя людей, бедных, требовавших равенства и справедливости в сасанидском Иране, «маг» Маздак. Роман Мориса Симашко «Маздак», несмотря на некоторые переборы по части пряных сцен сексуальных искушений, испытываемых главным персонажем — наблюдателем христианином Авраамом, убедительно и сильно раскрывает логику перерождения идеи справедливости, идеи человечности в практику несправедливости, бесчеловечия под воздействием социальны х интересов того воплощенного в «божественной» царской власти мира, старого мира, который способен «переварить», приспособить к себе идею справедливости. Роман «Маздак» внутренне диалектичен. И насквозь трагичен, хотя Авраам остается в живых, да и Маздак, вероятно, тоже, — но кто о нем именно помнит, когда «лжемаздаки» вооружились его именем.

Сила и, с другой стороны, — справедливая, добрая, гуманная, прогрессивная идея...

«Правой ладонью от левого плеча разрезал воздух Маздак:

— Не мечом утверждается правда. В подполье зажгутся огни, если разрушим храмы. Укрепитесь суеверие, ибо как раз насилем питается ложь. И убийство никогда еще не приводило людей к счастью... Если правда настоящая, люди примут ее. И не надо спешить лишь для того, чтобы насытить собственную гордость. Пусть даже это будет, когда наши сухие кости развеет ветер...

— Как же спасти правду? — воскликнул Розбек.

— В чистоте ее сила!»

Трагическая правда и трагическое заблуждение одновременно! Бессилие никогда не укрепляло благую идею. Но неправедная сила извращала суть идеи и тоже делала ее бессильной.

Таков трагический круг, в котором вертится и Аршак II, герой глубокого и страстного романа Перча Зейтуняна «Легенда о разрушенном городе». Аршак — царь-ре-

форматор, патриот—на свой, царский лад—своей Армении, не желающий обеспечить ее существование одним лишь лавированием между могущественными антагонистами Персией и Византией. Он — царь-централизатор, но традиционная для исторического романа тема прогрессивной централизации звучит здесь трагично. «Ты дерзнул обогнать время, царь»,— говорит ему ушедший от него придворный. И добавляет: «Но ты, царь, только мыслью обогнал время, только мыслью,— с прямой, ставшей его призыванием и убеждением, продолжал Драстамат.— Душою же и телом ты был некрепко связан с ним. Был его детищем. Грубым и жестоким деспотом».

Здесь — почва, на которой вырастает трагедия многих героев исторических романов, написанных сегодня.

Не желающий ни в чем отказать себе, Эхнатон оказывается слабым проводником большой идеи единого бога, светозарного Атона (роман «Фараон Эхнатон» Георгия Гуля), он терпит поражение, по существу, еще и не использовав всех возможностей борьбы...¹

Добиваются своего Данил, младший сын Александра Невского (роман Д. Балашова «Младший сын»), и Иван Калита, собиратель Руси вокруг Москвы (его же роман «Бремя власти»), и московский князь Симеон (роман «Симеон Гордый»), но подчас морально предосудительным путем, грешным,— во всяком случае, проигравший московским князьям-конкурентам Михаил Тверской выше их нравственно. Но.. Тут случай, когда из-за незначительности дея-

телей может мельчиться и дело. Заслуга Д. Балашова, как уже говорилось, в том, что он сумел большую национальную идею показать как идею общенародную, не сливая ее с образом князя-объединителя. Этой же дорогой самостоятельно шел и В. Лебедев — автор романа о Куликовской битве и временах, ею «выраженных»,— «Искупление».

Очень сложную, многомерную задачу, и, если говорить о повествовательной форме, усложненную едва ли не нарочито, поставил перед собой в новом своем историческом романе Павло Загребельный. Здесь воссоздается время национально-освободительной борьбы украинского народа во главе с Богданом Хмельницким против польской короны, польского панства, время великих и ожесточенных битв и Переяславской Рады.

Роман называется «Я, Богдан»; подзаголовок — «Исповедь в славе». Впервые фигура Богдана, его жизнь, характер, быт предстали в форме исповеди (роман построен как «автобиография»-воспоминание, как пространный «внутренний монолог»). Богдан смотрит на себя как бы глазами народа, носит в себе его качества — от лукавства и шутки до безрассудной отваги. Он сам и судит себя — в противовес небескорыстным историкам из последующих времен, да и многим свидетелям-современникам, судит себя от имени народа, чей дух воплощает побратим Самойло, с «призраком» которого герой-повествователь ведет визионерские разговоры.

Роман, повторяю, многомерный, подчас даже чрезмерно насыщенный философическими сентенциями (различной глубины) и сведениями всегда любопытными, а эстетически «играющими», с одной стороны, на укрупнение фигуры главного героя в обще-европейском масштабе XVII века, а с другой, «обытовляющими», «приземляющими» его, показывающими его личную жизнь. Впрочем, это старый грех Загребельного-романиста. Он увлекает рассказом, а не показом, и рассказом всегда интересным.

Богдан в новом романе — герой истинно трагический. Он — власть, большая власть, «батька» своих казаков, но он и сын их, плоть от плоти, кость от кости складывающейся, продолжающей этнически формироваться украинской народности. Поэтому — он за все отвечает, но не все, далеко не все ему подконтрольно. Отрицательные стороны национального и социального развития бьют по его доброду, славному имени, а он тут невиновен... Богдан видит дальше многих, и в «исповеди» рассказы-

¹ Впрочем, не эта трагедия слабости — кульминационный центр исторической трилогии Г. Гуля, состоящей из романов об Эхнатоне, Перикле («Человек из Афин») и Сулле («Сулла»). Такой центр, я думаю,— «Человек из Афин», где показана трагедия Перикла — реального политика и вместе «идеалиста», мечтавшего осуществить идею разумности и справедливости (в противовес жестокой олигархичности Спарты демократические «перикловы» Афины являются логичным итогом этих идей, лоном вершинного для античности гуманизма, хотя мы видим Перикла уже бесильным остановить падение Афин).

Что касается романа «Сулла», то тут трагическое напряжение отсутствует. Олицетворение грубой силы, властолюбия, низости, Сулла не сталкивается с достойным антиподом. Оттого роман превращается скорее в картинное изображение «быта и нравов», а не в концептуальное произведение. Впрочем, правомерность и такого типа исторического романа нельзя отрицать. Тем более — я уже говорил об этом в первой статье,— если сам материал для романистики нашей нов и неожидан (это можно сказать, например, о романе Г. Гуля «Викинг»).

вает, что будет на Украине после его смерти: а стала тогда измена его делу, его национальному подвигу, измена со стороны сына и тех, кто шел с гетманом рядом. Вот они, полковники его, ждут смерти, в подкидного играют в соседней светелке, «заглядывают в мою комнату. Смотрят, как умираю, ежели еще не помер. Всегда любили смотреть, как страдает плоть, потому что страдания души для них недоступны и незнаемы. Только смерть знает все. Теперь я могу судить своих наследников, вижу их нагими пред судом вечности, жалкими и бездарными. Система, сотворенная гением, будет управляться ничемными и бездарными. Кому передать власть? И как ее передать, коль сам получил из рук народа целого? «Властители смертны, но добро общее бессмертно», — сказал Тацит. До чего доведут мои наследники великое дело, что я начал? Только до упадка и вообще до того, чтоб пропало оно. В моих словах много горечи, но нет несправедливости».

Есть, однако.
Естественная

Любой самый дальновидный исторический деятель не может видеть дальше, чем это ему позволяет его время. Таков закон истории. И закон искусства, реализма. «И доля Украины была бы не такая, — рассказывает Богдан о своем поражении под Берестечком, о причинах его, общих и «частных», — сумей я очистить вокруг себя все, убрать нежеланных (трагедия неизбежных компромиссов? — Ю. С.), обеспечить будущее. Да кто это может его обеспечить?»

Оно, между тем, обеспечивается. Обеспечивается непреходящим из того, что делают люди, народы, над чем работает их культура. И этический опыт (а не только политический) — пожалуй, важнейшая сторона в этом непреходящем..

У Г. Гулиа («Человек из Афин») Перикл спорит со своим умным рабом-домоправителем Евангелом (таких «подыгрывающих» диспутантов должен иметь, кажется, каждый серьезный, концептуальный роман — даже если подобный персонаж — «рупор» или «антирупор» автора). Зло побеждает, считает Евангел. И никакой диалектики, в которой Любят состязаться его хозяин Перикл, и Сократ, и Геродот, и Алкивиад, и прочие, нет, попросту нет.. Ты ошибаешься, возражает Перикл. «Мы порою видим то, что видим. Но этого мало. Этого бесконечно мало, если мы стремимся стать настоящими людьми и хотим жить среди людей. Диалектика в том, что добро все-

таки побеждает. Оно берет перевес. Оно делается все больше, оно заполняет все атомы вселенной. Оно плывет, подобно волшебному кораблю. Это — добро мироздания!

Возможно, это и так. Раб согласен: добро должно торжествовать. Но весь вопрос в том, когда. Жизнь человеческая коротка. Мотылек тоже живет. Оба они живут целую жизнь. Значит, так: добро торжествует! Позволительно спросить: в течение жизни мотылька или жизни человека? Или — после? После смерти. И тогда человек узнает о торжестве добра в могиле, а мотылек — под каким-либо листочком придорожным. Так когда же все-таки торжествует добро?»

Евангел упрощает дело. Он прагматик, сказали бы мы. Перикл прав: в философском понимании жизнь человечества, человеческого общества бесконечна. И тем не менее — вопрос вопросов для реальных, нынешних, живущих здесь и теперь людей:

КОГДА ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ТОРЖЕСТВУЕТ ДОБРО?

Конечно, не всегда трагично знание того, что добро восторжествует не при тебе, но после тебя. Если знать, что оно восторжествует..

Трагизм возникает непременно, когда личности, гуманно мыслящие и действующие, убеждены в другом: добро никогда не восторжествует, если я сегодня, сейчас, всю жизнь не буду служить только делу добра. И тогда сердце и разум данного человека, его судьба становятся микрокосмом, «моделирующим» макрокосм исторической борьбы человечества за торжество добра, справедливости, красоты. Вот тогда и таких людей следовало бы звать поистине всемирно-историческими личностями (термин Гегеля).

Таких людей в истории народов (всех народов!), в истории человечества было много больше, чем мы думаем, больше, чем мы о том знаем. И наша социалистически воспитанная и социалистически воспитывающаяся историческая романистика делает большое и очень актуальное дело, «разыскивая», показывая, анализируя характеры таких людей. Со временем и ракурсы видения — это обостренное внимание художника к нравственному максимуму таких людей, к тем внутренним ресурсам личности, которые позволяют ей оставаться этически безупречной в самых тяжелых испытаниях для ее проповедуемой идеи, в том числе и тогда, когда, кажется, все силы исчерпаны, все доводы рацио-

нального порядка уже должны умолкнуть, когда историческая драма довела человека до той черты, за которой ставится под вопрос не просто судьба идеи, но судьба гуманности, человечности в целом. Век, история, «общее состояние мира» (если говорить опять-таки по Гегелю) вывихнулись (у Шекспира в подлиннике «Гамлета» именно так), и от тебя лично как будто все теперь и зависит.

Трагизм ситуации обостряется осознанным лидерством личности в том смысле, что тяжесть мира и века именно она берет на себя, и потому ее этическая безупречность, ее нравственный максимализм, в свою очередь, поднимается до высот философски обобщенного героического трагизма.

Лев Толстой полагал, что известное историческое лицо «тем менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнения, предположения и оправдания совершающегося совокупного действия»². Мы, люди социалистических, коммунистических убеждений, отрицаем не только тот «ген» пассивности, который скрыт за этими словами, поскольку мы считаем, при прочих равных условиях, этически наиболее правильной и благородной позицию активной борьбы личности за гуманистические идеалы, и активности тем большей, чем ближе такая личность к «совокупному действию» народа. Прежде всего мы, люди социалистических, коммунистических идеалов, отвергаем запечатлевшуюся в толстовских словах абстрактную постановку вопроса о «власти», о «действиях» личности. Если считать «совершенно правильной установкой», согласно которой, по Энгельсу, «действующие лица (в данном случае и в реальной истории и в ее художественных воспроизведениях.— Ю. С.) являются действительно представителями определенных классов и направлений, а стало быть, и определенных идей своего времени, и черпают мотивы своих действий не в мелочных индивидуальных прихотях, а в том историческом потоке, который их несет»³,— значит, надо прежде всего и разобратся в том, представителями каких классов и идей своего времени, и какого времени, в каких конкретных исторических ситуациях выступает тот или иной деятель. А на этой именно почве разобратся в том, как же он «представляет», насколько активно, насколько авангардно, ибо «пред-

ставительство» — это тоже спектр возможностей для личности, мы ведь знаем, что «личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает»⁴. Мы знаем, что марксизм замечательно соединяет научную трезвость, объективность анализа «с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами»⁵. До сих пор исключительно актуальны и методология и выводы ленинской полемики против субъективиста Михайловского, против его либерально-народнической «идеи о конфликте между детерминизмом и нравственностью, между исторической необходимостью и значением личности». Молодой Ленин беспощадно «расправляется» с этой идеей Михайловского, который «исписал об этом груду бумаги и наговорил бездну сентиментально-мещанского вздора, чтобы разрешить этот конфликт в пользу нравственности и роли личности. На самом деле, никакого тут конфликта нет: он выдуман г. Михайловским, опасавшимся (и не без основания), что детерминизм отнимет почву у столь любимой им мещанской морали. Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нисколько не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю. Равным образом и идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся складывается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей»⁶.

Каждая мысль, оттенок мысли, каждое слово в этом замечательном рассуждении актуальны и прямо соотносятся с нашим предметом. Свободен деятель в выборе места своего в борьбе, но эта его «свобода воли» — не индивидуальное своеволие, а выражение в данной форме «индивидуальной судьбы», классовых противоречий, социальных закономерностей... Оценить личность можно именно с точки зрения того, в чем и как проявила она разум и совесть.

² См.: Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 22-х томах. М. 1981. Т. 7, стр. 335.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. В двух томах. М. 1976. Т. 1, стр. 23.

⁴ Там же, стр. 24.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 23.

⁶ Там же, т. 1, стр. 158—159.

И вот очень существенно, что пример соединения, гармонизации этих великих духовных сил человека — разума, совести, воли к действию — дают замечательные революционеры, исторические новаторы, люди, чья высокая нравственность неотделима от прогрессивной, революционной задачи, ими для себя избранной, а сама задача мыслится ими как разрешаемая только на этой этической высоте!

Вернемся к роману В. Короткевича «Колося под серпом твоим».

Кастусь Калиновский, «студент императорского Санкт-Петербургского университета», пишет в Приднепровье другу и единомышленнику своему Алесю Загорскому: «Получил урок, который дает около трехсот рублей в год. Можно было бы жить. И все же я, наверно, отдам предпочтение голоду, потому что не хочу бывать в этом доме (доме разбогатевшего титулованного монархиста.— Ю. С.)... Алесь, я знаю, что глупость — отказываться от возможности не жить в нужде. Скажут: «Ведет себя как ребенок...» Но это не блажь. Я не могу уступить даже в мелочах. Мне кажется, если я стерплю, если я сделаю вид, что не слышу (разглагольствований титулованного работодателя.— Ю. С.), я стерплю и большее, не услышу, когда народ начнет вопить от боли. Стерплю, когда будут плевать на меня и на него. Каждый подлец когда-нибудь делал первый шаг к подлости.

Я не хочу его делать. Я не уступаю ни на йоту. Меня не затем родили.

И потом — мы и так слишком терпеливы, и так идем на компромиссы, да еще каждый из них объясняем необходимостью. Я не хочу».

Вот психологический автопортрет этического максималиста, нравственная кардиограмма революционера, идущего в авангарде, спрашивающего с себя полно и постоянно, по самому высокому счету.

Особые люди, истинные рыцари добра. Их вклад в историю несомненен, их деятельная роль, выходящая за пределы конкретной исторической задачи, ими решавшейся, безусловна. И при этом как часты в их судьбах трагические коллизии! Практическая невозможность решить данную задачу по причине слишком ранней ее постановки, недостаточной готовности масс, только и способных прочно решить что-либо в истории; или — поражение в битве за решение задачи по причине грубой силы и превосходства врага, или исторически обусловленная противоречивость самой задачи и ее решения и т. д. и т. п. — тысячи

и тысячи возможных конкретных вариантов судьбы, не ведущих при жизни рыцарской личности к торжеству гуманности, которой она себя посвящает. И все это не только не умаляет значения этического вклада этой личности в опыт нравственного развития человеческого общества, рода человеческого, но, пожалуй, напротив, трагизм ее судьбы приумножает очищающее нравственное воздействие героя на нас, читателей.

Целую, можно сказать, серию романов-биографий о трагических героях-народниках 70—80-х годов прошлого века написал — отличным языком с элементами умелой и тонкой стилизации, используя разнообразные, подчас неожиданные композиционные ходы — Юрий Давыдов: «Март», «Глухая пора листопада», «Завещаю вам, братья...», «Судьба Усольцева», «На скаковом поле, около бойни...», недавний роман о Германе Лопатине «Две связки писем». Все они проникнуты своеобразным авторским пафосом. Мы находим здесь, с одной стороны, трезвый художественный, социально- и индивидуально-психологический анализ и, с другой, стремление утвердить героический тип личности, показав самоотверженных и бескомпромиссных героев. Аналитичность обращена более всего на те конкретные обстоятельства, в которых действуют персонажи; стремление вызвать высокие духовные побуждения героев — не в противовес анализу, но в соединении с ним — непосредственно связано с тем, что «наш брат (то есть сегодняшний исторический романист.— Ю. С.)... вот над чем мучается: над вечными проблемами — совесть, долг, чувства добрые»⁷. И еще мучает романиста накопление общечеловеческого зла. «Карамзин сказал, что история должна быть злопамятной, то есть помнить зло... Мне всегда казалось, что, кроме ясного представления того, как протекала борьба, нужно, чтобы присутствовало (в историческом романе.— Ю. С.) и сожаление о неразумности, жестокости в человеческих судьбах, истории»⁸.

Ю. Давыдов исторически конкретен, предельно внимателен к реалиям воссоздаваемого им времени. Но он понимает: в цепи неповторимых, конкретных звеньев време-

⁷ Так говорил Ю. Давыдов в беседе за «круглым столом» в журнале «Вопросы литературы».

⁸ Слова писателя из беседы за другим «круглым столом» об историческом романе, проведенной московским корреспондентом болгарской газеты «Народна култура» (см. «Народна култура», 30 марта 1984 года).

ни, внутри каждого «кадра» и всех переходов между ними живет особая энергия — энергия героической нравственности.

И действие, упорная работа этой энергии соединяет на страницах книги могучую натуру Маркса с Германом Лопатиным, политически совсем не «марксистом» (выразительно прочерчена и эта линия в разветвленном сюжете «Двух связок писем»).

Да, В. И. Ленин спорил с народовольческой традицией, но вот Юрий Давыдов вновь и вновь вчитывается в знаменитое ленинское положение о том, что Россия поистине в страдала марксизм... «Прочтешь ли такое на ровном дыхании?» — спрашивает писатель себя и нас, читателей, в предисловии к своему роману «Глухая пора листопада». «В предельной сжатости этих строк — тяжкие людские судьбы, тоска одиночек, напряжение и трепет живой, ищущей мысли, кандаальный звон...

России монархической противостояла Россия революционная. Народовольцы сражались, терпели поражения, истекали кровью. Сознывая, как реальна для них угроза виселицы, писали: «Наше дело не может заглохнуть... А вообще пусть нас забывают, лишь бы само дело не заглохло».

Дело не заглохло. На иных путях осуществило его другое поколение революционеров».

Ю. Давыдов вспоминает, как попала ему на глаза в архиве тайной полиции записка одного безымянного узника, обрывавшаяся латинским глаголом в прошедшем времени: *fuimus* («Мы были»).

«Они были. И они остались. Не исчезают те, кто положил душу свою за други своя».

Ее, эту формулу, вспоминал я не раз, читая значительные современные романы о прошлом. Вспоминал как «введение», как сжатую увертюру к ним.

Вспоминается она и при чтении блистательного романа Яана Кросса «Императорский безумец» — романа об этическом максималисте Тимотеусе фон Боке, одиноком борце за права человеческой личности в аракчеевское время. Роман удивительно колоритный по части изображения «эстляндских» быта и нравов, но, далекий от бытописания, он остроидеологичен, этот роман, и трагизм существования Тимотеуса и его эстонской жены, из крестьян, Эзвы, трагизм судьбы умных, честных, совестливых людей в вывихнуто-иерархическом мире и веке, среди баронов, чинуш и шпионов —

это более всего духовный, можно сказать, и идеологический трагизм.

Вспомнил я ту же формулу и при чтении многопланового романа Бориса Васильева «Были и небыли». Роман этот обладает определенными эпопейными чертами — широкой панорамного обзора, строгим реализмом, соединением достоверных батальных сцен и раскрываемых постепенно идеологических сторон общественной жизни, — через внутренние монологи, в диалогах и спорах о патриотизме, национальной свободе, народе и народности. И если все же не роман-эпопея получился у Б. Васильева, то не потому, что автор не Толстой (сие очевидно, и нет второго Льва Толстого, и не будет, и глуповато мерить писателей меркой гениев...). Нет, автор — крупный талант и обнаружил мастерство и в такой вот масштабной, композиционно сложнейшей вещи, дело в другом: война 1877—1878 гг., освободительная для Болгарии, не была таковой для России. И не было тогда в России почвы для народной эпопеи, и русско-турецкая война при всем героизме русских солдат и болгарских ополченцев такой почвы не создала. Не было, сказал бы Гегель, «героического состояния мира», а был мир иной героики, подпольно-революционной, той самой, о которой писал и пишет Юрий Давыдов.

Поставим вопрос вроде бы формальный: чему служит усложнение композиционных структур в исторической прозе? Все эти дневники внутри последовательного повествования, все эти ретроспекции, перебивки временных планов; эти романы в романах, главки и целые главы «от авторов», авторский «закадровый» голос и прочее, что свойственно, скажем, роману Ю. Давыдова «Две связки писем», романам Я. Кросса, Д. Балашова, И. Гусейнова («Судный день»), Ч. Гусейнова, П. Загребельного, Р. Федорива, Я. Калныня, А. Кекильбаева и... не буду продолжать список, он может быть весьма длинным. Почему ничего похожего не было, скажем, у Алексея Толстого, хотя кому-кому, а ему-то, большому мастеру, в композиционной виртуозности не откажешь?

Суть в том, что ему — мастеру «хитрой» композиции — не надо было «хитрить» таким образом, как сегодня «хитрят», ни в «Петре Первом», ни в «Хождении по мукам». Алексея Толстого волновала, конечно же, и правда о прошлом, и отыскание адекватных форм художественного выражения «становления личности в эпохе». На скрещении этих интересов — общидеологического, человековедческого и собственно эс-

тетического — возникало у А. Толстого понимание личности как своеобразной «функции эпохи» (но не единственная, по-сегодняшнему сказать, не инвариантная, эта «функция», а неповторимая из возможных). Личность «вырастает, как дерево вырастает на плодородной почве, но в свою очередь крупная, большая личность начинает двигать события эпохи»⁹. Отсюда и композиция «Петра Первого». Она тоже естественно вырастает, как дерево; это дерево судьбы героя, чьи ветви постепенно захватывают все большее пространство вокруг себя.

Так же вырастали судьбы многих героев романа 30-х годов о современности, о пилотках. В родстве типов этих романских композиций содержался глубокий смысл, «знак» человеческой проблематики времени.

Что же происходит сегодня с природой романских структур? Продолжается процесс «вулканического извержения» романских форм; образ этот принадлежит известному литературоведу В. Днепрову и подчиняется его взгляду на роман.

«Походя на действующий вулкан,— пишет В. Днепров,— роман время от времени выбрасывает из своих недр все новые жанры». Не согласен! Хотя бы потому не согласен, что «документальный роман» и фантастический, который упоминает В. Днепров в качестве вроде бы неотразимых примеров жанрового «извержения», не жанры. Но прав В. Днепров в обобщающих наблюдениях своих. Скажем, так: «В романе XX века укореняется прием: изображать не с одной, а со многих точек зрения» (открыт не в XX веке, но доминантным принципом композиционной структуры стал, и верно, в XX). Или такое утверждение: «Изображение со многих личных точек зрения — частный случай общей тенденции в развитии романа XX века: увеличивающейся подвижности внутренней структуры, все большей гибкости и динамичности формы, основанной на превращении друг в друга всех поэтических стихий, элементов, способов изображения»¹⁰.

Во имя чего и откуда эта, мной подчеркнутая в цитате, «увеличивающаяся подвижность внутренней структуры»?

Усложняется человеческая проблематика времени, то есть то, что становится внут-

ренным смыслом, ценностью для людей XX века; соответственно расширяется фронт человековедческой проблематики искусства, его поле, куда художники-сеятель выходят сеять, надо полагать, разумное, доброе, вечное. Отсюда творческая проблема повышения человековедческой, смысловой емкости (не просто объема — большого или малого) произведений всех жанров, родов и видов в современном искусстве. А романа как «свободной», «открытой», динамичнейшей из динамичных жанровых форм,— может быть, и особенно. Развитие романа Анатолию Ананьеву «видится... в схождение линий к вершине, к усложнению психологизации, к возможно большей емкости и лаконизму». Под «линиями» писатель подразумевает разные стороны жизни, охватываемой романом,— быт, исторические события, этический самоанализ персонажей и т. д. Но продолжу цитату: «Какие-то линии уже достигли вершины и сошлись, какие-то еще только предстоит открыть и довести»¹¹.

Словом, синтез нужен; синтеза взыскует современный роман! Сегодня как никогда остро взыскует. И на всех делянках вспаханного поля — и когда про «сегодня», и когда про «вчера», потому что не отдельные это жанры, а именно делянки одного поля или отсеки одного корабля!

А синтез смысловой — значит, и усложнение внутренних структур формы, их «увеличивающаяся подвижность», движение их друг к другу навстречу, взаимосвязи, взаимопроникновения...

Но вернемся к герою исторических повествований.

Его бескомпромиссность, если она зиждется на отстаивании им правого дела, гуманистической идеи, производит эффект и этический, и эстетический. Не само по себе это происходит, понятно, но волей автора, использующего «выигрышность» крупных мазков, звонких, как говорят живописцы, красок, резко обозначенных ситуаций — даже если и побочных для главного сюжета, но никогда не «проходных», а знаменательных.

Совсем немного страниц повести «Испанский триумф» отвел Валентин Тублин образу Понтия Аквилы, народного трибуна Римской республики. Должность народных трибунов, когда-то важная в Риме, отменена диктатором, предшественником Цезаря, кровавым Суллой. Восстановленная, она мало что теперь значит... Для всех, но не для Аквилы, который, восхищаясь Цезарем — пол-

⁹ См.: Алексей Толстой. О литературе. М. 1956, стр. 207, 207—208.

¹⁰ См.: В. Днепров. Идеи времени и формы времени. Л. 1980, стр. 173, 172—173 (разрядка моя.— Ю. С.). Об этом же интересно пишет и Т. Мотылева в книге, характерно названной «Роман — свободная форма» (М. 1982; см., например, стр. 105).

¹¹ См.: Анатолий Ананьев. Напоминание старых истин. М. 1982, стр. 104.

ководцем и политиком, не склонился перед ним — губителем республики.

Валентин Тублин — из тех писателей, которых не числит в «первых рядах» нелюбопытствующая критика и напрасно не числит, потому что упускает из-за этого немало оригинального в нашей литературе. Так вот, В. Тублин не убоился «бросить тень» на самого Робеспьера, придав ему в повести «Некоторые происшествия середины жерминаля» черты мессианские, черты некоего «жреца», вроде Маздака, вознесенного «тайной силой» и в этом-то состоянии, неудобном для трезвого самоанализа, посчитавшего себя вправе осчастливливать людей даже против их собственной воли.

Образчик такого самоупоенного внутреннего монолога (о себе в третьем лице):

«Он не знает снисхождения к порокам, но ведь и к своим тоже. Его называют Непокупным, но неподкупность — это такая малость по сравнению с иными бездами, таящимися в душе. Быть неподкупным — это всего лишь наружный край добродетели, наиболее доступный. Укрощать чудовищ пороков, толпящихся в бездне, выползающих по ночам, когда слабеет воля, укрощать их день за днем — вот лицо истинной добродетели».

Да, это может быть так. Но мера, мера, великая грань, перейдя через которую благая идея становится противоположностью. В. Тублин слишком резко сужает «окрестности» этой этической проблемы. Социально-политические позиции Робеспьера, Дантона, Демулена (самый «приятный» оказался в повести характер) излишне далеко, я думаю, вынесены им за скобки разыгрывающейся нравственной драмы. Но внутри «площадки» драма выстроена крепко... Да, мера нарушена — вторжением, как мы сказали бы теперь, волюнтаризма, и Робеспьер в этой повести думает о себе дальше так: «Он избран для спасения людей от деспотизма пороков. И он спасет их, слабых и колеблющихся, сильных, но заблуждающихся, — всех, кто ему доверен. Он обязан спасти их и открыть перед ними ворота в прекрасное царство добродетели, если потребуется — сделать это вопреки их воле и, если надо, ценой крови».

Ради этого он готов отречься от самого себя».

Это уже не мораль революционера, это — кредо жреца, пророка, не умеющего обещать победу добра, ибо ничего нельзя сделать прочного для народа без народа...

Так когда же все-таки торжествует добро?..

А оно торжествует постоянно, ежечасно!

В рыцарях добра.

В неизбывности народной памяти о добре и зле.

В тяге к добру, хотя бы и терпящему разнообразные поражения, но — неизбывному.

В историческом процессе накопления человечеством гуманистического опыта.

Недаром сегодняшняя историческая романтика столь внимательна к людям художественной культуры прошлого, людям, обладающим творческой силой, гуманистичностью вдохновленной.

Совсем не случайно Лермонтов сравнил поэта с колоколом: голос поэта, голос искусства «звучал, как колокол, на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

Помимо всего прочего, это исторически емкое сравнение.

И поэтому замечательный армянский поэт Паруйр Севак свою поэму о великом Комитасе назвал «Неумолчная колокольня»¹² — поэму о человеке, о котором по праву сказано:

Ты — наша лира,
Чья струна,
Хоть и надорвана она,
Армянской музыки полна...

Ты — горло всех сердец армян...

.....

Ты — камень
В гладкой кладке, тот,
Что крепость зданью придает...

Эта поэма, чьи главы-«звоны» соответствуют этапам биографии великого композитора, а еще циклам народной жизни (заключение — «усиливающееся эхо»), посвящена, в сущности, не одному Комитасу, но трагедиям и подъемам истории армянского народа... И сколько же выпало на долгом-долгом пути страшных трагедий, что ставили под вопрос само бытие одного из самых древних из всех ныне живущих народов земли, и сколько же раз вновь и вновь превозмогала последствия этих страшных трагедий его творческая мощь и творческая воля!

Песня, слово, искусство — это символы бессмертия народного, духовные концентрации его мощи и воли жить, трудиться, бороться, созидать, именно неповторимым, своеобразным созиданием радуга все человечество.

Сначала он сам колебался —
Творил и не знал,
Какое название труду своему отыскать.

¹² Думаю, что это название звучит более по-русски, чем «Неумолкаемая колокольня», как названа поэма в издании «Советского писателя» (М. 1982).

Но имя достойное
 Все-таки труд обретал:
 Армяне оглохшие, время настало понять —
 Есть песня у вас, вы о ней не должны
 забывать!..

(Перевел Гарольд Регистан)

На первый взгляд удивительна, а по сути, глубоко закономерна переключка с армянским советским поэтом Паруйром Севаком советского литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса. Он — автор знаменитой у себя в республике, широко известной и вне Литвы «триады» исторических поэм-драм: «Миндаугас», «Мажвидас», «Собор» — о судьбе национальной культуры, о духовном становлении литовской народности. Этапы истории как бы вновь и вновь пережиты поэтом. Объединенные тяжкой рукой князя Миндаугаса, литовцы еще не стали народом до той поры, пока не появилась первая литовская книга (Мажвидас-первопечатник), пока не вознесся Собор во имя духа народного, пока не прозвенел первоколокол национальной литовской поэзии — о нем, о великом Донелайтисе, тоже есть историческая (в страстных лирических монологах высказанная) поэма у Ю. Марцинкявичюса, как бы превращающая трилогию в тетралогию.

И у Севака, и у Марцинкявичюса основные персонажи их поэм — как фольклористы говорят, «герои света», «герои культуры». И они — обязательно — герои национальной истории. Ими красна история. Но потому-то они — эти герои света, герои культуры — оказываются способными и в наших исторических романах voltarь в себя гуманистический опыт предшественников и современников.

Таков гениальный Андрей Рублев в «Повести об Андрее Рублеве» Станислава Романовского, таков же зодчий и художник Сивоок, один из двух главных персонажей романа П. Загребельного «Диво» (оба произведения композиционно и в смысловом отношении восприняли многое от древнего жанра «жития», «хождения по мукам»).

Таков Мирза Фатали Ахундов — великий просветитель, основоположник новой азербайджанской литературы, прозванный учителем народа не просто за одно художественное творчество. Фатали был политиком, национальным и социальным мыслителем, «европейцем» — антифанатиком (на мусульманском Востоке!) в писаниях, поступках, каждом слове своем, человеком чести, создающим новый кодекс чести и как бы излучающим его вокруг себя. В литературе он — боец, хитрец-иронист, пламенный в молодости, горящий тайно — в зрелые го-

ды; публицист, комедиограф, поэт, переводчик; полковник царский, преследуемый царскими цензорами, находящийся, скажем мягко, под наблюдением в России и возбудивший ярость верхушки турецкой и иранской монархий. Таков он, Мирза Фатали Ахундов, в романе-биографии «Фатальный Фатали», написанном Чингизом Гусейновым.

Мирзу Фатали Ахундова знают все, кто вообще знает что-либо из истории духовного развития народов Востока. Поэта-гуманиста Насими — главного героя глубокого романа Исы Гусейнова «Судный день» — тоже знают. И уж тем паче Авиценну — героя романов Л. Салдадзе, А. Якубова, поэм М. Каноата, Л. Ошанина... (Еще много произведений о нем появилось к недавнему юбилею великого мудреца и врачевателя.)

И все, кто знает историю Востока, представляют себе, кто таков Тимур-Тамерлан. В «Звездах над Самаркандом» Сергей Бородин отлично показал эпоху Тимура и личность этого незаурядного человека, полководца и кровожадного завоевателя. В повествовании С. Бородина, ставшем еще при жизни автора поистине классикой исторической романистики, народы, и покоренные, но не покорившиеся, и «свой» чагайтский, многоплеменный, государственным обручем охваченный и почти задущенный народ, оказываются силой, многократно превосходящей диктатора и его диктатуру... Но вот Повелитель, в котором легко угадывается Тимур, — главный персонаж романа казахского писателя Абиша Кекильбаева «Конец легенды», романа сжатого, словно атом «тяжелого», с высоким числом атомного веса элемента, — остается с глазу на глаз не с народами, а буквально с двумя-тремя персонажами. Между ними-то и разворачивается здесь драматическая распря. Кто же сильнее из них и в чем его сила? Сильнее Повелителя оказывается только Жапшар, привлечший к себе внимание юной ханши, и не юностью своей сильнее, а тем, что он — творец, зодчий, создатель голубого минарета, в котором была — о, это понял умный и злой Повелитель! — «скорбно-молчаливая мольба и укор», а еще была, сквозила, светилась радостная улыбка, которой улыбается «влюбленный юноша в предвкушении скорого свидания», а еще грусть, будто грустит «невинно обиженный ребенок», а еще... да жизнь человеческая светилась в нем, жизнь, которая сильнее смерти, — но лишь смертью врагов, смертью людей утверждал себя бесплодный для любви и жизни властелин, потому он и проиграл этот спор.

По-восточному затейливо изложена эта драма любви, жизни и смерти, по-восточному возвышенно рассказано о человеческой силе искусства.

О горестной жизни великого поэта Китая Ду Фу нам поведал Валентин Тублин в исторической повести «Дорога на Чанчань». А горестна эта судьба потому, что он, герой, все время кем-то становясь — «сначала мелкий чиновник, потом — не прижившийся при дворе поэт, затем изменник. Доверенный советник и министр, потом убийца, теперь — бродяга», — неизменно терял или попадал в положение, когда ему угрожала потеря человеческого в себе. И, конечно, в положении доверенного советника и министра при императоре, не думавшем ни о ком, кроме себя, едва ли не больше терял он, Ду Фу, чем в положении бродяги, попавшего в лапы к новым хозяевам страны.

Книжка В. Тублина — три исторических повести — это тоже своего рода трилогия, но если у Ю. Марцинкявичюса — это трилогия национальной судьбы, если у Г. Гуля («Фараон Эхнатон», «Человек из Афин», «Сулла») сквозной мотив-дилемма «человек и власть», то ведущая дилемма у В. Тублина — нравственность и сила, сила, которая враждебна этике. В трактовке автора совесть есть слабость (практическая), но совесть непобедима, неистребима, как сама жизнь. Потому что она, совесть, есть квинтэссенция жизни...

В сущности говоря, об этом — многие стихи самого Ду Фу, и хотя В. Тублин не часто цитирует их в своей повести, он передает дух этой гуманистической поэзии.

«Без горечи взирал он (теперь, в конце жизни. — Ю. С.) на прошлое, черпая в превратностях судьбы силы для встречи с неведомым будущим. Ибо, понял он, все дурное в жизни — как долго бы оно ни длилось — всегда лишь тень, слабое мерцание и — преходяще: вот оно есть и вот его уже нет. Вечно лишь одно — люди, память людей; так уж оно повелось. Были императоры — и ушли в небытие. Были великие полководцы и вожди — но вот имена их, некогда вознесенные и недосягаемые, утрачены и полузабыты. Все это сделали люди. Вот эти — бедные, покорные, согнутые. В памяти своей они сохранили достойное.

Ну, а он, поэт, — будет ли он жить в их памяти вместе с ними? Да, если только народ решит, что человек по имени Ду Фу заслужил эту великую награду».

Зачем все-таки пишутся исторические романы? Чтобы учить людей тем или иным «урокам истории»? Это все равно как спросить: зачем вообще существует, создается, читается художественная литература?

Общественный человек — как и все в мире — живет в пространстве и времени. Творчество — это победа над безграничностью того и другого.

Художественное изображение прошедших времен тоже свидетельствует о такой победе.

Ну, а почему нам внятно художественное изображение прошлого, — это объяснить легко. «Коль скоро и в прошлом жили подобные нам люди, следует думать, что и им ничто человеческое не было чуждо». Да, «в наше время остроумная мысль Макьявелли о том, что «в течение времени неизменным остается лишь человек...», не может считаться верной. Изучение социальной психологии ясно показало влияние социальной среды на человека, изменение среды меняет взгляды человека, его отношение к явлениям жизни, меняет его сознание, его вкусы. Вместе с тем современная историческая наука признает, что природе человека присуще кое-что постоянное, общее для всех людей, что у человеческого общества есть некий постоянный для всех времен фонд. Не будь этого «фонда», мы не смогли бы понимать человека не только античного мира или средневековья, но и своих ближайших предков...»

Пусть эти слова Григола Абашидзе будут последней цитатой в моей статье.

Повторяю еще раз как общий вывод: историческая романистика не только результат, «продукт» исторического сознания, который естественным и неизбежным образом входит в национальное самосознание, она большая идейно-эмоциональная, духовная и душевная сила, воздействующая на людей. К чести нашего многонационального исторического романа, его роль — в подавляющей части всего «массива» этого вида творчества — это роль учителя, воспитателя чувств интернационализма, советского патриотизма, социалистической гуманности.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Анатолий Макаров. К истокам народности.— **Ярослав Мельник.** Поэт и переводчик.— **Вик. Ерофеев.** Аршином общим не измерить.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Яновлев. Трудное и опасное десятилетие. — **Петр Чернасов.** «Действительно великий человек».

Литература и искусство

К ИСТОКАМ НАРОДНОСТИ

И в а н Д р а ч. Подсолнух. Стихотворения. М. «Молодая гвардия». 1983. 126 стр.

Весоюзному читателю не нужно представлять Ивана Драча. Его стихи выходили на разных языках народов СССР, во многих странах мира.

Поэзия И. Драча родилась в эпоху активных космических исследований и научно-технической революции, изменившей жизнь людей и облик мира. Эта революция внушала своим поэтам мысль о необходимости обновления художественного мышления, подталкивала их на эксперименты, в которых должны были проявиться черты нового мировосприятия.

Читателям первого сборника И. Драча, вышедшего в 1962 году, импонировал призыв обменять «истертые в карманах» «медяки» обыденных чувств на чистое, солнечное золото поэзии. Поэт обещал приобщить их к тайнам нового, ультрасовременного мышления. Чтобы понять успех поэтического дебюта И. Драча, следует вспомнить господствовавшее тогда восторженное отношение ко всему новому в жизни и искусстве. «...Вместе с моим обучением в университете,— вспоминает поэт,— началась, приобретала резонанс и утверждалась... кибернетика. Еще была бешеная заинтересованность биологией и ранее отвергаемыми генами. Само время слишком демонстративно взрывалось в стихе». И как подобный «демонстративный взрыв» в по-

этическом мире 60-х годов прозвучали «Баллада ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислоты», абстрактный умозрительный пафос которой был уточнен в «Балладе о генеалогии», «Баллада про кибернетический собор» и, несколько позже,—«На дне росы, или Внутренний диалог по поводу выхода энциклопедии по кибернетике».

Современный читатель при всем желании вряд ли найдет что-либо поэтичное в подобных стихотворениях, напоминающих небольшие научно-популярные статьи. Но тогда, в 60-е и начале 70-х годов, эти строки звучали иначе, чем теперь. Поэзии суждено было «переболеть» космизмом, увлечением кибернетикой, генетикой, идеей научной поэзии, сочетающей в себе творческий огонь с холодными рационалистическими построениями.

Для многих читателей лирика И. Драча, как и родственная ей поэзия Э. Межелайтиса, Л. Мартынова, А. Вознесенского, была тогда образцом новизны в искусстве, смелого художественного эксперимента, направленного в сторону интеллектуализации поэтического вдохновения, «скрещивания» интуиции художника с более «продуктивным» научным мышлением.

Сейчас обо всем этом вспоминается как о далеком прошлом. А ведь на самом деле «Баллада о кибернетической энциклопедии»

Драча с ее воспеванием способности поэта «идти по дну росы и по дну энциклопедий» (то есть проникать в глубины науки и искусства) написана всего лишь десять лет назад. Волна сциентизма схлынула так же неожиданно, как неожиданно и поднялась. Поблекла вера во всемогущество науки. Наступил день, когда сам поэт понял, что вчерашние оппоненты пусть не во всем, но в чем-то были и правы, упрекая его в пристрастии к умозрительным абстракциям, далеким для тысяч людей, живущих не только интересами современной науки и искусства, а обычной человеческой жизнью.

Большая часть стихотворений И. Драча 70-х годов свидетельствует о его стремлении завязать и укрепить контакт не только с кругами истинных любителей поэзии, но и с тою широкой аудиторией, которая про традиции «книжной поэзии» почти ничего не слышала и вообще воспринимает стихи в основном «на слух» — в клубе, по радио, в программах телевидения. Для того чтобы войти в диалог с этим новым, нетрадиционным «потребителем» поэтического слова, поэзия должна научиться говорить не только «книжным языком», но и на языке улицы, полевого стана, заводского цеха.

Характерная черта поэзии И. Драча 70-х годов — интерес ко всему, чем живут и дышат люди самых различных профессий и социальных слоев. Его основные герои теперь — сельские механизаторы, строители, геологи, садоводы, шахтеры, инженеры, учителя. Творческие достижения И. Драча в 70-е годы очевидны. Хотя нельзя не отметить, что в ряде его произведений этого периода «человековедение» подменяется частными профессиональными заботами героев, а на первый план выступает производственная тематика с ее специфическими проблемами.

Впрочем, сам Драч трезво оценивает и преимущества и противоречия избранного им пути. Недавно корреспондент одной крупной украинской газеты в беседе с поэтом заметил, что немалая часть читателей по-прежнему зачитывается его ранними стихами, оставаясь равнодушной к новым поискам. Этот «выпад» не смутил поэта. «Не следует забывать», — ответил он, — что в более поздние, то есть семидесятые годы, я стал все чаще поднимать такие темы, про которые не мог когда-то и думать... Взять хотя бы, к примеру, Чернобыльскую атомную (станцию. — А. М.). Кто в поэзии поднимал эту тему? Как мне было к ней подступиться? Разработка таких тем подобна про-

ходе в шахте: есть угольные пласты, встречается и пустая порода. В данном случае — достижения и отрицательные результаты».

Поэт здесь несколько упростил затронутую журналистом тему «старого и нового», характерного для 60-х и 70-х годов. Смысл его «хождения в народ» и контактов с «простыми земными людьми», конечно же, не сводится к поискам удачных тем для написания стихотворений. Ответ следовало бы искать в ином, мировоззренческом, духовном плане.

Поэзия И. Драча конца 70-х и начала 80-х годов отмечена принципиально новым подходом к проблеме «культура и народ».

Интерес к народному творчеству помогал поэту избавиться от чрезмерного влияния неоромантизма. Уроки Хлебникова, раннего Тычины, Блока и Лорки чувствуются в лирике Драча до сих пор. Но в годы поэтической молодости, особенно когда речь заходила об искусстве и духовной жизни поэта, в стихах Драча разыгрывались бурные романтические страсти. На каждом шагу виделись поэту высокие трагедии и таинственные «агонии» музыки. Даже об интимных переживаниях он писал, прибегая к блоковским интонациям: «Зарыдает разлука над нами, рассечет нас судьба наискос, нашу страсть искромсает ножами иль повесит в петле твоих кос». Благородная патина книжной архаики ему не чужда, как не чуждо и возвышенно-пророческое безумие неоромантизма: «Дивоцвет мой, сладкое мое безумие, — обращается он к поэзии, — лишь руки твоей тоненькой касаюсь губами, когда же поцелую тебя в уста?.. пламенеющая жар-птица, твой полет над циклотронами и тронами, до боли свободный, обманчивый до безумия, — обогатит ли он людскую душу не солью познания, а медом достоинства?!» Не правда ли, поэзия здесь скользит по неуловимой грани иносказательной условности и мистификации, а сам поэт выступает перед читателем в роли экзотической фигуры, редкостного психологического экземпляра, наделенного какими-то особенными, недоступными для других переживаниями?

Так было в 60-е годы. Но тогда же было и нечто иное. Буйная фантазия И. Драча, не удовлетворяясь узкими рамками неоромантической поэтики, прорывалась в иной, не менее чудесный мир поэтического творчества народа. Уже в те «домифологические времена» он заглядывал в удивительную область народной демонологии, где человек соприкасается с миром персо-

нифицированных умозрительных абстракций. Целое поколение поэтов выросло под обаянием его фантастической и житейски мудрой баллады «Крылья». Она открывала новые возможности использования фольклорной условности для современной публицистичности. Интересно сочетание новаторства и «архаики» в поэме «Смерть Тараса Шевченко». И. Драч назвал ее поэмой-симфонией. Но по обилию наплывов и монтажных контрастов поэму можно было бы назвать в довшенковском духе — кино-поэмой. Прочтя это оригинальное произведение, читатель невольно задается вопросом: чего в нем больше — современного, новаторского или традиционно народного? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Поэма, безусловно, традиционна, оснащена многочисленными приемами народной поэтики (персонификации духовных состояний, абстрактных понятий и идей, аллегорий, плачи и т. п.), но в то же время известные художественные средства осовремениваются в ней до неузнаваемости, модернизируются в ее контексте, приобретают несвойственные им доселе динамические оттенки кинематографического мышления, публицистической обостренности.

В этих и других произведениях тех лет И. Драч открывает для себя известную, хотя и основательно забытую в те времена истину, что древние элементы народной культуры находятся во внутреннем родстве с «ультрамодерными» поисками современных поэтов и художников. Взглянув с этой точки зрения на традиционное народное ткачество, он открывает в нем «абстрактные узоры Мондриана» (в переводе П. Вегина украинское слово «взори», то есть «узоры Мондриана», ошибочно переведено как «взор», то есть — «взгляд Мондриана»). Крестьянских женщин, расписывающих каждую весну узорами свои хаты, поэт называет «Сарьянами в платочках», «Ван-Гогами в спидницах». И в этом тоже нет преувеличения. Их чувство формы, цвета, линии имеет немало общего с изобразительными принципами постимпрессионизма. В глазах И. Драча весь сегодняшний крестьянский быт проникнут пафосом современного искусства, насквозь эстетичен. Его деревенские зарисовки напоминают вдохновенные стилизации на народные темы К. Малевича и А. Петрицкого. Лорковская влюбленность в мудрую наивность лубка сочетается с утонченным неоромантическим метафоризмом.

Открытие эстетической близости архаичного и новаторского в искусстве сыграло громадную роль в творческой биографии

И. Драча. Все подлинно новое видится ему в органической связи со своим первоначалом — народным искусством. Все иное, лишённое народных корней, обречено на бесплодность и увядание.

70-е годы стали для Драча этапом более углубленного понимания народности в поэзии. Он уже не ограничивается только «новым прочтением» эстетики народного творчества, да и сам эстетический момент отступил в его размышлениях о задачах поэзии на второй план. Решающим оказалось то, что сами поэты-интеллектуалы постепенно приходили к выводу, что утонченные рациональные построения и сложные умозрительные конструкции не приводят к душевной просветленности, которая так нужна человеку в его повседневной практической жизни. Современному «многознающему» человеку часто недостает простых нравственных навыков, понимания духовной красоты. Этому не учит ни кибернетика, ни генетика. Творцом и носителем духовных ценностей всегда был народ. Ценность его нравственных уроков несомненна. Это подтверждает история.

Собственно говоря, к понятию правды народной жизни, столь необходимой современному человеку, страдающему от обилия односторонне-интеллектуальной информации, И. Драч пришел еще в середине 60-х годов. Именно тогда в его сборнике «Протуберанцы сердца» появилась «Баллада о дядьке Гордее», лирический герой которой, наблюдая жизнь современного села, неожиданно замечает:

Идешь так вот к правде и к сути жизни,
Оплетенный километрами философий,
Радугами симфоний и колдовством
интегралов.

Но редко бываешь на расстоянии сердца
От той единственно озонной Правды...

Сформулированная в этой балладе мысль о моральном мужестве и жизненной мудрости народа, без которой и «километры философий» и «колдовство интегралов» превращаются в бесплодную суету сует, нашла свое художественное воплощение в целом ряде произведений И. Драча последующего десятилетия. Перед нами встает целая галерея носителей духовных ценностей. И за каждым образом-портретом чувствуется присутствие реального, жизненного прототипа. Очевидно, стоит он и за образом старухи-альтруистки Корупчихи. Когда она умерла, нечем было прикрыть ей голову. «Ей в могилу платок по соседкам искали». И тем не менее при жизни старуха кормила и поила всех нуждающихся в ее щедрости. Бескорыстная отзывчивость Коруп-

чихи стала для лирического героя критерием оценки человеческих отношений: «Я не верю в скатерти-самобранки, верю в белые узелки Корупчихи — сам их видел, сам развязывал и завязывал накрепко в памяти».

Конкретная жизненная основа ощущается и в «Балладе о жести», героиней которой становится вроде бы незадачливая тетка Настя. Не раздумывая, жертвует она своею телкой, чтобы выручить соседей из беды. Самой ей, одинокой женщине, никаких особых благ не нужно. Ею движет непреодолимое желание доставить радость близким ей, хоть и «чужим», людям. Об этом поэт говорит не прямо, не декларативно, а посредством образного инскоказания.

Творя добро, эти внешне неприметные герои не рисуются и не возвышаются в своих глазах над другими. Они просто живут так, как велит им совесть. И именно это пленяет ум и воображение поэта, придает оптимизм его духовным поискам.

И. Драча нередко сравнивают с А. Вознесенским. И для этого есть свои основания. Особенно, когда речь идет об освоении современных реалий, об обновлении поэтического языка. И тем не менее, их можно сравнивать только в определенных пределах. Сам Драч, говоря о творчестве А. Вознесенского, упоминает об одном весьма существенном моменте, разделяющем их творческие сферы: «Я с большим интересом наблюдаю, как работает этот поэт, безусловно, одна из самых ярких индивидуальностей в современном русском поэтическом мире. Я родился в селе, и меня он заинтересовал еще с одной стороны — как поэт, порожденный городом, который живет в одной из самых больших столиц мира, причастный к новейшим поискам в области поэзии».

При первом знакомстве И. Драч может представиться читателю таким же рационалистом и урбанистом, как и А. Вознесенский, но, вчитавшись в его поэзию, мы заметим, что все это у него скорее дань увлечения «городской экзотикой», увиденной во всей ее красе свежим глазом неопита. Рядом с поэзией большого города, экспрессивных ритмов его многообразных форм жизни в лирике И. Драча живет есенинская ностальгия по селу. Его лирический герой в компании городских сверстников чувствует себя «человеком от земли». Многие бытовые навыки горожан настолько чужды ему, что он может позволить себе пренебречь некоторыми правилами хорошего тона и вместо ожидаемого

анекдота (стихотворение так и называется — «Вместо анекдота») рассказать в одном артистически-богемном салоне о том, как ходит его мать за топливом в лес, каких трудов стоит ей добыть обыкновенное домашнее тепло и как в итоге все ее хлопоты вознаграждаются радостью общения с природой, ощущением полноты жизни. Его рассказ произвел на собравшихся убийственное впечатление. Многим из них он напомнил о душевной скудости их комфортабельного быта: «Я рассказал — не больше и не меньше, и как-то странно общество примолкло, лишь пес скулил, и все сновали машины, словно мыши, как мышье, туда-сюда, туда-сюда, шух-шах. Курили мальчики, и девочки замолкли. И лишь одна чуть слышно зарыдала и убежала... Зашелестел за ней вдогонку шлейф кленового святого листопада».

Это стихотворение из книги «Киевское небо» (1976) в сборник «Подсолнух» не вошло. Но целый ряд произведений этого сборника вызывает в памяти только что описанную ситуацию: вместо восхвалений прогресса городской культуры «урбанист» Драч рассказывает о драматических переживаниях людей, живущих в городе и лишенных полноты ощущения жизни, об их душевной раздвоенности. Ему знакома и близка судьба горожан «по принуждению», затерявшихся между городом и селом, своеобразных психологических жертв современных демографических процессов. Недаром И. Драч высоко ценит прозу В. Шукшина за то, что писатель «смог дать такой характер современному человеку, который разрывается между городом и селом и нигде не находит своего настоящего места, потому что от села он уже оторвался, а в городе свое место еще не нашел».

Разумеется, И. Драч далек от мысли, что поэзия может корректировать современный демографический процесс. Он думает о другом, более реальном: о необходимости преемственности в развитии современной культуры. О поэзии, которая взяла бы на себя трудную, сложную, но почетную миссию беречь в чистоте истоки нашей духовности, углублять и развивать художественные и этические традиции народа.

Ради этого он пишет, спорит, ошибается и находит.

К сожалению, в сборнике «Подсолнух» эволюция творчества поэта представлена далеко не полно. В частности, в него не вошли его последние лирические вещи из книги «Сабля и платок» (1981). Не всегда удовлетворяет и работа переводчиков. И. Драч сказал как-то, что, по его мнению,

у каждого поэта должен быть один интерпретатор, который стоил бы целого штата переводчиков благодаря своей углубленности в поэтику избранного им собрата по перу. Может быть, это и справедливо, потому что такой истинный соавтор, чья дух оригинала, может позволить себе многое, добиваясь естественности и убедительно-

сти звучания украинской строки на русском языке. В подобной роли в сборнике «Подсолнух» выступает, как мне кажется, Ю. Мезенко, хотя ради справедливости среди лучших переводов следует отметить и работы Ю. Мориц, Л. Вышеславского и М. Максимова.

Анатолий МАКАРОВ.

Киев.



ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК

Николай Карпенко. С высоты поля. Стихи. Перевод с украинского Бориса Примерова. М. «Советский писатель». 1983. 87 стр.

Николай Карпенко принадлежит к поэтам, сделавшим предметом творчества собственную биографию. На подобный шаг имеет право человек, чья судьба была полна интересных событий, в чьей жизни отразилась история его поколения. Основу творчества Карпенко составляют стихи о войне, о буднях войны и светлых минутах, выпадающих солдату, о большой любви, перечеркнутой войной.

Известные критики и поэты, писавшие о стихах Н. Карпенко, неизменно отмечали в них прозрачность стиля, бесхитрость языка, отсутствие особой метафоричности и неизменно — наличие тихой и доверительно-пронзительной интонации, лиричность голоса. Поэт и в самом деле умеет даже ничтожное мгновение, выхваченное из дней военной жизни, крупицу настроения просветить так, что за ними видится нечто гораздо большее.

В поэзии Н. Карпенко есть некая магия, идущая от того, видимо, что он умеет достоверно передать правду жизни: нет у него тем вне его личной судьбы. Стихи Карпенко конкретны, насыщены «плотью жизни», поэт чуждается абстрактных размышлений, отвлеченной метафоричности. В его памяти живут горькие потрясения войны, и каждую житейскую формулу поверяет он опытом собственной жизни.

Уж тяжесть лет ложится мне на плечи,
Уж полдень мой, как друг, со мной на ты.
Все чаще повторяю я под вечер:
Да, жизнь прожить — не поле перейти.

А юность, хоть она за далью росной,
Былой войны прокатит колесо:
И поле, друг мой, перейти не просто.
Когда оно пристрелянное все...

Сквозь призму познанных на войне ценностей смотрит поэт на жизнь. Книга «С высоты поля» — это, собственно, книга о

войне и о том, что нет ничего дороже мира.

Основу сборника составляют два больших цикла — «Строки с плацдарма» и «Неотосланные письма» (правда, в циклы стихи объединены только в украинской книжке). В первом цикле война предстает во множестве ситуационных картин, главным образом батальных, коими так богата память поэта; в стихах действуют реальные люди, боевые друзья поэта — называются фамилии, звания, звучит фамилия, имя самого автора. Ощущение достоверности рассказываемого рождается и при чтении «Неотосланных писем» — нескольких десятков кратких, обычно в три строфы, «стихов-импульсов». Война прокатила жестоким колесом через живую, единственную жизнь героя: любимая девушка не дождалась солдата, вышла замуж. А солдат, может, потому и выжил, что думал о любимой, ждал встречи с ней...

Мне кажется, самое трогательное в творчестве Карпенко — позиция лирического героя, главное в которой — огромная доброта, благородство по отношению к близкому человеку, причинившему ему боль. Стихотворение «Боль» как раз и запечатлело это «состояние души» лирического персонажа: «С лугов небесных, там, где зори пас, на землю гребную я возвращаюсь, — где истина, суровая, крутая, издревле смотрит пристально на нас. Где боги жаждут дорогих даров, а лучший друг нам причиняет горе, — и душу тополиную у моря гнут до земли четыреста ветров. Где боль уже не спрашивает нас. А струны лишь свои перебирает... И вытекает не слеза из глаз, — а доброта из сердца вытекает».

Любимую герой простил — любовь оказалась сильнее и выше обиды, — потому, наверное, и удалось понять другого человека. У героя — жена, у любимой —

муж, но любовь осталась — и добрые чувства к жене, детям не мешают нежно и бережно относиться к прошлому. История своеобразной, пронесенной сквозь десятилетия, трагической и по-своему счастливой (потому что выжившей) любви, вся сложность и чистота взаимоотношений между героем и женой, героем и прежней любимой — все это отображено в цикле «Неотосланные письма», который, думается, с полным правом можно было бы назвать лирической поэмой.

Не все у Карпенко написано на уровне этих лучших стихов. Стереотипность подхода к теме ощущается там, где автор отступает от своего биографического принципа, а пытается писать о войне вообще («Солдатские медали», «Разговор с друзьями», некоторые стихи из цикла «И вечный бой...»). В рецензируемом сборнике собрано, как мне кажется, лучшее из написанного Карпенко, но, может быть, стоит сказать о том, что в новых книгах, написанных на украинском, увы, встречаются самоповторения. Перед Карпенко, я думаю, стоит проблема найти «нового себя», и скорее всего не в военной теме, где главное, что он хотел сказать, он уже сказал. Задача, конечно же, сложная, непростая...

Хорошо, наверное, что такого цельного лирического поэта, как Николай Карпенко, переводит один поэт — Борис Примеров: нет тех стилистических разночтений, какие нередко бывают при коллективном переводе. Б. Примеров сумел тонко почувствовать интонационный настрой лирики Карпенко, что особенно заметно в «Неотосланных письмах». Но, к сожалению, переводчик, стремясь «выдержать ритмику», иной раз идет на неоправданные компромиссы. Так, например, строфа из стихотворения Карпенко «Сім довгих літ в солдатськїм чинї — строк некороткий, да лебі... То як чекати було дівчинї, лишатись вірною тобі?» у Б. Примерова переведена так: «Семь лучших лет в солдатском чине, семь лет — не обратятся вспять! — а сколько по такой причине ей было милого прождать?»... Какими банальными выглядят чувства, мысли героя, не правда ли? И при этом, конечно же, упростился весь стих.

Неточная передача смысла вообще характерна для переводов с близких языков, когда идет безотчетная ориентация на отдельные знакомые, казалось бы, слова. Случается, это мнимо знакомое слово играет с переводчиком злую шутку. Как, интересно, восприняли бы вы следующие

строки: «Меня нашли во мгле кромешной, полуживого, у реки.. И обо мне — «жилице нездешнем» — заговорили земляки. «Отвоевался наш Миколка — да будет пухом твердь ему...» Я не пытал тебя нисколько, я не просил: не верь тому!..»

Согласитесь, предпоследнюю строчку понять трудно, как это — «не пытать нисколько». О каких «пытках» здесь говорится? А между тем речь идет о том, что вера любимой, что герой жив, спасла его: в оригинале украинское «питав» означает не что иное, как «спрашивал»: «Я никогда не спрашивал, поверила ли ты этому». Вот, оказывается, какое дело...

В другом стихотворении Н. Карпенко употребляет слово «тому», которое по-русски может звучать и как «тому» («тот»), и как «поэтому». К сожалению, отгакиваясь от неправильного понимания «опорного» слова, переводчик отступает от смысла оригинала и строит строфу так: «Тому, друзья, открыто заявляю, кто хочет загубить сиянье дня, — стихи свои на бой благословляю...» и т. д. А у Карпенко: «Поэтому, друзья...», так объясняется еще одна непонятность...

Переводя с близкого языка, нужно особенно внимательно следить за стилистическими оттенками слова или фразы. Одно дело в украинском языке сказать «зашкребло щось по серцю», а другое — по-русски: «что-то мучает, душу свербят». У Карпенко глубоко лирические, полные нежности строки: «Як притишене часом зітхання, як тривожний вітрець серед ріль, — через тисячі років мовчання налітає правдний біль... І немов незагоєна рана, щось по серцю тоді зашкребе: «Мені стало так сумно, кохана, — не знайшов, не зустрів я тебе» («Как приглушенный временем вздох, как тревожный ветерок в поле, — через тысячи лет молчания налетает предвняя боль... И словно незаживающая рана, что-то в сердце болью отзовется: «Мне стало так грустно, любимая, — не нашел, не встретил я тебя»). В переводе же строки «И как будто незримая (?) рана, что-то мучает, душу свербят» звучат почти пародийно. Переводить эту фразу «по словам» («шкрепти» — «чесать») было нельзя, так как в украинском языке она (да еще в соответствующем контексте) представляет собой устойчивое словосочетание с общим «болевым» оттенком.

Часть стихов в переводе не состоялась потому, что переводчик или не сумел почувствовать «нерв» стиха, или не сумел передать его адекватно. Обидно, что некоторые стихи из «Неотосланных писем» у-

ратили ударные концовки, которые часто «держат» на себе стихотворение.

Вот, например, герой просит любимую (она уже замужем) прийти хотя бы в сны и обещает ни о чем не спрашивать и ни одним словом не упрекнуть: «Я просто гляну — чи змінилась, чи й досі юна, як колись... Я просто хочу, щоб приснилась. Якщо в житті ми не зішлись» (Я просто взгляну — изменилась ли, или до сих пор юная, как тогда... Я просто хочу, чтобы приснилась, коль в жизни мы разошлись). Переводчик почему-то счел нужным закончить стихотворение не этой глубокой минорной нотой, а не вполне понятным аккордным всплеском: «Я просто гляну в очи милой, зовущие, как даль и высь... Как эта встреча осветила всю остающуюся жизнь!..» Почему бы просто не пойти за оригиналом?

Иногда Б. Примеров, видимо, не вдохновившись строками оригинала, по собственному усмотрению заполняет пустые ритмические гнезда — и тогда появляются слова и целые строки необязательные, не связанные с мыслью автора, эмоцией стиха, «выпадающие» из его структуры: «Ты видишься лишь только мне», душа «ноет, как от муки», «Во всем для меня ты, как дома, — так в песне моей поселись», «И скрасит думка дней моих остаток, что не был ветром века я храню, а в ленинском, большом и крепком, стане именовался просто рядовым» (сравните с оригиналом: «І скрасить думка дні мої останні, що я не був над боем херувим, а в лєнінськїм найлюдянішїм станї змагався піхотинцем рядовим» — «И скрасит мысль дни мои последние, что не был я над битвой херувим, а

в ленинском самом человеческом лагере сражался пехотинцем рядовым»); посмотрите, как и логически, и эмоционально организует фразу строка «и не был я над битвой херувим», которая заменена в переводе неясной конструкцией).

Я остановился на отрицательных сторонах переводов, чтобы заострить внимание на тех типичных опасностях, которые поджидают переводчика, переводящего с близких языков. Об удачных сторонах переводов Б. Примерова уже говорилось; и прежде всего надо признать, если брать переводы в целом, присущее переводчику чувство «интонационного стержня» эмоции. В стихах Карпенко, особенно — в ранних, много нежности, иногда пронзительной. И часто почти физически ощущаешь, как Б. Примеров взволнован эмоцией поэта, как «чужое» чувство трансформируется в чувство его собственное, — тогда он выступает истинным, вдохновенным соавтором стихотворения, передавая оригинал наиболее адекватно.

Переводчик в целом хорошо ощущает настроение поэта — а это чрезвычайно важно при переводе его стихов. Надо признать, что Н. Карпенко наконец «завучал» по-русски («С высоты поля» — первый — увы, несколько задержавшийся — выход к русскоязычному читателю), в общем его индивидуальное лицо — и стиль, и интонация и лексика — передано. А некоторые стихи, как, например, «Я по тропкам блуждаю...», звучат в переводе даже лучше, чем в оригинале. Но это уже тема для другого разговора.

Ярослав МЕЛЬНИК.

с. Смыга Ровенской обл.



АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ

В. Пискунов. Тема о России. Россия и революция в литературе начала XX века. М. «Советский писатель». 1983. 376 стр.

Значимость русского писателя всегда во многом зависела от того, как решались в его творчестве коренные национальные проблемы. Сосредоточившись на их рассмотрении, В. Пискунов в своей книге развернул впечатляющую панораму литературных исканий начала XX века. Сгруппировав и проанализировав значительный и обширный материал, автор показал тесное взаимоотношение социальной и национальной тематики. Сутью книги стал спор о России, ее истории, судьбе и предназначении, в который вовлечены ведущие русские писате-

ли предоктябрьского периода. Великие русские писатели-реалисты рассматривали литературу как ответственный род общественного служения и мучились тем, что невозможно незамедлительно переустроить жизнь с помощью слова. Критик приводит примечательные слова Г. Манна: «Сто лет великой литературы — это русская революция до революции».

В России писатель всерьез относился не просто к слову, но к слову-делу. Рильке, как и многие иностранцы, удивлялся тому, что «русскому человеку не хватает бес-

страстия, чтобы взглянуть на лицо с живописной точки зрения, то есть спокойно и незаинтересованно», однако В. Пискунов объясняет такую «необъективность» историческими причинами. Он верно находит сосредоточение вопросов о России в творчестве Толстого и Достоевского, однако подробнее пишет о более позднем времени. «Если XIX век вошел в историю России под знаком мировых вопросов, то в XX уже сам русский вопрос становится, по общему признанию, мировым».

Причина — русская революция, обострение «национального вопроса». После революции пятого года среди писателей началось размежевание. Вчерашние союзники по освободительному движению разошлись по разным станам. Одни жалели «большую» Россию; других, как пишет В. Пискунов, «охватывало чувство смятения и страха за культуру», третьи призывали:

«Пусть сильнее грянет буря!»

Буря грянула. «Итак — началась русская революция, мой друг, — писал Горький в письме к Е. Пешковой, — с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью».

Далеко не все соглашались с Горьким. Убитые все-таки смущали. Да и народ из «богоносца» для части вчерашних либералов превратился в «грядущего хама». По утверждению «веховцев», революция стала развязкой романа литературы с политикой. Раньше, при несвободе, русской литературе волей-неволей приходилось быть больше чем литературой, представлять собой всю гонимую общественную мысль, быть «и парламентом, и университетом, и революционной баррикадой». Теперь эстетствующей части интеллигенции представлялся случай «освободиться от тяжелых оков свободолюбия», уйти с головой в метафизические проблемы.

Знаменитая «башня» Вячеслава Иванова не только стала салоном, но и символом отъединения. Автор приводит примечательные слова Е. Кузьминой-Караваевой, близкой в десятые годы к этим кругам: «Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове... Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции».

Иное — Блок. Он против эстетизации как в жизни, так и в искусстве. «Талантливые завитки вокруг пустоты» он объявляет кошунством, занятием, «никому на свете, кроме «утонченных» натур, не нужным». Блок соотносит искусство с улицей: «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди го-

лодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко».

Больше того, у Блока возникает трагический мотив жертвенности: он готов благословить «вечные перемены», совершаемые по воле народа, даже если они губительны для его собственной среды.

Тема России захватывает и сближает вечных друзей-врагов — Блока и А. Белого. Но их «тематическая близость» не означает единства позиций. А. Белый более скептически по отношению как к прошлому, так и к будущему России.

Вера в творческие силы России, напротив, крепла у Блока, склонявшегося к «подвигу мужественности».

В связи с таким памятником эпохи, как «Деревня» Бунина, В. Пискунов отмечает особенность писательской композиции в самом колебании между концепциями «вины» и «беда» народа.

«Беда» получает историческое обоснование: «Рабство отменили всего сорок пять лет назад — что ж и взыскивать с этого народа?» — говорит один из героев «Деревни». Но, вместе с тем, коли рабство так задержалось, кто в том виноват? «Сам же народ... Татары, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили не мало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше...»

Молодой Горький тоже размышляет о концепции беды и вины. «Чем упорнее, — вспоминает рассказчик о беседах с Коноваловым (рассказ «Коновалов». — В. Е.), — я старался доказать ему, что он «жертва среды и обстоятельств», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собою за свою печальную долю». Однако тема вины получает у Горького радикальное решение. Если «сами мы перед собой виноваты», то и «сами мы» должны строить новую жизнь! Уже в первой автобиографии, относящейся к середине 90-х годов, «оптимистическая гипотеза в подходе к человеку», вера в «неистребимость человеческого в человеке» выводятся им из недр русского национального мироощущения. В этой связи назревает определенный конфликт Горького с предшествующими литературно-философскими канонами. Молодой писатель («слишком категорично», по мнению автора) объявляет, что русская литература — «сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом перед страдальцем-мужичком и удивлением перед его нечеловеческой выносливостью». Горький нетерпим к пас-

сивности: «...изображать человека рабом и любоваться его склонностью к подчинению — в наше время значит оскорблять человека».

Знаменательное расщепление классической традиции в начале века связано именно с вопросом веры или неверия в «особенную статью» России. Революционная мысль опирается на веру, заявленную еще Герценом: «Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели». У Горького эта вера призвана спасти не только писателя, но и саму страну. К горьковской позиции все более тяготеет «почвенничество» молодого А. Толстого, по словам Горького, «здорового парня», преодолевающего соблазн декадентства. В. Пискунов отмечает, что герои А. Толстого делятся в основном на дряблые души и жизнестойкие. Первые адаптировались к атмосфере «интеллигентского разложения», однако автор книги оставляет в стороне вопрос о том, что антитеза дряблости — здоровье как самодостаточный принцип может обернуться и такими явлениями, как языческий гедонизм, беспринципность и эгоцентризм.

Другая сторона — сторона неверия, можно сказать, «преувеличенного скептицизма». Блестящий пример — «Мелкий бес» Ф. Сологуба. Социальное обличительство в романе становится не призывом к переменам, как у Горького, но предпосылкой для горьких выводов относительно самой человеческой природы.

Сологуб, как явствует из книги В. Пискунова, не одинок. «Свиные рыла» обывателей воспринимаются следователем Бобровым из ремизовской «Пятой язвы» как олицетворение национальной жизни; он даже составляет «обвинительный акт... русскому народу». Куприн, после пятого года, также говорит о «сонной, ленивой, ко всему равнодушной провинции» как основном элементе русской действительности. Р. Иванов-Разумник, определяя межуточное положение уездной страны, которую именует «востоком России», считает, что этот «восток» «ушел от мудрости и не дошел до разума».

Несмотря на диаметрально различные позиции, занятые Горьким и В. Розановым почти по всем кардинальным вопросам современности, между ними в десятые годы возникла оживленная переписка (кое-что из нее было недавно опубликовано). Интересные размышления в связи с их письмами находим в книге В. Пискунова.

Отмечая многозначительную оппозицию программных названий книг «Уединенное» — «В людях», автор указывает и на возможную связь между заголовком «Мои универси-

теты» и мыслью, очерченной Горьким на полях розановской книги: «Вовсе не университеты вырастили настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни».

Горький писал Розанову: «Любимая книга моя — книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнением, особенно 40-ю главу, где тот поучает человека, как ему быть богоравным и как спокойно встать рядом с Богом. И всегда, читая эту главу, мысленно кричу своим, русским, — да перестаньте же вы быть рабами божьими!..»

Будет побеждено и рабство перед Богом Ваше, Достоевского, Толстого, Соловьева: ведь или мы победим это, или погибнем «аки обри».

История рассудила этот спор (как и многие другие) в октябре семнадцатого года.

Касаясь наиболее актуальных явлений русской культуры начала века, В. Пискунов хорошо ориентируется в сложной литературной жизни страны, дает точные оценки ее развития. Именно в этот период русская литература особенно тесно связана с философской мыслью (от идеализма до марксизма). К сожалению, В. Пискунов не всегда достаточно уверенно чувствует себя в философской сфере. Только этим можно объяснить, например, тот факт, что Л. Шестов, этот углубленный мыслитель отчаянья и смерти, становится «ближайшим сподвижником Леонтьева», а американский основоположник философского прагматизма У. Джеймс оказывается «английским философом», герой горьковской трилогии А. Пешков зачисляется в «культурные герои» (по терминологии мифологов).

Раздражают в книге некоторые стилистические «красивости», вроде «...огромная страна сходилась со стапелей в открытое море истории» (словно из доклада на судовой верфи). Или: «Однако писатель продолжает с обреченностью и настойчивостью Сизифа катить камень веры на вершину, вновь и вновь восходить на Голгофу все тех же „проклятых вопросов“». Странен этот языческий Сизиф, восходящий на христианскую Голгофу; пестрое смешение мифов и метафор обесценивает и мифы, и метафоры.

Но это маргинальные замечания или даже, если хотите, придирки.

Гораздо существеннее другое. В. Пискунову удалось убедительно раскрыть в своей книге значение темы исторических судеб России как одной из ведущих тем русской литературы. Он проследил развитие этой темы в творчестве писателей различных идейных позиций и эстетических воззрений, проанализировал

многообразие форм художественного претворения названной темы в прозе и поэзии, в результате чего пришел к важному, историческому, перспективному выводу: «Опыт отечественной литературы начала XX века... свидетельствует о том,

что самые значимые русские писатели той поры утвердили жизненную силу России... способность страны и народа к динамическим преобразованиям, к творчеству новых форм бытия».

Вик. ЕРОФЕЕВ.



Политика и наука

ТРУДНОЕ И ОПАСНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Георгий Арбатов, Виллем Олтманс. Вступая в 80-е... Книга-интервью об актуальных вопросах современных международных отношений. М. АПН. 1983. 334 стр.

Каков он, мир 80-х годов? Как разглядеть и оценить его нам, современникам и участникам событий?

Во многом это мир новый, неожиданный, не угаданный футурологами. Все мыслящие люди хорошо понимают, что текущее десятилетие — крайне трудное и опасное с точки зрения международного развития.

Приметы десятилетия, его главные проблемы и тенденции четко прорисованы в интересной по замыслу и его реализации книге советского ученого Георгия Арбатова, созданной им вместе с известным голландским журналистом Виллемом Олтмансом.

Диалог ведут разные люди. У них очевидные разногласия, более того, противоречия. Но это только делает разговор интереснее, глубже, я бы сказал — стереоскопичнее. Книга, получившая большой международный резонанс, создает реальное представление о десятилетии, в котором живет человечество. Хотя в ней начисто отсутствуют дидактика и безапелляционность, книга поучительна своими размышлениями и самим фактическим материалом.

Авторам в их диалоге удалось найти верный ракурс. Это прежде всего «злословие разрядки». Отсюда и подход к оценке истории и уроков советско-американских отношений. В размышления авторов по праву входит проблема мира и войны, они рассматривают гонку вооружений и разоружение, международную торговлю, идеологию и вопрос о правах человека, проблему «двух гигантов» и «остального мира» в мировой политике, некоторые аспекты будущего. Эта емкая, весомая по мыслям и выводам книга затрагивает, как мы видим, немало сложных проблем.

Советско-американские отношения — эпицентр международных бурь, забот и тревог. Такими их сделала безответственная политика рейгановской администрации. Естественно, что анализ советско-американских отношений оказался в фокусе книги о тре-

вожных 80-х, написанной уже тогда, когда внешняя политика администрации Р. Рейгана начала фундаментально подрывать и сами эти отношения и международную безопасность в целом.

Современникам, чтобы судить о советско-американских отношениях в 80-х годах, приходится разбираться и в феномене рейгановской линии в международных делах, в ее взаимосвязях с внутренним развитием США. Книга Г. Арбатова и В. Олтманса порождает немало размышлений о целях и путях развития внешней политики США, в том числе и в свете опыта, накопленного после ее написания.

Главная цель внешней политики Р. Рейгана, пишут авторы, состоит в том, чтобы «вернуть старые времена, когда Соединенные Штаты занимали совершенно исключительное положение в мире». Ради достижения этой иллюзорной цели вашингтонские заправилы наращивают военную силу, пытаются расширить ее «используемость» во внешней политике, взяв курс на достижение военного превосходства и фактически объявив «холодную войну» Советскому Союзу, другим социалистическим странам, всем, кто не смотрит на мир по-американски. Г. Арбатов метко замечает, что «администрация Рейгана, судя по всему, считает, что обострение отношений с Советским Союзом, организация против него глобального «крестового похода» позволили бы Америке укрепить свои мировые позиции».

Можно спросить, есть ли у президента США хоть какие-нибудь шансы решить свою амбициозную задачу. Г. Арбатов отвечает: «Все говорит за то, что эта политика вряд ли прибавит Соединенным Штатам силы и влияния в мировых делах... Внешняя политика Рейгана оказалась в каком-то мире снов, пытаясь найти опору в мертвых постулатах «холодной войны», в ее мифах и заблуждениях, рожденных в первые послевоенные годы, когда многим казалось, что

наступил «американский век». Что ж, за каждое заблуждение приходится расплачиваться».

В американской жизни бросается в глаза правило, по которому политические портреты ушедших президентов за немногими исключениями носят лубочный характер, им приписывается то, чего у них никогда не было, зато почти все отрицательное упускается или преподносится по принципу удивительного превращения порока в добродетель. И все же рискну выдвинуть предположение, что за нынешнего президента США, изображаемого сейчас в качестве этакого «образцового», «усредненного» американца, мастера упрощений и воинствующей некомпетентности, последующим поколениям будет нелегко. Ибо опьянение силой не может быть постоянным фактором в политике, фанатизм обречен, шовинизм преходящ. Опыт, который обретается американским народом в это десятилетие, не останется бесследным, он, бесспорно, подтолкнет к размышлениям об исторических судьбах и исторической ответственности великого народа.

Вероятно, историки еще не раз будут возвращаться к анализу механизма, который был приведен в действие идеологией и политикой, утвердившейся в США задолго до прихода Р. Рейгана к власти, но нашедшей в его поведении наиболее резкое и обнаженное выражение. Рейгановская политика наложила свой зловеющий отпечаток на 80-е годы. «Отмщением веры в исключительность» назвали победу Р. Рейгана на президентских выборах 1980 года. Государственный секретарь А. Хейг объявил американцев «нацией опекунов над ценностями свободы и справедливости».

Эти и многие другие высказывания американских лидеров не являются просто риторикой, они отражают реальную обстановку в стране и реальные цели правящих сил США на международной арене в наши дни. Рейгановская администрация в начале 80-х годов до предела сократила расстояние от «холодной войны» до «горячей».

В стране создана удушливая атмосфера разгула крайней реакции. Такова природа американского образа жизни, что любые неудачи в личных делах или удары по национальному тщеславию в международных отношениях создают благодатную почву для возбуждения ультрапатриотизма, шовинизма. Подобные психологические переломы всегда учитывает господствующий класс в своей корыстной политике.

Идеологической основой милитаристской истерии Р. Рейгана служит изрядно потрепанный антикоммунистический миф о «со-

ветской угрозе», тот самый, которым прикрывался авантюризм нацистской политики. Об «угрозе» американские лидеры говорят без конца с надоедливой назойливостью, полагая, что если они допустят слабость в пропаганде этого тезиса, то будет все труднее взимать с налогоплательщиков деньги на вооружение, обеспечивать сверхприбыли для монополий, сдерживать социальную дестабилизацию внутри капитализма, убеждать союзников поддерживать американские военные авантюры. Поражает здесь лишь необъяснимое легкоеверие значительной части американцев, живущих в нынешнем десятилетии.

Администрация Р. Рейгана, вторгаясь в жизнь поколений 80-х годов, активно спекулирует на невротическом сознании индивидуума, преклоняющегося перед традициями, каковы бы они ни были, запуганного пропагандой, столкнувшегося с несвершенностью социальных ожиданий, обиженного и рассерженного провалами во внешней политике и постыдными событиями внутри страны, обеспокоенного падением морали, которую американца приучили считать образцовой. Уязвленная Вьетнамом и Уотергейтом национальная гордость требовала удовлетворения, возврата к временам самоуверенности и оптимизма.

Чувства национальной уязвленности Р. Рейган и его окружение трансформировали в шовинистический угар, который дает простор политике «военно-силового самоуверждения», преследующего сугубо имперские цели. Это рейганисты и внесли в наше десятилетие, до предела осложнив его течение.

Американские монополистические владыки считают и сегодня свое «мировое господство» наилучшим решением всех спорных вопросов политики. Война видится им средством достижения такой цели, «повивальной бабкой», не имеющей конкурентов. Ради идеи «мирового господства» фабриканты оружия и «медные каски» создали унию смерти. Они готовы похоронить под развалинами городов сотни миллионов людей, лишь бы поставить мир на колени. Такую задачу ставит Р. Рейган в 80-е годы.

Как писал журнал «Ньюсуик», американцев приучили, что кампании «ненависти в отношении русских» должны составлять неизбежную часть в нескончаемых политических спектаклях. В результате все послевоенное время характерно «перемежающимися оргиями ненависти» в отношении Советского Союза. В эти периоды подлинные дискуссии отодвигаются в сторону, печать фанатично поддерживает официальную линию,

а любых инакомыслящих зачисляют в ранг предателей. Американцев стараются убедить в том, что разоружение — это утопия, всякая экономия на обороне — преступление, любые переговоры с Советским Союзом — предательство, а мирное сосуществование — всего лишь «затянувшееся перемирие» в «холодной войне». «Равновесие страха» уступает место «перманентному страху». Чтобы избавиться от него, нужна еще одна мировая война, после которой и возможен всеобщий мир. Такова логика рейгановской идеологии и политики, выражаемая сегодня в предельно острой форме.

Конечно, не всех в США оставило здравомыслие. Встрепенувшись очевидно. Многие политики понимают, что те, кто рассуждает о «выигрыше» в ядерной войне, витают в облаках, «живут в прошлом, которое навсегда отменено ядерными вооружениями». В наше время силы смерти столь мощны, что могут уничтожить плоды эволюции всего живого мира. Сколько бы ни рассуждал Р. Рейган о «национальных интересах» США и военных средствах их достижения, в нынешних условиях это всего лишь отжившие свой век стереотипы, поскольку в ядерном конфликте спорят все нации вместе с их интересами и целями, а стратегия «устрашения» угрожает и самим устрашителям.

Нельзя не согласиться с Г. Арбатовым в том, что политика администрации Р. Рейгана в ядерном веке «не только ослабляет позиции США и обнажает опасности, но одновременно и усиливает главную из опасностей — опасность ядерной войны».

Буржуазия всегда цепко держала в своих руках средства массовой информации, рассматривая их в качестве важнейшего инструмента реализации и упрочения своей политической власти. Пользуясь практически монопольным положением на рынке информации несоциалистического мира, по своему интерпретируя происходящие события, буржуазия не ограничивается простым распространением своей идеологии, она все активнее формирует массовое сознание, манипулирует им. Средства массовой информации на Западе, особенно в США, потеряли остатки былой относительной объективности, они полностью отдали себя на службу реакции, внушая людям ценностные ориентации буржуазного общества, вырабатывая у них устойчивые стереотипы антикоммунизма и антисоветизма. Искусно извращая действительность, поменяв правду правдоподобием, прибегая к сильнодействующим, построенным на эксплуатации эмоций и иррациональных

элементов сознания методам воздействия, буржуазные средства информации играют все более пагубную роль, являются мощным рычагом духовного порабощения и морально-политического угнетения народных масс.

Американскому империализму время от времени удается подталкивать мир к опасной черте. Правящие силы США продолжают создавать конфликты, нагнетать напряженность, балансировать на грани невысказанного, игнорируя мировое общественное мнение. Из-за позиции рейгановской администрации 80-е годы не предрасполагают к светлому восприятию международной обстановки. Но в наше время ощущается и другое. Человечество устало и от мрачных пророчеств, моделирующих будущее по апокалипсису (не библейскому, а ядерному), и от бездумного оптимизма, игнорирующего угрозу ядерной катастрофы, и от ледяного равнодушия. Читатели разделяют реалистический вывод, сделанный в книге Г. Арбатова: «По-моему, даже в сегодняшние, нелегкие для советско-американских отношений дни нет оснований смотреть в будущее с безнадежностью. И не только потому, что в мире меняется все — и люди, и их взгляды, и даже правительства. Главное даже в другом — вне разрядки у наших стран, у всего мира по-прежнему нет пути, и рано или поздно всем придется признать эту истину. Крайне важно сделать это до того, как станет слишком поздно. Для выживания человечества требуются усилия всех и каждого».

С убежденностью специалиста Г. Арбатов отмечает, что «главный вывод из истории советско-американских отношений все же состоит в том, что сосуществование двух государств при всех глубоких различиях между ними не только возможно, но и необходимо как для них самих, так и для мира во всем мире». Болезнь рейганизма должна быть преодолена, в том числе ради одновременных национальных интересов самих же Соединенных Штатов Америки.

К достоинствам книги Г. Арбатова и В. Олтманса я бы отнес не только глубокий анализ сложных явлений международной жизни, но и трезвость суждений, отсутствие метаний между сигналами тревоги за судьбы человечества и стремлением во что бы то ни стало успокоить людей, снять их озабоченность необоснованными посулами неизбежных, чуть ли не автоматических перемен к лучшему в международных отношениях уже в ближайшем будущем. Читатель оценит образный язык книги, лаконичность, стремление говорить о непростых вещах в

доступной форме, принципиальность, сдержанность и взвешенность суждений, а в целом — правдивость.

Примечательна мысль, высказанная Франклином Рузвельтом и ставшая, по-моему, одним из узловых моментов книги: наше поколение «встречается с судьбой». Авторы стараются дать свое понимание «судьбы» поколения: каждому из них «приходится сталкиваться с новыми задачами, к решению которых прошлое не дает ключа. Задачи, стоящие перед нашими современниками, исторически уникальны, и, пытаясь их решить, мы не имеем почти никакого права на ошибки. Первая по значению среди них — это, конечно, задача предотвращения войны».

Думается, что в этих словах — ключ к книге, написанной Г. Арбатовым и В. Олмансом. Они верно ощутили общий знаменатель мировой политики 80-х годов. Трудное и опасное десятилетие предстает в их книге как время, когда человечество придет

наконец-то к решению отодвинуться от ядерной бездны.

Книга зовет к бдительности. В обстановке, когда политика метрополии империализма стала предельно авантюристической, нужна и предельная бдительность всех, кому дорог мир на планете. XX век уже принес две мировые войны. Они унесли десятки миллионов жизней. Пролиты реки крови и слез. Нет таких слов, которые могли бы выразить глубину горя, пронзительность страданий, громадность несчастий, обрушившихся на страны и континенты, города и деревни, на людей Земли. Забыть об этом нельзя.

Советский Союз и впредь останется твердым приверженцем мира, его мощь будет сдерживать зловеющий глобализм правящей клики США. В предотвращении войны наша страна видит свою интернациональную гуманистическую миссию.

А. ЯКОВАЕВ,

доктор исторических наук



«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК»

Н. Н. Молчанов. Дипломатия Петра Первого. М. «Международные отношения». 1984. 430 стр.

Пожалуй, ни одна личность в истории России не вызывала столько споров и противоречивых оценок, как личность Петра I. Даже Иван Грозный отходит здесь на второй план. В XIX веке общественное мнение России буквально раскололось в отношении к Петру и его наследию. Это и понятно — за спорами стояли две различные концепции исторического пути развития России. Борьба за прошлое велась во имя будущего.

Внешняя политика России эпохи Петра I давно уже стала излюбленным предметом для западных фальсификаторов, пытающихся представить Петра родоначальником «русского экспансионизма». Любопытно, что наиболее злобные фальсификации рождались в тех странах, руководители которых готовили очередные «дранг нах остен». Сомнительная честь автора первой лжи о Петре принадлежит следаемому злобной завистью к нему прусскому королю Фридриху II, поручившему одному из своих чиновников, Фоккеродту, написать памфлет. Сочтя, что пасквиль Фоккеродта недостаточно чернит русского императора, Фридрих II включил в него свои добавления. В результате возник образ невежественного дикаря, трусливого и бесчестного человека, даже психопата, все достижения которого были объявлены результатом случайного стечения

обстоятельств. Так родилось фоккеродтовское направление в западном петроведении. Спустя некоторое время свой вклад в клевету внес Наполеон I, широко распространивший фальшивку под названием «Завещание Петра Великого», имевшую хождение во Франции еще до 1789 года. Публикация «Завещания» призвана была идейно оправдать готовившееся нападение на Россию. В 1939 году в Германии вышел «научный» труд Г. Дерриса под многозначительным названием «Русское вторжение в Европу в эпоху Петра Великого». Уже в наши дни была предпринята очередная пропагандистская кампания, поводом к которой послужил выход во Франции в 1979 году книги Анри Труайя (Льва Тарасова) «Петр Великий». Французская буржуазная пресса охотно подхватила тему об «извечном» варварстве России, о порочной склонности русских к бесчеловечности и жестокости.

Понять западных фальсификаторов несложно. Им, как и их предшественникам, не дает покоя мысль о величии нашего государства. Удивительнее то, что в самой России тоже находились ревнители допетровского уклада, обвинявшие Петра во всех тяжких грехах, и прежде всего в том, что он лишил страну национальной самобытности. Хотя в их доводах и содержался опре-

деденный резон — увлечение «иностранщиной» со стороны бездарных преемников Петра доходило до крайностей, — это не заслоняет главного в деятельности человека, не только первым осознавшего неизбежность серьезных преобразований в России, но и начавшего их осуществлять. Верный критерий истинного патриотизма — желать мира, безопасности и процветания своей Родине, а не культивировать ее отсталость. Один из выводов книги Н. Молчанова состоит как раз в том, что к концу XVII века Россия исчерпала возможности развития по старому пути.

Советская историческая наука давно уже ответила на вопрос, «а что было бы, если б...» (хотя, как известно, история не знает сослагательного наклонения). По какому пути могла бы пойти Россия без петровских реформ. В любом случае ей не удалось бы избежать перехода к новой общественно-экономической формации, Петр лишь ускориł этот процесс. Исследования историков-марксистов убедительно показали, что при всех национальнѣ различиях в развитии любых стран и народов прослеживаются одни и те же закономерности. Наивно полагать, что Россия миновала бы капитализм только потому, что так хотелось славянофилам, оперировавшим, как правило, аргументами полумистического характера. Зато почти не подлежит сомнению, что, не начни Петр глубоких преобразований, Россия разделила бы участь Индии или Китая (заметим в скобках: стран в высшей степени самобытнѣх), став объектом захватнических воцделений «просвещенной» Европы.

Анализ международной ситуации в Европе на пороге XVIII столетия, проведенный Н. Молчановым, убедительно показывает всю степень внешней угрозы, нависшей над Россией в тот период. В этих условиях продолжать уповать на печально известное русское «авось», к чему, по существу, призывали противники Петра, было даже не наивно, а преступно. Когда мир стал динамично развиваться, когда на глазах росли имперские амбиции более развитых и сильных западных соседей России, устремлявших алчные взоры на Московию, когда эскадры европейских держав бороздили моря и океаны обоих полушарий, уже не приходилось уповать на господа бога, географию и российское бездорожье. Бескрайние океанские просторы не избавили Индию от поражения, точно так же как Великая китайская стена не оградила Среднюю империю...

В эпоху, когда Петр оказался у руля российского государственного корабля, перед

страной как никогда остро стоял вопрос: быть ей объектом или субъектом европейской политики. Гений Петра в том и заключался, что он понял эту дилемму и сделал единственно правильный выбор. Ф. Энгельс, который, как известно, резко критиковал внешнюю политику царизма, не случайно сделал исключение для политики Петра. «Этот действительно великий человек... — писал он о Петре, — первый в полной мере оценил исключительно благоприятное для России положение в Европе. Он ясно... разглядел, наметил и начал осуществлять основные принципы русской политики».

В былые времена степень величия государственных деятелей (монархов) меряли их полководческими талантами — сколько сражений выиграл, сколько погубил и полонил врагов. Более верным, однако, было бы оценивать правителей не по количеству пролитой крови (и, следовательно, причиненных также и своей стране страданий), а тем, в какой степени они способствовали экономическому и социально-политическому развитию государства, в какой мере укрепили его международные позиции и насколько надежный мир обеспечили своему народу. Людовик XIV, современник Петра, именуется Великим, хотя именно он непрерывными войнами разорил Францию и именно с него начинается ее упадок. В отличие от него Петр добивался процветания своей страны, именно он сделал Россию великой европейской (а по тем временам — мировой) державой.

Советский читатель знает о военной и административно-государственной деятельности Петра и гораздо хуже осведомлен о его неустанной работе на поприще дипломатии. А ведь здесь приходилось проявлять не меньший талант. Давно известно, что одержанные на полях сражений победы еще не решают поставленных задач. История изобилует примерами, когда самые блестящие военные победы девальвировались за столом переговоров умелой дипломатической игрой побежденной стороны или ее союзников.

На страницах книги Н. Молчанова предстает широкая картина поистине героических усилий петровской дипломатии по осуществлению того, что, употребляя выражение Сялли, можно назвать «великим замыслом» Петра. Петр пытался ликвидировать барьер, который отделял Россию от Европы с тех давних пор, когда киевский князь Владимир предпочел православие римско-католической церкви. Длительный период ордынского господства, ставшего главнейшей причиною отставания Руси от ее западных

соседей, еще более осложнил интеграцию страны в общеевропейскую жизнь. Богатый материал, проанализированный Н. Молчановым, доказывает, что в деятельности Петра вопросы и заботы политического (в том числе и дипломатического) характера имели приоритет над военными вопросами. Это особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что в западной историографии нарочито выпячивается один лишь военный аспект его политической деятельности. «Тот факт, что преобразования охватывают области, которые прямо не относились к потребностям войны, раскрывает смысл внешней политики Петра,— пишет Н. Молчанов.— Ее задача не в завоеваниях, которые служат лишь побочной целью, а в превращении России в часть Европы, стоящую на таком же высоком уровне развития. Россия должна приобрести возможность конкурировать с другими государствами в процессе обогащения европейской цивилизации в экономике, в технике, в науке, в культуре». Пройдет сравнительно немного времени, и семена, посеянные Петром, дадут богатые всходы. Россия поразит мир великой литературой, искусством, наукой...

Особенность внешней политики Петра, подчеркивает автор книги, состояла в том, что она имела национальный, а не династический, как при большинстве его преемников, характер. В основе деятельности Петра всегда лежал государственный интерес. Основные задачи (в частности, необходимость выхода к Балтийскому и Черному морям) были намечены предшественниками Петра, но только ему оказалось под силу приступить к их осуществлению и добиться значительных успехов. Когда на Западе пытаются спекулировать на затяжных войнах, которые вел Петр, то при этом игнорируют два важных обстоятельства: во-первых, это были войны за выживание и велись они не в тридевятом царстве, а, главным образом, на исконно русских землях; во-вторых, длительность этих войн (прежде всего Северной, продолжавшейся 21 год) определялась не агрессивной сущностью России и ее монарха, а упорным нежеланием многочисленных врагов (явных и тайных) признать законность русских интересов, да и сам крайне огорчительный для них факт рождения новой России. В книге Н. Молчанова приведено множество примеров, доказывающих искреннее желание Петра договориться о мире и с Турцией, и со Швецией, и с другими противниками, активно противодействовавшими становлению России, показаны неприглядные действия Франции, Англии, Пруссии и других государств, поддерживавших анти-

русские экспансионистские притязания Карла XII и Ахмеда II.

Тем, кто на Западе говорит об экспансионизме петровской политики, не лишним будет напомнить, что именно Петр неоднократно противодействовал попыткам раздела Польши, предпринимавшимся германскими владетельными князьями, королем Пруссии и венским двором. «Политика Петра в отношении Польши на всем протяжении его царствования,— пишет Н. Молчанов,— несомненно явилась одной из интересных страниц в истории петровской дипломатии. Всегда существовал соблазн использовать крайнюю слабость Польши из-за разброда, неустойчивости, интриг польских магнатов... Но, как нигде, Петр проявил здесь дальновидность, сдержанность, осторожность, выдержку и терпение. Он сумел подняться выше естественной обиды на многие антирусские действия польских феодалов, начиная с времен «смутного времени». Петр исходил не из прошлого, а из будущего, стремясь к добрососедским отношениям с этой славянской страной, долговременные объективные интересы которой в борьбе с германской экспансией совпадали с интересами России».

Не кто иной, как «экспансионист» Петр отверг предложение Франции оставить на территории германских государств русские войска, оказавшиеся там в ходе войны со Швецией. Он довел до сведения регента Франции Филиппа Орлеанского, что «находит невозможным для себя утвердиться в Германии и держать в ней постоянно русское войско, как Франция этого желает».

Можно было бы привести множество других примеров такого рода, но ограничимся еще лишь одним. После победоносного окончания Северной войны Петр решительно отказался от неоднократно предлагавшегося ему титула восточноримского императора, имевшего претенциозно-экспансионистский оттенок, выбрав титул всероссийского. Петр вообще не разделял отношения к Москве как к «третьему Риму» и отрицал исключительно восточный характер России. Свою миссию он видел не в углублении исторически образовавшегося рва между Россией и Европой, а в ликвидации его.

Книга Н. Молчанова впервые раскрывает, насколько значителен был вклад Петра в становление новой русской дипломатии, в совершенствование ее методов и приемов. Необычайно расширились масштабы дипломатической деятельности России, которая впервые вышла за рамки узкорегionalной политики (сношений только с непосред-

ственными соседями) на общеевропейский уровень. Под непосредственным руководством Петра шло формирование аппарата русской дипломатической службы. Были учреждены первые постоянные дипломатические представительства России за границей (в Гааге, Вене, Варшаве, Стамбуле, Париже). Петр положил начало тому, что теперь мы называем «личной дипломатией» или «встречами в верхах». До него ни один русский монарх (за исключением князя Изяслава в 1075 году) не покидал пределы своего государства и не общался с иностранными государями-еретиками. Петр смело преодолел религиозно-идеологическую ограниченность наивной, во многом примитивной старомосковской дипломатии. Он стал ставить свою личную подпись под международными договорами и ратифицировать их, что, разумеется, поднимало значение подобных документов. При Петре русская дипломатия впервые и с успехом стала использовать стратегию косвенных, или непрямых, действий с целью изоляции своих наиболее опасных противников, прежде всего — Швеции. В годы Северной войны петровская дипломатия успешно использовала приемы и методы «контрпропаганды» для нейтрализа-

ции враждебных России действий отдельных держав. Заслуживает внимания и то, что от своих представителей за рубежом Петр требовал только правдивой, объективной информации. Он понимал ее важность для принятия решений.

«Петровская дипломатия и международная политика,— замечает Н. Молчанов,— служили лишь внешней формой тяжелой борьбы между старым и новым, между отсталым и передовым, происходившей в нашей стране в эпоху Петра». В этой борьбе Петр знал не только победы, но и серьезные поражения. Автор не идеализирует своего героя; он видит его просчеты и ошибки, подвергая их детальному анализу.

Книга Н. Молчанова вносит много нового в наше понимание переломной для России петровской эпохи, по-своему воссоздает облик российского царя-преобразователя — единственного из Романовых, имеющего право именоваться Великим. Трудно удержаться, чтобы не сказать в заключение и о том, что книга Н. Молчанова с большим вкусом оформлена, что, увы, большая ныне редкость для нашей исторической литературы.

Петр ЧЕРКАСОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО. Судебная ошибка. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Э. Мороз. «Знамя», 1983, № 11.

...Всколыхнулась деревня Яблоневка, встревоженная событием: всеми уважаемый учитель Сторожук, вырастивший третье поколение ребят, ударил хапугу и рвача Миколу Каплуна за спиленный старый берест и разоренное на нем гнездо аистов. Такова завязка повести, принадлежащей перу молодого украинского прозаика Александра Лукьяненко, выступающего со своей первой повестью. Сюжет, как видим, простой. Но за этой простотой видится мне традиция, восходящая к фольклорным народным истокам.

В ходе разрешения драматического конфликта, в событиях судебного разбирательства (Каплун подает на учителя в суд), в изображении самого суда и в финале, где постановление высшей инстанции исправляет судебную ошибку, отчетливо проявляются характеры и участников события и просто односельчан учителя.

Впрочем, сторонних наблюдателей здесь не было. В столкновении Сторожука и Каплуна оказались вовлечены все герои повести. Но ярче всего при этом раскрываются характеры самих противников: чистого, честного человека Григория Ивановича Сторожука, чья душа коммуниста и бывшего партизанского командира не терпит лжи, фальши, шкурничества, и Каплуна — труса и предателя.

Умело вводя в повествование картины военного прошлого, автор обнажает перед читателем истоки характеров своих главных героев, то самое существенное, на чем они «замешаны». Прошлое, освещая сегодняшнее, дополняет картину событий, углубляет психологические мотивировки поступков.

Яблоневка дружно встает на защиту своего учителя. Всем сердцем переживают за Сторожука и продавщица Манька, со школьных лет благодарная ему за деликатную чуткость, и деревенский плотник Левко Салюта, простоватый, но искренний и честный свидетель на суде, и яблоневский «дед Щукар» — щедрый на прибау-

тки Единица, и племянница Каплуна Ганя, восставшая против собственного дядьки.

В этом единении «всех за одного», единении Добра в его вечной борьбе со Злом и воплощается прежде всего, как мне показалось, фольклорная, сказочная традиция повести.

Связь с фольклором угадывается и в лукавой простоте рассказа, и в намеренном отсутствии полутонов в изображении персонажей. Подчеркиваю — намеренном, потому что заключительная сцена повести — внутренний монолог Каплуна — позволяет думать, что в авторской палитре есть все промежуточные краски между белой и черной.

Автор то и дело чередует время действия. То он рассказывает о прошлом своих персонажей, то изображает их в сегодняшней жизни, то беседует с ними, как бы беря интервью. Надо сказать, что такая композиция не только помогает писателю наиболее экономно поведать о героях, но и поддерживать в читателе постоянный интерес к происходящему.

Радуется в повести Лукьяненко живой, лукавый юмор, как правило, добрый, озорной. Но иногда и заставляющий вспомнить традиции сатирического жанра. Именно так рисуется автором судья Терницкий, человек заносчивый и самоуверенный. Казалось бы, не самые серьезные недостатки? Но писатель считает, что эти качества особенно противопоставлены педагогам и юристам, — и весьма вероятно, что в идеально упорядоченном будущем каждого, кто пожелает учить или судить, будут подвергать специальной проверке на выдержку. Сконструируют какую-то аппаратуру...» Терницкий единственный, кто оказался равнодушным к событию в Яблоневке. И именно его равнодушие и формальное отношение к делу породили судебную ошибку. Ошибка исправлена. Честь учителя восстановлена. Добро торжествует. Зло наказано. Но «исправление» стоило больших переживаний учителю и его односельчанам. А бесследных душевных травм не бывает. Не следует забывать об этом. В таком финале повести нет облегченности. И это придает ей достоверность и значительность.

Наталья Беккерман.



ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ. Избранное. Стихотворения и поэмы. М. «Художественная литература». 1983. 362 стр.

«Избранное» Леонида Вышеславского — представительное собрание стихотворений (более четырехсот) и поэм известного киевского поэта. «Как поэт я рос в среде украинских писателей, во всем опираясь на их поддержку... — пишет автор в предисловии. — Среди них был и Николай Ушаков, по праву возглавивший весьма самобытную киевскую группу русских поэтов. Они учили меня культуре стиха и умению находить свое место в искусстве». Сборник открывается вступительной статьей Н. Ушакова. Пытаясь обозначить своеобразие творчества Леонида Вышеславского, он называет его «счастливым переводчиком с языка науки на язык поэзии». В целом читатель, вероятно, согласится с этим определением, хотя проблематика сборника шире. Немалое место в нем занимает украинская тема (скажем, в поэме о Григории Сковороде). «Украина — ее поэзия, люди, природа, — вот то, что мне кровно близко и дорого».

О себе в стихах Вышеславский пишет скупое — редко прорвется, например, такое: «...и лишь — назло всему — не старится душа, — и в этом, может быть, вся наша боль и горе».

Одна из основных тем Вышеславского — земля и космос.

Звезда подплыла к отраженной звезде,
в лучах ее плещется стайка сазанья,
трепещет на темной, бездумной воде
мерцающий отблеск, как проблеск
сознанья.

Главное для поэта — размышление о Природе и Человеке. (Я сознательно пишу эти слова с большой буквы — именно так звучат они у Леонида Вышеславского) Судя по «Избранному», автору не чуждо и «собственно» лирическое начало, но не оно, а начало рациональное стало определяющим в его творчестве. Порой это приводит к художественным потерям. И тогда видишь, как под гнетом рассудочности иссыкает та эмоциональная «заразительность» стихотворения, которая, как известно, и есть один из главных признаков настоящего искусства («Как небеса осенние бездонны! Они опять напоминают нам: здесь, на земле, металла тратишь тонны, чтоб вознести туда один лишь грамм...»).

Определенная степень рассудочности, как и склонность к дидактике, есть, на мой взгляд, вообще свойство авторского мышления. Кстати, в литературоведении существует даже понятие «дидактическая поэма», сейчас, впрочем, несколько устаревшее, однако сохраняющее позитивный смысл.

В лучших произведениях Леонида Вышеславского размышления об окружающем человеке мире и самом человеке не являются натурфилософским рассуждением в стихах, а действительно претворяются в поэзию. Например, в «Сонете садового ножа»:

Разросся сад плодовым летом
в нем яркое свет и мрак глубок,
он — корневищ, соцветий, веток
и клубней — спутанный клубок.

Он всех встречает, холит, нежит,
и в нем приют себе нашла
и сужость горькая, и свежесть,
и гусеница, и пчела.

Вот эта ветка плодоносит,
а эта только влаги просит.
— Что главное тут? Не поймешь...

Но, отделяя тьму от света,
на мой вопрос взамен ответа
садовник раскрывает нож.

Обращение поэтов к такого рода проблематике (космос — природа — человек) совсем не редкость в нашей литературе. И все же не много найдется авторов, чьи произведения были бы пронизаны такой любовью и уважением к Жизни, как у Леонида Вышеславского. В этом, думается, главное и неотъемлемое достоинство его книг.

Андрей Василевский.



ДНЕПР — РЕКА ГЕРОЕВ. («Свидетельство всенародного подвига») Киев. Политиздат. 1983. 317 стр.

Эта книга необычна, она воздействует на читателя по-особому. Ее авторы-составители, обратившись к событиям, хорошо известным из истории и литературы, сумели благодаря материалам Центрального архива Министерства обороны СССР рассказать немало нового о происходившем четыре десятилетия назад.

В истории Великой Отечественной войны битва за Днепр сыграла важную роль. Во второй половине 1943 года рубеж русла Днепра приобрел на советско-германском фронте первостепенное значение. Поражение немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Курской дуге стало крахом их наступательной стратегии. Под ударами Советской Армии полчища захватчиков все дальше и дальше откатывались на запад. «Выход из создавшегося положения, — пишет в своем предисловии к книге дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза К. С. Москаленко, — гитлеровское командование видело в переходе к стратегической обороне на рубеже Днепра».

Фашистские генералы рассчитывали навязать здесь Советской Армии позиционную войну, выиграть время и, накопив силы, перейти в наступление. Ради этого они в спешном порядке превращали Днепр, самую большую полноводную реку между Волгой и Одером, в неприступную преграду, названную стратегами вермахта «восточным валом».

Нашим войскам надо было преодолеть Днепр с ходу, чтобы не дать фашистам прийти в себя. Труднейшая задача стояла перед бойцами Западного, 2-го Белорусского, 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов. Под их напором противник дрогнул, отступил. Вот как вспоминает это событие один из уцелевших генералов третьего рейха в своих мемуарах: «Русские навязывали бои там, где они хотели, они определяли начало и конец любого боя. Вместо того, чтобы быть молотом, мы стали наковальной».

Да, удар наших армий был сокрушительным. Но дался он нелегко. Читаешь один документ, второй. Директива Ставки Верховного Главнокомандования. Обращение Военного совета Воронежского фронта к бойцам и офицерам. Даже за сухими строчками приказов чувствуется все возрастающее напряжение. В непрерывном движении фронты, армии, соединения и части. Резервы и тылы стараются не отстать от передовых частей. Люди устают от непомерных нагрузок. В этой сложной обстановке командиры и политработники не просто приободряют бойцов, они ищут новые формы постановки перед ними все более сложных задач. Из книги видно, что не одно воинское мастерство решало исход битвы за Днепр. Архивные документы (их опубликовано в книге почти девяносто) передают настроение наших солдат перед решающим штурмом и во время его, их уверенность в победе. И в который раз видишь, какое это мощное оружие — сила духа. Об этом убедительно говорят повоенному лаконичные, четкие, ясные донесения из политотделов и штабов, приказы, справки, обращения. Десятки фотографий, статьи из фронтовых газет, репортажи с переправ, оперативные корреспонденции с завоеванных плацдармов, письма, копии наградных листов, написанных сразу же после жаркого и жестокого боя, — все это буквально дышит широкомастным сражением минувшей войны.

В книге семь разделов. В каждом — небольшой исторический очерк, рисующий панораму боя. Здесь освещены события, происходившие на всем протяжении почти двухтысячекилометрового фронта от верховья до устья Днепра. Но занимают очерки совсем немного места. Основной книжный объем отдан документам. Благодаря им читатель имеет редкую возможность увидеть истоки массового героизма, проявленного солдатами и офицерами в этом важном для нас сражении. 2569 человек, особо отличившихся при штурме «восточного вала», были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Все они в этой книге названы поименно, о каждом даны краткие биографические сведения.

Свидетельства всенародного подвига... Их еще немало хранится в военных архивах. Сколько неоткрытых страниц о войне ждут своего часа!

Составители сборника отмечают, что в истории советской историографии они делают одну из первых попыток собрать воедино документальные свидетельства, рассказывающие о массовом героизме солдат, сержантов и офицеров Советской Армии во время одного сражения. Работа большой группой авторов книги и консультантов проделана значительная, она заслуживает высокой оценки.

Каждому из героев войны мы обязаны воздать должное. То, что эта задача выполнена с помощью архивных изысканий, еще раз доказала книга «Днепр — река героев». Книга-документ. Книга суровая и честная. Написанная теми, кто жил, сражался и умирал в сорок третьем...

А. Курбатов.



НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ. Несгораемые слова. М. «Художественная литература». 1983. 304 стр.

«— Глянь-каси! Гуча оттэда заходит!
— Откеда?»

— Ай не видишь? Да ты не туды глядишь! Над самым над городом».

Или: «Федор Дмитриевич, голубоглазый, с лицом коричневого цвета, ближе к глазам отливавшего розовым, с темными усами, которые двумя полукольцами огибали рот, был на все руки мастер. Он и печки перекладывал, и валенки валял. Погоду предсказывал лучше всякого метеоролога.

— Надо с сеном управиться нонче.

— А что? Завтра как бы дождя не было?
— Свободная вещь».

Почему наш выдающийся переводчик, пересоздавший, «перевыразивший» (пушкинское слово) по-русски Рабле, Бомарше, Флобера, Сервантеса, Боккаччо, Пруста и прочая и прочая, — почему он в первом же очерке своей новой книги, названном «Перевод — искусство», вспоминает и это? Именно этот расейский провинциальный говор времен его детства? Возможно, по той же причине, по какой остановился на неизысканном, даже банальном заглавии.

«Высокое искусство» — так, говоря о переводе, полемически утверждал Чуковский в своей замечательной книге (где, разумеется, воздано и Любимову); просто искусство — вроде бы похода, ни с кем не сражаясь, буднично говорит Любимов. Такое же, как «своя» проза или поэзия, ни хуже, ни лучше, ни выше, ни ниже. И, читая этот... очерк? статью? профессиональную исповедь?.. я отчетливее понимаю то, что, по правде говоря, понимал и прежде, встречая любимовские переводы: для того, чтобы «перевыразить» Боккаччо, Рабле или Пруста, надо было не только прекрасно знать чужую культуру и культуру свою — быть жадным читателем российской классики, завсегдаем МХАТа, Малого или ТиМа, близко общаться, допустим, с такими мастерами слова, как Пастернак, и юношески внимательно астматически громовым урокам Багрицкого; надо было еще, оказывается, и прожить детство в приокском городке, слышать именно этих людей, их не забыть, с ними остаться.

Искусство становится таковым, если его питает вся жизнь, все тобою пережитое, все вместе, разом, от начала, от «почвы», до итога, «судьбы», — вот еще одна очевидность, не меньшая, чем «перевод — искусство».

Любимов верно поступил, начав профессиональную исповедью книгу очерков о стиле писателей, особенно, кровно ему близких: о стиле Фета, А. К. Толстого, Случевского, Короленко, Бунина, Сергеева-Ценского, Багрицкого, Пастернака. Нам интересны и они и их «ученик» — Любимов. Он не дает себе послабления как аналитику: настойчиво доказателен, введлив, кропотлив. Иначе нельзя, потому что ему порою приходится долбить нашу читательскую кору предвзятости. Убеждать нас например, в том, что до сих пор, к сожалению, малоизвестный Случевский, этот

господин с внешностью зауряд-чиновника, был смелым — до дерзости, до безрассудства — художником слова. Что Сергеев-Ценский, вошедший в сознание как прозаик, что поделать, неровный, написал ошеломляюще яркого «Пристава Дерябина», «Медвежонка», «Движения», — только ли их? А Владимир Галактионович Короленко был не только благороднейшей души человеком и писателем-гражданином (что повторяют очень часто), но и (что подчас как-то забывают) ярким, чувственным, безбоязненным стилистом.

...«Рукописи не горят» — вот новейшая крылатая фраза, нередко употребляемая с неразборчивым и потому поверхностным оптимизмом. Как ни крути, произнесена она не Мастером, а ежели и Булгаковым, то устами Волаанда, гения зла, и принадлежит к системе его — не земного, не человеческого — отсчета возможностей и свершений. Рукописи, увы, горят: и пушкинская сгорела, и гогалевская. Не сгорает слово, понимаемое не как конкретное доказательство мастерской хватки, но как постоянный свидетель и проводник безостановочной духовной работы художника.

О «несгораемом слове» и написана книга Николая Михайловича Любимова со скромным, вроде бы чисто стилистическим посылом: заметки на полях русской литературы. Замах книги, конечно, шире; не зря в эпиграф взято ахматовское: «...мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». А среди хранителей того, что нуждается в хранении и защите, иерархии быть не может, отчего в работе Любимова и соседствуют громкие имена с одному автору памятным Федором Дмитриевичем, вместе с другими Федорами Дмитриевичами, образами народа.

Ст. Рассадия.



ВАЛЕНТИНА ИВАШЕВА. Эпистолярные диалоги. М. «Советский писатель». 1983. 367 стр.

Письма художника слова для историков литературы подчас столь же интересны, как его творения. Новая книга известной исследовательницы английской литературы В. В. Ивашевой написана по материалам личного фонда, в котором хранится более тысячи писем от ведущих прозаиков современной Великобритании.

В. В. Ивашева много лет пристально следит за литературной ситуацией в Англии, и ее оценки, опирающиеся на глубокое знание материала, на понимание общих закономерностей историко-литературного развития, всегда выверены и объективны.

Джек Линдсей в одном из писем автору рецензируемой книги так объясняет процесс «коммерциализации» современного искусства: «Все сводится в конечном итоге к денежным ценностям, к торжеству вещей... На литературной сцене царит «мэсс медиа»... Любое произведение, которое игнорирует требования моды, практически не имеет шансов на публикацию». Как ни парадоксально, но ни богатый профессио-

нальный опыт, ни известность не спасают даже Дж. Линдсея от необходимости браться за «ходовые» темы. Еще труднее приходится авторам не столь знаменитым, например, талантливому Колину Уилсону, который и разрабатывает сюжеты с мистическим уклоном, то выпускает книгу с интригующим заглавием «Энциклопедия убийств». Интерес к модным темам писатель поясняет своими занятиями парапсихологией. Однако в письмах его проскальзывают более прозаические нотки: «Я с трудом свожу концы с концами... я всегда нуждаюсь в деньгах».

Но вот Айрис Мердок как будто свободна от диктата рынка. Но свободна ли она от трафаретов буржуазного сознания? В одной из глав («Философская карусель») В. Ивашева ведет спор с автором нашумевших романов «Черный принц», «Дитя слова», «Море, море...». Свойственная В. Ивашевой доброжелательность отнюдь не означает ее уступчивости в принципиальных вопросах. Как говорится, истина дороже. Тем более, что в наши дни «атмосфера самых диких выдумок, циркулирующих о жизни в странах социализма... оказывает свое действие даже на самых разумных». Айрис Мердок считает себя реалисткой, но реализм для нее, как явствует из писем 1979 года, не имеет границ, это «некий общий глубокий этический взгляд» либо что-то вроде «магического реализма». Пожалуй, не стоит так решительно отлучать Мердок от реализма, как это делает В. Ивашева, но уточнить позиции просто необходимо. И сегодня трудно не заметить, что необходимость быть постоянно на виду заставляет даже таких авторов, как А. Мердок и Ч. П. Сноу, Г. Грин и М. Дрэбл, угождать подчас вкусам буржуазной публики. Мердок, вопреки ее самооценке, все же остается в плену экзистенциалистских или фрейдистских схем; в последних вещах недавно умершего Ч. П. Сноу слабее, чем прежде, звучат социальные мотивы.

Одним из самых типичных «блудных детей» капиталистического мира В. Ивашева не без основания считает Эрэма Грина, последние вещи которого получили, на мой взгляд, несколько завышенную оценку наших критиков. Конечно, Грин — мастер критического реализма. Но достигает ли он сегодня той реалистической точности, остроты социального зрения, которые обеспечили широкий успех «Комедиантов», «Тихого американца», «Сути дела»? Рисуя его «идеологический портрет», В. Ивашева вспоминает беседу с патриархом английской литературы осенью 1967 года, когда она, споря с Грином о природе гуманизма, задала писателю ряд болезненных вопросов о том, «как следует понимать гуманизм».

Как и в предыдущих книгах («Английские диалоги» — М. 1971, «Что сохраняет время» — М. 1979), в «Эпистолярных диалогах» В. Ивашева демонстрирует тонкую эстетическую восприимчивость и последовательно марксистский подход к художественной практике писателей современной Англии.

В. Хорольский.

Ремерово.



АНАИТ ПАРСАМЯН. Признание. Стихи. Перевод с армянского. М. «Советский писатель». 1983. 88 стр.

В шестидесятые годы в армянскую поэзию вошло молодое поколение поэтов — Г. Эдоян, А. Мартиросян, О. Григорян, С. Косян, Д. Ованес и другие. Это поэты с яркой метафоричностью, современной метрической организацией стиха, верлибром его построением, что для читателя было довольно необычно, особенно в сравнении с классической традицией древней армянской поэзии. О достоинствах и недостатках нового литературного направления много спорили, участвовали в спорах и сами авторы. Однако со временем все прояснилось. Теперь поэзия «новых» — свершившийся факт армянской литературы. Яркость, гражданственность их стихов поставили следующих за ними молодых поэтов, к числу которых относится и Анаит Парсамян, перед известной трудностью, даже перед выбором: развивать ли дальше новаторскую поэтику с риском прослыть эпигонами или попытаться найти себя в испытанной веками классической традиции.

Судя по сборнику «Признание», Анаит Парсамян стремится сочетать искания предшествующего поколения с бережным отношением к традициям многовековой армянской поэзии. Стихи Парсамян отражают мятушуюся, полную сомнений духовную жизнь молодой лирической героини — нашей современницы, но они лишены суетности. Это чрезвычайно привлекательно, ведь суетность чувств и мыслей и, как следствие, их мелкость — пожалуй, один из главных пороков современной молодой поэзии. В книге «Признание» душевная ранимость лирической героини, тонкая, порой рвущаяся нить ее чувств совмещается с глубоким осознанием извечных категорий высокого гуманизма — благородством души, чуткостью ума, светом любви и женственности. Причем гуманизм Анаит Парсамян не абстрактен. Разве не гражданственно, скажем, такое ее стихотворение:

Я оставила двери открытыми
Для всех странников,
А сама уселась в углу
В темноте дома.

Я оставила на столе хлеб и вино
Для всех путешествующих,
А сама съежилась в темноте
И стала невидимой, как они.

Я осветила дорогу к дому
Всем прохожим,
А сама, молча обхватив колени,
Сижу и жду.

«Признание» Парсамян немногословно — дорогое качество! Образная и интонационная точность помогает поэтессе выразить сложный духовный мир человека в небольших по объему, но емких стихотворениях. Образы ее изящны, часто как бы невесомы, воздушны, однако основа ее книги, если можно так выразиться, материальная, земная: «...всю себя я, как хлеб-соль, всю себя, как хлеб и соль, всякий раз тебе вручала». Стихи сборника убеждают нас в том, что этот образ для Анаит Парсамян не случаен. С хлебом и солью сравнивает поэтесса

движения своей души, обращенные к современникам, с необходимостью хлеба и соли равняет она необходимость поэзии. Это — признание, это — позиция.

Лидия Григорьева.



НЕВИЛ ШЮТ. Крыолов. Роман. Перевод с английского Норы Галь. «Урал», 1983, №№ 6, 7, 8.

Признаться, встречи с переводными произведениями в литературных журналах, издающихся в республиках и областях, часто бываю огорчительными. Как правило, это детективы. И не всегда высокого качества. Тем более приятно было прочитать в трех номерах свердловского журнала «Урал» за прошлый год роман «Крыолов». И автор и его роман — явления далеко не ординарные.

Англоавстралийский писатель Невил Шют (1899—1960) был не только литератором. Авиаконструктор и авиационный инженер, участник дух мировых войн, он опубликовал несколько романов. Самый из них значительный — «На берегу» — получил мировую известность благодаря знаменитому фильму по этому роману, снятому Стенли Креймером в 1959 году. Творчество Н. Шюта позволяет судить о том, какие уроки извлек писатель из своего жизненного опыта, что думает о прошлых войнах, как относится к угрозе новой войны.

Действие «Крыолова» происходит в те дни 1940 года, когда немецкие войска перешли в наступление. Франция очутилась под фашистской пятой, а английская армия бежала с материка, бросив все свое вооружение. И в это время беспомощный старик, уже потерявший на фронте сына и уехавший от тяжелых воспоминаний на еще спокойный юг Франции, берется выполнить просьбу случайного знакомого — отвезти в Англию двух его маленьких детей. Не стоит здесь пересказывать историю того, как старик Хоуард пробирается через оккупированную страну, как ему приходится присоединить к двум детям еще одного ребенка, второго, третьего... Тех, чьи родители погибли или арестованы.

Название романа «Крыолов» отсылает нас к старинной немецкой легенде о бродячем музыканте, который игрой своей волшебной дудочки увлек за собой детей из обидевшего его города. Но «Крыолов» Шюта мало схож со средневековой легендой. В романе война заставила детей идти за стариком, утратившим все, кроме доброты и понимания того, что в детях — будущность человечества.

Трагическая участь детей во время войны — тема, занимающая много места в советской литературе. Тема эта не только историческая. В нашей еще свежей памяти — судьба детей Вьетнама, Кампучии. Мы ежедневно с ужасом и гневом читаем о детях, гибнущих под развалинами ливанских городов, убиваемых головорезами в Афганистане, расстреливаемых с воздуха в Намибии и Никарагуа...

«Крысолов» Невила Шюта — один из многих романов в западной литературе, рассказывающих о детях в годы войны. Несмотря на «*harry end*» (старик и его маленькие спутники, пройдя через немислимые беды, попав в руки гестапо, все же добираются до Англии), роман глубоко печален. Это и понятно. Он был написан в самые тяжкие для Англии дни, когда бравадные марши фашистских армий звучали над всей Европой и будущее, казалось, не давало никаких оснований для оптимизма. Автор еще не знал, что эти непобедимые на первый взгляд армии будут перемолоты и уничтожены советскими войсками, что впереди битва под Москвой, Сталинград, гибель всей военной машины фашизма и освобождение Европы Советской Армией. Читая «Крысолова» сегодня, мы, конечно, знаем все это, однако тревога автора за судьбы мира не становится менее актуальной, и его произведение воспринимается не просто как трогательная история спасения нескольких детей хорошим человеком, а как роман-предупреждение, внутренний связанный с более поздним романом «На берегу».

Борьба за мир, которую ведет наш народ совместно со всеми людьми доброй воли на земле, предполагает и постоянную заботу о детях. Заботу об их воспитании в духе уважения к труду, непримиримости к войне, милитаризму, словом, ко всему, что калечит людские души. Этому благородному делу служит и роман Невила Шюта, ставший достоянием советского читателя.

Лев Разгон.



НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН. Лампа бегущей волны. Повести и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1983. 286 стр.

НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН. Траектория шторма. М. «Советская Россия». 1984. 221 стр.

На обложках книг лауреата премии Ленинского комсомола Николая Черкашина почти всегда морские атрибуты: кортики, подводные лодки, дельфины, экраны гидролокаторов...

Читатели и радиослушатели знают Черкашина как публициста и документалиста. Вот уже пятнадцать лет его репортажи и очерки, путевые заметки и походные дневники публикуются в газетах и журналах, альманахах и сборниках, звучат в эфире. Его перу принадлежат книги «Соль на погонах», «Городских дел мастера», «Судьба в зеленой фуражке», «Море многопалубное». А теперь — еще две.

Главная фигура черкашинской прозы — военный человек: моряк, пограничник, авиатор, показанный в живом ратном деле. В какую бы обстановку ни попадали персонажи, писатель стремится высветить в них лучшие черты советского характера, отличительные качества воина.

Герои многоплановой повести «Атланты держат небо...» — морские летчики. Ситуация в небе над океаном критическая: натовский «фантом», неосторожно маневрируя вблизи советского бомбардировщика,

пробивает килем его крыло. Экипаж (автор показывает троих: командира, правого пилота и штурмана) борется с терзающей управление машиной. В этом жестоком испытании правый пилот капитан Филин, человек, познавший превратности летной судьбы и поставленный перед выбором «земля или небо», одерживает самую важную победу — победу над собой, преодолевая малодушие, эгоизм, страх.

Необычное название книги разъясняется в одноименном рассказе. Лампа бегущей волны — это электронный прибор, ставший для современного воина таким же символом романтики, какими были и остаются якорь, паруса, штурвал...

Главные персонажи рассказов «Белые манжеты» и «Ландскнехт» Костя Маврин» составляют очень контрастную пару. Они антиподы. Если мичман-акустик Дмитрий Голицын приходит на флот, чтобы обрести себя в трудном мужском деле, то мичмана-кока Костю Маврина потянуло на подводную лодку за длинным рублем. Психологически верно дана в рассказе та атмосфера отчуждения и неприятия, которая возникла в экипаже вокруг незадачливого стяжателя. Впрочем, образ «ландскнехта» выписан не только сатирическими красками, но и с подлинным флотским юмором. Примечательны в этом отношении и другие рассказы — «Французские духи», «Крылья», «Ортопед».

В целом «Лампа бегущей волны» повествует о людях флота, романтике их ратного труда, не голубой, не броской, а выстраданной, с той самой солью на погонах, о которой поведал писатель в своей первой книжке и которой остался верен в книге «Траектория шторма», только что выпущенной издательством «Советская Россия».

«Есть у синоптиков такое понятие — «траектория шторма», то есть путь циклона по морю. Каким бы жирным фломастером ни наносился этот путь на метеокарты, он не в силах прервать волосную карандашную линию генерального курса корабля. Если подвиг имеет графическое выражение, то оно в этих линиях».

Главная повесть этой книги — «Нижняя вахта» — подкупает достоверностью описания жизни подводников в дальнем походе, правдой морского характера. Мне эта вещь близка как бывшему командиру подводной лодки, проведенному в прочном корпусе добрую часть жизни. Тем строже хотелось бы оценить повесть. На мой взгляд, это пока обширный фрагмент — без начала и без конца — с заявкой на более крупную форму, чем походный дневник. Дневниковый жанр предполагает известную ограниченность, лиризм, камерность, а у Черкашина дневник условен, он тяготеет к сюжетному построению, и читатель вправе ожидать здесь более плавного развития характеров, большей остроты во взаимоотношениях героев, в их словах и поступках. Кто-то, а автор знает, что военная жизнь вовсе не представляет собой некую бесконфликтную сферу...

А. Пушкин,

контр-адмирал,

кандидат военно-морских наук.



О. А. САЙКИН. Первый русский переводчик «Капитала». М. «Мысль». 1983. 173 стр.

Короленко писал в «Истории моего современника», как «Капитал» К. Маркса проник в вышневолоцкую тюрьму. Один из политических заключенных сказал зрителю Лаптеву:

«— Эта книга учит, как наживать капиталы.

Лаптев с любопытством развернул такое полезное руководство и наткнулся на формулу: «20 аршин холста = одному сюртуку». Ему показалось, что он понял.

— Знаю, — сказал он. — Этой книгой часто пользуются военные приемщики. — И «Капитал» был допущен в камеры, из которых старательно изгонялся Тургенев».

О том, как был переведен на русский язык и в условиях жесткой цензуры издан в России I том «Капитала», об удивительной судьбе его переводчика Германа Александра Лопатина рассказывает книга О. А. Сайкина.

В истории русского освободительного движения, отмеченного многими яркими, талантливыми личностями, Лопатину принадлежит особое место. Восторженно отзывались о нем Короленко и Горький, близкое участие в его судьбе принимал Тургенев. Блестящий ученик Менделеева, друг и соратник Маркса и Энгельса, Лопатин около 30 лет провел в заключении, из них более 20 — в одиночках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. «В стране культурно дисциплинированной такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника», — писал о нем Горький. Словно откладывая на эти слова, которые будут сказаны много позже, Лопатин произнес на суде в ожидании смертного приговора фразу, которая, мне думается, дает ключ к расшифровке его судьбы: «Бывают времена, когда умирать легче, чем жить». Он жил наперекор своему времени. И не просто жил...

Заслуга книги О. А. Сайкина в том, что автор с разных сторон подошел к личности Лопатина и к его эпохе. Скупые факты биографии, отрывки из писем и высказываний разных людей воссоздают роль Лопатина не только в истории русского освободительного движения, но и — шире — всей отечественной культуры.

Один пример. Шумные толки и споры вызвала в свое время история политического авантюриста, руководителя «Народной расправы» С. Г. Нечаева, ради «сенсации» совершившего убийство ни в чем не повинного человека. В прокламациях Нечаев призывал к «бесследной гибели большинства и настоящей революционной выработке немногих» в ходе грядущего переворота. Немногие умы сумели сразу оценить страшный смысл этого явления. Нечаев пользуется поддержкой Бакунина и Огарева, в нем видит героя определенная часть молодежи, за него ходатайствуют перед швейцарским правительством русские эмигранты...

У пораженного изуверством нечаевщины Достоевского рождается замысел рома-

на-предостережения «Бесы». Примерно в то же время двадцатипятилетний Лопатин ищет за границей встреч с деятелями I Интернационала, чтобы открыть им глаза на преступную деятельность Нечаева. Это совпадение не случайно — русская культура никогда не ставила себя вне морали, ее лучших представителей прежде всего отличало острое, болевое ощущение несовершенства жизни, стремление внести в нее полноту и гармонию. Только в таком широком контексте гуманистической, культурной преемственности можно понять важный смысл обращенных к Лопатину слов К. Маркса: «Вы единственный человек, которому я доверил бы популяризировать мою теорию».

Когда-то революционный деятель П. А. Лавров предсказывал, что о жизни Лопатина, имеющей интерес рыцарского романа с приключениями, создадут произведение, «которым будут зачитываться и которое одно может доставить литературную славу его автору». Нет, О. А. Сайкин не рассказывает подробно, как совершались немалые подвиги Лопатина из тюрьмы, какие дерзкие замыслы рождались у него в голове при подготовке побегов Лаврова и Чернышевского... Перед автором, профессиональным историком, стояли другие задачи. Немаловажная среди них — показать, где в русской общественной мысли пролегли действительно непреодолимые пропасти, а где, казалось бы, исходно далекие одна от другой дороги сближались на почве культуры во имя жизни и ее духовного наполнения. И теперь, в эпоху широчайших социальных движений, мудрая отвага первого переводчика «Капитала» продолжает служить примером высокой нравственной требовательности к нашим словам и поступкам, личной ответственности за все происходящее в мире.

С. Яковлев.



ЛЮБОВЬ РУДНЕВА. Голос из глубин. Роман. М. «Советский писатель». 1983. 479 стр.

Есть книги, которые читаешь, не отрываясь, хотя, в сущности, их надо читать медленно, вдумчиво, а иные места и перечитывать. Таков новый роман Любови Рудневой. Это роман о людях, исследующих морские глубины, и художественное исследование глубин человеческой души. Сочетание обширного познавательного материала и эмоционального, психологически точного в него проникновения представляет главную особенность книги.

В ней описаны Сингапур, Австралия, Новая Гвинея, американские Аппалачи, «русская Америка» и ее открыватели, в том числе декабрист Завалишин — участник знаменитого лазаревского кругосветного плаванья...

Много интересного, и всякий раз в поэтической художественной форме, читатель узнает о жизни Миклухо-Маклая на Новой Гвинее, и об острове Святой Елены времен Наполеона, и о доме Колумба на острове Гран-Канария, и... о старой московской Ма-

рьяной роше, где провел детство и юность Амо Гибаров — фигура в романе ключевая. В этом герое воплощена одна из главных, как мне представляется, идей автора. Амо — «всего лишь» клоун-мим, но основа его представлений (а им отведено в книге, пожалуй, не меньше места, чем описанию экспедиций других героев романа, близких друзей Гибарова — геофизика Шерохова и капитана Ветлина) — не развлекаемость. «Клоун — занятие сложное, серьезное, хотя и хочет он, чтоб люди смеялись, но порой и грустили. А коль смеялись, то вовсе не бездумно». И вот это последнее — важнее всего. Тонко продуманные, а бы даже сказал интеллектуальные, выступления Амо, обращенные к острым проблемам современности, неизменно сохраняют глубоко народные, фольклорные, балаганские истоки искусства, не совместимого с фальшью.

Образ мима в романе об ученых символичесен. Он символизирует единение высокого интеллекта и абсолютной честности в отношении к своему делу и людям. Именно такие качества Шерохова, Ветлина и других героев книги позволяют им стать настоящими исследователями, вести борьбу с ловкачами и приспособленцами в науке. Эта тема глубоко раскрывается во второй части романа, где рассказана история плавания научной экспедиции под руководством Эрика Слупского, умелого и опытного карьериста. В экспедиции в результате ее небрежной административной подготовки и эгоизма одного из сотрудников, покинувшего в беде своего товарища, погибает молодой исследователь Юрченко. А ответственность — в том числе и судебную — за его гибель пытаются взвалить на капитана корабля Ветлина. В этой острой ситуации на его защиту и против Слупского выступает не только команда судна, но и ученые — коллеги погибшего. Все, кто активно борется против инерции, стереотипа, посредственности — того, что мешает людям познавать мир ради людей.

А о том, какое наслаждение приносит это познание, ярко и увлекательно повествуют многие страницы книги. Но главное для Рудневой все же не в этом. Главное — в движении человеческой души. Попытка раскрывать ее сложность всегда рождает у читателя стремление к познанию — и самого человека и окружающего его мира. Так читатель становится своеобразным соавтором. А это уже, безусловно, заслуга писателя.

Вл. Россельс.



ИГОРЬ ЛЯПИН. Стихотворения. М. «Советская Россия». 1983. 175 стр.

Лучшие стихи Игоря Ляпина созданы из подлинного жизненного материала, из самой жизни, прожитой «не понаслышке».

Я хиромантам рук не подставлял,
Не потому, что это — вне науки,
А потому,
что с детства четко знал,
Какие от чего бывают руки.

Прежде чем писать, нужно жить, говорил Эзжюпер. Бесспорно, это не единствен-

ная формула творчества, но есть литературные судьбы, чьей генеральной линией становится собственная жизнь, в которой:

...с рожденья
Нас все касалось на земле.
И что ни год —
острей касалось.
И слава,
и беда страны.
И никогда нам
не казалось,
Что мы судьбой обделены.

А «линия судьбы» (поэма с одноименным названием включена поэтом в сборник, она удостоена премии Ленинского комсомола 1982 года) пролегла по нелегким дорогам: мальчишкой Игорь Ляпин впитал тяготы военного и послевоенного времени со всеми его узнаваемыми в стихах приметам и бедами («Очень не хватало книг Детгиза той, послевоенного, порой...»), рано повзрослев, работая на заводе («Ведь наши книжки трудовые постарше наших паспортов»), не обошло его и великое «завоевание» Сибири с ее грандиозными стройками, той Сибири, куда, по признанию самого поэта, он «не сослан, а если сослан, то собой».

Жизнь «в фарватере» наполняет строки И. Ляпина правдой реального и правдой поэтической. Тем и привлекательно его дарование, что основой своей имеет прочитое, прочувствованное.

Если поэту есть что сказать людям, то его мучения за письменным столом никогда не сведутся единственно к поиску магического слова, которое одно только и сверкает в стихотворении, подминая под себя его смысл. Именно так, думается, можно понять И. Ляпина, читая в его кратком прозаическом автопредисловии к сборнику: «Я не коверкал родной язык в поисках новых слов, потому что язык народных песен, которые напевала мама, сидя в слезах за швейной машинкой, заполнил все сердце и для экспериментов там просто не осталось места».

Однако, несмотря на подкупающую искренность этого признания, этой творческой установки, нельзя не отметить, что она имеет ограниченную область применения. Ведь всякий поэтический мир многообразен, как многообразен и его прообраз — мир окружающий, реальный. И он неисчерпаем для поисков, открыт для «новых слов».

К сожалению, когда И. Ляпин обращается к темам, так сказать, отвлеченным, философским, скажем, в цикле «Поэты родины моей» — к истории литературы, к ее великим именам, стихи его теряют выразительность. Кстати, подобное обращение или даже посвящение целого цикла стихов классикам стало чуть ли не пробным камнем, или, если употребить спортивную терминологию, обязательной программой, в которой якобы выверяется поэтическая истинность, принадлежность к клану пишущих, преемственность. В стихотворениях И. Ляпина, посвященных Пушкину, Лермонтову, Некрасову, автор не столько приобщается к классическому наследию, осмысляет его, сколько более или менее удачно рифмует хрестоматийные сведения о великих поэтах России, а это, естественно, мало что

добавляет к их поэтическому миру и нашему о них представлению.

Он это место выбрал сам.
Он сам сказал: — За Черной речкой.—
Теперь, как место грусти вечной,
Оно навеки близко нам.

А Пушкин часто здесь бывал
И жил не раз с семьей на даче.
И дачу ту, стань побогаче,
Он постоянно бы снимал...

Нет, классика все-таки требует прочтения более тонкого...

Еще раз скажу: сильные стороны поэзии И. Якина — в отражении сегодняшней жизни, той самой, в утверждении которой он принимает деятельное участие.

А. Аванесов.



С. БУШУЕВА. Полвека итальянского театра (1880—1930). Л. «Искусство». 1978. 191 стр.

С. БУШУЕВА. Итальянский современный театр. Л. «Искусство». 1983. 176 стр.

В двухтомной истории последних ста лет итальянского театра, написанной С. Бушуевой, наряду с первостепенными именами рассматриваются и представители «второго», «третьего» ряда деятелей театра Италии (кто, впрочем, знает, насколько верна эта табель о рангах?). Однако в каждом десятилетии обозначен явный лидер (разные эпохи выдвигали на эту роль то драматурга, то актера, то театрального художника или режиссера), выявлено его место в национальной традиции, прослежена творческая эволюция.

Первая книга — о том бурном периоде истории искусства конца XIX — начала XX века, когда веристы и символисты, футуристы и интимисты, авангардисты и реалисты сменяли и низвергали друг друга. Автор анализирует не только собственно художественную уникальность явления, именуемого итальянским театром, но и его этические, эстетические, социальные установки, кристаллизующие духовный опыт времени.

Эта способность к обобщениям свойственна и Элеоноре Дузе, творчество которой смыкается с кардинальными художественными исканиями общеевропейского искусства, и Луиджи Пиранделло, открывшему доминантные для культуры XX века темы, в частности проблему «распада личности». Рассматривая программные произведения этого драматурга в контексте его прозы, С. Бушуева ставит важнейшую проблему участия или неучастия художников в жизни, приводя в связи с этим слова А. Грамши о «пиранделлизме» как явлении скорее моральном и интеллектуальном, нежели художественном, в котором явно проявился компромисс драматурга в его попытке преодолеть противоречия жизни и искусства.

Утверждение самоценности любой человеческой личности, отлучение от своего «я» или, напротив, слияние с ним есть то жизнетворное поле, на котором развивается трагедийное искусство выдающихся деятелей итальянского театра. С. Бушуева восстанавливает не всегда явную на беглый

взгляд связь различных художественных идей, проследживает сложные отношения между творчеством художников сцены послевоенного периода и экспериментами 20—30-х годов.

Второй том посвящен истории режиссерских исканий. Автор говорит о неореализме с его популярнейшим лидером Де Филиппо, о массовом искусстве, о «контркультуре» (театры де Лулло—Фальк, Проклемер—Альбертацци и др.), но прежде всего о тех, кто составляет ствол послевоенного театрального искусства Италии, то есть о Стрелере и Висконти. Последовательно ведя читателей по драматическим крутам биографии (жизни и творчества) этих режиссеров, Бушуева рисует яркие портреты спектаклей, ставших сегодня классикой мировой сцены.

Свое суждение о цельности художественной платформы Висконти, реформатора современного театра Италии, одержимого натуралиста и одновременно изысканного стилизатора, автор доказывает обстоятельно, предлагая аргументированные интерпретации изощренных композиций режиссера. Мысль о неистребимом, как родимое пятно, эстетизме Висконти — следствии мучительного жизненного отчуждения художника — вытекает из твердого убеждения Бушуевой в ложности блеска самодостаточной фактуры, совершенства формы, не одухотворенной живым дыханием жизни. Гораздо ближе автору демократическое искусство Стрелера — создателя первого в Италии стационарного, субсидируемого государством театра, непреклонное стремление режиссера участвовать в жизненном переустройстве, его личное и художническое бесстрашие. Пик творческой судьбы Стрелера, которая вобрала в себя не только принципиальные для итальянского театра достижения, но и годы самоотречений, переосмысления программы действий, приходится, по мнению С. Бушуевой, на постановки 70-х годов, прежде всего «Вишневого сада» Чехова и «Кампьяло» Гольдони. Человеческое искусство этих классических пьес с их эпическим, бесконечно свободным и щемяще-нежным звучанием рассматривается в книге на фоне та же шедевров итальянского кинематографа, как фильмы Феллини «Рим» и «Амаркорд».

Искусство, проникнутое трагическим осмыслением времени и мощным лирическим пафосом жизнеутверждения, — главная тема рецензируемых книг С. Бушуевой.

З. Абдулаева.



ГОМЕР. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. Адаптация, послесловие и словарь доктора исторических наук Г. Б. Федорова. М. «Советская Россия». 1983. 319 стр.

Человеку порой трудно полюбить и понять нечто такое, с чем он не был знаком в детстве или отрочестве — в годы особой, даже безоглядой восприимчивости души. По части культуры труднее всего дается нашему современнику античная традиция, ибо приспособить ее к школьному восприя-

тию означает ни много ни мало как емко преподавать обширный курс древней мифологии, истории, научить различать Аргуса и Аргоса, не именовать Венеру древнегреческой богиней, ориентироваться по средиземноморской карте, обильно усыпанной островами, чьи названия мало что говорят нам сегодня... Поэтому в юношеском возрасте вернее всего начинать познание античной культуры не с научной подосновы, то есть археологии, а с яркого, увлекательного повествования. Без сомнения «Одиссея» и есть именно такая повесть.

Здесь сошлись и роман путешествий, и морской роман, и авантюрный, и плутовской, и детектив, если иметь в виду рассказ о возвращении Одиссея на Итаку. Тем не менее современный отрок лучше знает «Одиссею капитана Блада» Рафаэля Сабатини, нежели самую первую одиссею — гомеровскую.

Василий Андреевич Жуковский, работая над ее переводом, мечтал издать «Одиссею» и в юношеском варианте, «если сделаны будут некоторые выпуски». Речь шла не только о купюрах чисто педагогического свойства, но и о сокращениях, облегчающих восприятие.

Вот такое замысленное в середине прошлого века издание «Одиссеи» и осуществлено ныне и приурочено к двухсотлетию со дня рождения Жуковского. Потому что «как бы ни были хороши прозаические переложения «Одиссеи» для детей, например, сделанные профессором Н. А. Куном, — говорится в аннотации, — они ни в какой степени не могут заменить живого поэтического слова». Разговор о примате художественного воздействия особенно актуален сегодня — в пору реформы школы.

Замечу, что большинство купюр в новом издании вообще вряд ли может вызвать спор, особенно когда они относятся к подробностям жестоких сцен, которые опустил бы при семейном чтении вслух всякий чуткий родитель...

Русская судьба поэмы Гомера не менее извилиста, чем путь ее героя из-под Трои на родину Итаку. Инфильтрация древнегреческого эпоса в русскую культуру началась с XII века, по традиционному пути «из греков в варяги». Но путь этот впоследствии прервался, и античные образы стали проникать в Россию иными дорогами, сухопутными — через Западную Европу. Жуковский не знал древнегреческого и воспользовался для перевода способом поистине Одиссеевым. С помощью немецкого эллиниста профессора Грасгофа был создан двойной подстрочник: собственно словесный и под ним второй — грамматический. «...в этом хаотически верном переводе, недоступном читателю, были, так сказать, собраны передо мною все материалы здания», — говорил Жуковский.

С того времени прошла уже целая эпоха, многое изменившая; коснулись перемены и языка. И в словаре, сопровождающем нынешнее издание «Одиссеи», между «Оссой» и «Палладиной рощей» объясняется значение слов «палаты» и «пажить», между «цятрой» и «эгдой» — «шлык» и «щуйца». Таким образом, новое издание не только приближает антику к современным читателям, но

и способствует их контакту с литературной культурой прошлого века.

Наконец, нельзя не заметить устремленность лежащей перед нами книги к будущему. Она в принципе обращена к читателям, которые станут одиссеями завтрашнего дня. И не случайно историк и писатель Г. Федоров с доказательной убедительностью говорит о необычайной любознательности Одиссея, не страшась риска ради ее удовлетворения, о его мастерстве «на все руки», без чего он не выжил бы. Г. Федоров подчеркивает и еще одно обстоятельство: издание несет в себе черты новых наших знаний о древности. Так, впервые в иллюстрациях поэмы использованы мотивы искусства не классической, но ахейской Греции — более давние, более близкие временам Гомера и Одиссея. Художник Май Митурич смог сделать это, имея археологические данные XX века.

До сих пор пытаются выверить ученые маршрут Одиссея. По мнению некоторых, прав оказывается живший два тысячелетия назад географ Страбон, который утверждал, что Одиссей плавал не только по Средиземному морю. Проход между Сциллой и Харибдой соотносят с Гибралтаром, а самую дальнюю точку плавания — с островом Гельголанд. «Одиссея» предрекает нам новые открытия не только ее вечными образами, но и заложенными в ней знаниями.

В. Лобачев.



С. Б. БАЗАЗЬЯНЦ, Художник, пространство, среда. Монументальное искусство и его роль в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. М. «Советский художник». 1983. 239 стр.

Архитектура и градостроительство второй половины нашего века мало ориентированы на пешехода. По размерам, конструкциям, принципам организации пространства современные сооружения демонстрируют торжество техники как таковой.

Что есть красота городской среды: вкрапление вдохновенных скульптур или панно в монотонную унылость улиц? стены-плакаты? парковые ансамбли? специализированные «эстетические комплексы»? Как ни отвечай на подобные вопросы, ясно одно: духовные потребности человека нельзя удовлетворить стандартной продукцией. Живя в эстетически обедненной среде, горожанин может приобрести устойчивый иммунитет к подлинным произведениям искусств.

По мнению автора книги: «Перед художником, работающим над эстетической организацией среды, стоят огромные по своей человеческой значимости задачи... Искусство сегодня выступает той силой, которая способна противостоять техницизму и стандарту». Мысль эта завершает книгу и подчеркнута тем, что вынесена на обложку. Действительно, «памятники и статуи, обелиски и фонтаны, мозаики и росписи, мемориальные комплексы и декоративные композиции живут с городом общей

жизнью», придают ему черты высокой человечности.

В то же время автор как бы корректирует эту мысль, подмечая важную закономерность: «Художник-монументалист, ранее самонадеянно полагавший, что своим искусством он в полной мере способен одухотворить технизированную среду, веривший, что для этого достаточно противопоставить унифицированной машинерии спонтанное и индивидуальное творчество, сегодня убеждается в утопичности своей веры». Так как же: способно искусство противостоять технизму и стандарту или нет? В книге вопрос этот оставлен без ответа. В теории он чрезвычайно сложен. А на практике, как показывает в своей работе С. Базазьянц, очень многое зависит от степени таланта, самоотдачи, от целевых установок и взаимодействия архитекторов, градостроителей, художников-монументалистов.

К сожалению, еще слишком часто художнику отводится роль украшателя невзрачных кварталов. Скажем, в городе Черномбыле «тематика монументальных работ «Утро», «Музыка», «Энергия» пронизана философским звучанием: в них нашли выражение общечеловеческие духовные ценности. Но с каким окружением должна вступить во взаимодействие эта философская концепция? С самой обычной, типовой архитектурой...» В то же время «город без мозаик и рельефов, без скульптуры и декоративных стел был бы пуст и невыразителен».

Подобная ситуация, судя по многочисленным примерам, приводимым автором, достаточно типична. Возможно, ее следовало проанализировать более обстоятельно, чем это сделано в книге. Ведь художественное произведение и эстетически обедненная среда никак не могут взаимодействовать по законам красоты. Город как единое целое остается все-таки «пуст и невыразителен», если в нем творения монументалистов присутствуют в виде инородных вкраплений.

Современный художник имеет возможность активно и своевременно участвовать в конструировании городов и тем самым, утверждает автор, выполнить высокую творческую миссию посредника между технизированной средой и человеком. Почему такая возможность не реализуется в полной мере? Одна из причин названа: «Исследование роли искусства в формировании среды современного города — сложная, увлекательная и, по существу, новая задача нашего искусствознания». Надо надеяться, что исследования, посвященные решению этой задачи (а к ним относятся и рецензируемая работа), будут продолжены и расширены. Причем было бы очень важно, полезно сочетать их с социологическими и даже психологическими. Ведь без этого вряд ли можно раскрыть, говоря словами из подзаголовка книги, роль монументального искусства в формировании духовно-материального окружения человека.

...Человек и окружающая среда нерасторжимы. Способность приспособляться к самой различной обстановке сочетается в человеке с умением перестраивать окружение сообразно своим потребностям — духовным и материальным. И если вокруг че-

ловека в бурно растущих городах становится меньше красоты и больше стандарта, это чревато обеднением духовной жизни. Работники культуры призваны пробуждать в людях потребность в красоте, приобщать к прекрасному, пропагандировать творения мастеров. Именно с такой внутренней установкой написана книга Стеллы Базазьянц.

Р. Саруханов.



Б. М. ШУБИН. История одной болезни. М. «Звание». 1983. 127 стр.

Еще одна книга о смерти Пушкина... Поэты, писатели, литературоведы, историки и врачи уже не раз возвращались к тем дням и писали о них с такой горечью и страстью, словно это случилось вчера. Только личные утраты воспринимаются с такой сердечной болью. «У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца?» — скорбно вопрошал Жуковский...

Полтора года лет кровотоцит незаживающая рана, возвращая нас к трагическому дню 29 января 1837 года. 2 часа 45 минут пополудни... Как почти всегда бывает после беды, люди, терзая себя неизбежным чувством собственной вины, снова и снова задают себе вопросы: как это случилось? можно ли было помочь? что сделали не так? если бы я мог...

Московский писатель и хирург, доктор медицинских наук Борис Шубин (автор выдержавшей несколько изданий книги «Доктор А. П. Чехов») анализирует события тех трагических дней с медицинской точки зрения. Когда хирурги научились оперировать и лечить раны, подобные пушкинской, стали раздаваться упреки в адрес врачей, которые якобы недолечили или «залечили» поэта, возможно — по наущению царя. Сравнительно недавно литературовед А. П. Гроссман высказался так: «Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта».

В книжке, посвященной именно этим «старинным представителям», Шубин называет бесосновательную формулировку Гроссмана не совсем точной. Он не просто ссылается на мнения авторитетных советских врачей и историков медицины (таких, как Н. Н. Бурденко, С. С. Юдин, И. А. Касирский, А. А. Арендт, Ш. И. Удерман и другие) — он заново собирает анамнез, пишет «историю болезни» Пушкина и, надо сказать, делает это увлекательно. Автор под непривычным углом зрения рассматривает физический и нравственный облик поэта, проходит с Пушкиным весь жизненный путь от рождения до смерти, ни на минуту не забывая о том, какой необычный избран им пациент (как, кстати, не забывали об этом и врачи, собравшиеся у смертного одра поэта). Перед нами вереница русских врачей, их судьбы, вкрапленные в «историю болезни», открывают читателю еще одну сторону тогдашней жизни и еще одну грань русской культуры. Здесь М. Я. Мудров, еще в детские годы Александра Сергеевича лечивший всю семью Пушкиных, — труженик и мудрец, вель-

мога и филантроп, дорогостоящий консультант для богатых и бескорыстный лекарь бедных, героический погибший во время холеры 1831 года. Здесь профессор И. Ф. Мойер — один из лучших хирургов допироговского времени, благороднейший человек. Здесь и первый русский почетный доктор медицины лейб-медик Н. Ф. Арендт, одно из главных действующих лиц в последнем акте трагедии пушкинской жизни; и В. И. Даль, искусный хирург, чья деятельность в области медицины была отмечена тем же упорством и талантом, что и в других областях; и крупный специалист по перитонитам, первый президент Петербургского общества русских врачей Е. И. Андреевский; и энциклопедически образованный И. Т. Спасский...

Описывая час за часом состояние раненого, его поразительно мужественное поведение, течение болезни, сравнивая меры, принимавшиеся врачами, с существовавшими в то время методами лечения, Шубин приводит нас к неизбежному выводу, что рана Пушкина была по тем временам смертельной и что врачи, собравшиеся у его постели, «ничем не уронили достоинства своей профессии» (как сформулировал этот вывод книжки в предисловии к ней академик Н. Н. Блохин). Ранения, подобные тому, от которого умер Пушкин, стали операбельными лишь в конце XIX — начале XX века, а существенные положительные результаты дало развитие военно-полевой хирургии в годы второй мировой войны. Во времена Пушкина не было еще ни переливания крови, ни антибиотиков, ни анестезирующих средств. Все это Шубин доказывает последовательно, с привлечением огромной, самой разнообразной литературы, с логикой и хладнокровием хирурга. Доказывает не для того, чтобы защитить честь мундира, а чтобы восстановить истину.

В хорошей книжке всегда просматривается личность автора. После того как Шубин убедил нас, что многоопытный Арендт не нарушил золотого правила Гипократа, отказавшись от операции (должно было пойти не меньше шестидесяти лет после смерти Пушкина, чтобы подобные операции могли успешно выполняться), — после этого мы читаем финальную фразу, настоящий крик души хирурга: «Каждый раз, становясь к операционному столу, хирург надеется на успех». Ну да, это оно, все то же страдальческое: вот если бы я... если бы я мог...

А. Носик, Б. Носик.



А. М. СТАНИСЛАВСКАЯ. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции. 1798—1800 гг. М. «Наука». 1983. 302 стр.

Необходимо напомнить, кто он такой, сквозной персонаж рецензируемой книги... Вообразите: стояло бы на обложке имя Суворова — надо бы напоминать, тем паче объяснять? Но вот значится имя человека, равного Суворову, великого флотоводца Федора Федоровича Ушакова (1744—1817)— и ощущаешь эту необходимость, имея в виду широкий круг читателей. Казалось бы, где-где, а в серии-то «Жизни замечательных

людей» честь бы ему и место, так ведь нет ничего. Обидно.

Батальное искусство флотоводца-новатора неоднократно анализировали историки флота. В том числе крупный военачальник, наш современник адмирал И. С. Исаков, отличавшийся четкостью формулировок и своеобразным, опрятным, военно-морским, что ли, стилем изложения.

Но Ушаков не исчерпывался блистательным служением Нептуну и Марсу. Незнатный, «лапотный» дворянин обладал могучей натурой. Феномен Ушакова заключался в слитности военного гения с даром дипломата, политика. Было бы неверно утверждать, что этого не замечали историки. Замечали еще в прошлом столетии. А на перевале текущего об Ушакове-политике написал специальную работу академик Е. В. Тарле. Глубокое уважение к маститому ученому не перечеркивает, однако, чью-то здравую реплику, пусть и брошенную по иному, чисто литературному поводу: не все, что сделано мастером, сделано мастерски. Да и вообще представление о завершенности любого сюжета почти всегда иллюзорно, обманчиво.

Годы и годы отдала А. М. Станиславская изучению международных проблем на штурмовом рубеже XVIII—XIX веков. Привередливый педант и тот признает академическую выдержанность ее пера. А мы отметим и увлекательность. Основательность вкупе с увлекательностью — достоинство бесспорное. И притом отнюдь не примелькавшееся.

Сперва с капитальности данной монографии. Дивисься огромности привлеченного материала. Критически-вдумчивое знакомство с печатной продукцией налицо. Архивные разыскания произведены. Но есть и то, чего зачастую нет. Вот, скажем, в работах о русско-турецких или русско-иранских отношениях встретишь ли турецкие и иранские источники? Допустим, библиографическая редкость. Однако и другое: языковой барьер. Не одолев его, довольствуются в лучшем случае заглядом в английские и французские тексты. В монографии А. М. Станиславской речь идет о деятельности нашего флотоводца в Греции. И автор черпает из «местных родников». Прелесть новизны? Конечно. И повышение градуса достоверности.

Могут сказать: «Ладно, основательность, кажется, присутствует. А увлекательность? В аннотации ни слова о расчете на читателя-неспециалиста». Ни слова. Впрочем, о таком расчете аннотации нередко оповещают все.

Осторожности ради следует, вероятно, отменить субъективность пишущего эти строки: в средиземноморских сюжетах сокровище для него нечто приманчиво романтическое. И все же он полагает, что не поникнет в грустном одиночестве, если только монография, изданная мизерным тиражом, попадет в руки читателя-неспециалиста. Пользуясь современным словечком, тут задействованы такие напряженные ситуации, такие колоритные фигуры, такой клубок сплетается и расплетается — не заскучаешь.

Краткость заметки обязывает к лапидарности, к штрихам. Начать с того, что приключилось, как выразился один дипломат

«небывалое на свете дело»: Турция и Россия столько лет боролись на суше и на море, как вдруг в 1799 году заключили союзный договор. То было следствием чрезвычайной активности Франции в Средиземном море. Ионические острова оккупированы. Бонапарт ворвался в Египет... Ионический архипелаг (близ материковой Греции) принадлежал Венеции, одряхлевшей, никому уж не страшной. Иная статья — стратегическая позиция захвачена французами. Русско-турецкий флот под главным командованием Ушакова выбил неприятеля...

Там, где военные историки обычно заканчивают, А. М. Станиславская, в сущности, начинает. Устроение государственной жизни на островах, населенных греками, явилось предметом особых — сложных и противоречивых — усилий как Петербурга, так и Константинополя. Глава за главой автор подробно прослеживает, не чураясь и мотивов психологических, тяжкую борьбу Ушакова за создание либеральной республиканской конституции. Борьбу, о которой Греция, и это приятно и своевременно отметить, хранит благодарную память.

Высший офицер императорских вооруженных сил, Ушаков презирал своекорыстие нобилей-дворян, презирал «дерзость

этих малого числа людей», энергично способствуя «благоденствию многих». Адмиральский мундир не мешал ему высказывать дружеское, и не только словесное, а и практическое, расположение к противникам нобилитета — горожанам и крестьянам. Ушаков, справедливо подчеркнуто в монографии, «вышел за пределы, определенные царем и султаном для внутреннего строя Республики». И этим, на наш взгляд, должно гордиться не меньше, чем выходом адмирала за пределы традиционной военно-морской тактики.

Книга А. М. Станиславской проникнута симпатией к великому флотоводцу и выдающемуся политику, но эта искренняя симпатия не выталкивает его из плотного исторического контекста, из жестких тенет воспитания, среды, дисциплинарности. А недруги адмирала не сведены до уровня «немогузнаек» и «кувшинных рыл». Нет, Ушакову противостоит, например, дипломат крупного калибра В. С. Томара, индивидуальность яркая, деятель умный и неутомимый. Да и прочие отнюдь не дубины, каких бы кровей ни были. Вот уж истинно: невымышленные лица интереснее вымышленных. И упрощенных тоже.

Юрий Давыдов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

О. Валериане Куйбышеве. Воспоминания, очерки, статьи. 319 стр. Цена 1 р.

Л. Кокин. Час будущего. Повесть о Елизавете Дмитриевой. («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 10 к.

Милитаризм и разоружение. Справочник. 350 стр. Цена 45 к.

И. Павлов. Америка тревожных лет. Документальные очерки внутренней жизни и внешней политики США в 70—80-е годы. 254 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Жиленко. Концерт для скрипки, дождя и сверчка. Книга стихов. Перевод с Украинского. 62 стр. Цена 25 к.

Б. Иылдыз. Признание в любви. Роман. Перевод с турецкого. 159 стр. Цена 75 к.

Е. Маркова. «...И тогда упадет звезда». Повести. 207 стр. Цена 60 к.

И. Чендей. Сказка белого инея. Повести. Перевод с украинского. 220 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Ахундова. Выражение лица. Пять повестей. 334 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. Гранин. Тринадцать ступенек. Повести. эссе. 304 стр. Цена 90 к.

В. Дарда. Его любовь. Повести. Перевод с украинского. 423 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ю. Мушкетик. Вернись в дом свой. Роман, повесть-притча. Перевод с украинского. 368 стр. Цена 1 р. 70 к.

«НАУКА»

Заколдованные леса. Повести. Перевод с английского. 246 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Ли. Социальная революция и власть в странах Востока. О проблемах и противоречиях некапиталистического переходного развития. 288 стр. Цена 2 р. 60 к.

Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Том 7, выпуск 1. Сочинения писателей-старообрядцев XVII века. 316 стр. Цена 2 р. 50 к.

Современная марксистско-ленинская философия в зарубежных странах. 608 стр. Цена 5 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Давтян. Сказание о любви. Стихи. Перевод с армянского. 342 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Карамзин. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. Ав-

тобиография. Письма русского путешественника. Повести. 671 стр. Цена 3 р. 40 к. Т. 2. Критика. Публицистика. Главы из «Истории государства Российского». 455 стр. Цена 2 р. 40 к.

Классическая драма древней Индии. Перевод с санскрита и пракритов. 336 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Синорский. Стихотворения. 415 стр. Цена 2 р.

«РАДУГА»

В. Билинский. Конец каникулам. Роман. Перевод с польского. 206 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ж. Луандино Виейра. Избранные произведения. Перевод с португальского. 272 стр. Цена 1 р. 80 к.

Немецкая поэзия XIX века. Сборник. Перевод с немецкого. 703 стр. Цена 3 р.

М. Спарк. Романы. Повесть. Перевод с английского. 507 стр. Цена 3 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

В. Гуляев. Забытые города майя. Проблемы искусства и архитектуры. 184 стр. Цена 1 р. 90 к.

Документальный экран в борьбе. («Актуальные проблемы теории кино») 224 стр. Цена 1 р. 40 к.

О. Петрочук. Сандро Боттичелли. («Жизнь в искусстве») 222 стр. Цена 2 р.

Н. Сидорова. Афины. («Города и музеи мира») 207 стр. Цена 1 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Д. Добрушин. От Волги до Эльбы. Художественно-документальная повесть. Киев. «Днипро». 317 стр. Цена 80 к.

А. Железняк. Переходный возраст. Повесть, рассказы. Киев. «Радянський письменник». 303 стр. Цена 85 к.

Ф. Залата. Избранные произведения. В 2-х тт. Киев. «Днипро». Т. 1. В степи под Херсоном. Перевал. Романы. 640 стр. Цена 2 р. 50 к. Т. 2. Жизнь и смерть. Узлы. Романы. 656 стр. Цена 2 р. 50 к.

Р. Заславский. Годовщины. Стихотворения. Киев. «Днипро». 189 стр. Цена 85 к.

Б. Малиновский. Путь солдата. Повесть. Киев. «Радянський письменник». 192 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Рубцов. Посвящение другу. Стихотворения. Составитель В. Оботуров. Предисловие С. Видулова. Лениздат. 254 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 27.06.84 г. Подписано к печати 09.08.84 г. А 02514.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. п. л.)
27,35 уч.-изд. л. Тираж 379.000 экз. (1-й завод 1—199.000 экз.) Зак. 2355.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

*В 1985 году
редакция журнала «Новый мир»
предполагает опубликовать:*

романы, повести, рассказы Ч. Айтматова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, Д. Гранина, В. Дудинцева, В. Крупина, В. Маканина, В. Орлова, Г. Пряхина, а также роман американского писателя У. Стайрона «И поджег этот дом»;

стихи В. Бокова, Л. Васильевой, А. Вергелиса, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, А. Дементьева, Н. Доризо, Ю. Друниной, В. Жукова, А. Кешокова, Л. Мартынова, А. Межирова, С. Михалкова, Д. Мулдагалиева, Б. Олейника, А. Преловского, В. Савельева, Б. Слуцкого, В. Соколова, В. Сорокина, Н. Старшинова, В. Цыбина;

очерки, статьи А. Злобина, Г. Лисичкина, В. Пальмана, Ю. Черниченко, дневники Мариэтты Шагинян, воспоминания советских военачальников;

литературно-критические статьи, обзоры И. Дедкова, Л. Аннинского, А. Бочарова.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничений всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.